

ISSN 0130-7673

ЖЕОБИИ
МИР



ЖЕОБИИ МИР

1984

8



1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1984 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Медвежья Кровь, рассказ	3
ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ — Максим Танк (перевел Петр Кошель), Нил Гилевич (перевел Яков Хелемский), Пимен Панченко, Алексей Зарицкий, Петро Приходько, Василь Зуёнок, Анатолий Вертинский, Сергей Законяков (перевел Петр Кошель), Н. Тулузова (перевел Ю. Сапожков)	16
ВЛАДИМИР КАРПОВ — Полководец, документальная повесть. Часть третья	22
НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ — Пять стихотворений	87
Л. ЛИХОДБЕВ — Сентиментальная история, роман. Продолжение	89
ВЛАДИМИР СЕМАКИН — На Камушке-Каме, стихи	123
АЛЕН БОСКЕ — Стихи. Перевел М. Кудинов	126
ГЮНТЕР ГРАСС — Местная анестезия, роман. Окончание. Перевела с немецкого Л. Черная	128
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ЛИЛИЯ ДОЛГОШЕВА — Память сердца	155
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЯЧЕСЛАВ ПАЛЬМАН — Неоплаченный долг	158
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Н. Ф. ШУБКИН — Будни словесника. Вступительное слово Сергея Залыгина. Публикация и примечания В. Н. Шубкина	182
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Союзу писателей — 50</i>	
В. КИРПОТИН — У истоков	205
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ — Незабываема Москва тех дней	216

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ — Связь событий	Стр. 221
ТЕМБОТ КЕРАШЕВ — Могучий стимул	222
Н. МОРДИНОВ — Так начиналось	224
НАЗИР САФАРОВ — Ручьи и реки	228
ЛЕВ СЛАВИН — Горький и мы	231
АЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ — Мой творческий университет	233
ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ — Съезд писателей	237
В. ПОПОВ, Б. ФРЕЗИНСКИЙ — «Есть у нас общая цель». По следам одной неопубликованной переписки	240

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Анатолий Петрик. Глубины крестьянской культуры.	246
Татьяна Бек. Лирика не одинок.	
Александр Лаврин. Полной мерой.	

Политика и наука

С. Станкевич. Актуальные уроки истории.	253
А. Макаревич. Секреты «братьев-каменщиков».	

КОРОТКО О КНИГАХ:

Юрий Лукин.— Савва Дангулов. Государева почта. Роман. ◆	
Яков Белинский.— Петр Семьинин. Избранное. Стихотворения. Поэмы. Переводы. ◆	
Георгий Ломидзе.— В. Александров. Сергей Михалков. ◆	
Л. Захаров.— Линии наших рук. Из поэзии стран Юга Африки ◆	
Роман Белоусов.— Дмитрий Урнов. Приз Бородинского боя. Рас- сказы и повести. ◆	
В. Филатов.— Леонид Панасенко. Сентябрь — это навсегда. Полу- фантастические истории. ◆	
А. Майкапар.— Б. Кац. Времена — люди — музыка. Документаль- ные повести о музыке и музыкантах. ◆	
Александр Проханов.— Наум Мар. ...А за окном зеленый лес! Диалоги с Константином Фединым. ◆	
Л. Миронов.— Вадим Трубников. Крах «операции Полония». 1980— 1981 гг. Документальный очерк. ◆	
Л. Попов.— В. Н. Сашонко. Коломяжский ипподром. Документаль- ная повесть о русском авиаторе Николае Евграфовиче Попове. ◆	
Терентий Эм.— В. А. Парнес. Исаак Григорьевич Бейлин (1883— 1965). ◆	
М. Наринский.— П. П. Черкасов. Судьба империи. Очерк колони- альной экспансии Франции в XVI—XX вв.	260
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

★

МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ

Рассказ

В конце прошлого года довелось мне с попутчиками пробраться в верховья реки Малый Абакан. Дивные его красоты я описывать не стану, потому что местам абаканским миллионы, а может, и миллиарды лет, слову же нашему — всего тыщи, и как ни вертись, как ни изощрайся, слабо оно и зачастую бессильно отразить могущество и дух природы.

Ввысь уходят громады гор, одна накатывает на другую, широким плечом, скалою голой иль утесом держат горы кручи над рекой. В небо вздымаются увалы, над увалами синеют аккуратно сметанными стогами сопки, очесанные с боков вешними потоками, грозowymi ливнями. А дальше дальние, верхние сопки похожи на праздничные куличи, облитые белым и сладким. Там, в вышине, в позапрошлом непогожее лето не растаяли, пролежали до новых холодов снега. Утрами плотно залегали над ними густые туманы и облака, отгораживая собою крутые дали и вовсе уж холодные выси, запредельные для глаза и ума, доступные лишь дикому зверю да вертолету. Душу леденит недоступностью и неподвластностью этих далей, и кровь замирает, когда пытаешься представить, что там, за ними, за этими задумчиво-надменными громадами. Наверное, другой свет.

Берега и склоны гор над Абаканом и по Абакану беспрерывно меняются, вода задирает нос лодки, упирается в нее, хлещет волной и брызгами в перекатах и на порогах — не пускает вверх река, не дает ходу лодке. Но ревет мотор, грызет воду, хлопает носом по волне — разве железо удержишь и осилишь?!

По склонам кедрачи, кедрачи. Старых мало, все больше молодые. Редко взойдется сопка островерхим ельником и пихтачом, сверкнет распадок или пологая покать белоствольем берез, к ручьям и буйно вырывающимся, одичалым от завалов и каменного удушья речкам жметя чернолесье с там и сям вознесенными над ним вдовыми раскидистыми осинами. И обязательно на отбитой от леса, отчужденно растущей ели или пихте чернеет птица, чаще всего это ворон или канюк. Сидит окаменело, дремлет или о чем-то думает неторопливую вечную думу. Спугнутый звуком мотора, вдруг раскинет старый хищник широкие крылья и властно закружит с недовольным ворчаньем иль криком над тайгой, забираясь с каждым кругом все выше, все дальше, в доступные лишь ему глубины неба.

Лес по склонам гор смотрится как бы стоящим в грязи, загустелой, повитой жилами и жгутами белой и рыжей пене. Но это не грязь и не пена, это крошево древних, вулканических лав. Когда-то давно, но для природы совсем недавно, выгорел таежный слой земли. Слой тот на крутых обвалах и склонах удерживали, сцепившись друг с дружкой, кусты, подлесок, мхи и травы, по ним черничник, брусничник, колдовской бадан, праздничный багульник, неприхотливая акация, пенистый

горный таволожник и шипица, марьин корень и богородский корешок — лесной ландыш, даже двулистная заячья капуста держала в кошечках комочек землицы и сохранила его, а он ее.

Все съел огонь, все испек, обратил в пепел. Однако воспрянули ростки из земных глубин, из корней, глубоко и крепко впившихся в землю, но камень держать некому, и он сыплется, сыплется по склонам, ползет темными потоками, издали похожими на грязь, и его пытаются остановить, закрепить все те же слабошерстные рыжие мхи, упрямые травки, стойкие цветки, зацепистые кустарники. Где-то там, в завалах камней, растет загадочная ягода кызырган, похожая на красную смородину, но двух она цветов — красная и черная, и когда ешь ее, по пальцам сочится красная влага, которая даже мылу не дается, от рубах и совсем не отстирывается, влага эта резкая, кислая, вселяющая в тело силу и уверенность в здоровье.

Ах, кызырган, кызырган, надежда наша! Уповать приходится уж на такие дива, как ты, может, всем кустам, всем ягодникам и деревьям дано будет укрепиться на каменной земле, да так, что не выдернуть, не свести живучие корни никакими техническими и химическими силами, а соку и силы в них прибудет от сопротивления прогрессу, и будет он такой крепости, что даже чахнувшее человечество взбодрится, отведая его, а может, даже поумнеет, образумится и перестанет пилить тупой пилой недоумия сук, на котором сидит.

Местами камень укрепился: где до колен, а где и до пояса стоящие в нем кедрачи начали организовывать вокруг себя полянки, уже и зеленые продухи там и сям видны. Но в камнях, в осыпях под камнями сочатся вешние или ливневые воды, подтачивают корни, смывают слабую крепь, и тогда с долго не умолкающим гулом, губельным треском, набирая стремительную силу, каменная лавина обрушивается, низвергая все на своем пути. С последним стоном гибнут в лавине звери и птенцы в гнездах, кричат и по-птичьи плачут взмывшие в воздух из засидок или от выводков пернатые матери, скорбно хрустит ломаемый лес, соря обломками, щепой и корьем, рушится он вниз, в реку.

Лежат в Абакане глыбы и плиты, будто после взрыва, торчат из завала вершины деревьев, скомканные кусты, обглоданными костями белеют переломанные, искореженные стволы деревьев, и, упершись в завал, ревет, пенится. бьет новую дорогу иль с шумом валится на другой берег и без того неистовый, без того обвальный, извилистый и яростный Абакан.

Но вот галечная коса пестрым, остро загнутым кулициным крылышком раздвоила Абакан на Большой и Малый. Большой, как ему и положено, мощнее Малого, но Малый норовистей Большого, и наша лодка еще выше задралась носом, еще громче и натужней захрапел мотор, одолевая кручи взбешенной, к брату своему рвущейся реки. Здесь, при слиянии двух рек, в урёмной, густолесой пойме стойбище старообрядцев Лыковых, вдруг сделавшихся знаменитыми на всю страну. Помимо журналистов, ринулись в тихое, потаенное становище разные люди, жаждущие зрелищ и развлечений. Привела сюда изможденный, изъеденный комарами отряд беззаветно преданная своему делу пионервожатая — экзотика так уж экзотика! — чтоб дети разом и навсегда усвоили: ученье свет, а неученье тьма.

«Зайдем!» — показывают рукой в глубь густолесья спутники, старающиеся развлечь меня чем позанимательней.

«Только меня там и не хватало!» — перекрывая гул воды и рев мотора, ору я. И хотя голос относит и глушит, спутники поняли меня и успокоились. Один из них, местный журналист крепкого и несуетного пера, был у Лыковых не раз и не два. Остановившись у Лыковых еще в пятидесятые годы один из организаторов здешнего заповедника, умный лесной ученый и писатель Алексей Александрович Малышев,

ныне проживающий в Теберде. Но ни журналист, ни писатель Мальшев не сотворили сенсаций из деликатного материала, писали о житебытье Лыковых без «страстей и ужастей», писали осторожно, не засвечивали их, как кротов, которые, будучи вынутыми из земли, на свету просто-напросто погибают.

Свежие могилы возле лыковского стана да будут наглядным уроком и укором всем, кто любит блудить ногами по лесу, пером и словом на бумаге, помнить об этом, дабы трагедия Лыковых не повторялась нигде более, а если уж так хочется новоявленным филантропам помочь людям, берусь указать деревни поблизости от Москвы или хотя бы в той же современной России, где многие семейства, в особенности старые люди, нуждаются в неотложной помощи, внимании, порой и в защите.

Наша лодка прошла еще один пережат и устремилась в узенькую протоку, где попрыгивала мелкая вода по скользким камням, и, скребнув раз-другой по дну винтом, ткнулась в камни носом, ткнулась и замерла.

И такая тишина окружила и овевала нас, что все мы какое-то время сидели не двигаясь и как бы не веря, что кончился встречный шум воды, что не движется мимо земля с берегами, скалами и лесами, оборвался звон мотора, к которому уже привыкло, притерпелось не только ухо, но и весь ты попал в его власть, все твое, книжно выражаясь, существо слилось с ним и даже примирилось.

— Ра-а-азгружай-айсь! — весело возгласил кормовой и подрыгал затекшими ногами и руками.

Протока оказалась вовсе и не протокой, а устьем речки, запутавшейся в чернолесье с местами уже свалившимся пыреем, обнажившим в середине сохранившиеся кусты смородины с ягодой, рясной от инеев, ее прихвотивших, сморщенной и сладкой, что виноград.

В устье речки, в исходе ее, на плешине, очищенной от больших дерев, стояла, нет, не стояла, жалась прелым задом в бузину, крапиву и мелкий осинник охотничья избушка, открытая для всякой живой души, жаждущей отдыха и приюта.

Одним окном на восход и на реку гляделась эта давно беленная изнутри избушка, пол в которой лежал уже на земле, половицы прогнили по стыкам и в щелях, да еще и мыши поработали под плахами. Печь с плитой, сложенная из кирпича, исцелилась, глина над плитой выгорела, известка осыпалась. На полках, прибитых к стене, лежали оставленные ночевальщиками хлеб, соль, сахар в пачках, газеты и журналы «Охота и охотничье хозяйство», «Здоровье» и «Крестьянка», «Огонек» и другие разрозненные издания прошлогодней давности, доступные подписчику отдаленной глухомани. К матице избушки были подвешены два холщовых мешка с сухарями. За печкой теплая леджанка, вдоль стены нары, на них, прикрытый стеганым одеялом, с исподу лохматящимся грязной ватой, матрац, пуховая подушка в заношенной наволочке — все, вышедшее из пользования, моды и хозяйственного обихода, сплавлено расчетливыми хозяйками в тайгу — для пользы дела.

Две керосиновые лампы без стекла, три-четыре стеклянные банки с крошеным, сорным рисом, банка из-под минтая для окурков, одочки в пристрое, растрескавшийся шест над печкой для просушки одежды, гвозди, вбитые в стены. Вот и весь обиход промыслового охотника. И как я представил себе длинную зимнюю ночь, отшельное жите в этом вот промхозом возведенном строении, тоскливо мне сделалось. Но ведь были когда-то избушки и убоже этой, топились по-черному, согревалась изба каменкой, стало быть, собранными по берегу некрупными булыжниками, выложенными очагом, и дым выходил в отверстие в стене или в потолке. И это отверстие — лаз — зачастую использовалось как дверь для входа и выхода. Низкие, топором рубленные избушки

почти до крыши закапывались в землю — для тепла; нары из жердей, постель из травы, топливо по норме — все из-под топора, топором же много не натюкаешь, железа почти никакого, всюду дерево, и освещение от таганка или от лучины, да если еще в каменку попадет дресвяной камень и получится очаг угарным?

Ох, модники и модницы всех времен! Если бы вы знали, как достаются охотнику пышные, роскошные, в цариц и неприступных красавцев вас обращающие меха, так, может, шкуры зверья и не пялили бы на себя — и приветствовали бы науку и прогресс, одевающие нас в искусственные, муками, смертью и кровью невинных зверушек не оплаченные наряды, тем паче, что зверушек тех в лесу, да и самого леса на земле остается все меньше и меньше.

Хозяин этой избушки поднимается сюда на лодке или будет заброшен вертолетом через полтора-два месяца, с собаками и грузом. Ему все же легче жить и работать, чем его предку. Перед избушкой толстенный, коренастый пень, две плахи, вытесанные из кряжа, положи их на пень — и стол готов. Есть и сиденье, есть и дрова — где-то в бурьяне ухоронены бензопила, канистра с горючим, топор, сети и все ценное, так необходимое охотнику для работы и жизни в лесу.

Кормовой знает хозяина избушки, промышляющего здесь, толковый, говорит, мужик, но очень любит полежать в тепле, пусть и в угарной избушке, неохота ему подмазать печь и побелить избушку, горазд порассуждать о мировых проблемах и большой политике, но не жаден, в лесу не сорит, к людям приветлив, потому и избушка почти на виду. Многие промысловики так уж прячут свои избушки от шатучего народа, особо от неорганизованного туриста, что, случалось, затемняя зиму, сами не могут ее найти.

Пока мужики кололи чурки, пока варили еду и кипятили чай, я с напарником сложил удочки и попробовали мы закинуть. Зимой и полета мечтал я о такой вот безлюдной реке, во сне и наяву слышал всплеск на воде и следом толчок или удар по леске — где ж тут удержишь-то?!

Но во сне клюет лучше и верней, чем наяву. Пробую одну мушку, другую, третью — никаких отзвуков. Кормовой, спустившись от костра к воде с заделем, советует привязать темную мушку — день-то солнечный! На первом же забросе поклевка и... сход. Меня начинает трясти, я лезу дальше, в перекат, сапоги короткие, их почти заливает, а я лезу и лезу — и вот она, рыбацья радость! Всплеск! Хлопок! Подсечка! — и через голову на косу я выбрасываю темноспинного, по бокам рябого хариуса, если уж точнее, то, пожалуй, харюзка. Но я знаю, там, в перекате, есть, не могут не быть черноспинные удалыцы с ухарски поднятым «святым пером», боевые, способные оборвать леску, разогнуть, а то и сломать крючок! Вот бы обзарился такой на мою мушку, уж я бы!..

Меня кличут к столу. Ах, как не хочется уходить с косы, от переката, звенящего по дну несомым камешником, подмывшего каменный бычок ниже по берегу, стащившего в реку кедрушку, которая, однако, и упавши зеленеет да еще и держит бережно в зеленых лапах две-три молодых, еще сиреневых цветом шишки. Хочется добыть харюза, хоть одного крупного, и вот он, второй, прыгает по зернистому песку, извалялся, будто пьяный мужик, обляпался супесью и наносной глиной.

Я обмыл рыбин и, счастливый, принес их к костру. Меня сдержанно похвалили. Этих молодцов, моих спутников, не удивишь двумя харюзками. они тут весной, при заходе хариуса, ленка и тайменя в речки, не поднимают удочку даром — как заброс, так и рыбина, как заброс, так и рыбина! Любая наживка, любая мушка иль мормышка уловисты — рыба не привередлива, берет безотказно.

Ну что ж, где-то и кто-то должен же еще ловить большую рыбу, кормить семьи и реденько, по случаю угощать нашего брата горо-

жанина, понимая, какой это для нас редкостный, уже и праздничный продукт — речная свежая и светлая рыбка. Среди нашей большой земли, в диких сибирских местах не перечесать еще рек и речек, и люди без рыбы, без добычи что же будут тут делать, чего есть и зачем жить?

Вечор, когда мы приехали на лесоучасток, гуляли привальную, и наш кормовой, не просто крепко рублен, вроде бы как даже тесан из камня или слеплен из хорошей глины и обожжен до керамического цвета и прочности, быстро что-то сваривший, без суеты и чисто накрывший стол, принимал зелье стаканом. Граненым. Меня этим уже не удивишь, и я давно уже не горжусь по этой части земляками, не люблюсь их лихостью и не хвалю их и себя за это. Дело дошло до песен. Возник из-за печки баян, и хватанули мы про бродягу, что утек с Сахалина, так, что уж и в лампе свет заколебался, рама в окне задрезжала, могла распахнуться и дверь, да от сырости разбухла, печка могла развалиться, но что-то мясное всплыло на ней, зачало, и мы еще закусили и еще выпили.

Мне еще памятно было, как в недавние годы на очень опасной, безлюдной реке кормовой, вдруг захмелевший с полстакана водки, чуть было не опрокинул в гремучую воду мою жену и приехавшего издали друга — откуда нам было знать, что кормовой три дня гулял в поселке, последнюю ночь почти не спал, и теперь его кренило вывалиться за борт узкой, длинной, похожей на индейскую пирогу лодки. Жена у меня уже тонула. Два раза в жизни. Страшно тонула, последний раз среди льдин на Камском водохранилище, и боле эту процедуру ей не выдержать. Друг мой с благообразной бородой, человек по облику божецкий, характеру задумчиво-меланхоличного, и топить его тоже ни к чему, хоть он и критиком работает.

Почерпнувши такой большой опыт, я вел тонкую политику, чтоб все разом было выпито и прикончено. Кроме того, я сказал кормовому, что с пьяным никуда не поеду. Он заявил, что и сам, будучи пьяным, никогда к мотору не садится.

Все же я утаил одну бутылку в рюкзаке, и, когда вынул ее уже на стане, у костра, такое ликованье возникло в нашем обществе, такое умиление всех охватило! Досталось на душу граммов по пятьдесят, под хорошую еду. Хлебали суп с тушенкой и вермишелью, ели холодное дикое мясо, припахивающее хвоей, пряным листом, хрустели тугими луковицами, малосольным хариусом, свежими огурцами да помидорами и рассуждали на самую злободневную и жгучую тему, что хорошо ведь пить-то к душе да помаленьку. Всегда бы вот так! Для аппетита бы да для настроения ее пить, а еще лучше бы и вовсе не употреблять. Какой пример детям подаем? А здоровье? А дисциплина труда? А падение нравов? Погибель да и только от этого клятого зелья, сплошная гибель.

Уверяю вас, нисколько мои спутники, приабаканские мужики, в умственных рассуждениях своих не отстают от современной интеллигенции. Ведь она, наша интеллигенция, какие рассуждения имеет: без горячительного народ общаться разучился, спивается, порядок на производстве и в обществе качнулся. Сколько алкашей! Сколько человеческих трагедий! А как на семье и на детях пьянство отражается? Но в заключение томный такой, полуленивый, как бы против воли следующий зов: «Мамочка! Что у нас там?! А-а, на рябинке? На лимоне? На березовой почке? Х-х-хэ, по науке пьем! Подай, мамочка, тую, что на рябинке — она помягче и лето напоминает. Мы по махонькой. Как без нее, без заразы!» И, глядишь, жалея народ, углубляясь в дебри тревожной действительности, обсуждая наболевшие вопросы международной политики, высказывая недовольство родной культурой вообще, литературой в частности, прикончат, как всегда, много и серьезно страдающие русские интеллигенты настоянную на

рябинке, на редкой травке, на вешней почке водочку, доберутся и до просто белой, нагой.

— Ничего больше нету? — как бы мимоходом, недоверчиво поинтересовался кормовой, с момента отправления вверх по реке взявший на себя старшинство и руководство над нашим здоровым коллективом. — Вот и хорошо. Стало быть, ложитесь спать. Рыбачить станете вечером. Мы тем временем кой-чего сообразим по хозяйству.

Комара на стане и в избушке почти не было. Спал я провально, можно сказать, убито, но где-то в подсознании, на задворках моей усталой башки жила недремная мысль о том, что хариусы-то стоят там, под каменным бычком, под упавшею кедрушкой, к вечеру выйдут они из глубины в пережат — кормиться. И мысль эта подняла меня с топчана часа через два, полного бодрости, с просветленной головой, с телом, вдруг сделавшимся легким, куда-то устремленным.

Я вышел из полутемной избушки на свет высоко еще стоявшего солнца, на предвечернее осеннее тепло, как бы запаренное стонленным и местами, на ветру, уже попадавшим листом, сникшей мелкой травкой, приморенным бурьяном — это вот и есть тот, напоенный сладостью, здоровый воздух, которым надо лечить и лечиться.

— Здорово, мужики! — сказал я блаженно и потянулся, хрустя костями. Перещелк пошел по моим суставам, траченным давним ревматизмом, будто ночная перестрелка на, слава те богу, далеком уже и на давнем переднем крае.

— А чё, жэньцына щцас да вертозаденькая не помешала бы, а? — подморгнул мне кормовой, большой, судя по его воспоминаниям у костра, спец по этой части.

Все мои спутники хохотнули, как бы поддакнув тем самым таежному сладострастнику, продолжая какую-то давно начавшуюся беседу. Я вприпрыжку, молодо сбежал к реке, умылся и, утираясь полотенцем, пошел к стану, изумляясь тому, как много могут и умеют бывалые, деловые мужики-таежники, если перестанут пить да возьмутся за дело горячо и хватко, как бы искупая застарелую вино перед всем белым светом и добрыми людьми.

Вокруг стана подметено, белеет клетка колотых дров, почти полная корзина с черемухой, будто угольями расцветенная поздними, в жалице сохранившимися ягодами малины, стоит на пне; в глубоком противне до хруста зажаренная свежая рыба, чай со смородиной клочет в ведре; из углей молодые кедровые шишки выкатаны, будто печеные картохи. В лодке, в сенях, в избушке угоено, лампы заправлены, сети для ночной рыбалки набраны, одежда высушена и портянки, сапоги проветрены, шесты подбиты, мотор отлажен и чист, сами мужики умыты и всем довольны. Сидят у огонька, орешки пощелкивают, и видно по их лицам, как им отрадно привечать гостей на своей любимой реке, в обжитой ими тайге, привечать опрятно, в трезвости и потчевать по-таежному — щедро, широко, с лесной самобраной скатерти.

Наевшись до отвала рыбы, я горстями беру из корзины ягоды, ем любимую сибиряками черемуху, и они опять же радостно удивляются, что человек хоть и в городе живет, хоть и писатель, а лопает ягоду по-нашенски, с костями, не изнежился, значит, вконец, грузноват, конечно, и простудный шибко, но, мол, приезжай почаще, мы тебе быстро пузу спустим и простужаться отучим.

А рыба-то, хариус-то ловился неважнецки. Терял мушки, баловался белячок, коренной же, темный, с сиреневым хвостом и роскошными плавниками, все где-то стоял и все чего-то ждал, высылая вперед своих младших родичей с парнишечьими ухватками и склонностями к баловству, которое нет-нет да и заканчивалось для них неганданною бедою, реденько, но удавалось подсесть и выбросить на берег

харюзка, и на смышленной, обточенной мордочке молодого красавца, какое-то время лежащего неподвижно, в растерянности, на косе, угадывались недоумение и обида.

Солнце клонилось на закат и как бы в нерешительной задумчивости зависло над дальними заснеженными перевалами и вдруг пошло, покатилося золотой полтиной за островерхие ели, за разом осинившиеся хребты. Ненадолго зажегся лес ярким огнем, вспыхнуло от него по краям и зашаяло небо, заиграла река в пересветах, в бликах, в текучих пятнах, ярче обозначились беляки в нагорьях, ближе к реке сдвинулись деревья, теснее сделалось в глуби тайги. Первые, еще не грузные тени заколебались у подножья гор; одна за другой начали умолкать редкие лесные птицы. Все вокруг не то чтобы замерло, а как-то благостно, уважительно и свято приглушило бег, голоса, дыхание.

И в это время, в минуты торжественного угасания дня, вдруг ожила река. Только еще, вот только что пустынный и вроде бы никем и ничем не обжитый, одинокий, заброшенный и как бы даже зябко шумевший Малый Абакан, изредка тревожимый легким всплеском малой рыбки, тронуло легкими и частыми кружками.

Дождь! Откуда?

Нет, не дождь. То рыба молодь вышла кормиться на отмели, за нею двинулась и отстойная, в этом перекате летующая рыба. Закипел, заплескался Малый Абакан, ожили его гремучие перекаты и покатые плесы. За каждым камешком, на каждой струе хлестало, кружилось, плескалось живое население реки, и Малый Абакан, поиспытав и подразнив нас, как бы подмигивал и смеялся яркими проблесками заката, падающего сквозь вершины дерев, с высоты, как это любят делать таежные отшельники, после долгого пригляда доверившиеся гостю и показывающие лишь им ведомые в лесу свои богатства и секреты.

Хариус хватался азартно, бойко, но все-таки играючи — набрался он сил и росту за лето, набитое брюхо его пучилось от предосеннего обильного корма: оглушенным иньями поденком, комаром, мухами, бабочками, жучками-короедами, но больше всего окуклившимися иль повывлазившими из домиков лакомыми ручейниками.

Много их, речных ухарей, сходило с крючка, но и зацеплялись они довольно часто. Поначалу я орал: «Е-эсь!», и напарник мой на берегу вторил: «Е-эсь!» или бормотал раздосадованно: «Сошел, зараза!»

Меж тем время не текло, бежало, мчалось. Сгустились тени у берегов реки, и сами берега сомкнулись в отдалении, тьмою заслоняло воду, сужало пространство реки, перестало реять настоявшееся в лесах тепло, потянуло с гор холодом и поприжало к чуть нагретым за день косам, заостровкам и бечевкам травянистых бережков легкое его, быстро истаивающее дыхание. Начало холодить спину, и только что гулявшая и кипевшая от рыбьего хоровода, плескавшаяся, подбрасывавшая над собой кольцом загнутых рыб река сама утишила себя, поприжала валы в перекатах, смягчила шлепанье их о камня и шум потоков, отдаленный грохот порога — все это слила, объединила она, и ее ночной уже, широкий, миротворный шум слаживал мир на покой и отдых. Вот уж перед глазами лишь клочок переката, и на нем реденько, украдкой проблеснет желтое пятнышко, серебрушкой скатится вниз отблеск горного беляка, отзвук небесного света и с тонким, едва слышным звуком прокатится по каменному срезу.

Но вот и они, последние проблески ушедшего дня, угасли и смолкли. Земля и небо успокоились. И кончился клев рыбы. В почти полной темноте, как бы обнадеживая на завтрашний день, тербнуло раз-другой мушку, и на этом дело удильщиков тоже **кончи-**

лось. И снова это обманчивое свойство горных рек. Малый Абакан вроде бы обездушел, сделался отчужден, недружелюбен и неприветлив, и в водах его, черно прыгающих в черном перекате, вроде бы опять никто не жил, не ночевал, не отстаивался в ямах, в затишье уловов и за камнями.

Ярко вспарывал темноту ночи огонь за прибрежными кустами, подле избушки слышался треск горящих поленьев, смех и говор, на ночную рыбалку собирались выпавшиеся, заранее возбужденные азартным и рискованым делом наши спутники. Кормовой имел прямое отношение к рыбадзору, и у него имелось разрешение на рыбалку двумя плавными мережками.

Ах, как я любил когда-то ночную рыбалку плавными сетками на стремительных горных реках, когда в рычащий, полого под уклон несущийся перекат с занявшимся дыханием выбрасываешь деревянный крест и следом выметываешь узкую, грузилами побрякивающую сеть и, видя лишь ближние наплавки да изредка в проблеске, пробившемся меж туч иль облаков, упавшем с неба на воду, черненький крестик, стараешься держать пльвущую, а то и несущуюся мережку чуть наискось, чуть на пони́з и чтоб не зацепиться за камень, топляк, а нынче и за железину какую либо оборвышь стального троса. Ловчись тогда, рыбак, спасись сам, не опрокинуться с лодкой, не наплаваться в студеной ночной воде, старайся не повесить на зацепе и не оставить сеть реке на память.

И лучше всего, уловистой рыбачить наплавушками предосенней и осенней порой, в глухую ночь и непогоду, когда ожирелая, спокойная рыба скапливается на кормных плесах и стаями стоит под перекатами, лениво подбирая несомый водами корм. И купались и тонули рыбаки с плавными сетками ночной порой, и последний их крик о помощи глушила собой река, не пускала далеко в леса и горы, а те не повторяли ни глоса, ни эха гибнущего, но все еще, пусть уже и редко, жива эта лихая, рискованная рыбалка, требующая ловкости, сноровки, чутья не только на рыбу, но и на зацепы, чтоб вовремя приподнять сеть, к моменту ее сбросить, все еще жив в немногих уже сердцах азарт добытчика, все еще слышен им зов ночной реки и ожидание удачи.

А мне уж не бывать в ночи на реке с наплавушками-мережками, не дрогнуть от мокряди, не клацать зубами от холода, не дрожать от азарта и на утре успокоенно и без всякого уж интереса к добыче не лежать устало возле благостного, теплого костра, греясь и подсушивая одежду, чтобы с рассветом двинуться вверх по реке, к стану, на шестах, медленно, через силу, словно свинцовые, перебрывая их и звякая наконечниками о камень, толкаться и толкаться навстречу бурной воде.

Заслышав шесты еще за версту, высыпят на берег малые ребятишки и женщины в нетерпеливом ожидании и подхватят долбленку за нос, вынесут ее на берег и начнут ахать и восхищаться, готовиться пороть, солить и готовить рыбу, а сами добытчики, еле переставляя от усталости ноги, доберутся до теплой избы, до постели, с трудом стащат мокрые сапоги и рухнут в омут сна, в теплый омут, в глубокий сон без сновидений.

Нет, не бывать уж мне на ночной рыбалке, потеряна еще одна редкая радость в жизни. Рыбачат нынче не с вертких и ловких долбленок, а с гулко бухающих в ночи, неповоротливых железных или дощаных моторных лодок. На них и силы и ловкости надо еще больше, чем в прежние годы с прежней снастью: брякать, стучать и пугать рыбу, без того уже пуганную, не следует, но поворачиваться надо все так же проворно, как и прежде, а зацепов стало больше, рыбы меньше, ловкости же во мне поубавилось, потому что годов и весу прибавилось.

Смотав удочку, я постоял на косе, послушал ночь и реку, зная, что не скоро выпадет мне счастье быть в тайге, на реке, да еще на такой вот пустынной и дикой — свободный художник ведь только в воображении обывателя выглядит таким баловнем судьбы и бездельником, которому только и есть занятие, что развлекать себя и разнообразить жизнь всевозможными удовольствиями, и меж ними, опять же для отрады души, творить что ни то.

Три десятка хариусов, среди которых пяток похожи были на хариусов-становиков, выдернул я на закате солнца, вернее, уже после заката, и был утихомирено счастлив. Спутники мои нарочито громко и понарошку, понял я, хвалили меня — они-то и за рыбу не считали такой улов.

Звякая коваными шестами о камни, трое мужиков спустились в лодке из мелкой речки, и скоро за перекатом сердито взревел мотор, но тут же приглож, и через минуту рык его совсем прекратился, только долго еще доносило из лесов, из-за речных поворотов и мысов комариный вроде бы звон. Он кружился по реке, летел над тайгой и горами, все отдаляясь, отдаляясь, и не тревожил слух, но держал его в напряжении до тех пор, пока не удалился и не утих вовсе.

Напарник мой уже спал на нарах и, проскорготав зубами, внятно сказал: «Ушел, зараза!..»

Похлебав ухи и попив чаю, я долго сидел у притухающего костра, ни о чем не думая, ничем не тревожась. Ну не думать-то совсем, конечно, было невозможно, иначе зачем башка к шее приставлена, да еще набитая современной, учено говоря, информацией. Однако здесь, в ночи, у костра, после рыбалки, думы были легкие, отчетливые, обо всем сразу и как бы вовсе ни о чем, лишь надежда на утренний, совсем удачливый, может, и невиданный клев будоражила мое воображение и волновала сердце.

Я и проснулся, томимый этой надеждой. Костер еще не угас. Собрав в кучу головни, бросил щепок в щаящие уголья, и скоро занялся вялый огонь, зашипел, защелкал, разгораясь.

Все вокруг было в тумане и в сырости, и где-то за рекою, ровно бы в другом месте, в другом свете и на другой земле противно проревел козел. В горах ему откликнулся марал еще не накаленным, не яростным голосом, но в нежных переливах его уже угадывалось приближение страстного гона, свадебной поры и вековых сражений за продление рода и обладание самкой.

Туман, медленно и неохотно поднявшись в полгоры, распеленал реку, но сгустил облака. Как бы подровняв и принизив землю, сделал ее положе и меньше, густые громады белопенных облаков непроглядно и неподвижно легли на горы, и лишь к полудню кое-где продырявило их темными вершинами.

Пришли к стану рыбаки, усталые, мокрые, с осунувшимися от усталости и бессонницы лицами, похвалили меня за то, что я подживил огонь и разогрел чай, жадно погрелись чаем и вчерашней ухой, подсушились и упали на нары. Кормовой глухо молвил уже из полусна, чтоб и я ложился — на реке до обеда делать нечего.

В лодке, разбросанная по отсекам, белела рыба. Бензобак из лодки рыбаки убрали, мотор приподняли, пороть рыбу станут после отдыха.

Я снова вошел в избушку, наполненную храпом и откуда-то густо возникшим, не очень уж лютым, но все еще кусачим комаром, прилег подремать, подумать и тоже уснул и долго потом не мог выйти из вязкого сна, слыша, как ходят и разговаривают мужики. Наконец поднялся и почувствовал, как трудно дышится, как заныли умолкшие было суставы и раны, вяло вышел на люди, к огню, и встре-

тил меня хмурый полудень осевшим серым небом, непросохшей травой и волглой хвоею, морочным безмолвием тайги, приглушенным говором переката на реке, выше которого, на косе, маячила фигура моего напарника с удочкой.

Рыба в лодке была прибрана и подсолена в полиэтиленовых мешках. Сброшенные в воду, краснели рыбы потроха, и в них уже всосались черными головками, в черные же трубочки спрятавшиеся ручейники; намоленный песок на берегу и возле лодки был испечатан следами птиц и какого-то зверька.

Я умылся, пришел к костру и позвал напарника с реки. Он пришел и угрюмо известил: рыба не берет. У огня сидели кругом, я оказался лицом к реке, видел протоптанный в кустах коридорчик и тропку с примятой травой и мохом, упирающуюся в темные камни и в темный бок лодки; вдруг что-то тихо, украдчиво проскользнуло вдоль лодки и мгновенно исчезло за ее бортом — черное, с белой мордочкой. Оно плыло, скользило по камням и, шевельнув травой, исчезало в кустах.

Я замер с кружкой чая, полагая, что это какое-то наваждение, но скоро увидел гибко переваливающегося через борт лодки мокро-го зверька, который уходил в лодку темномордым, а являлся белогрудым.

— Мужики, не шевелитесь, — сказал я, — какой-то зверек! Наверное, выдра, плавает по воде и шарится в лодке.

У костра перестали говорить, есть, шевелиться. Прошло короткое время — и вот он, зверек, возник в воде, скользнул по камням, уверенно перевалился через борт лодки и тут же сделался белорылым.

— А-а, — разогнулся кормовой. — Это норка. Она рыбу из лодки ворует. Я ей сейчас покажу, как тырить чужое!

И кормовой схватил шест, прислоненный к избушке. Я попросил его не трогать зверушку, дать насмотреться на нее, и кормовой, сдержав свой мстительный порыв, сказал, что если это дело оставить так, норка часа за два перетаскает всю рыбу, попрчет ее по кустам, под камнями и пнями, потом будет безбедно жить и питаться. Случалось, она за ночь оставляла полоротых охотников или рыбаков без харчей и добычи — очень смысленная и очень ходовая, проворная и хищная зверушка. Выедает в гнездах яйца, птенцов, птиц, шарится по объедам хищников, но и подле нее много всякой твари кормится: вороны, мыши, колонки; вонять начнет спрятанная рыба или мясо — явится медведь и все подберет подчистую. Жизнь тут не шуточная. Кто кого...

Меж тем норка раза четыре сбегала в лодку, и кормовой наш не выдержал.

— Н-ну уж не-эт! — заблажил он и ринулся с шестом к лодке. — Ты что, курвинский твой род, делаешь, а?! — И захлопал, забил шестом по камням, по кустам. Норка сиганула в чашу, выронив в воду хариуса. — Мотри у меня! — сказал кормовой в заключение, грозно пальцем в лес. — Осенью приплыву, имать тебя буду.

Короткое это происшествие всех взбудоражило, подвесило, и мы вышли на косу в боевом настроении, где и обнаружили след козла, перешедшего речку, затем переплывшего реку и зачем-то сердито оравшего в лесу. Кормовой сожалел, что не был тут, приговорил бы он этого козла — у кормового было ружье для обороны, как говорил он. Однако оборона-то обороной, но дичь, да еще ревушая, по его мнению, тоже не очень должна шляться возле стана и мешать людям думать и спать.

Рыба клевала лишь на одну удочку, брала на крупную тусклую мормышку с привязанными к крючку желтоватыми волосками. Из глубин, со стрежи переката, брал разом и сильно крупный, темный

хариус. Упираясь в струю, бунтарски хлопаясь, изгибаясь в воде и вертясь, он не давал себя вытащить на песок, и один удалец оторвал-таки мормышку, а более ничего рыба не трогала, ни на что не смотрела, и кормовой спросил, что будем делать.

Он еще дорогой говорил, что главная рыба, самый крупный хариус, ленок и таймешата ушли в притоки Абакана — там способней жить в студеной воде, почти не донимает рыбий клещ, больше корма, меньше опасности.

Я сказал, что, может, схожу на речку, что я привычен рыбачить именно на малых речках, где рыба осторожна, но бесхитростна и всегда почти клюет безотказно.

— Так-то оно так, — отвел глаза в сторону кормовой. — Да лето какое? Клеща — гибель, а у тебя противознцефалитной прививки, конечно, нету. Клещ же из-за непогожего лета продержится в тайге, видать, до больших холодов. Кроме того, надо брать мне ружье и охранять тебя.

— От кого?

— Да мало ли...

А, знаю, знаю, рассказывали мне, как обнагел и расшалился в этих местах медведь. В прошлом году не было в тайге кедровой шишки, мало было ягод, потому и приплод зверьков был негуст, жидки выводки боровой птицы — медведь с Кузнецкого Алатау, с Телецкого озера, по перевалам и из-за перевалов ринулся на Абакан, надежные, видать, здесь от веку места в смысле корма. Но и во впадинах Абакана, куда спустился зверь, была бескормица. Медведи не накопили жира на зиму, не залегли в берлоги, стали добывать корм диким разбоем, даже нападали на людей, что случается редко. Один медведь неподалеку отсюда съел охотника, отправившегося напилить в лесу дров, да так съел, паразит и бродяга, что хоронили от человека одну ногу в резиновом сапоге. Лесозаготовителям наказывали не ходить на деляны без ружей и в одиночку — не слушались, похохатывали, и убили медведи трех человек с участка.

Рассказам подобного рода я всегда верю наполовину, но если даже и половина правдива — нечего искушать судьбу. Тем более что своими глазами видел множество следов и порух на берегу, наделанных медведями; в тайге — развороченные коряжины и муравейники, раскопанные бурундучьи норки с запасами, сломанные вершины и ветки кедрочей — медведь ел шишки. По наблюдениям таежных знатоков, зверь, гонимый голодом из-за перевалов и хребтов, — тот, что явился сюда в прошлом году, — дожив до кормного лета, с кормных мест домой, судя по всему, не собирается.

Густо матерого зверя стало по Абакану, а охотник какой нынче? Все больше по пташке, — вон выводки крохалей без мам и пап мечутся по реке, — да с шестом на норку иль с капканишком на соболя, с малопулькой на белку тоже не дрейфят. Орлы! Богатыри! А зверь умен. Видит: нет ему преград, возле станов шарится, по избушкам лазит. У одного охотника хлеб и зимние запасы съел, весь лес целлофаном загадил — харчи были в целлофановых мешочках.

— Вот такие вот дела.

Воздух загустел, сделался тяжелым, дышалось трудно, спина моя и лоб в испарине, если ударит непогода, а она скоро ударит, чуял я, в избушке мне несдобровать с моей хронической пневмонией, и плыть по реке, мчаться встречь дождю и снегу — это, значит, прямо из тайги да в больницу.

— А что, если двинуть домой, мужики?

— Конечно, домой! — загалдели мои спутники. — Кое-что на первый раз увидели да изловили. Вот осенью приезжай, — приглашали они, проворно таская багаж в лодку. — Когда рыба из речек покатится, когда шишка поспеет, глухарь клевать камешки на берег выйдет, рябчик запищит, козел заблеет, марал заорет...

Я знал, не выпадет мне времени в этом году побывать еще раз на Абакане, но горячо сулился и надеялся приехать и верил: вдруг и в самом деле чудо какое занесет меня сюда.

Дорогой сорвали мы шпонку у винта в перекаате, и пока кормовой возился с мотором, спутники мои вышли из лодки — пособирать шишек, сроненных ветром или птицей. И пока они бродили по прибрежному лесу, лакомились спелой шипицей, мелкой брусничкой, глухаринной красной бровью украсившей мшистый навес бережка, я, оглядевшись, увидел под красной-то бровкой, в наносном хламе крепкую спелую ягоду и узнал землянику. Принесло льдом, притолкало сюда полоску земли величиной с полотенечко, с корешками цепкой ягоды, и она долго укреплялась на новом каменном месте, поздно зацвела и вот все-таки вырастила, вызорилась в конце августа ягоду с тем неповторимым, раннолетним запахом, который ведом деревенским людям. С детства, с рождения самого помнится он, не глухнет в памяти, не гаснет в глазах. Ягодки качались на поникло-жидких стебельках, и среди серых камней они были так яркие, так неожиданны, что невольная умиленность или нежность входила от них в душу, надежда на скорую будущую весну, на нечаянные радости. Легко отделялись самые спелые ягоды от звездочек, белые вдавши сочились теплой, сладкой слюной, кожа ладони чувствовала и колкую тяжесть и шершавость ярких-ярких золотинок по округлым ярким бокам. Смоет весной, утащит льдом этот зоревой доскуток, все еще застенчиво белеющий двумя-тремя звездочками, и укрепится ль он в другом месте, на каменистом берегу? А может, останется здесь, меж камней, корешок-другой всеми любимой ягоды и усами прокрадется меж каменьев вверх, поймается на осыпь, вылезет в лесную прель и вытянет за собой ягодный веселый хоровод, и закружится он красной полянкой вместе с костяникой, брусничкой и робким майничком?

А над всем этим спелым ягодным местом, мохнатою толпою на берег выскочив, будут шуметь кедрачи, густо усеянные крупной шишкой с уже налитым орехом в крепнущей, белой пока скорлупке, и в голых камнях ершисто и упрямо, с крепким, как бы ножницами резанным листом, будет спеть и ядреным соком наливаться кызырган.

Но скоро поспеет орех и начнут трясти кедрач, ломать, бить колотами, валить пилами. Кедрачу, растущему большей частью на глазу, под рукой, достанется от налетчиков прежде всего, и вытопчут те шишкой земляничную полянку, выдернут с корнем кызырган, спалят костром мшистый берег с красной бровью. «А мы просо вытопчем, вытопчем...» — когда-то в шутовой хороводной песне пели мы, да уже не сеют просо в этих местах, и дети наших детей уже не поют про просо песен, а весело и, порой, бездумно уродуют тайгу.

Вот один, другой, третий десяток километров идем на узкой, длинной, вместительной лодке по Абакану, а по бокам-то все косточки голые, лесные. Это работа здешних заготовителей — они рубят и возят на берег в основном кедр, пустоствольный, мохнатый, оцетиленный ломаными сучьями, и вместо волоков и дорог часто используют горные речки — прет тяжелая машина или трактор ломаные, обезображенные деревья, прет напропалую по дну, спрямляет повороты, снимает островки, мыски, шиверы и заостровки, сметает на пути всякую речную роскошную растительность и всякую живность по берегам и в воде.

Кромки берегов сплошь в нагромождениях горелых хлыстов и лесного хлама. Мало, очень мало удастся выпилить путевых бревен из перестойного, огнем, смывами и оползнями порченного и битого леса. Все остальное в огонь, в дикопламенные, огромные костры.

«Да кабы горело!» — жалуется мои спутники.

Выгорает хвоя, сучки и сучья, лесная лось и мелочь, деревья же, не пошедшие в штабеля, черными, обугленными стволами целят в небо, что пушки дулами, опаленными пороховым дымом. Местами ледоходом натащило земли, натолкало камешника меж порушенных и обгорелых останков леса; нанесло и кореньев и кустов, накрошило семян дудочника — новый культурный слой из кустов смородинника, вербача, краснотала, дудочника и разнотравного бурьяна вырос на горелых кручах. Остерегись, путник, влезать на лохматый бугор за ягодой — провалишься меж кустов, сквозь еще жидкие сплетения травы и кореньев, в современную преисподнюю из черно-синих, все еще угарно воняющих головешек, поломаешь ноги или руки и без посторонней помощи не выберешься из этого месива, бывшего когда-то тайгой.

Когда мы подплывали к поселку, в лицо нам ударили первые капли дождя и вытянуло с перевалов первые белые нити липкого снега. Вовремя мы убрались с Абакана, вовремя!

Название реки, слышал я, в переводе с хакасского на русский язык означает Медвежья Кровь. Спасибо спутникам, спасибо реке, погоде, времени еще и за то, что никого мы не обидели, нигде не напакостили, ничьей крови, в том числе и медвежьей, не пролили. Кормовой спрятал ружье до случая где-то в тайге, в известной ему ухоронке при слиянии Большого и Малого Абакана. И оттого так прозрачны, так легки мои воспоминания о летней поездке в дальний край, в незнакомое место. А если и проскальзывает в них налет грусти, то это уже от возраста, от непрестанных дум о будущем нашем житье.



ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ

★

МАКСИМ ТАНК

Обелиск

Стоит обелиск
У шумливого жита:
«Никто не забыт
И ничто не забыто...»

А плуг, что ни год,
Подымает с опаской
Патрон с чьим-то именем,
Ржавую каску,

А то иссушенную
В смертную жажду

Баклагу, что выронил
Кто-то однажды.

Видать, потому
На былом поле боя
И ныне колосья
Сбираем мы с болью.

Звенят колокольчики
С васильками
Тревожными в сердце
Колоколами.

* *
* *

Чтобы посадить дерево,
Нужно иметь руки,
Привыкшие к лопате
И чуткие к молодому саженцу,
Нужно быть влюбленным в жизнь,
В детский смех, забавы, игры
И слышать пенье птиц,
Которых, может, ты и не увидишь...

И совсем ничего этого не нужно,
Чтобы срубить дерево.

Перевел с белорусского ПЕТР КОШЕЛЬ.

НИЛ ГИЛЕВИЧ

Судьба и песня

Я повидал чужие города.
Там памятники есть неправым войнам.
И оставаться я не мог спокойным,
Мне вспоминалась отчая беда.

Судьба моей земли была крута.
Ту красоту, что предки создавали,
Казнили палачи огнем и сталью,
Калечили, сносили без следа.

Прочь уходила нелюдей орда,
И все из пепла воскресало снова

В обличье камня и величье слова.
...Но повторялись грозные года.

Вновь присягали прадеды тогда:
«Сто раз умрем, но не уроним славу,
Мы верим в слово, и в свою державу,
И в завтрашние наши города!»

Прикрыт щитом наш кров, наш день труда,
Народную судьбу не переспоришь.
Откуда ж в песне проступает горечь?
Горька столетий память... И горда.

Болгарскому другу

Ивану Давыdkову.

Ты в парке Вазова, где бьют фонтанчики,
Хоть и владеешь белорусским слабо,
Читал, на память зная, строки Панченко —
«Поэта европейского масштаба».
Я не забуду эту ночь весеннюю,
Софии задремавшие кварталы.
Давай, Иван, продолжим наши чтения.
Уже я место выбрал — сад Купалы.

* * *

«Поднимись над бедами, над болью,
Если ты не слабый человек».
Я бываю слабым. Поневоле
Набегают слезы из-под век.

Над своей бедой — случилось в жизни —
Поднимался. Но не дай мне бог,
Чтоб над бедами моей отчизны
Я когда-нибудь подняться мог.

* * *

Два-три дрозда на целый лес
Беседуют между собою,
Как на безмолвном поле боя
С бойцом израненным боец.
— Ты жив, браток?
— Пока живой.

Но тишина гнетет мне душу.
Мне берестянку бы послушать
И перекликнуться с желной.
Ведь мы одни на целый лес...
Зато — технический прогресс!

* * *

Счастливый, счастливый, безмерно счастливый поэт.
— Не надо мне, — молвит, — ни замка, ни райского сада.
Достаточно мне лишь улыбки любимой и взгляда,
За это в стихах всю планету дарю ей в ответ.

Наивный, наивный счастливец влюбленно поет,
Слагает он оды, улыбкой пленен и глазами.
Но потчевать милую только стихами? (Подумайте сами!)
Ведь ей-то мерещится райского яблока мед.

Перевел с белорусского ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ.

ПИМЕН ПАНЧЕНКО

Девчата моют танк

Девчата моют танк
У Дома офицеров.
Стоит герой атак
На постаменте сером.

Давно закончен бой,
И он, остыв от битвы,
Стал славой городской,
Стоит, ветрам открытый.

Девчата моют танк,
Смеются беспечально,

Смеются просто так,
А солнце — за плечами,

И птицы невпопад
Кричат про день искристый,
И фотоаппарат
Блеснул в руках туриста.

А сбоку на девчат,
Прищурившись от света,
Глядит былой солдат,
Горевший в танке этом...

* * *

И неудачливый и грешный,
Шепчу опять себе: «Держись!»
Живу и раздаю неспешно
И душу, и стихи, и жизнь.

Я благодарен ей за грозы,
За то, что закипала кровь,
Земле — за хлеб, леса и розы,
Семье — за чуткость и любовь.

Спасибо небесам за подгни
В густом сиреневом дыму...
А вспомнят ли потом, не вспомнят, —
Я не волнуюсь. Ни к чему.

АЛЕКСЕЙ ЗАРИЦКИЙ

* * *

Спутнице жизни Аркадия Кулешова

Звезда над памятью встает,
Не нужно свечек.
Мне утро помнится твое,
Оксана Вечер...

Но с красотой молодой
Прощанье вскоре:
Она с весеннею водой
Сплывает в море.

Да ведь и зрелая краса
Светить устанет
И, словно на цветах роса,
Легко растает.

Я помню ясный полдень твой
И наши встречи.
Давай же посидим с тобой,
Оксана Вечер...

Друзей припомним тесный
крут,

Что был когда-то,
Нас породнил твой лучший
друг,

Он стал мне братом.

Годами-листьями шурша,
Идет твой вечер.
Ты слышишь этот мягкий шаг,
Оксана Вечер?..

А лучший друг давно уж там —
За гранью света.
Но он оставил песню нам
И боль поэта.

Ушел навечно, и помочь
Не смог я брату.

Не упросить густую ночь,
Мой день — к закату.

Я только шепот, что возник
В тиши свиданья,
Я только журавлиный клик
В час расставанья.

Я лишь поникшая лоза
Над плесом синим.

Я — материнская слеза
Над павшим сыном.

Я только эхом стать успел
Людского веча,
Еще не песня я — запев,
Оксана Вечер,
Оксана Вечер...

ПЕТРО ПРИХОДЬКО

* *
* *

Дороги в безвестные вечные дали
Ведут и ведут нас от края до края.
Сегодня мы тянем в тайге магистрали,
И дикую чащу весна омывает.

Нет жизни конца — философию эту
Своею судьбой подтвердить нынче можно.
Байкало-Амурская трасса планету
Украшит собой на былом бездорожье.

Гляди, от далекого Уренгоя
Еще одна трасса на запад кладется,
И скоро в местах векового покоя
Пульс бурного времени четко забьется.

Сквозь горы и чащи, сквозь реки, озера...
Нет жизни конца — вот такая дистанция!
Летим из простора в другие просторы,
И всюду открыты для нас семафоры
На каждой станции,
На каждой версте —
Не сочтешь, как их много! —
И путь согревается лаской людскою.
И чувствуешь всю свою душою,
Что жизнь продолжает дорога, дорога.

ВАСИЛЬ ЗУЁНОК

Огонь

С природой, безграничною и вечной,
Я чувствую родство через огонь.
В единстве — ни границ, ни берегов,
А он — как обещание на встрече.

Я космос и пылинка. И меж нами
Один огонь. Как вечности исток.
Огонь возносит — за витком виток —
Хатынскими гудит колоколами.

Огонь творит, и он же разрушает.
Стихию искр поберегись будить.
Ум спрашивает: быть или не быть,
И все огонь, один огонь решает.

Сгорает атом и сгорает ясень,
 Чтоб вновь родиться, тайною маня.
 Натура вечная, а форма от огня,
 Жизнь движется, и смысл ее прекрасен.

Огонь возносит и огонь свергает,
 Его пути то громки, то тихи.
 Но в необъятном полыме стихий
 Жизнь борется и в битве побеждает.

Сгорает все. И мы сгорим упрямо,
 С природою сольемся, чтоб опять
 К истокам возвратиться и начать
 Все сызнова от Евы и Адама.

Мы выросли богами на планете,
 Пробыли мыслью звездную броню.
 И все ж... и все ж поклонимся огню,
 Чтоб он людьми оставил нас на свете.

АНАТОЛЬ ВЕРТИНСКИЙ

* * *

А жизнь дается, чтобы жизнь творить,
 чтоб светло-золотую ее нить
 и дальше вить — любовью, делом либо
 тем словом, что от дел неотделимо.
 Творить!

А жизнь дается, чтобы жизнь творить
 надеждой, правдой, доблестным стремленьем
 и дружеским негромким откровеньем,
 когда печаль захочешь разделить.
 Творить!

А жизнь дается, чтобы жизнь творить,
 и как желанье это животворно,
 как дышит глубоко, легко и гордо, —
 дай бог его тебе не позабыть.
 Творить!

Да, жизнь дается, чтобы жизнь творить.
 Не просвистеть на ветер, не пропить —
 Творить!

СЕРГЕЙ ЗАКОННИКОВ

Поет жито

Максиму Танку.

И солнцу и ветру открыта
 Полей белорусских душа.
 Поет колосистое жито.
 Колышет знакомый большак.

Подхваченный песней-волною
 Над руслом колхозных дорог,

Горячей дыша синевою,
 Плывет, трепеща, василек.

Вот песня все тише и тише,
 Все ярче и ярче закат,
 И, кажется, ясно я слышу,
 Как предки мои говорят:

«Нигде не найдешь ты покоя,
Без Родины жизнь, словно дым,
И только с отцовской землею
Ты будешь всегда молодым».

В той песне, для каждого новой,
И память, и свет, и любовь...
Отечества житное слово
Звучит меж раздольных хлебов.

Благодарность

Года, спасибо вам за чудо
Обыденных неспешных дней,
За то, что пасынком не буду
Для той земли, для тех людей,

Где сила рук и сила духа
Не ищут истины во зле,
Где хлеба черного краюха
Мне солнцем светит на столе.

Которым выше нет богатства,
Чем пашня и луга в росе,
Где гордость человеком зваться
Оправдывают жизнью всей,

В день завтрашний ищу я броду,
И каждый миг отдать готов
Поклон — наследию народа,
Где сплав надежный дел и слов.

Перевел с белорусского ПЕТР КОШЕЛЬ.

Н. ТУЛУПОВА

Приданое

Свою невесту под венцом,
Наряднее купавы,
Сын не привел в отцовский

ДОМ —

Привел к Кургану славы.
Светила празднично фата
Их свадебному шествию.

Кургана славы высота
Ждала его торжественно.
Солдаты, спасшие весну,
Ушедшие в предания,
В гранитных касках тишину
Держали, как приданое.

Перевел с белорусского Ю. САПОЖКОВ.



ВЛАДИМИР КАРПОВ

★

ПОЛКОВОДЕЦ

Документальная повесть

*Часть третья **

ПОСЛЕДНИЕ СРАЖЕНИЯ

Ожидание

Февраль 1944 года в Москве был снежный. Земля и небо одинакового блекло-серого цвета: низкие облака и грязный от печной копоти снег. Светает поздно, темнеет рано. Дни тусклые, недолгие, будто и нет их совсем, пасмурное утро переходит в пасмурный вечер. И долгая, черная ночь, только плавают во мраке, как светлячки, подфарники дежурных машин.

Иван Ефимович Петров жил в гостинице «Москва». Ждал решения своей судьбы. Делать было нечего. На душе у него так же, как за окном, было холодно и пасмурно.

Совсем недавно мечтал хоть одну ночь поспать по-настоящему — с вечера до утра. Не получалось. Целыми месяцами в боях. Спал урывками. Чаще в машине, при переездах из армии в армию. И вот времени сколько угодно, а спать не хочется. Точнее — не может. Оказывается, безделье это не отдых. Для отдыха нужен душевный покой. А его нет.

Не первый раз жизнь генерала делала опасный поворот. Но всегда обходилось. И начинался период новой бурной напряженной деятельности. Но так бывало раньше. На этот раз едва ли кончится благополучно — он снят с должности, понижен в звании, что хорошего может его ждать?

И все же хотя неизвестность, таившая, возможно, серьезные последствия, была здесь, рядом, мысли его уносились на фронт, в Крым, где он оставил Приморскую армию, близких, дорогих людей. Петров внимательно слушал последние известия по радио, читал газеты. Из беглых газетных фраз пытался понять, что происходит далеко на юге. Завершился февраль, начался март, но о крупных боевых действиях в Крыму слышно ничего не было. Неужели назначенный вместо него генерал А. И. Еременко решил все перестраивать и перекраивать? На материке Украинские фронты уже приближались к румынской границе, немецкие войска на Крымском полуострове отрезаны от своих основных сил. Почему же медлят под Керчью? Ведь к тому моменту, когда Петрова сняли, его Отдельная Приморская армия, по существу, была уже готова к этой большой операции...

* Первая и вторая части повести «Полководец» напечатаны в «Новом мире» в 1982 году, №№ 5, 6 и в 1983 году, №№ 11, 12.

Не оставляли Ивана Ефимовича и мысли о своей собственной судьбе. Иногда он подходил к окну, подолгу стоял, глядя на Кремль, Совсем рядом, через площадь, высились красные стены и башни, выглядывали из-за них зеленые крыши домов. Наверное, там Сталин, в памятном для всех, кто в нем побывал, кабинете, занимается очень важными, неотложными делами. Петров понимал — Верховному не до него. Но в какую-то минуту в этом кабинете будет произнесена фамилия Петрова, затем Сталин скажет несколько слов, и они-то и решат судьбу генерала. А что может сказать Сталин? Петров вспоминал свои тревожные думы, когда сидел в приемной Сталина и смотрел на тяжелую дверь, за которой порой так круто поворачивались судьбы некоторых маршалов и министров...

Иван Ефимович много курил и засыпал только под утро.

Однажды раздался, как показалось Петрову, особенно резкий и требовательный звонок телефона.

— Генерал Петров слушает.

— Вы назначены командующим Тридцать третьей армией, приезжайте за предписанием.

Сначала бросило в жар. Затем словно огромный груз с плеч свалился — назначен, значит, снова нужен! Но где эта армия — на севере, на юге? Какие перед ней стоят задачи? Куда идти за предписанием — в Ставку, Генштаб, Управление кадров? Вопросы быстро пронеслись в голове, но над всем витало главное, облегчающее — томительное ожидание окончилось! А в телефонной трубке давно уж пикали короткие гудки...

Для того чтобы читателям была ясна общая картина и место 33-й армии на фронте, коротко напомним, каково было положение наших войск ко времени нового назначения Петрова.

Битвами под Курском и за Днепр завершился коренной перелом не только в ходе Великой Отечественной, но и вообще всей второй мировой войны. Стратегическая инициатива окончательно закрепилась за Красной Армией.

Наши войска в предыдущих боях показали, что их возможность сокрушать врага возросла, что моральный дух бойцов, несмотря на все потери и жертвы, укрепился. Героическими усилиями тружеников тыла наша промышленность резко увеличила производство всего необходимого для фронта. Учитывая все это, Ставка решила не давать врагу передышки после нашего осеннего наступления, бить его без паузы на всем протяжении советско-германского фронта.

Выполняя поставленные задачи, зимой 1944 года на юге фронты продвинулись более чем на двести километров, окружили и уничтожили под Корсунь-Шевченковским крупную группировку врага, освободили города Житомир, Кировоград, Ровно, Луцк, Николаев, Киров Рог и тем самым создали условия для дальнейших наступательных операций.

На севере враг был отброшен от Ленинграда, освобожден древний Новгород, наши войска вступили на землю Эстонской республики.

А в центре огромного советско-германского фронта больших успехов достичь не удалось. Здесь должны были наступать войска 1-го Прибалтийского, Западного и Белорусского фронтов. И они наступали, но решающих успехов не добились.

Вот здесь, в составе Западного фронта, и находилась 33-я армия, которой предстояло командовать Петрову. А я, в те дни войсковой разведчик, был рядом, в 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта, которым командовал генерал И. Х. Баграмян.

Войска нашего фронта в январе 1944 года вели тяжелые наступательные бои, стремясь окружить Витебск, превращенный гитлеровцами в важный узел обороны на северном крыле группы армий «Центр», которой командовал генерал-фельдмаршал Эрнст Буш.

В «Истории второй мировой войны» так сказано об этих наших боях:

«В ходе кровопролитных боев войска правого крыла фронта (1-го Прибалтийского.— В. К.) прорвали оборону противника севернее Витебска, освободили Городок — важный узел железных и шоссейных дорог, ликвидировали городокский выступ вражеского фронта, глубоко вдававшийся в расположение советских войск, разгромив при этом более шести дивизий противника. Развивая успех, войска фронта вышли на ближайшие подступы к Витебску, перерезали железную дорогу Полоцк — Витебск и охватили с северо-запада витебскую группировку врага. Своим наступлением они способствовали успеху соседнего 2-го Прибалтийского фронта на невельском направлении, еще более обострили положение на стыке вражеских групп армий «Центр» и «Север»...» (1, стр. 135)*.

Я привожу такую длинную цитату потому, что в результате боевых действий, о которых здесь говорится, впервые за годы войны я оказался рядом с Иваном Ефимовичем. Мы не встречались с ним, я даже не знал, что он командует 33-й армией, а если бы и знал, то едва ли окопному старшему лейтенанту из соседней армии удалось хотя бы повидаться с генералом Петровым. Но все же косвенно если не я сам, то результаты моей работы помогли и ему, о чем я расскажу дальше.

Западный фронт, в который входила 33-я армия, был левым соседом 1-го Прибалтийского фронта. Конфигурация фронтов сложилась так, что удобнее для управления было передать нашу 39-ю армию в состав Западного фронта, что и было сделано. С 20 января по 24 апреля 1944 года наша 39-я армия под командованием генерала Н. Э. Берзарина, будущего первого советского коменданта Берлина, находилась в составе Западного фронта. Примерно в это же время — в марте и апреле 1944 года — Петров командовал 33-й армией.

Чтобы конкретно представить себе деятельность И. Е. Петрова на этом посту, я разыскал одного из его сослуживцев по 33-й армии, человека, близкого к Петрову и широко осведомленного. Сейчас Илларион Авксентьевич Толконюк генерал-лейтенант в отставке. После войны мы с ним встречались не раз, я бывал в тех округах, где он занимал должности начальника штаба и заместителя командующего.

Илларион Авксентьевич крепок, плечист, немного располнел и поседел, но энергия и подвижность сохранились в нем по сей день. Оперативная работа, несомненно, накладывает на человека свой отпечаток, а Толконюк всю войну прошел начальником оперативного отдела армии. Кто работал в штабах, знает, какая это ответственная, беспоконья и суматошная должность.

Илларион Авксентьевич еще до войны начинал писать стихи, и вот после увольнения из армии, на покое, опять занялся поэзией, да не просто так — для себя, у него вышло несколько сборников стихов. Поэтому и творческие дела нас сводили не раз. Но работая над главой о пребывании Петрова в 33-й армии, я специально навестил генерала Толконюка и стал его расспрашивать. Как бывает у людей, много лет прослуживших в армии, у нас оказалось немало общих знакомых, а это всегда сближает собеседников.

— Где находилась Тридцать третья армия и какие бои она вела ко дню назначения Петрова? — задал я первый вопрос.

— В то время мы вели трудное наступление на Витебск, армия понесла большие потери еще в предыдущих боях и, обессиленная, успеха не имела. Командующий армией генерал-полковник Василий Николаевич Гордов до назначения в нашу армию командовал Сталинградским фронтом. Когда мы узнали о прибытии Петрова — тоже бывшего командующего фронтом, Северо-Кавказским, офицеры да-

* Ссылки вынесены в конец повести (см. № 9); в скобках указаны порядковый номер издания и страница, с которой приведена цитата.

же пошучивали: «Наша армия вроде штрафной». Гордов не был виноват в неудачах, постигших Тридцать третью армию. За последние месяцы она начинала несколько операций, но все они не имели успеха, потому что готовились наспех, без достаточного обеспечения артиллерией, боеприпасами.

— Кто входил в руководство армии?

— Член Военного совета у нас был генерал Бабийчук Роман Павлович — старый опытный политработник. Начальник штаба генерал Киносян Степан Ильич. Начальник разведотдела полковник Ермашкевич Борис Кирикович.

— Я знал Киносяна, Степан Ильич служил после войны вместе с Петровым в Туркестанском округе, был начальником штаба. А Ермашкевича встречал в Прикарпатском военном округе и в штабе Сухопутных войск... Так что обоих хорошо знаю. А как выглядел Петров, когда прибыл к вам?

— Это был статный, представительный человек в пенсне. Одет он был в новую генеральскую шинель, папаху. Правда, на следующий же день после приезда он сменил эту новую шинель на свою старую кожаную куртку, в которой его видели в боях на Кавказе. Держался Иван Ефимович спокойно, никаких признаков горечи после снятия и понижения в звании. Сразу же занялся работой, стал знакомиться с обстановкой, с командирами соединений.

Раньше я генерала Петрова лично не знал и поначалу старался понять его характер, требования и подход к делу. Первое знакомство началось с того, что новый командующий попросил подробно доложить ему о положении и состоянии войск армии, с оценкой ее боевых возможностей. Я докладывал в присутствии начальника штаба и члена Военного совета, с которыми он беседовал еще до моего прихода. Петров слушал внимательно, не перебивал. Затем высказал несколько своих соображений о работе штаба, потребовал от оперативного отдела, чтобы он не занимался излишней опекой и не подменял подчиненные штабы. Его требования во многом отличались от прежней нашей практики, но чувствовалось — Петров убежден в правильности и полезности того стиля работы, о котором говорил.

Не знаю, как он изучал других ближайших помощников, а меня, я это сразу понял, испытывал на конкретных делах. Вот один пример, как это он делал. Однажды ночью, когда я спал и свет в блиндаже не горел, раздался телефонный звонок. Говорил командарм. Его вызывали в штаб фронта, он потребовал к утру подготовить нужные ему справки, перечислив их более десяти. Не имея возможности записать в темноте, я старался все точно запомнить. Справки были подготовлены в срок, но когда я их по очереди выкладывал на стол, генерал вдруг строго спросил: «Зачем вы мне даете справку об укомплектованности рот? Она мне не нужна». И тут же весело посмотрел на меня и сказал: «Перестарался? Ну ничего». Позднее не раз внезапно задавал мне вопросы, явно проверяя мою осведомленность даже в тех делах, о которых по своему служебному положению должны докладывать другие лица. Например, сколько боеприпасов в каждой дивизии или сколько на каком участке противотанковых орудий.

В отличие от генерала Гордова новый командарм не требовал от начальника оперативного отдела докладывать ему предложения по тем или иным вопросам, хотя порой советовался. Вскоре я убедился — Петров до тонкости знал и любил штабную службу и при случае сам отработывал важные оперативные документы. Мы, штабники, при всем желании не могли найти недостатков в них. Как-то в период короткого боевого затишья генерал задумал провести командно-штабное учение в одной из дивизий, находившейся в резерве. Он дал мне указание подготовить для него карты и справки, сказав, что план проведения учения разработает сам. Меня это удивило, и я попросил не отбирать хлеб у оперативного отдела и не обременять себя. Петров

ответил, что не сомневается в способностях работников штаба, но предпочитает лично готовить материалы учения, ибо сам руководитель лучше воплотит в разработку свои идею и замысел. «Я не провожу учений по чужим разработкам»,— сказал он.

Признаться, в душе я почувствовал обиду, посчитав, что командарм не доверяет нам не такое уж сложное дело. Чтобы показать ему, что на нас, операторов, он может в таких делах положиться, я быстро в своем оперативном отделе занялся этим же делом. Через двое суток я положил на стол командующему полную разработку учения, попросив просмотреть на всякий случай: авось пригодится. Иван Ефимович, только начавший работу над планом, удивился быстроте разработки материалов и пообещал ознакомиться с ними. Через несколько часов он вернул мне мой план учения, утвержденный без поправок и замечаний. «Будем проводить учение по вашей разработке,— сказал он при этом.— Вы назначаетесь начальником штаба руководства».

Учение прошло спокойно, без каких бы то ни было осложнений. С той поры новый командарм перестал меня испытывать и относился ко мне с полным доверием.

— Какую операцию вы тогда готовили?

— Не готовили, а проводили. Наступали на Витебск. Это было наступление, в успех которого мы сами не верили. Не было сил, армия выдохлась. Но был приказ наступать, и мы его выполняли.

— Неужели в штабе фронта не видели бесполезности ваших усилий?

— Там все видели и все понимали, поэтому и приказывали. Дело в том, что южнее и севернее нашего Западного фронта другие фронты наступали, и вот мы своими действиями должны были не дать противнику возможности перебросить туда резервы из группы армий «Центр». Эту задачу мы и выполнили.

— Был ли какой-то более широкий замысел у Петрова?

— Он нам об этом не говорил. Но, думаю, он стремился, выполняя приказ о наступлении, одновременно восстановить силы армии и по-настоящему ударить на Витебск. Петров очень много времени уделял обучению войск в тылу. Прибывающее пополнение не распылял, а накапливал. И учил. Настойчиво и последовательно.

— Какие это дало результаты?

— Не успел он реализовать свои планы.

— Почему?

— На Западный фронт в первой декаде апреля прибыла комиссия Государственного Комитета Обороны, в ней были Маленков, Штеменко, Щербаков.

— Представительная комиссия! Такую посылают при очень серьезных упущениях. Что же разбирала эта комиссия?

— Она занималась деятельностью Западного фронта. Я уже говорил: соседние фронты наступают, а мы топчемся на месте или ползем еле-еле вперед. Комиссия поняла, что мы не виноваты — не было у нас достаточно сил, но все же вскоре после ее возвращения в Москву была издана директива Верховного Главнокомандующего, согласно которой Западный фронт расформировывался и создавались два новых фронта — 2-й и 3-й Белорусские. Командующим 3-м Белорусским назначался генерал Иван Данилович Черняховский, а 2-м Белорусским — генерал Иван Ефимович Петров. Нам жалко было расставаться с нашим командармом, за короткое время всем пришлась по душе его строгая требовательность, подкрепленная большим опытом и высокой образованностью...

Хочется обратить внимание читателей на выводы и предложения комиссии ГКО, и особенно на выбор кандидатуры командующего новым фронтом. Западный фронт расформирован, остались без долж-

ности его командующий, заместители. Кроме них, кандидатами на пост комфронта могли быть командующие армиями, детально знавшие обстановку и войска на этом участке. Я уж не говорю о том, что в резерве Ставки, наверное, было немало достойных кандидатур. Но по предложению комиссии ГКО назначили Петрова.

Это с несомненностью свидетельствует о том, что Петров пользовался большим авторитетом, его талант и знания высоко ценились партией и военным руководством, — ведь выбор этот сделала смешанная комиссия, состоящая из партийных и военных деятелей. Последнее слово, конечно же, было за Сталиным, и то, что он утвердил кандидатуру Петрова, еще раз доказывает: Верховный, несмотря ни на что, все-таки высоко ценил способности Ивана Ефимовича. Учитывались при этом, наверное, и те трудности, которые неизбежны при организации нового фронта, и, главное, те крупные задачи, которые — в перспективе — командующему этим фронтом придется выполнять. «Опальные» же, как правило, работают с удвоенной энергией! А может быть, стала очевидна и несправедливость снятия Петрова? Потому что только в эти апрельские дни, когда работала комиссия ГКО, на юге наконец была освобождена Керчь. Прошло больше двух месяцев после того, как Петров был отозван с окраины этого города. Вот сколько времени понадобилось, для того чтобы преодолеть оставшиеся несколько сот метров до центра Керчи и двинуться наконец в глубь Крымского полуострова!

В общем, высокое назначение состоялось. Справедливость вроде бы взглянула в сторону Петрова, но пока только взглянула, полностью не повернулась — звание генерала армии Петрову восстановлено не было.

Командующий 2-м Белорусским фронтом

В апреле, к тому дню, когда генерал-полковник Петров был назначен командующим 2-м Белорусским фронтом, общая линия советско-германского фронта выглядела так. На юге соединения Красной Армии вышли на границу Румынии и уже нацеливали свои удары на Бухарест. Их соседи справа отбросили гитлеровцев от Днестра и подступили к предгорьям Карпат. На севере, полностью освободив Ленинград от блокады, наши войска вышли к Чудскому озеру, Пскову и Новоржеву. Таким образом, между этими флангами, продвинувшись далеко на запад, оставался огромный выступ в сторону Москвы. Его называли «Белорусский балкон». Передняя часть этой дуги проходила по линии городов Витебск — Рогачев — Жлобин и находилась не так уж далеко от Москвы.

Гитлеровские части в этом выступе (это была группа армий «Центр», в которую входило более шестидесяти дивизий) преграждали советским войскам путь на запад. И кроме того, фашистское командование, располагая там хорошо развитой сетью железных и шоссейных дорог, могло быстро маневрировать и бить во фланги наших войск, наступающих южнее и севернее этого выступа. С него же авиация противника наносила бомбовые удары по советским группировкам на севере и на юге. Не исключена еще была и возможность налетов на Москву.

В то же время этот выступ и сам, благодаря своему положению, находился под угрозой наших фланговых ударов с юга и с севера и, следовательно, под угрозой окружения. Но для того чтобы осуществить окружение такого масштаба, нужны были огромные силы. Советским войскам для этого надо было разгромить в Прибалтике группу армий «Север», на Украине группу армий «Северная Украина», и только после этого можно было охватить с двух сторон группу армий «Центр».

Гитлеровское командование предвидело такой ход наших действий. Генерал-фельдмаршал Модель, возглавлявший группу армий «Северная Украина», например, категорически утверждал, что наступление русских начнется через его левый фланг ударом под основание «Белорусского балкона». И Модель не слишком ошибался. Это направление действительно было очень выгодным для нас. С ликвидацией «Белорусского балкона» советские войска не только уничтожили бы одну из крупнейших групп армий «Центр» и освободили бы многострадальную Белоруссию, находившуюся три года в оккупации, но и, освободив Польшу, вышли бы кратчайшим путем к границе фашистской Германии и перенесли боевые действия на ее территорию.

Именно поэтому советское Верховное Главнокомандование приняло решение осуществить сложнейшую операцию и начало подготовку к ее проведению. Одним из мероприятий такой подготовки и было разукрупнение Западного фронта, на котором шла речь выше, разделение его на 2-й и 3-й Белорусские фронты, что повлекло за собой назначение новых командующих и других ответственных лиц, создание фронтовых управлений, перегруппировку войск и другие значительные преобразования.

Представителем от Генерального штаба для проведения всей этой работы был назначен генерал С. М. Штеменко. Вот что он пишет:

«...Я выехал из Москвы вместе с моим товарищем по академии Иваном Даниловичем Черняховским. К вечеру 14 апреля мы прибыли в местечко Красное, где до того располагался командный пункт Западного фронта. Там нас уже поджидал Иван Ефимович Петров. Он был известен в наших Вооруженных Силах как вдумчивый, осторожный и в высшей степени гуманный руководитель с весьма широкой эрудицией и большим войсковым опытом. Имя его неразрывно связывалось с героической обороной Одессы и Севастополя.

В отличие от Петрова И. Д. Черняховский тогда еще не пользовался широкой популярностью. Но он отлично зарекомендовал себя на посту командующего армией, имел основательную оперативную подготовку, превосходно знал артиллерию и танковые войска. Был молод (38 лет), энергичен, требователен и всей душой отдавался своему суровому и трудному делу.

Мы сразу же приступили к работе и в течение нескольких дней решили все организационные вопросы. Управление бывшего Западного фронта целиком перешло к Черняховскому, и он оставил свой КП в Красном, а И. Е. Петрову пришлось формировать фронтовой аппарат заново и перебраться в район Мстислава» (2, кн. 1, стр. 297—298).

Хочу обратить внимание на последние слова в этой цитате. Читатель уже имеет представление о сложности работы в масштабах фронта и, я надеюсь, без труда представляет, что значит создать новый фронтовой аппарат, то есть штаб фронта. Это огромная организация, состоящая из многих управлений и отделов, включающая в себя сотни офицеров, специалистов по самым различным отраслям военного дела. Создать штаб фронта вообще непросто, а в короткое время тем более. Еще труднее организовать и наладить его работу таким образом, чтобы люди, недавно находившиеся в других штабах и частях, занимавшиеся другой работой, за короткий срок стали бы понимать друг друга, освоились с совсем новой обстановкой и были бы способны руководить боевыми действиями в таких крупных масштабах, каких требует фронт.

К тому же вся работа происходила в ходе боев, которые, конечно же, не прекращались и, даже наоборот, велись с еще большей активностью, чтобы противник не заметил изменений, происходивших в нашем тылу.

Одновременно с этой большой работой и боями шла выработка решения на проведение Белорусской операции. В этой операции долж-

ны были участвовать четыре фронта. Разработку ее вели как командующие фронтами, так и Генеральный штаб под постоянным руководством Ставки Верховного Главнокомандующего.

Генерал Штеменко так пишет об этом:

«Разработка общего оперативного замысла, а затем и плана действий в летней кампании 1944 года велась в Генеральном штабе на основе предложений командующих фронтами, которые знали обстановку до деталей» (2, кн. 1, стр. 300).

Следовательно, генерал Петров в это время в очень напряженных условиях также разрабатывал предложения о плане операции своего фронта. Главной причиной такой напряженности было требование соблюдать строжайшую секретность. Вот что говорит по этому поводу С. М. Штеменко:

«В полном объеме эти планы знали лишь пять человек: заместитель Верховного Главнокомандующего, начальник Генштаба и его первый заместитель, начальник Оперативного управления и один из его заместителей. Всякая переписка на сей счет, а равно и переговоры по телефону или телеграфу категорически запрещались, и за этим осуществлялся строжайший контроль. Оперативные соображения фронтов разрабатывались тоже двумя-тремя лицами, писались обычно от руки и докладывались, как правило, лично командующими» (2, кн. 1, стр. 304).

Как следует из последней фразы, разработку операции 2-го Белорусского фронта вели лично генерал Петров и начальник его штаба генерал-лейтенант С. И. Любарский. Член Военного совета этого фронта генерал-полковник Л. З. Мехлис, будучи посвященным в общий замысел, все же конкретными разработками, которые, как оговорил Штеменко, «писались от руки и докладывались лично командующими», конечно же, не занимался.

«Во второй половине апреля,— пишет Штеменко,— в Генеральном штабе свели воедино все соображения по поводу летней кампании. Она представлялась в виде системы крупнейших в истории войн операций на огромном пространстве от Прибалтики до Карпат. К активным действиям надлежало привлечь почти одновременно не менее 5—6 фронтов» (2, кн. 1, стр. 302).

Той части этой летней кампании, которая охватывала освобождение Белоруссии, было дано — по предложению Сталина — название «Багратион». Согласно этому плану намечалось глубокими ударами четырех фронтов разгромить основные силы группы армий «Центр», освободить Белоруссию и создать предпосылки для последующего наступления в западных областях Украины, в Прибалтике, в Восточной Пруссии и в Польше. Замысел этот предстояло осуществить таким образом: одновременными прорывами обороны противника на шести участках расчленив его войска и уничтожить их по частям. При этом мощные группировки 3-го и 1-го Белорусских фронтов, стремительно наступая на флангах, должны сойтись в районе Минска, окружить и ликвидировать войска противника, отброшенные сюда нашими фронтальными ударами.

Так выглядел в общих чертах замысел операции «Багратион».

Перед началом операции «Багратион»

Огромная, напряженная подготовительная работа Ставки, Генерального штаба и руководства нескольких фронтов, привлекаемых для осуществления одной из крупнейших в ходе войны операций, длилась больше двух месяцев. Для того чтобы все руководители операции пришли к окончательному взаимопониманию, для установления полной ясности — кто, когда, где и что осуществляет, было решено — прежде чем оформить все директивой — провести совещание в Став-

ке. По воспоминаниям генерала С. М. Штеменко, это совещание проходило так.

«В Ставке план обсуждался 22 и 23 мая с участием Г. К. Жукова, А. М. Василевского, командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта И. Х. Баграмяна, командующего войсками 1-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовского, членов военных советов этих же фронтов, а также А. А. Новикова, Н. Н. Воронова, Н. Д. Яковлева, А. В. Хрулева, М. П. Воробьева, И. Т. Пересыпкина и работников Генштаба во главе с А. И. Антоновым. И. Д. Черняховский отсутствовал по болезни. И. Е. Петрова, как действовавшего на вспомогательном направлении, в Ставку не вызывали» (2, кн. 1, стр. 309).

Далее Штеменко так объясняет последнюю фразу:

«На 2-й Белорусский фронт возлагалась задача сковать как можно больше вражеских войск и не позволить гитлеровскому командованию использовать их для противодействия обходному маневру 3-го и 1-го Белорусских фронтов. У Ивана Ефимовича Петрова имелся в этом отношении достаточный опыт, и за него мы тоже были спокойны» (2, кн. 1, стр. 311—312).

Несмотря на объяснение С. М. Штеменко, мне все же кажется странным то обстоятельство, что И. Е. Петров, единственный из четырех командующих фронтами, которые должны были действовать в столь сложной операции, не был приглашен на такое ответственное совещание. Я не допускаю забывчивости работников Ставки при составлении списка участников совещания — никто не осмелился бы обойти командующего фронтом. Значит, это было определено самим Верховным. Трудно предположить, чем это объясняется, может быть, несмотря на хорошее мнение о Петрове как командующем, Верховному просто не хотелось видеть его после не такого уж давнего неприятного разговора? Во всяком случае, как бы там ни было, но факт отсутствия Петрова на совещании свидетельствует о непростом положении, в котором находился Иван Ефимович.

Тем не менее генерал Петров в эти дни полностью, всей душой, отдался огромной работе, которая проводилась на участке 2-го Белорусского фронта и в его штабе. Петров понимал, что трудности, связанные с отношением к нему Сталина, будут рассеяны или же смягчены в результате удачных действий 2-го Белорусского фронта.

Шла тайная перегруппировка войск, тщательно готовились исходные позиции. Сотни эшелонов боеприпасов и снаряжения надо было скрытно подвезти, разгрузить и доставить на боевые позиции. Параллельно с этим Петров, верный своим принципам, как всегда, учил войска и командный состав предстоящим наступательным действиям. Учения шли днем и ночью, в любую погоду, бойцы и командиры отрабатывали все необходимые маневры, дабы достичь высоких темпов наступления и наиболее успешных действий в бою.

Кто же противостоял на сей раз Петрову со стороны противника, был, так сказать, его «личным оппонентом»?

Имя генерала Курта фон Типпельскирха стало более известным после окончания войны как имя автора монографии и многих статей по истории второй мировой войны. В дни, когда он командовал противостоявшей фронту генерала Петрова 4-й армией, ему было 53 года, он имел звание генерала пехоты и большой опыт командования в боях дивизией, корпусом, армией и работы в генеральном штабе сухопутных войск с 1938 по 1942 год. В общем, Типпельскирх был серьезный противник, генералу Петрову пришлось с ним столкнуться и в завершающих операциях войны. Я не буду обременять читателей изложением замыслов Типпельскирха потому, что в Белоруссии они только «скрестили шпаги» с Петровым, их единоборство не состоялось по причинам, которые станут известны в конце этой главы.

Несмотря на все трудности при подготовке сложной операции, генерал Петров работал в эти дни с особенным вдохновением, потому

что и замысел и все, что было связано с его осуществлением, Петрову очень нравилось. Ему впервые предстояло действовать на театре боевых действий, который выгодно отличался от тех, где он руководил операциями раньше. Здесь была равнинная местность, доступная для всех родов войск. Это уже были не горы Кавказа, не бесконечные лиманы, топи и озера Таманского полуострова. Здесь можно было вернуться воевать и применить самые неожиданные и искусные маневры. Петров это понимал и продумывал до тонкостей все возможные действия войск.

Все шло хорошо. Подготовка велась успешно. Все, что было сделано Петровым, высоко оценил Генеральный штаб — это будет видно дальше из слов генерала С. М. Штеменко. Но тут опять возникло внезапное «вдруг» в судьбе Петрова.

Членом Военного совета 2-го Белорусского фронта одновременно с генералом Петровым был назначен Лев Захарович Мехлис.

Читатель уже знает: за неумение обеспечить организацию обороны в Крыму и за то, что неправильно построил свои взаимоотношения с командующим фронтом, Мехлис был освобожден от должности начальника Главного политического управления и члена Военного совета Крымского фронта и назначен с понижением.

Давно известна истина: суть человека, его характер проявляются в делах, поступках. Когда человека (да еще политработника) за короткое время семь раз убирают из разных коллективов — это его не укрывает. В течение полутора лет после Крыма генерал-полковник Мехлис побывал членом Военного совета 6-й армии, затем Воронежского, Волховского, Брянского, 2-го Прибалтийского, Западного и вот теперь уже 2-го Белорусского фронта. Семь назначений, в среднем чуть больше двух месяцев пребывания на каждой должности. Эти быстрые перемещения с места на место свидетельствуют об одной черте, которую отмечает почти все фронтовики, встречавшиеся и работавшие с Мехлисом: он был не только очень энергичный и порывистый человек, но еще и неуживчивый. Эта черта его характера проявлялась в том, что он многих подозревал в недобросовестности, нелояльности и по малейшему поводу или даже неумышленной какой-то провинности человека создавал, как правило, официальное дело с вытекающими из него организационными последствиями и наказаниями.

Довольно близко знал Мехлиса и разобрался детально в его характере Константин Симонов. Он даже вывел его под фамилией Львов в качестве персонажа своего романа «Живые и мертвые».

Подробно анализируя черты характера этого героя, Симонов так писал о той, которая мною упомянута выше:

«...сознавать себя человеком, предназначенным исправлять чужие промахи, настолько вошло у него в плоть и кровь, что, еще направляясь к новому месту службы, он уже заведомо считал, что те, с кем ему предстоит встретиться, не делали до его приезда всего, что должны были делать... Опираясь на доверие Сталина, он присвоил себе право не доверять никому... Считая свое собственное недоверие к людям нормой политической жизни, он, невзирая на лица, информировал Сталина обо всем, на что следовало обратить внимание, обо всем, что могло вызывать недоверие к тому или иному человеку...» (3, стр. 70, 79).

Внешне Мехлис относился к Петрову вроде бы без всякого недоброжелательства. Они работали рядом, бывали вместе на совещаниях, проводили необходимые мероприятия, ежедневно общались, обедали в одной столовой, но при этом — не могу точно сказать, по каким причинам, — Мехлис питал к Ивану Ефимовичу явную антипатию, что не раз проявлялось раньше и еще раз проявилось здесь, на 2-м Белорусском фронте.

Л. З. Мехлис в период своей работы в ЦК сблизился со Сталиным. Сталин доверял ему. Пользуясь этим доверием, Мехлис написал Вер-

ховному Главнокомандующему письмо, где утверждал, что Петров якобы не способен обеспечить успех предстоящей операции. Вот как об этом рассказано у С. М. Штеменко:

«Однажды, когда мы с Антоновым приехали в Ставку с очередным докладом, Верховный Главнокомандующий сказал, что член Военного совета 2-го Белорусского фронта Л. З. Мехлис пишет ему о мягкотелости Петрова, о неспособности его обеспечить успех операции. Мехлис доложил также, что Петров якобы болен и слишком много времени уделяет врачам. Для нас это оказалось полной неожиданностью. Мы знали Ивана Ефимовича как самоотверженного боевого командира, целиком отдающегося делу, очень разумного военачальника и прекрасного человека. Он защищал Одессу, Севастополь, строил оборону на Тереке. Мне пришлось неоднократно бывать у него в Черноморской группе войск, на Северо-Кавказском фронте, в Отдельной Приморской армии, и я был убежден в его высоких командирских и партийных качествах. Видимо, у Сталина было какое-то предвзятое отношение к Петрову... К чести Петрова надо сказать, что он мужественно перенес это и на любом посту отдавал Родине все, что имел — знания, опыт и здоровье» (2. кн. 1, стр. 315).

Штеменко знал Петрова по многим боям и удачно проведенным операциям, его оценки деятельности Ивана Ефимовича в высшей степени обоснованны и объективны. Сопоставляя его мнение с тем, что было написано в письме Мехлиса, невольно приходишь к выводу, что письмо это было продиктовано исключительно личной антипатией по отношению к Петрову.

Что же касается болезни Петрова, о которой писал Мехлис, то это была явная неправда. Иван Ефимович в те дни был полон сил и кипучей энергии. Дальнейшие события это подтверждают. К тому же напомним: в приведенной цитате о совещании в Ставке при обсуждении плана операции «Багратион» по болезни отсутствовал И. Д. Черняховский, а не Петров. И ни у кого в Ставке, ни у самого Верховного даже не зародилось сомнения, сможет ли он командовать, будучи больным. А вот в отношении Петрова ни разговоров таких не было, ни болезни самой не было, а его освободили от командования фронтом с формулировкой: по болезни, по состоянию здоровья.

Можно предположить, что Сталин подписал такой приказ, поверив, что Петров действительно болен. Во всяком случае все, что последовало после издания приказа об освобождении Ивана Ефимовича от должности командующего, свидетельствует о возможности такого хода мыслей, потому что Петрову были созданы условия, какие создаются человеку, которому необходимо отдохнуть и поправить здоровье: ему было разрешено взять с фронта свою группу обслуживания — водителя, повара, ординарца и адъютанта. В Москве ему была предоставлена путевка в санаторий.

Но прежде чем перейти к этим дням вынужденного отдыха генерала Петрова, необходимо завершить рассказ о его пребывании на 2-м Белорусском фронте.

Читатель легко может представить себе то состояние, в котором находился Иван Ефимович. Слабохарактерный человек на месте и в положении генерала Петрова мог сорваться, пасть духом, но не из таких был Иван Ефимович, о чем очень убедительно свидетельствует генерал Штеменко в своих воспоминаниях:

«На мою долю выпала нелегкая задача как можно безболезненнее провести смежную командующих. На фронтовом командном пункте в моем присутствии И. Е. Петров лично доложил обстановку и план предстоящих действий... Учитывая психологическое состояние И. Е. Петрова, можно было ожидать, что он в своем докладе не поспеет на мрачные краски, допустит преувеличение трудностей. Это мне казалось нежелательным, так как могло породить у нового командующего (генерала Г. Ф. Захарова.— В. К.) чувство неуверенности. Но ничего подобного не случилось. Все шло нормально. Петров докладывал правдиво. Для него и в данном случае превыше всего были интересы дела, а личная обида отодвигалась на задний план» (2, кн. 1, стр. 315—316).

В тот же день Петров выехал из расположения штаба 2-го Белорусского фронта в Москву, на лечение, как указывалось в предписании.

Как известно, успешность операции во многом зависит от того, как она подготовлена, как проведены необходимые мероприятия в период ее организации, как осуществлены перегруппировки, обучены войска, спланированы боевые действия, отработано взаимодействие всех родов войск, сосредоточены запасы.

В течение апреля и мая Петров со своим штабом и с командующими армиями, командирами частей и соединений проделали всю ту огромную работу, которая, несомненно, способствовала успешному проведению операции. Это обстоятельство и подчеркнул генерал С. М. Штеменко после удачного завершения операции «Багратион»:

«Немецко-фашистские генералы, попавшие в плен под Минском, крайне удивлялись тому, с какой легкостью оказались опрокинутыми там лучшие соединения гитлеровских войск. Для нас же в этом не было ничего удивительного. Такой исход боевых действий прочно закладывался еще в период подготовки удара» (2, кн. 1, стр. 326).

Добавим от себя: подготовки, в которую вложил свою долю, и немалую, Иван Ефимович Петров.

Следует сказать еще об одном важном событии, которое произошло в период подготовки операции «Багратион» и в известной мере способствовало успешному ее проведению.

Дело в том, что 6 июня 1944 года англо-американские экспедиционные силы высадились на французской земле. Произошло это за семнадцать дней до начала операции «Багратион».

Я стремился к объективности при описании действий наших врагов, тем более считаю необходимым придерживаться этого намерения, говоря о наших тогдашних союзниках. То, что англо-американское руководство оттягивало открытие второго фронта, оставляя нас в самые трудные дни войны один на один с мощной гитлеровской армией,— это, как говорится, на их совести. Но когда высадка во Франции все же состоялась, и люди погибали ради достижения победы над общим врагом, тут надо бы сказать доброе слово о 122 тысячах погибших солдат и офицеров, из которых 73 тысячи были американцы и 49 тысяч — англичане и канадцы.

Нормандская десантная операция под командованием генерала Д. Эйзенхауэра является самой крупной десантной операцией второй мировой войны, в ней участвовало 2 миллиона 876 тысяч человек, около 7 тысяч кораблей и судов, около 11 тысяч боевых самолетов. Вся эта армада двигалась через пролив Ла-Манш, шириной от 32 до 180 километров. Читатели знакомы с несколькими десантными операциями, описанными в повести, и даже по этим цифрам могут представить масштаб морского, сухопутного и воздушного сражения при высадке во Франции.

Гитлеровскому командованию было известно о подготовке формирования пролива и о том, что в июне 1944 года союзники перейдут от слов к делу. Во Франции, Бельгии и Нидерландах находились две гитлеровские группы армий: «Б» и «Г», они подчинялись командованию «Запад» во главе с генерал-фельдмаршалом Г. Рундшtedтом. К началу июня 1944 года там оставалось всего 58 немецко-фашистских дивизий, а против Советского Союза действовало 239 дивизий противника, в том числе 181 германская. Конечно, главные силы фашистов были сосредоточены против нас. Но теперь гитлеровское командование, да и вся фашистская армия, обращенная лицом к нам, почувствовали все же, как сзади, на западе, начались практические действия, а не только слова.

Белорусская операция была осуществлена между 23 июня и 29 августа 1944 года и в большой степени способствовала успеху союзников, так как накрепко сковала действия гитлеровского командования, не позволяя ему перебросить на запад силы для борьбы с Нормандским десантом. Эти две операции вообще хороший пример того, как надо было бы действовать нашим англо-американским союзникам. Вот так сразу бы навалились на фашистов вместе с нами, и война была бы короче, и потеря было бы меньше. Хотя, конечно, не все к этому стремились уже тогда, как ни горько это сознавать нам...

В статье маршала Д. Ф. Устинова так говорится о значении действий наших войск в то время.

«Чтобы поддержать высадку и облегчить последующие действия англо-американских войск, Советские Вооруженные Силы, как это было обусловлено ранее на Тегеранской конференции, развернули летом 1944 года мощное стратегическое наступление. Они нанесли сокрушительные удары по немецко-фашистским войскам под Ленинградом, в Прибалтике, Белоруссии, Западной Украине и Молдавии» (4, стр. 2).

«Багратион» является одной из блестящих операций в смысле военного искусства. В ней показали свое высокое мастерство Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, талантливые военачальники Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, И. Д. Черняховский, Г. Ф. Захаров, командующий 1-й армией Войска Польского С. Г. Поплавский, многие генералы, офицеры, тысячи сержантов и солдат. В результате операции «Багратион» была освобождена героическая Белоруссия, не вставшая за долгих три года на колени перед фашистами. Наши войска, продвинувшись на 500—600 километров, вышли на территорию Польши и к границе Восточной Пруссии. В ходе операции было окружено несколько группировок противника и ни одна из них не вырвалась. 17 дивизий и 3 бригады врага были полностью уничтожены, а 50 дивизий потеряли больше половины своего состава.

Еще несколько слов о себе

После публикации в журнале второй части повести я получил много писем, в которых читатели просят меня подробнее рассказать о себе. Велик соблазн. Но это была бы уже другая книга. Надеюсь, когда-нибудь я к ней подойду, в этой же повести, как было задумано и обещано, я буду писать о жизни и деятельности Ивана Ефимовича Петрова, а о моей жизни, только когда она соприкасалась так или иначе с жизнью Петрова.

Перед началом Белорусской операции как раз и произошел один из таких случаев, о нем я и расскажу в этой главе, осветив подробнее некоторые обстоятельства, чтобы было понятно, почему и как возникло это наше «соприкосновение».

В 1942 году попал я на Калининский фронт, побывал в опасных переделках. Вел себя в боях так, что был замечен и отмечен командованием. Отмечен не орденом, не медалью, штрафников правительственными наградами не награждали; первая и последняя и самая высокая их награда — это возвращение имени обыкновенного, честного, чистого перед Родиной человека. Такое имя обычно люди носят, даже не подозревая, как оно высоко. Оно для них естественно, как воздух или солнце. А кое-кому приходится получать его с большим трудом — штрафник должен заслужить это имя, искупить свою вину кровью, то есть быть раненым или убитым в бою. В порядке исключения допускалось освобождать из штрафной роты за особое отличие в боях. Это случалось редко, почти все штрафники получали освобождение по главной причине — ранению или смерти. Я и еще несколько человек, каким-то чудом не убитых и не

получивших ранение ни в ходе атаки, ни в рукопашной, освобождению не подлежали. Нас зачислили в другую, вновь прибывшую, штрафную роту. В ней я, побывав снова в нескольких рукопашных, опять остался жив и не ранен. После этих боев я и был отмечен командованием, получив свою первую награду — маленький квадратный листок бумаги, который до сих пор храню вместе с орденами. Вот этот бесценный и памятный для меня документ:

«СПРАВКА О СНЯТИИ СУДИМОСТИ

Настоящая справка выдана красноармейцу КАРПОВУ Владимиру Васильевичу в том, что в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1941 года, постановлением Военного совета Калининского фронта от 20 февраля 1943 г. за № 016 за проявленное им отличие в боях с немецкими захватчиками судимость по приговору Военного Трибунала Средне-Азиатского Военного округа, которым он был 28.04.41 г. по ст. 66 ч. 1 Узб. УК (по УК РСФСР — ст. 58, ч. 1.— В. К.) осужден к лишению свободы на 5 лет, с него снята.

20 февраля 1943 г.

Секретарь Военного совета
Калининского фронта —

подпись

Печать: Военный Трибунал Калининского фронта».

Став полноправным красноармейцем, я был зачислен в 629-й полк 134-й дивизии, которой была придана штрафная рота. В беседе с прибывшим пополнением командир полка подполковник Алексей Кириллович КОРТУНОВ обратил на меня внимание. Узнав, что я бывший боксер, он сказал:

— Ну, тебе прямая дорога в разведку!

Здесь мне хочется сделать отступление и сказать, что Алексей Кириллович КОРТУНОВ, с которым меня столкнула судьба, был замечательной личностью, о нем надо бы написать отдельную книгу.

Одаренный инженер, КОРТУНОВ до войны жил и работал в Москве. Военного образования он не имел. С началом войны был призван и назначен на должность дивизионного инженера 134-й стрелковой дивизии. В ходе тяжелых боев на Калининском фронте части несли большие потери. Однажды в 629-м стрелковом полку погибло все командование. Заменять было некем. Командир дивизии полковник Е. В. ДОВОЛЬСКИЙ послал в полк находившегося рядом с ним на НП дивизионного инженера. Напутствовал: «Собери там все, что можно, придержишься до вечера». КОРТУНОВ, от природы человек волевой, прекрасный организатор, сплотил бойцов. Полк отбил атаки врага, продержался до вечера и весь следующий день. Комдив подбадривал: «Молодец, КОРТУНОВ, продержишься еще денек, пока подберем командира». КОРТУНОВ продержался неделю и больше. Когда в таких горячих боях человек умело прокомандовал полком почти месяц, надо ли его заменять? Так и оставили Алексея Кирилловича командиром полка. Он не раз отличался в боях, за что был отмечен командованием. Я помню, как его однажды повысили, назначив замкомдивом. Он пробыл на этой должности недолго. Очень скоро запросился назад: «С полком я вроде бы справляюсь, а выше не могу». Ему разрешили вернуться в родной полк. И он прекрасно им командовал до конца войны, заслужив многие награды, в том числе и высокое звание Героя Советского Союза.

Я уверен, КОРТУНОВ известен многим читателям как министр газовой промышленности СССР — он им был после войны восемнадцать лет, до последнего дня своей жизни. Он и после войны сделал много доброго и нужного для Родины, но это, как я уже сказал, тема для другой книги.

Итак, стал я рядовым разведчиком взвода пешей разведки 629-го стрелкового полка. Это самая маленькая должность в сложной,

опасной и очень нужной разведывательной службе. Настолько маленькая, что, можно сказать, я был на противоположном полюсе от разведчиков масштаба широко известного читателям романтического Штирлица-Исаева. Не буду здесь сравнивать и отдавать предпочтение какой-либо форме разведки, она всякая, в любых своих звеньях, и опасна и необходима. А что касается романтического ореола, то разведчики любой категории не только его не видят и настолько им не до этой романтики, что они относятся с улыбкой к литераторам, к работникам кино и драматургам, придумывающим эту романтику. Разведчик просто ближе других к смерти. Смерть на войне всюду, она может настигнуть тебя пулей, осколком или упасть бомбой с неба. Кроме этих, возможных на войне в равной степени для всех — и для разведчиков в том числе — смертей, от которых все же можно спрятаться в окопе, блиндаже, в каком-либо другом укрытии, разведчик вроде бы вступает с ней в единоборство. Отправляясь на задание, он сам идет ей навстречу и остается жив, если обманет врага и смерть своей ловкостью, хитростью, умом.

Неудобно говорить о себе, но сказать об одном качестве надо — оно объясняет то, почему я остался жив, побывав в многочисленных опасных вылазках в стан врага. На эту особенность сразу обратил внимание подполковник КОРТУНОВ, поставив знак равенства между словами боксер и разведчик. Я действительно до войны был неплохим боксером. Чтобы не быть голословным и самому не хвалить себя, приведу цитату из заметки «Чемпион по боксу», напечатанной в 1940 году в нашей училищной газете:

«...Недавно разыгрывалось первенство по боксу между республиками Средней Азии. Каждая республика выставяла лучших боксеров. Орденоносную республику Узбекистан защищали 8 лучших боксеров, в числе которых был и курсант Карпов В.

Молодой, энергичный, обладающий прекрасной техникой бокса — чемпион САВО В. Карпов с желанием принял участие в розыгрыше первенства.

Он приложил немало усилий, чтобы выйти победителем. Карпов на соревнованиях показал высокое мастерство бокса и провел все матчи без единого поражения. Он отстоял честь училища.

Республиканский комитет ФК при СНК УзССР наградил Карпова В. дипломом «Чемпион Средней Азии в среднем весе» и серебряным жетоном.

Курсант Д. Солоненко».

Почему я счел нужным рассказать об этом читателям? Потому что боксер — это человек, не только умеющий хорошо пользоваться кулаками, но еще и привыкший быстро соображать. На тренировках и в поединках на рингах я был приучен думать быстро. Сохраняя хладнокровие под градом ударов, я в десятые доли секунды рассчитывал, как отбить летящий в меня кулак противника и как самому при этом нанести удар. Вот эти десятые доли секунды, на которые я опережал в мышлении во время войны врагов в критических, экстремальных ситуациях, и были моим постоянным преимуществом, которое помогало мне и выполнять задания и остаться в живых.

И еще одно обстоятельство, которое заставляло меня действовать активнее моих боевых товарищей. Я понимал, если случится чудо и я вернусь домой живым, мне после войны с клеймом бывшего «врага народа» существовать будет непросто. Примут ли меня в институт? Возьмут ли на хорошую работу? И вообще, что я буду делать? Ведь профессии у меня никакой нет. Размышляя обо всем этом, я решил для себя так: если я на войне проявлю себя смелым, то могу заслужить орден. А с орденом мне уже будет легче! До войны я видел: орденоседец — уважаемый человек, ему все дороги открыты.

Получив медаль «За отвагу», а затем орден Красной Звезды, я уже мечтал о третьей награде. Был я тогда молод и горяч — в 1942 году исполнилось мне всего двадцать лет. Очень мне хотелось вернуться в Ташкент с гордо поднятой головой, снять с себя и родителей

незаслуженную тень, брошенную на нашу семью моей судимостью, вот я и лазил с разведчиками, как говорится, не щадя живота своего. Мои дела не оставались незамеченными. Мне присвоили звание сержанта, и я стал командиром отделения. Затем — младшего лейтенанта, лейтенанта. Я уже командовал взводом разведки. Командир полка Картунов ценил меня, ибо наш полк никогда без «языков» не сидел. О наших делах шла добрая слава на Калининском фронте. Обычно разведчиков, как и летчиков, представляли к званию Героя Советского Союза не только за отдельный выдающийся подвиг, но и за суммарные боевые дела. Были такие неписанные законы, вроде даже правила — летчика представляли за сбитые 20—25 самолетов врага, а разведчика за приведенных 15—20 «языков». Настал день, когда на моем счету было участие в захвате уже 45 «языков». Подполковник Картунов позже объяснил мне, что, учитывая темное пятно в моей биографии, он не представлял меня к высшей награде, когда на моем счету было 20 «языков», ждал, чтобы их количество было такое, когда не смогут отказать в присвоении мне звания Героя. И вот меня представили к этому званию, ходатайство пошло «наверх».

Время шло, я продолжал ходить на задания, а ответа «сверху» все не было. Вдруг меня вызывают к командиру полка. Вызов в штаб для меня не был необычным делом — я там получал очередную задачу почти ежедневно. Пришел к Картунову. Он сидит мрачный, на меня глаз не поднял. В чем, думаю, дело? Вроде бы я ничем не провинился. Алексей Кириллович был чуткий и совестливый человек, то, что произошло, видно, обескуражило его настолько, что он испытывал передо мной (перед подчиненным!) неловкость. Он коротко сказал:

— Вот почитай,— и повернул ко мне бумаги, которые лежали на столе.

Я прочитал заголовок: «Наградной лист». Ниже шла моя фамилия, биографические данные и описание тех дел, за которые меня представляли к званию Героя Советского Союза. Но как бы зачеркивая все это, наискосок наградного листа бежали крупные красные буквы кем-то написанной резолюции. В этих буквах, еще до того, как я понял их смысл, даже внешне виделось раздражение того, кто их написал: «Вы думаете, кого представляете?!» Подпись была неразборчивая, но такая же жирная и сердитая, будто вся состояла из восклицательных знаков.

Картунов как-то тихо, по-домашнему, неофициально сказал:

— Ну ничего, Володя, не огорчайся! Правда на земле все же есть...

Командир впервые назвал меня по имени. И от этого у меня на душе сразу стало теплее. Я даже не успел огорчиться от того, что рухнула моя мечта о таком высоком звании, для которого я, по правде говоря, сделал не меньше других разведчиков, уже носивших Золотые Звезды. В газетах пропагандировали мой опыт, на сборах разведчиков называли первым, и ребята меня спрашивали: «В чем дело? Почему ты еще не получил Звезду?» Что я мог ответить? Рассказать свою биографию? Получится, что я жалею, ищу сочувствия. А мне этого не хотелось. И я или отшучивался, или пожимал плечами.

Вскоре, дней через десять—пятнадцать после беседы с Картуновым, меня опять вызвали в штаб, причем вызвали утром. Обычно после ночной работы разведчики в первой половине дня отдыхали, их в эти часы старались не беспокоить.

Иду в штаб полка хмурый, злой. Вошел в блиндаж командира, вскинул руку к головному убору, хотел доложить о прибытии, а подполковник Картунов делает мне глазами знак — в сторону показывает. Глянул я туда и растерялся: сидит там, вернее, уже встает

и протягивает мне руку генерал — плотный, крепкий, круглолицый, с улыбочивыми светлыми глазами. Генералов я близко видел и раньше, даже разговаривать приходилось, особенно с командиром дивизии Добровольским; он к разведчикам благоволил, частенько заходил побеседовать. Но этот генерал показался особенным, потому что на груди его, как маленькое солнышко, сияла Золотая Звезда Героя Советского Союза.

Улучив момент, командир полка сказал мне негромко:

— Член Военного совета Тридцать девятой армии генерал-майор Бойко Василий Романович.

Генерал пожал мне руку, стал откровенно разглядывать. И все улыбался какой-то располагающей улыбкой.

— Наслышан о вас, товарищ Карпов, наслышан... Но все по бумагам, по телефонам. Вот смотрел оборону полка, решил и с вами познакомиться... Не дали вам отдохнуть. Но у меня времени в обрез, пришлось потревожить.

— Что вы, товарищ генерал! — торопливо отвечаю, а сам смотрю на его Золотую Звезду и думаю: за что же он ее получил? Заслужить такую награду политработнику труднее, чем другим. Позднее, когда генерал уехал, наш командир рассказал: в одном из боев во время советско-финляндской войны полк понес большие потери и залег перед сильно укрепленными высотами. Бывший тогда комиссаром полка, Бойко поднял людей и повел в атаку. Высоты полк взял. Железная выдержка Бойко в том бою сыграла решающую роль. Сам он был тяжело ранен, но наступление полка успешно развивалось дальше...

— Душно в блиндаже, пойдемте на воздух — погуляем, — неожиданно предложил мне генерал.

Вышли вдвоем. Как и полагается разведчику, я мигом сообразил: начальники говорили обо мне до моего прихода, и этот разговор с глазу на глаз что-то решит в моей судьбе.

Спустились в лощину. Сюда не могла залететь шальная пуля, и осколки снаряда пронесутся выше головы, если он шлепнется неподалеку.

— Я ознакомился с вашим личным делом, но хотел бы от вас услышать короткий рассказ о себе, — сказал генерал.

Мы медленно шли по мягкой траве, и я рассказывал о том, как до войны учился в школе, а затем в прославленном Ташкентском военном училище имени Ленина, какой замечательный, любимый всеми курсантами был у нас начальник — комдив Петров.

— Знаю Ивана Ефимовича хорошо, он руководил обороной Одессы и Севастополя. Высокой образованности и большой души человек, — сказал Бойко.

Меня очень обрадовали эти слова, и я продолжал рассказ о себе: занимался в училище боксом, был чемпионом округа, а потом и чемпионом Средней Азии... Наконец рассказ мой подошел к неприятному моменту в моей биографии, и я замялся.

— Мне все известно, не смущайтесь, — сказал Василий Романович.

Однако настроение у меня резко упало. Хотелось быть искренним. А как скажешь, что начинал я войну в штрафной роте не по собственной вине, а по чьему-то злому навету или недоразумению? Да и мысль возникла: уж не для очередной ли проверки начал генерал этот разговор?

Бойко понял мое состояние, помолчал, затем стал спрашивать о коммунистах и комсомольцах разведвзвода. Я рассказал о коммунисте Николае Горбунове, в прошлом кадровом уральском рабочем, который помогал мне готовить людей к заданиям, первым шел на самые опасные дела, о веселом комсомольце Петре Баранове, с которым люди всегда охотно идут в разведку. Рассказал о подвиге комсомольца Кости Камилевича — он бросился с гранатой на фашистский

пулемет и ценой собственной жизни спас попавшую в засаду группу разведчиков...

Бойко вдруг сказал:

— Вы не думали о том, что пора вам вступать в партию?

— Вы это мне говорите? Но вы же знаете: я был в штрафной роте, — выпалил я.

— Это все в прошлом. Суть человека — в его делах, в том, как он сегодня, сейчас, здесь, в боях. Вы — отличный разведчик, много раз доказали свою верность и преданность. Командование вам доверяет.

— Я бы с радостью подал заявление! — торопливо отвечаю. — Но вот сомневаюсь: дадут ли рекомендации, примут ли меня?

— А вы не сомневайтесь. Боевые товарищи знают вас хорошо. На фронте человек как на ладони...

В партию меня приняли в том же 1943 году, и я понимал, не без поддержки генерала Бойко и подполковника Картунова. Вот и таких добрых, отзывчивых людей встречал я на своем жизненном пути. Василий Романович, на мой взгляд, не просто добрый, а смелый, принципиальный партийный работник. Зачем рекомендовать в партию совсем постороннего для него, с «темным прошлым» человека? Тем более в те времена. Спокойно мог жить и без такого риска. Но в том-то и дело, что Бойко настоящий коммунист-ленинец, который поступает так, как велит ему партийная совесть.

Василий Романович стал для меня как бы крестным отцом, и я никогда в жизни не забывал и не забуду этого. Бойко сейчас живет в Москве, теперь он генерал-лейтенант в отставке, написал воспоминания о войне с гитлеровской Германией, заканчивает воспоминания о разгроме японских империалистов, — он участвовал в этой кампании от начала до конца с нашей 39-й армией. В книге, которая издана в 1982 году и называется «С думой о Родине», Василий Романович вспомнил и меня добрым словом:

«Замечательными боевыми делами прославил себя командир взвода разведки 629-го полка 134-й стрелковой дивизии лейтенант В. В. Карпов.

За время наступательных боев в августе и сентябре на территории Духовщинского района Карпов неоднократно проявлял личное героичество и отвагу. Со своими разведчиками он десятки раз проходил через линию обороны противника в его тылы. Случалось и так, что ему по ходу создавшейся обстановки приходилось оказываться в самом пекле боя.

В ночь на 19 августа Карпов с группой разведчиков проник в расположение противника, который готовился к контратаке против наших войск. Рискуя жизнью, вызвал на себя артогонь, корректировал стрельбу, благодаря чему было уничтожено более сотни гитлеровцев, сожжены танк и самоходная пушка. Карпов получил ранение, но продолжал вести неравный бой. Контратака врага была сорвана.

15 сентября группа бойцов во главе с Карповым перешла линию фронта и решительным ударом с фланга уничтожила около 30 фашистов, захватила их опорный пункт. На следующий день разведчики под командованием Карпова, действуя опять в обход с фланга, ворвались в деревню Ефремово и вместе с подошедшими подразделениями полка разгромили оборонявшихся здесь гитлеровцев, захватили 11 пленных.

Во время отражения контратаки гитлеровцев в районе населенного пункта Василево командир полка подполковник Картунов с небольшой группой бойцов оказался в опасной обстановке. Узнав об этом, Карпов вместе с разведчиками ворвался в расположение противника, уничтожил до двух десятков фашистов, спас жизнь командира полка.

Счет подвигов этого выдающегося, беспримерно храброго разведчика, удостоенного звания Героя Советского Союза, продолжился и в последующих боях» (5, стр. 122—123).

Все рассказанное выше как бы предыстория к тому делу, в котором я соприкоснулся с генералом Петровым в дни подготовки

операции «Багратион». Чтобы перейти к его описанию, я приведу еще одну цитату из книги моего высокого начальника на фронте генерала Волошина Максима Афанасьевича, бывшего начальника разведки 39-й армии. В его словах хорошо объясняется обстановка, сложившаяся на 3-м Белорусском фронте, и то, почему именно мне было поручено очень ответственное задание. Вот что пишет Волошин в своей книге «Разведчики всегда впереди...»:

«Медвежий вал»... Я пытаюсь вспомнить, где и когда появились эти слова. Пытаюсь и не могу. В официальных документах разведотдела 39-й армии я так и не нашел этого названия. Часто в них, да и в книгах, встречается другое: Восточный вал. О строительстве этого вала фашисты объявили еще в августе 1943 года.

И все же я позволю употребить название «Медвежий вал», подразумевая под ним часть Восточного вала, примыкавшую к Витебску. В дни боев это название было в обиходе.

..По данным авиаразведки, из показаний пленных.. мы знали, что в районе Витебска создана мощная, хорошо оборудованная в инженерном отношении оборонительная полоса. Она включала в себя две позиции с двумя-тремя линиями траншей, опорными пунктами, узлами сопротивления. Подступы к переднему краю прикрывались проволочными заграждениями и минными полями. Второй оборонительный рубеж проходил на расстоянии 1—3 километров от города и состоял из сплошных траншей, опорных пунктов, дзотов, бронеколпаков.

Этим дело не ограничивалось. Сам Витебск был подготовлен к круговой обороне, превращен в настоящую крепость. Кирпичные дома и хозяйственные постройки связывали ходы сообщения. Подвалы были дооборудованы и стали надежными укрытиями...

Боевая работа разведчиков стала значительно сложнее. Но и мастерство их неизмеримо возросло. Не буду вдаваться в подробности, но скажу только, что им стали под силу не только рейды в глубокий вражеский тыл, но и действия непосредственно в Витебске, оккупированном врагом. Там, в частности, побывал Владимир Карпов, о котором я уже неоднократно упоминал ранее. Переодевшись в немецкую форму, он пробрался в город, связался с подпольщиками, получил у них копии важных документов и возвратился назад.

Я не рассказываю об этом подробно потому, что к этому времени Карпов действовал уже по заданиям начальника разведотдела фронта. Это он позвонил мне однажды и попросил подобрать опытного офицера-разведчика для выполнения ответственной задачи. Я, не задумываясь, назвал Карпова» (6, стр. 114, 117, 118).

Все происшедшее после того, как генерал Волошин назвал мою кандидатуру, описано в книге А. Шарипова «Черняховский». Предоставляю слово этому автору:

«Готовя войска к решительной операции по освобождению Белоруссии, Черняховский уделял особое внимание изучению противостоящей группировки противника. По его заданию начальник разведки фронта генерал-майор Алешин в полосе 39-й армии подготовил важную разведывательную вылазку в тыл противника. Непосредственным исполнителем ее он назначил старшего лейтенанта Карпова. Проинструктировав Карпова, Алешин предупредил его:

— Командующий фронтом придает большое значение разведывательным данным, которые вам предстоит добыть. Он хочет поговорить с вами.

...Черняховский их принял на командно-наблюдательном пункте. Крепко пожав руку Карпову и пригласив его сесть, он тепло сказал:

— Мне рекомендовали вас как одного из лучших войсковых разведчиков, с большим опытом. Задание, которое вам поручается, сложное, и от его выполнения будет зависеть многое.

— Товарищ командующий, я сделаю все, чтобы выполнить ваш приказ!

— Я верю вам, поэтому и поручаю столь ответственное задание. В Витебске вас ждут. Там наши товарищи подготовили ценные фотопленки со снимками вражеской обороны. Но передать нам не могут. (Подпольщики сумели сфотографировать чертежи и карты с «Медвежьим валом», но по радио, естественно, план передать невозможно.— В. К.) После неудачного покушения на коменданта города генерала Гельмута

немцы следят за каждым советским гражданином. От переднего края обороны до города — километров восемнадцать. По глубине это тактическая зона, она насыщена немецкими войсками. Прыжок с парашютом исключается. Группой пробраться тоже трудно, — пояснил Черняховский, — поэтому пойдете один. Понимаете?

— Ясно, товарищ командующий...

Старший лейтенант Карпов ночью благополучно прошел через немецкие позиции и добрался до Витебска. Ему удалось разыскать нужных людей и получить от них сведения, за которыми его послали. В городе Карпова заподозрили патрульные. Они пытались его задержать, но ему удалось уйти. Ночью Карпов был уже вблизи от передовых позиций немцев. Отважный разведчик прошел их все, лишь в последней траншее наткнулся на немецкого часового. Он успел стукнуть часового рукояткой пистолета по голове раньше, чем тот поднял тревогу. Часовой упал. Когда Карпов уже выбежал из траншеи, гитлеровец, придя в себя, закричал. По Карпову открыли огонь вражеские пулеметы. Он упал наземь, пополз. Наша артиллерия обрушилась на врага. На пути оказалось проволочное заграждение. Как преодолеть его? Карпов стал пробираться сквозь заграждение. Вражеская пуля ранила его. Теряя сознание, он все же собрал силы и выбрался из колючей проволоки, пополз дальше... Очнулся Карпов уже в блиндаже у своих.

Отважный разведчик доставил нужные сведения.

Позже Карпов узнал, что по указанию командующего фронтом в полосе обороны корпуса его ожидали разведгруппы, и вся артиллерия на этом участке была готова прикрыть его переход массированным огнем» (7, стр. 264—266).

Как мне стало известно, разведданные о «Медвежьем вале» в порядке информации были переданы на соседние с 3-м Белорусским фронтом — 1-й Прибалтийский и 2-й Белорусский. Об этом пишет маршал И. Х. Баграмян:

«...Я, будучи командующим 1-м Прибалтийским фронтом, встречал в разведывательных сводках фамилию старшего лейтенанта Карпова. И вот он, тот же самый лихой, смелый разведчик, теперь — известный писатель... Карпов написал очень хороший роман «Взять живым!», в котором он без прикрас показал суровую, опасную и труднейшую службу войсковой разведки... Достоверность, знание всех тончайших деталей боевой окопной жизни — одно из достоинств романа «Взять живым!». И основано это на том, что почти во всех описанных заданиях принимал участие сам автор. Владимир Карпов сражался не только на фронте, которым я командовал, он вел активные боевые действия и на соседнем, 3-м Белорусском, и, как мне известно, пользовался уважением командующего фронтом Ивана Даниловича Черняховского» (8, стр. 78).

Слова Баграмяна дают мне основание предположить, что генерал Петров тоже использовал эти разведывательные сведения, и хотя он не знал, что их доставил воспитанник его училища, друг Юры и хорошо знакомый ему Володя Карпов, все же мне очень приятно сознавать, что и я принес какую-то пользу, пусть и небольшую, Ивану Ефимовичу в то время, когда он командовал 2-м Белорусским фронтом.

В итоге Белорусской операции было взято огромное количество пленных. Великое благородство и гуманизм были проявлены победителями к этим пленным — не месть, не надругательство и побои, а предметный урок вразумления был им преподан. Пленных провели через Москву, ту самую Москву, об уничтожении которой немецкой авиацией твердил им Геббельс.

Поскольку Иван Ефимович и я имели к этому событию некоторое отношение и в тот день оба были в Москве, расскажу о нем подробнее.

В газете было опубликовано сообщение:

«Извещение от начальника милиции гор. Москвы.

Управление милиции г. Москвы доводит до сведения граждан, что 17 июля через Москву будет проконвоирована направляемая в лагерь для военнопленных часть не-

мецких военнопленных рядового и офицерского состава в количестве 57 600 человек из числа захваченных за последнее время войсками Красной Армии 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов.

В связи с этим 17 июля с 11 часов утра движение транспорта и пешеходов по маршрутам следования колонн военнопленных: Ленинградское шоссе, ул. Горького, площадь Маяковского, Садовое кольцо, по улицам: Первой Мещанской, Каланчевской, Б. Калужской, Смоленской, Каляевской, Новослободской и в районе площадей: Колхозной, Красных ворот, Курского вокзала, Крымской, Смоленской и Кудринской — будет ограничено.

Граждане обязаны соблюдать установленный милицией порядок и не допускать каких-либо выходов по отношению к военнопленным» (9, стр. 4).

В те дни я выписался из госпиталя после ранения, полученного во время вылазки в Витебск, долечивался и учился на курсах усовершенствования. Перед конвоированием пленных через Москву меня вызвали в штаб и сказали, чтобы я с утра был в комнате дежурного — за мной заедут из кинохроники. Печальное и поучительное шествие пленных через Москву, оказывается, было решено зафиксировать для истории. Этот фильм был снят. Меня по просьбе командования запечатлели на фоне пленных, в районе площади Маяковского. Фамилия моя в картине не названа потому, что я тогда служил в разведке. Просто я стоял (конечно же, выпятив грудь в орденах) на фоне бредущей зеленой массы гитлеровцев, похожих в тот момент на одноликих призраков.

Впереди неторопливо, не в ногу шли генералы. Разные. Поджарые. Оплывшие от жира. Круглолицые. Горбоносые. Золотые вензеля блестели в красных петлицах. Витые, крученые погоны, выпуклые, словно крем на пирожных. Ордена и разноцветные ленты на груди. Генералы не смотрели по сторонам, шли, тихо переговариваясь. Один коротышка отирал платком седой щетинистый бобрин на продолговатой, как дыня, голове. Другой, здоровенный, равнодушно смотрел на лица москвичей, будто это не люди, а кусты вдоль дороги.

За генералами шли гнущимися рядами офицеры. Эти явно старались показать, что плен не сломил их. Один, рослый, хорошо выбритый, с злыми глазами, встретив мой взгляд, быстро показал большой кулак. Я тут же ответил ему: покрутил пальцем вокруг шеи, словно веревкой обвил, и ткнул им в небо: гляди, мол, как бы тебе не ответили этим! Фашист несколько раз оглянулся и все показывал кулак, щерил желтые, прокуренные зубы, видимо, ругался. «Какая гадина, — подумал я, — жаль, не прибили тебя на фронте».

За офицерами двигались унтеры и солдаты. Их было очень много, они шли сплошной лавиной по двадцать в ряд — во всю ширину улицы Горького.

Пленных сопровождал конвой — кавалеристы с обнаженными шашками и между ними пешие с винтовками наперевес.

Москвичи стояли на тротуарах. Люди молча, мрачно смотрели на врагов. Было непривычно тихо на заполненной от стены до стены улице. Слышалось только шарканье тысяч ног.

Глядя на немцев, я думал: может быть, среди них и те, которых я с моими боевыми друзьями разведчиками брал как «языков»? Наверное, они здесь. Куда же им деться?

Семерых мы взяли при подготовке наступления в Белоруссии. С некоторыми я, наверное, встречался, когда ходил в тыл. Ох, не такие они были пришибленные, когда я их видел там, они чувствовали себя хозяевами на нашей земле. Были в этих рядах и те, от которых я едва ушел живым, когда переходил линию фронта, возвращаясь из Витебска. Где-то рядом шагал теперь и тот, кто попал в меня в темноте, сам не зная об этом.

По сей день, как только вспомню прохождение пленных гитлеровцев через Москву, встает перед глазами зеленоватая, как плесень, масса бредущих людей и среди них лицо бритого офицера с желтыми, оскаленными от ненависти зубами и черным мосластым кулаком.

Но это впечатление выплыло позже, а тогда я с удовольствием и гордостью позировал перед кинокамерой. И еще помню, не соответствовало мое настроение тому, как вели себя москвичи, глядевшие на пленников. Они были суровы, а меня распирало ощущение счастья. Ну как же мне не радоваться и не быть счастливым, стоя живым, в Москве, на площади Маяковского, с Золотой Звездой на груди, которую мне вручили несколько дней назад в Кремле.

Хочется мне сказать и об этом незабываемом событии несколько слов. Как человек узнает, что ему присвоили звание Героя? Ну, в своей воинской части он получает поздравительную телеграмму. А я после ранения находился в госпитале, от полка оторвался. Иду 6 июня по улице Горького, смотрю — пожилая женщина наклеивает на щит свежие газеты. Все мы в те дни ждали сообщения Совинформбюро. Вот и я, увидев эту женщину, подумал: «Надо посмотреть, какие новости на фронте». Подошел. Прочитал. А потом скользнул взглядом по статьям на первой полосе и вдруг вижу «Указ...» и мои фамилия, имя, отчество. Я сразу как-то даже не отреагировал. Прочитал еще раз. Вдруг женщина, наклеивавшая газеты, видно, заметив перемену в моем лице (на голове у меня еще были бинты), спрашивает:

— Тебе плохо, сынок?

Я очнулся, засиял и молвил:

— Очень мне хорошо, мамаша. Дайте я вас поцелую!

— Так за что же, милый?

— А вот вы наклеили, и я узнал, что Герой!

— Правда? Где?

Я показал.

— Ну тогда давай я тебя поцелую. Поздравляю тебя, милый, дай бог тебе здоровья и счастья.

Она меня поцеловала, я ее. А прохожие с недоумением смотрели на нас, не понимая, по какому поводу молоденький офицер целуется со старушкой, у которой в одной руке ведро с клейстером, а в другой сумка с газетами.

В тот же день я едва не попал в комендатуру из-за этого радостного известия. Прочитав указ, пошел я в наградной отдел уточнить, может быть, это и не мне присвоено звание, а однофамильцу. Прихожу. Обращаюсь к майору, который сидит за перегородкой. Сразу мне этот тыловик не понравился — упитанный, холеный. Может быть, он был хорошим человеком, но по моему тогдашнему восприятию глаза у него были какие-то нехорошие, подзревающие.

— А почему, — спрашивает, — вы думаете, что это вы?

Действительно, указ только что опубликован, и вот Герой тут как тут, в этот же день, как говорится, явился — не запылился! Но это теперь, спустя много лет, я так рассуждаю, а тогда я был молод (двадцать два еще не исполнилось), да и нервишки у нашего брата фронтовика поизносились. Мне показался обидным и вопрос майора и особенно его взгляд. Не задумываясь, выпалил:

— Потому, что я не сидел всю войну, где сидите вы...

Майор покраснел и зло одернул меня:

— Не забывайте, старший лейтенант, а не то я позвоню в комендатуру и... — он не договорил, протянул мне лист бумаги. — Вот заполните анкету. Укажите адрес, где сейчас живете. Проверим. Если вы — вызовем.

Ну а через несколько дней пришло приглашение в Кремль. Не правда, будто бы там предупреждали, чтоб не жать крепко руку Михаилу Ивановичу Калинин. Никто нас об этом не просил. Наверное, это выдумка. Хотя пожать руку целому залу не просто, иной на радостях так стиснет, наверное, хрустели старые косточки у добрейшего нашего всесоюзного старосты, как тогда называли Калинина.

Собрались мы в назначенный час в Свердловском зале. Сидим, ждем. Рядом со мной летчик, у него несколько орденов на груди. Я его спрашиваю:

— Какой тут порядок, товарищ капитан? Что надо говорить, когда вызовут?

— Не знаю, я все ордена на фронте получал.

И вдруг выходит Калинин, точно такой, как на фотографиях: небольшого роста, белая бородка клинышком, очки в металлической оправе. Встретил его секретарь Президиума Верховного Совета А. Ф. Горкин, у которого на столах уже разложены коробочки с орденами, удостоверения. Хотел я другого соседа спросить, какой же все-таки порядок вручения, и вдруг слышу — меня вызывают. Оказывается, вручение наград начинается с Героев. Как оказалось, в этот день таких было трое среди награжденных, начали с меня.

Вышел я к столу несколько растерянный. Калинин мне подает грамоту Героя, а на ней целая горка: коробочка с орденом Ленина, коробочка с Золотой Звездой, удостоверение, проездные купоны.

Награды на красном бархате золотом горят. А я, как в счастливом сне, смотрю на Калинина и улыбаюсь.

— Поздравляю вас, товарищ, с присвоением звания Героя Советского Союза.

— Служу Советскому Союзу! — машинально ответил я, как и полагалось по уставу.

Михаил Иванович по-отцовски, с сожалением на меня посмотрел. Вид у меня, действительно, был не геройский — похудел я после ранения, побледнел, тощая шея торчит из воротника гимнастерки.

— Сколько вам лет? — спросил Калинин.

— Двадцать два, Михаил Иванович.

— И уже Герой! Молодец. Желаю вам дальнейших успехов.

Сел я на место, привинтил мне летчик-сосед звездочку на гимнастерку, все на меня смотрят, улыбаются. А я все не могу понять, что это я — Герой! Вышел на Красную площадь, опять прохожие оглядываются на меня с доброжелательными улыбками. А я все еще не ощущаю, что это именно со мной произошло. Подошел к витрине магазина, делаю вид, будто рассматриваю товары, а на самом деле на свое отражение гляжу.

Долго стоял, смотрел, все не верилось.

Лечение

Петров ехал в Москву на выдавшем виды фронтовом «виллисе» в сопровождении своих верных помощников — водителя и той группы обеспечения, которая была с ним повсюду. На долгом пути до столицы Петров много думал, стараясь понять, что же произошло на этот раз? Каких-то видимых причин для недовольства его действиями и работой, по его мнению, не было. Конечно, Петров понимал, что дело не в болезни — больным он себя не чувствовал, видимо, что-то произошло в Ставке.

Позднее все прояснилось, стало известно, какое письмо написал Л. З. Мехлис. Но в те часы, когда Петров ехал в Москву, он не знал о письме и, естественно, был очень огорчен из-за проявленной к нему очередной несправедливости.

Собирая материалы к этой главе, я искал людей, которые бы могли подробно рассказать мне о событиях, связанных с освобождением от должности командующего 2-м Белорусским фронтом, о том, чем занимался Петров в Москве, о чем говорил.

Один из них — водитель того самого «виллиса», на котором ехал Петров в Москву, Сергей Константинович Трачевский. Сейчас он живет в Кишиневе. Я сначала обменялся с ним несколькими письмами. Он сообщил мне много интересного и полезного, но однажды написал, что заболел и находится в больнице. Я уже был научен горьким опытом, когда опаздывал на беседу с участниками боев и приезжал после того, когда человека не было в живых (уходит наше поколение, уходит, ничего не поделаешь!). На этот раз я решил не откладывать встречи и срочно вылетел в Кишинев.

Меня встретил сын Сергея Константиновича, инженер-строитель, человек высокообразованный, внимательный и очень любящий своего отца. В тот же день он повез меня в больницу, где находился Сергей Константинович. Это была новая многоэтажная больница. К вечеру в ней было тихо, осталась только дежурный медперсонал, больные находились в палатах или сидели в холлах у телевизоров.

Мы встретились с Сергеем Константиновичем, познакомились теперь уже очно. Он был уже немолод, довольно высокий, с удлинённым лицом, сейчас заметно бледным. Мы разместились в небольшом холле и повели разговор об Иване Ефимовиче и особенно о всех тех событиях, которые меня интересовали. Но сначала я расспросил Трачевского о его жизни. О себе он рассказал коротко, говорил лишь о главном:

— До войны, с 1937 года я работал в Совнаркоме Молдавии, был шофером председателя Совета Министров. Когда началась война, у меня была броня. Но фронт, как известно, к Кишиневу приблизился очень быстро. Мои товарищи по работе стали эвакуироваться. Ну, я был молодой, куда же мне эвакуироваться и зачем? Поэтому 7 июля 1941 года добровольно пошел в действующую Красную Армию.

Направили меня по специальности — водителем в штаб Южного фронта. Возил я сначала бригадного комиссара, а в 1942 году после расформирования Южного фронта часть войск ушла по направлению к Нальчику, а другая, в которой был я, — в сторону Кубани, к Новороссийску и Туапсе.

В ходе боев здесь была сформирована Черноморская группа войск, и я оказался в этой группе. Вскоре прибыл новый командующий этой группой генерал Петров и попросил подобрать ему хорошего водителя. Ему предложили меня. Я, видно, понравился. И вот с тех пор я ездил с Иваном Ефимовичем не только до конца войны, но даже и после войны некоторое время.

В первые недели работы с Иваном Ефимовичем я очень волновался, потому что о генерале Петрове ходила слава, что он очень требовательный и строгий человек. Но позднее я привык к нему и понял, что строгость его происходила из-за огромной напряженности его работы, из-за постоянной нехватки времени, из-за необходимости побыстрее оказаться в том месте, где наибольшая опасность. Поэтому он и был требователен и строг к своим подчиненным. Иначе ему просто было нельзя. Но строгость у него была какая-то своеобразная. Он никогда не ругал, не повышал голоса, не отчитывал, а просто требовал, чтобы все, кто его окружает, работали так же добросовестно и напряженно, как он сам.

Работал Иван Ефимович очень много. Спал два-три часа в сутки. Я не помню ни одного дня, чтобы генерал Петров не выезжал с утра в войска. Возвращались мы обычно поздно вечером. В штабе его ждали уже с документами, со всякими неотложными делами. До двух-

четырёх часов ночи он занимался с работниками штаба. А утром, не позже шести-семи часов мы уже снова выезжали в район боевых действий.

Машина наша «виллис» всегда была открыта, тент не натягивался, и поэтому дождь ли, снег ли — все на нас падало сверху. Не знаю почему, но Иван Ефимович всегда любил именно открытую машину. Любил ездить быстро, не терпел задержек. За все время у меня только однажды спустило колесо. Для того чтобы поставить запасное, мне надо было четыре-пять минут. Но Иван Ефимович даже эти минуты терять не хотел. Он пересел на «виллис» охраны, которая нас сопровождала, и уехал на этой машине, а я его потом догнал.

— Кто с вами ехал в Москву на «виллисе»?

— На «виллисе» ехала группа обеспечения командующего: его адъютант — лейтенант Антон Емельянович Кучеренко, ординарец Иван Иванович Сукачев и постоянный повар Захар Фомич Гошнашвили, он всю войну находился при Петрове. Ну и я — его постоянный водитель.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о каждом из этих товарищей.

— Первый, о ком мне хочется сказать, это адъютант Антон Емельянович. Он и сейчас еще жив, живет недалеко от Запорожья.

— Я знаю об этом. Он написал мне несколько писем в ответ на мои вопросы. Он уже довольно пожилой.

— Да, он немолод и не очень здоров. Ну, а в те годы Антон Емельянович был бодрый, сильный, несмотря на то, что был старше нас. Он — участник гражданской войны, боец легендарной дивизии Котовского, награжденный еще тогда орденом Красного Знамени. Он нам говорил даже, что у него орден номер семь, не знаю, насколько это верно.

Иван Ефимович встретил Кучеренко под Одессой, когда формировал кавалерийскую дивизию. Вот в числе пополнения прибыл туда и Кучеренко. И Петров сразу же взял его к себе. Он был тогда рядовой, но со временем из ординарцев стал одним из адъютантов Петрова.

Кучеренко был человек смелый, решительный. Он бы не пожалел жизни ради спасения Петрова. И в то же время он был очень добрый. Как многие украинцы, обладал хорошим юмором. Его можно назвать не только адъютантом, но и надежным телохранителем Ивана Ефимовича. Он днем и ночью заботился не только о том, чтобы быт Ивана Ефимовича был устроен, но и о его безопасности. Сам всегда ходил с автоматом, во время передвижения глаз не спускал с машины командующего и всего, что ее окружало. Ивана Ефимовича он любил больше своей жизни. И очень гордился тем, что он — адъютант командующего.

Несмотря на то, что Кучеренко был старше нас по возрасту, да и по служебному положению, он к нам относился дружески, и наша группа была очень спаянная. И сейчас мы переписываемся с Антоном Емельяновичем. Он приезжал несколько раз ко мне в гости, в Кишинев. Мы с ним вспоминали боевое прошлое.

Повар наш, Захар Фомич Гошнашвили, хорошо готовил, до войны он работал шеф-поваром в одном из ресторанов города Тбилиси. Он тоже очень любил Ивана Ефимовича и старался приготовить то, что ему больше нравилось. И нужно сказать, Иван Ефимович высоко ценил его мастерство. Старался нигде не обедать, а приехать к себе, чтобы поесть то, что приготовил Захар Фомич. Но, правда, днем ему это не удавалось, а вот утром, перед отъездом, и вечером, после возвращения, он обязательно приходил, и Захар Фомич кормил его тем, что особенно любил Иван Ефимович.

Была у нас машина «додж», пикап. Это хозяйственная машина, на ней мы перевозили нехитрое наше оборудование, в которое вхо-

дили обычная солдатская койка и сбитый из досок щит, на него стелили тоненький матрац. На этом ложе Иван Ефимович спал. Он не любил мягкую постель, всегда спал вот на этом деревянном щите.

Иван Ефимович не то чтобы не злоупотреблял, а вообще не пил спиртного. Только иногда вечером, когда придет усталый, выпивал маленькую рюмку водки. Была такая рюмочка, ну, граммов двадцать, не больше. И то не каждый раз. Захар Фомич, прежде чем подать ему горячее, поставит закуску, вопросительно посмотрит на генерала. У того после трудного дня был вид, конечно, усталый. И вот по какому-то только одному Захару Фомичу понятному выражению лица он определял — сегодня надо налить эту вот рюмочку водки.

Курил Петров много, курил всегда одни и те же папиросы «Казбек». Иногда на ходу курил. Причем сам закуривал, а мне откладывал папироску, клал ее рядом с рычагом переключения, чтобы я мог потом на стоянке тоже покурить.

— О чем вы говорили, когда ехали в Москву? Рассказывал ли вам Иван Ефимович о причинах отъезда со 2-го Белорусского фронта?

— Всю дорогу Иван Ефимович был молчалив. Ни о чем нам не рассказывал. Но по нему было видно, что настроение у него подавленное. Да мы знали уже из разговоров, которые всегда ходят в окружении начальства, что Иван Ефимович отзывается с должности командующего фронтом. А куда и почему, пока нам не было ведомо.

— Ну, потом вам стало известно, что командующий направляется на лечение. Так как же проходило это лечение и где оно осуществлялось?

— Мне кажется, что Иван Ефимович совсем не нуждался ни в каком лечении. Уж мы-то, близкие к нему люди, знали, что он абсолютно здоров, полон сил. Да и работал он при подготовке операции 2-го Белорусского фронта очень много, просто весь горел желанием работать. В Москве он поселился в гостинице «Москва», а не в госпитале. Но, видимо, надо было поехать в поликлинику. Я его отвез туда. Но нечего ему, по-моему, там было лечить. Поэтому он вскоре сказал: «Собирай всю группу и поедem в Звенигород».

В Звенигороде, как известно, был, да он и сейчас есть, военный санаторий. Вот мы туда и приехали. И там Иван Ефимович ни от чего не лечился, а просто много гулял по лесу. Очень скучал и томился от своего одиночества в дни, когда и по радио и в газетах стали появляться сообщения о том, что операция проходит успешно.

О том, какой он был больной, свидетельствует образ жизни его в санатории. Однажды он попросил меня найти удочки. Я нашел — взял у местных работников. И мы отправились с генералом в лес. Он попросил захватить с собой продукты. Сказал, что пойдем рыбачить подальше. Подальше от шума, так он сказал.

В столовой я взял хлеба, картошки, сала. Мы шли по лесу довольно долго. И наконец набрали на какую-то тихую речку.

Ну, Иван Ефимович приготовил удочки, забросил в воду и сидел, наблюдая за поплавком. Но рыба почему-то не клевала, в тот день так он ничего не поймал. Сказал: наверное, клев будет на рассвете. Пришел вечер, есть захотелось. Продукты, которые я взял, очень пригодились. Я развел костер, сварил картофельный суп, добавил туда кое-какие травки, нарезал сало. Ну, и с опаской предложил это Ивану Ефимовичу. А он то ли действительно сильно проголодался, то ли вправду суп получился, очень хвалил мой суп и все приговаривал: какой вкусный, прошу добавки. Да на свежем воздухе, в лесу всегда все вкусно!

После того, как мы поели, Иван Ефимович завернулся в бурку и лег спать на землю. А мы по очереди дежурили, оберегая сон очень дорогого для нас человека.

Вот так мы забирались в лес почти ежедневно все то время, которое были в Звенигороде. Ну, сами судите, разве может больной человек не ходить ни к каким врачам и спать на земле, завернувшись в бурку? Вот это, мне кажется, самое лучшее доказательство того, что Иван Ефимович ничем не болел.

— А как складывалась жизнь Ивана Ефимовича, Зои Павловны и Юры на фронте?

— Зоя Павловна почти всегда была на том же фронте, где воевал Иван Ефимович: и на Кавказе, и на Втором Белорусском, и после, в Карпатах. Она была капитан медицинской службы, работала инспектором в санитарном управлении. Ездил по госпиталям, заботилась о порядке. Была она женщина строгая и волевая и, как я слышал, делала много хорошего для своевременного медицинского обслуживания. К Ивану Ефимовичу она иногда приезжала, но редко.

А Юра некоторое время был адъютантом, а потом то ли надоела ему эта должность и он хотел настоящей службы, то ли Иван Ефимович стремился, чтобы сын, кроме адъютантской должности, еще чем-то занимался. Он был направлен начальником штаба в артиллерийский полк. После ранения на Кавказе он убыл с фронта и поступил учиться в академию.

Я знаю только одно об отношениях Петрова с Юрой. Отец был с ним на людях всегда строго официален. И не на людях, в служебном отношении он был даже, по-моему, несправедлив к сыну. Он всегда вычеркивал его из всех наградных списков, поэтому у Юры Петрова, пока он служил с отцом в Севастополе и на Кавказе, не было никаких наград, кроме тех медалей, которые позже были вручены всем участникам героической обороны Севастополя и битвы за Кавказ.

— Сколько же продолжалось странное лечение Петрова?

Сергей Константинович подумал, видимо, мысленно подсчитывая, потом сказал:

— Весь июль, чуть больше месяца, потому что в начале августа Иван Ефимович получил новое назначение — опять командующим фронтом, на этот раз Четвертым Украинским.

Командующий 4-м Украинским фронтом

Лечение генерала Петрова закончилось так же неожиданно, как и началось. Этому способствовало, конечно, не состояние здоровья Ивана Ефимовича, а обстановка на фронте. Вот что произошло. Белорусская операция успешно развивалась. В ходе быстрого и стремительного наступления, когда операция «Багратион» была еще в самом разгаре, 13 июля, используя благоприятную обстановку, созданную наступлением Белорусских фронтов, перешел в наступление 1-й Украинский фронт. Все внимание противника было сосредоточено в эти дни на удержании рвущихся навстречу друг другу 1-го и 3-го Белорусских фронтов — при соединении этих фронтов в районе Минска для гитлеровских войск возникла угроза большого окружения. Естественно, сюда было направлено не только внимание гитлеровского командования, но и резервы, которыми оно располагало.

Вот в этот благоприятный момент и нанес удар 1-й Украинский фронт под командованием маршала И. С. Конева. Он бил в двух направлениях: на Рава-Русскую и на Львов. Я не буду описывать все перипетии этой сложной операции. Скажу только, что 27 июля Львов был освобожден. Продолжая развивать наступление, войска вышли к реке Висле и захватили на противоположном берегу большой плацдарм, расширив его со временем до 75 километров по фронту и до 50 километров в глубину. В ходе боев за плацдарм был взят город Сандомир. По имени города получил название тот знаменитый Сандомирский плацдарм, с которого наши армии уже нацеливались на

Берлин, а армии левого крыла этого фронта начали бои в предгорьях Карпат.

На юге, благодаря успешным действиям наших войск, была выведена из войны Румыния, и войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Р. Я. Малиновского успешно продвигались в направлении Венгерской равнины. Эти наши две мощные группировки войск разделяла огромная подкова главного Карпатского хребта длиной до 400 и глубиной более 100 километров. Выпуклая сторона этой горной подковы была обращена в сторону наших войск, она состоит из нескольких параллельных горных хребтов, представляющих собой мощнейший природный оборонительный рубеж, не говоря уже о том, что было создано там противником. Все дороги, перевалы, узкие места в горах были перекрыты узлами сопротивления, а по главному Карпатскому хребту пролегла оборонительная линия Арпада с типичными для таких мощных линий долговременными железобетонными сооружениями. Левый фланг 1-го Украинского и правый 2-го Украинского фронтов уперлись в эту горную гряду. Командующим этих фронтов теперь, естественно, было трудно организовать и руководить сражениями на таких разнородных — равнинных и горных — театрах, каждый из которых требует своей специфики ведения боя.

Учитывая это, Ставка решила создать новый — 4-й Украинский фронт. Создание фронта связано с огромной организационной работой, перегруппировкой войск, выделением новых сил и средств, созданием новых баз снабжения горючим, продовольствием, боеприпасами, развитием сети железных и шоссейных дорог. Все особенности этой работы читателю уже известны по рассказу о деятельности Петрова, когда он формировал 2-й Белорусский фронт. Но при создании 4-го Украинского фронта вставал еще один важный вопрос: новому фронту предстояло вести бои в горах. Кого же назначить командующим этим фронтом? Перебрали многих военачальников, интересуясь в первую очередь теми, кто имеет опыт ведения горной войны. И оказалось, самым опытным по руководству боями в условиях гор был генерал Петров. Его опыт в этой области начался в годы гражданской войны в горах Памира. Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны Петров вел с боями Приморскую армию через Крымские горы в Севастополь. Колоссальные сражения в битве за Кавказ под руководством генерала Петрова тоже большей частью проходили в горах. Лучшую кандидатуру найти было трудно.

Генеральный штаб, несмотря на то, что ему было хорошо известно о всех сложных моментах в отношении Верховного Главнокомандующего к этому военачальнику, все же предложил его кандидатуру. И Сталин без возражений согласился, очевидно, учитывая перечисленные выше достоинства и преимущества Петрова.

3 августа 1944 года была издана директива Ставки, согласно которой генерал-полковник Иван Ефимович Петров был назначен командующим 4-м Украинским фронтом, а членом Военного совета (не знаю, специально это было сделано или нет, но обратить на это внимание читателей считаю необходимым) был снова назначен генерал-полковник Л. З. Мехлис. Начальником штаба фронта был генерал-лейтенант Ф. К. Корженевич.

В состав войск фронта были включены и переданы из 1-го Украинского фронта: 1-я гвардейская и 18-я армии, а также 8-я воздушная армия. И еще 17-й гвардейский стрелковый корпус и другие специальные части.

Прибыв на фронт, генерал Петров сразу же, еще в процессе формирования своего нового фронтового управления, включился в руководство войсками, которые вели бои и ни на минуту не прерывали наступления.

5 августа 1-я гвардейская армия освободила город Стрый, а на следующий день, преодолев трудную, заболоченную местность, овладела областным центром Украины — городом Дрогобыч. Продолжая продвижение, войска фронта 7 августа освободили Борислав и Самбор.

Фронт, располагая такими небольшими силами — всего две армии, — не мог долго успешно наступать. По мере дальнейшего продвижения в предгорья Карпат наступление замедлялось. Да и создавался 4-й Украинский не для активных наступательных действий. Вот что пишет об этом генерал С. М. Штеменко:

«Советское командование не собиралось тогда форсировать Карпатский хребет прямым ударом. Действия в лоб могли стоить нам очень дорого. Горы следовало обойти. Эта идея и закладывалась в замысел будущих операций в Карпатах, где предполагалось действовать небольшими силами» (2, кн. 2, стр. 324).

29 августа Петров получил директиву, подписанную Сталиным, в ней было указано:

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Войскам фронта с получением настоящей директивы по всей полосе перейти к жесткой обороне.
2. Оборону создать глубоко эшелонированную.
3. Подготовить в полосе фронта не менее трех оборонительных рубежей с общей глубиной 30—40 километров, имея на основных направлениях сильные корпусные, армейские и фронтовые резервы...» (10, стр. 15).

Как видно из директивы Ставки, 4-му Украинскому фронту ставилась задача чисто оборонительная и было прямо указано о построении глубоко эшелонированной обороны.

Этим обеспечивались фланги войск Конева на Сандомирском плацдарме и войск Малиновского в Румынии, потому что иначе, при отсутствии обороны, которую и было поручено создать Петрову, противник мог пройти по карпатским дорогам и ударить очень чувствительно не только по флангам, но даже по тылам войск 1-го Украинского и 2-го Украинского фронтов.

Но не успел командующий фронтом генерал Петров принять еще решение на организацию такой прочной обороны, как буквально через три дня, то есть 2 сентября 1944 года, поступила новая директива Ставки, приказывающая наступать.

Что же произошло за эти три дня?

Здесь деятельность генерала Петрова впервые соприкасается с делами уже международного масштаба, и, чтобы она была понятна читателям, я вынужден сделать небольшое отступление.

Разумеется, не только события этих трех дней так резко изменили обстановку и решение Верховного Главнокомандования. События назревали давно, но именно в эти три дня достигли своего апогея. Дело в том, что в Чехословакии, за Карпатскими хребтами, перед которыми стояли войска генерала Петрова, назревало восстание.

Чем дальше шла война, тем больше росло и ширилось в Чехословакии освободительное движение.

Еще 12 декабря 1943 года был подписан советско-чехословацкий Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. В соответствии с этим договором Советское правительство оказывало чехословацкому освободительному движению большую помощь оружием, боеприпасами и всем необходимым для борьбы с гитлеровцами. Бурно развивавшемуся партизанскому движению необходимо было руководство. Но самые стойкие, отважные борцы против фашизма, чехословацкие коммунисты, при вступлении гитлеровцев в Чехословакию в 1939 году либо погибли в застенках, либо сидели в концлагерях, либо таились в подполье и в эмиграции за пределами родной земли. В течение 1941 — 1943 годов не-

сколько раз делались попытки переправить в Чехословакию некоторых руководящих работников Коммунистической партии Чехословакии, оказавшихся в нашей стране, и воссоздать там Центральный Комитет партии. Четырежды эти попытки были неудачными, все переправленные арестовывались гитлеровцами.

Летом 1943 года все же удалось (в пятый раз!) перебросить нескольких товарищей. Вскоре был сформирован Центральный Комитет Компартии Словакии во главе с К. Шмидке, Г. Гусаком и Л. Новомеским. Кроме этого, был создан Словацкий национальный совет как руководящий орган национально-освободительного движения в Словакии.

Возглавлял этот совет президиум, куда на паритетных началах входили представители различных партий, были в его составе и коммунисты. Коммунист К. Шмидке был одним из председателей совета.

Второй силой, которая претендовала на руководство народным и партизанским движением, было чехословацкое эмигрантское правительство, находившееся в Лондоне.

Лондонское правительство вело свою политику и намеревалось для ее осуществления использовать словацкую армию. Эта армия существовала легально и была как бы союзницей гитлеровской Германии. Дело в том, что Словакия была в 1939 году объявлена независимым государством под «охраной» фашистской Германии. Поэтому у нее сохранялось свое правительство, возглавляемое Тисо, сохранялась и армия. Вот эту армию эмигрантское правительство и намеревалось использовать для быстрого захвата всех руководящих постов и установления буржуазной власти еще до того, как Красная Армия придет на территорию Чехословакии.

Командование словацкой армии было предано лондонскому правительству. Оно получило от него указание оттянуть срок народного восстания, произвести перед самым вступлением в Словакию советских войск переворот силами армии и полиции и установить форму правления, задуманную эмигрантским правительством.

Особые надежды эмигрантское правительство возлагало на восточно-словацкий корпус, которым командовал генерал А. Малар. Этот корпус по приказу гитлеровского командования еще весной 1944 года был передвинут из Центральной Словакии в район Восточных Карпат к Прешову.

При этом гитлеровцы все же опасались вывести восточно-словацкий корпус на передние линии, боясь, чтобы во время соприкосновения с Красной Армией солдаты не обратили бы свое оружие против Германии. Поэтому перед словацким министерством обороны гитлеровское командование поставило задачу — силами этого корпуса готовить в Карпатах оборонительный рубеж.

Восточно-словацкий корпус действительно оборудовал мощный оборонительный рубеж, особенно сильный в районе Дуклинского перевала и южнее.

Но пока корпус строил оборонительные рубежи для гитлеровских войск, ЦК Компартии Словакии и Словацкий национальный совет готовили народ к вооруженному восстанию против фашистского режима. Боевые действия партизан активизировались все больше и больше. И когда советские войска наступали в предгорьях Карпат, это движение уже превратилось в настоящую партизанскую войну.

Для того чтобы проинформировать командование Красной Армии о том размахе, который приняло партизанское движение, и скоординировать действия партизан с Красной Армией, 6 августа 1944 года в Москву прибыла делегация Словацкого национального совета, в составе которой находился секретарь ЦК Компартии Словакии

К. Шмидке. Эта делегация согласовала в Генеральном штабе взаимодействие с частями Красной Армии.

Был согласован и план восстания. Суть его заключалась в следующем. При попытке немцев оккупировать Словакию,— а уже было известно, что они собираются это сделать,— народ должен выступить всеми силами, в том числе и силами словацкой армии, которую надо было перетянуть на свою сторону. Далее следовало: удерживать по возможности большую часть словацкой территории, организовать на ней временную народную власть и вести на территории, еще занятой оккупантами, партизанскую борьбу до полного освобождения Словакии Красной Армией.

Однако события нарастали с опережением этих планов. В те дни, когда шли эти переговоры, то есть в августе 1944 года, в Словакии начались уже революционные выступления народа. А на территории Центральной и Северной Словакии очень активно стали действовать партизаны. В это же время все большее количество воинских подразделений словацкой армии стало выходить из-под влияния и контроля марионеточного словацкого правительства. Солдаты, посылаемые в горы для карательных операций, братались с партизанами. Многие просто переходили к ним, передавали им оружие и боеприпасы.

Высокая волна освободительного движения уже грозила смести марионеточное правительство Тисо. Испуганное этой угрозой, правительство пошло на предательский шаг: оно обратилось к Гитлеру с просьбой немедленно ввести войска в Словакию.

29 августа министр обороны правительства Тисо оповестил по радио страну о вступлении в Словакию немецких войск «для восстановления порядка». В тот же день Словацкий национальный совет обратился к населению по радио с призывом начать восстание, перейти к открытой вооруженной борьбе. Народ поддержал этот призыв. Так началось Словацкое национальное восстание. Уже к вечеру восстание охватило территорию Центральной и частично Восточной Словакии. Центром восстания стал город Банска-Бистрица, освобожденный словацкими партизанами в ночь на 30 августа.

1 сентября Словацкий национальный совет объявил, что берет в свои руки законодательную и исполнительную власть. Местные национальные комитеты, руководимые Коммунистической партией, стали всюду устранять органы старой власти и организовывать новую жизнь.

31 августа к Советскому правительству обратился посланник Чехословакии в СССР З. Фирлингер с просьбой оказать военную помощь словацкому народу. 2 сентября письмо, которое называлось «События в Чехословакии», в Наркомат иностранных дел СССР направил Клемент Готвальд.

Ставка наша, как известно, не планировала преодоления Карпат ударом с фронта. Читателям известна директива, отданная генералу Петрову, предписывающая ему создать прочную эшелонированную оборону в предгорьях Карпат на тот случай, если гитлеровцы попытаются с этого направления нанести фланговые удары по наступающим севернее и южнее Карпат советским частям. Не было никакой прямой необходимости преодолевать горные хребты и затрачивать на это многие жизни и средства.

Но получив известие о Словацком восстании и в связи с просьбой его руководителей, наше командование решило немедленно начать наступательную операцию силами 1-го и 4-го Украинских фронтов и через Карпаты кратчайшим путем как можно быстрее прийти на помощь восставшим.

Вот поэтому так неожиданно, буквально через несколько дней после директивы об организации прочной эшелонированной оборо-

ны, генерал Петров получил директиву о подготовке и проведении наступательной операции через Карпаты.

В те дни, когда командование 1-го Украинского и 4-го Украинского фронтов, преодолевая огромные трудности, срочно организовывало наступление, Коммунистическая партия Чехословакии всячески старалась активизировать и расширить борьбу народа по ту сторону Карпатских гор. Командование же восточно-словацкого корпуса в это самое время не приняло никаких мер для приведения войск в боевую готовность.

Командир корпуса Малар, будучи сторонником лондонского эмигрантского правительства и действуя по его указке, убеждал своих подчиненных, что восстание преждевременно, что армия в нем не должна участвовать, и даже предложил сдать оружие немцам. С целью дезориентации личного состава корпуса он передал по радио в штабы соединений ложные сообщения, что действия фашистских войск, вступивших в Словакию, не будут направлены против словацких частей. Конечно, это сообщение разлагающе действовало на работу и штаба корпуса и штабов дивизий, которые фактически ничего не предпринимали для подготовки словацких войск к активным действиям против оккупантов.

В день начала восстания, 29 августа, заместитель командира корпуса полковник В. Тальский, на которого по плану восстания было возложено руководство действиями корпуса, объявил о своем намерении начать наступление. Но на следующее же утро Тальский собрал подчиненных офицеров и объявил, что взаимодействие с Красной Армией отсутствует и поэтому необходимо подождать с выступлением до согласования организационных вопросов с советским командованием. 30 августа корпус по-прежнему бездействовал, а 31 августа Тальский сел в самолет и, оставив войска, ничего не сообщив штабу корпуса, неожиданно улетел в расположение советских войск. 1 сентября Тальский был принят командующим 1-м Украинским фронтом маршалом И. С. Коневым. В беседе с маршалом Тальский заявил, что в случае наступления советских войск в западном направлении, словацкие 1-я и 2-я дивизии, которые расположены по линии границы, могли бы наступать в восточном направлении с целью соединения с Красной Армией.

Маршал Конев все это изложил в донесении Сталину, высказав и предложение: провести совместную операцию левым флангом 1-го Украинского фронта и правым флангом 4-го Украинского фронта и ударом в направлении Кросно—Дукля—Тылява выйти на словацкую территорию в районе Стропков—Медзилаборце. Конев также высказал пожелание использовать в этих боях 1-й чехословацкий корпус, который действовал вместе с советскими частями. На подготовку операции Конев считал необходимым отвести 7 дней.

Это донесение было направлено 2 сентября в 3 часа 20 минут ночи. Утром того же 2 сентября Ставка отдала директиву 1-му и 4-му Украинским фронтам: подготовить и не позднее 8 сентября начать наступление на стыке фронтов с тем, чтобы ударами из района Кросно—Санок в общем направлении на Прешов выйти к чехословацкой границе и соединиться с повстанцами. Разрешилось к операции привлечь и 1-й чехословацкий корпус. Одновременно было дано указание организовать взаимодействие со словацкими войсками.

Легко можно себе представить, какие сложности возникли перед генералом Петровым, который в течение всего 6 дней должен был организовать исключительно трудоемкую операцию по преодолению с боями Карпат. Как известно, на организацию фронтовой операции обычно уходили месяцы или, как минимум, несколько недель, а в распоряжении Петрова оставалось всего 6 дней! К тому же войска, которые должны участвовать в наступлении, истощены,

устали, они только что завершили очень трудные боевые действия в предгорьях и при освобождении Западной Украины.

Но на войне чаще всего совершается именно невозможное. Надо было для выполнения интернационального долга, для помощи восставшему словацкому народу сделать это невозможное, во что бы то ни стало помочь братьям в Чехословакии.

Петров и его штаб без сна и отдыха в самом прямом, буквальном смысле этих слов начали проводить необходимую перегруппировку, подвоз боеприпасов, горючего, продовольствия, всего необходимого для преодоления не только мощной обороны противника, но и горных хребтов, которые сами по себе представляли трудное препятствие.

Карпатская горная дуга словно самой природой создана для обороны, потому что лежит поперек равнинной части Центральной Европы и прикрывает собой Венгерскую низменность с севера, востока, юго-востока. Причем это не одна какая-то гряда, а ряд горных хребтов, возвышающихся один за другим, последовательно, с высотами в 1000 — 1300 метров.

Главный Карпатский хребет можно преодолеть через несколько перевалов. Дорожная сеть в Карпатах развита слабо, нет здесь рочкадных дорог. Горы с очень крутыми подъемами, поросшими лесом и кустарником. В дождливую погоду даже немногие имеющиеся дороги из-за суглинистых почв становились труднопроходимыми. А шел сентябрь — это уже осень, время слякоти и дождей, которые размывали, делали совершенно непригодными дороги. И все это надо преодолеть, да еще в короткий срок, с боями. Пройти эти сотни километров по бездорожью и крутым склонам просто так под силу лишь хорошо подготовленным спортсменам, имеющим специальное снаряжение. А солдат на каждом хребте ждал противник, причем он всегда сверху, бьет просто на выбор, потому что по горной крутизне к нему не подбежишь быстро с криком «ура».

В долинах Карпат протекало очень много рек, речушек и ручьев, которые расчленили горы в самых различных направлениях. Эти реки в летнее время немногочисленны, а вот осенью, когда шли проливные дожди, они все стали бурными и многоводными. К тому же в долинах стояли густые, тяжелые туманы, мешая вести наблюдения. А на вершинах гор уже выпал снег, мели метели. Опять природа как бы нарочно усложняла боевые действия и возможности передвижения войск.

Генерал Петров понимал, что все эти дополнительные трудности предстоящей операции требуют особенно тщательной подготовки. Поэтому, занимаясь со своим штабом организационными делами, перегруппировкой войск, выдвиганием артиллерии, инженерными работами по подготовке исходного положения для наступления, Петров непрерывно и настойчиво требовал от командиров частей вести обучение войск действиям в горах. Это осуществлялось повседневно, несмотря на дожди и на бои, которые в эти дни не прерывались.

По указанию Военного совета фронта была разработана специальная инструкция о действиях войск в условиях горно-лесистой местности и было подготовлено описание Восточных Карпат, где подробно излагались особенности каждого перевала, дорог, рек и горных хребтов. Эту инструкцию Иван Ефимович сам отредактировал, внес в нее много очень важных добавлений.

В своих воспоминаниях «Преодолевая сопротивление врага» бывший начальник оперативного управления 4-го Украинского фронта генерал-лейтенант в отставке В. А. Коровиков пишет:

«Душой всей этой работы стал командующий войсками фронта генерал-полковник И. Е. Петров. Своей неиссякаемой энергией и личным примером он воодушевлял весь коллектив полевого управления, а также генералов и офицеров в войсках на

выполнение поставленных задач как при подготовке, так и осуществлении операции. Генерал И. Е. Петров обладал обширными военными знаниями. Человек высокой культуры и большого сердца, он был всегда справедлив и требователен к себе и к другим. Чутким отношением и постоянной заботой о подчиненных, независимо от их ранга и положения, он снискал любовь генералов, офицеров и солдат. В войсках его любовно называли «наш Иван Ефимович» (11, стр. 204).

Офицерскому составу читались доклады о военно-политической обстановке в Чехословакии и Венгрии. Проводились беседы об альпийском походе Суворова, о форсировании водных преград в горах, о боях на окружение и уничтожение врага. В ротах и батальонах происходили встречи с участниками боев в горах, они делились опытом, рассказывали о боевых эпизодах, о всевозможных приспособлениях, которые они применяли в предыдущих горных боях.

Бывший член Военного совета 18-й армии генерал-майор в отставке Н. В. Ляпин в своей работе «Во имя счастья людей» вспоминает:

«...Ближайшие тылы армии были похожи на огромный учебный полигон. По 11—12 часов в сутки подразделения отрабатывали виды боя в горах. Чередуя части переднего края с частями, находившимися в резерве, вся армия прошла на практических занятиях хорошую подготовку» (11, стр. 224).

Бывший заместитель по политчасти командующего 8-й воздушной армией генерал-полковник авиации А. Г. Рытов пишет в статье «В небе над Карпатами»:

«В подготовительный период Карпатской операции ни на один день не прекращалась массово-политическая работа. Командующий 4-м Украинским фронтом генерал-полковник И. Е. Петров в беседе с В. Н. Ждановым (командующим 8-й воздушной армией.— В. К.) и мной посоветовал напомнить летчикам о знаменитом походе русских чудо-богатырей через Альпы, о прорыве немецкой обороны в Карпатах и выходе в Венгерскую долину в 1916 году.

— Разумеется,— говорил он,— теперешнюю оборону немцев не сравнишь с той, что была в прошлом. Они создали тут мощный железобетонный пояс, обильно насыщенный огневыми точками. Так что артиллерия и танки не могут пройти сразу. Для вас же, летчиков, таких преград не существует...

Командующий развязал тесьму лежащего на столе рулона, развернул крупномасштабную карту Карпат и прилегающих к ним районов.

— Карпаты — не простая горушка,— сказал он.— Это цепь хребтов, простирающихся в глубину более чем на сто километров. Видите, сколько долин и горных рек. Карпаты — серьезная преграда! И тут авиация должна сыграть большую роль.

Петров понимал толк в авиации и по достоинству ценил ее. Он, например, сам лично ставил задачи воздушным разведчикам и выслушивал их доклады. Однажды мы представили ему на утверждение план одной из частных операций. Петров внимательно просмотрел его, кое-что подчеркнул и дал очень хороший совет.

— Надо же! — одобрительно заметил потом Жданов.— Размах фронта огромный, забот у командующего побольше, чем у нас, а он все же нашел время спокойно разобратся и в наших делах» (11, стр. 268—269).

Но не только трудности были в эти дни у генерала Петрова, переживал он и своеобразные полководческие радости. В состав фронта вошла 18-я армия, так много сделавшая на Кавказе. Теперь ею командовал генерал-лейтенант Е. П. Журавлев. 1-я гвардейская армия была для Петрова новой, но зато ее командующий генерал-полковник А. А. Гречко был проверенный во многих боях соратник.

Читателю нетрудно представить, какие чувства охватывали Ивана Ефимовича при встречах с некоторыми частями и командирами здесь, на новом фронте. Вот что пишет в воспоминаниях «В наступлении — горные стрелки» генерал-лейтенант в отставке А. Я. Веденин, бывший командир 3-го горнострелкового Карпатского корпуса:

«7 августа 1944 года мне вручили приказ командующего Отдельной Приморской армией сдать оборону побережья от Евпатории до Судака другим соединениям и немедленно приступить к погрузке в эшелоны. Темп погрузки — 12 эшелонов в сутки. Направление — Тернополь — Станислав.

На следующий день корпус в составе 128-й гвардейской горнострелковой Туркестанской Краснознаменной дивизии, 242-й горнострелковой Таманской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, 318-й горнострелковой Новороссийской ордена Суворова дивизии и 93-го гвардейского Керченского корпусного артиллерийского полка начал передислокацию из Крыма. Части уходили по боевой тревоге» (11, стр. 304).

Это перечисление очень характерно — даже в одних почетных наименованиях дивизий этого корпуса отразился почти весь боевой путь Ивана Ефимовича Петрова. Горнострелковая Туркестанская — при этом, конечно, вспоминаются годы службы Петрова в Средней Азии в период борьбы с басмачеством. Новороссийская дивизия — это наименование она получила под командованием Петрова, участвуя в блестяще проведенной Новороссийской операции. Таманская дивизия — память об освобождении Таманского полуострова. Керченский артиллерийский полк — это форсирование силами целой армии широкой водной преграды, Керченского пролива, и вступление советских войск в Крым.

Продолжу цитату из воспоминаний генерала А. Я. Веденина:

«Командующий фронтом генерал армии И. Е. Петров немедленно принял меня. Мы вспомнили с ним о совместной борьбе с басмачеством в Средней Азии (128-я гвардейская горнострелковая Туркестанская Краснознаменная дивизия, входившая в состав нашего корпуса, была когда-то 1-й стрелковой Туркестанской дивизией, которой Иван Ефимович командовал в 1922—1926 годах).

Командующий внимательно ознакомился с нашим планом подготовки личного состава к наступлению в Карпатах и в основном одобрил его, посоветовав чаще практиковать ночные учения в горах с применением различных средств связи. Вскоре корпус был переведен на полный штат горнострелкового соединения. Части полностью были укомплектованы боевой техникой, лошадьми и даже ишаками — незаменимыми в горно-лесистой местности.

Для улучшения связи в столь сложных боевых условиях каждую роту обеспечивали легкими радиостанциями» (11, стр. 305).

А вот еще одна приятная встреча, о которой в статье «С верой в победу» рассказывает полковник в отставке М. Г. Шульга, бывший командир 327-го гвардейского горнострелкового Севастопольского ордена Богдана Хмельницкого полка:

«Незадолго до наступления... в дивизию прибыл командующий 4-м Украинским фронтом генерал-полковник И. Е. Петров, который в торжественной обстановке вручил дивизии орден Красного Знамени, а всем ее частям — боевые гвардейские знамена. Выступая на митинге в честь этого знаменательного для нас события, солдаты и офицеры поклялись разгромить врага в Карпатах и оказать интернациональную помощь народам Западной Европы в освобождении от фашизма.

К предстоящему наступлению в частях дивизии была проведена большая подготовительная работа. Войска обучались преодолению высот днем и ночью, ориентированию в горно-лесистой местности. В дивизии организовали полигон, на котором была представлена вся боевая техника и вьючное хозяйство для действий в Карпатах» (11, стр. 310).

Встретился генерал Петров и с бойцами замечательной 318-й стрелковой дивизии и ее командиром, участником легендарного эльтигенского десанта, Героем Советского Союза генералом Гладковым. Навестил танкистов 5-й гвардейской Новороссийской танковой бригады, солдат и офицеров 2-й гвардейской Таманской дивизии.

О том, как происходили эти встречи и как их использовал для пользы дела Петров, можно судить по воспоминаниям «Артиллеристы в боях» бывшего командира 299-го гвардейского Краснознаменного артиллерийского полка полковника запаса П. П. Кашука:

«299-й полк 129-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии имел славные боевые традиции. Он сражался в горах Кавказа, был единственным артиллерийским полком в морском десанте на Малой земле, у стен Новороссийска, где первым из всех частей, сражавшихся там, получил гвардейское звание...

В начале августа дивизию посетил командующий 4-м Украинским фронтом генерал-полковник И. Е. Петров. Он сердечно поздравил с боевыми успехами своих старых знакомых, воевавших под его командованием на Малой земле и Таманском полуострове, и нацелил дивизию на быстрое освобождение Дрогобыча» (11, стр. 313—314).

Беседы командующего, его авторитет, его не только приказы, но и просьбы, несомненно, сыграли свою большую мобилизующую роль. В ночь на 6 августа дивизия вышла к Дрогобычу и освободила его. Боевой дух солдат был так высок, что к концу этого дня гвардейцы освободили город Самбор.

А теперь мне хочется рассказать читателям хотя бы коротко о той операции в первой мировой войне, опыт которой Иван Ефимович советовал использовать своим командирам. Он имел в виду операцию Юго-Западного фронта, в которой тогда особенно отличился генерал А. А. Брусилов. Обратите внимание на название населенных пунктов: города, о которых будет идти речь в боях 1915 года, это те же самые города, которые теперь входили в полосу боевых действий 4-го Украинского фронта генерала Петрова.

В декабре 1914 года, учитывая успешные действия соседних армий на краковском направлении и 4-й армии на левом берегу Вислы, а также выход к предгорьям главного Карпатского хребта на ужокском и мукачевском направлениях 8-й армии генерала А. А. Брусилова, командующий Юго-Западным фронтом Н. И. Иванов решил приступить к подготовке операции по прорыву через Карпаты для выхода в Венгрию, в ту самую равнину, которая раскинулась за Карпатами (и к которой стремился теперь 4-й Украинский фронт).

Главная задача при этом возлагалась на 8-ю армию Брусилова, составлявшую левое крыло фронта. Эта армия должна была нанести удар в направлении Медзилаборце — Гуменне.

Австро-германскому командованию стал известен этот замысел, и, упреждая русских, сосредоточив здесь новую армию, австро-германские войска 10 января сами перешли в наступление, стремясь освободить блокированный русскими Перемышль. В Перемышле находились австро-германские войска, а между Перемышлем и стремящимися к ним на выручку наступающими войсками находилась армия Брусилова.

Случилось так, что 8-я армия Брусилова, завершив к этому же дню подготовку, тоже перешла в наступление. Произошли тяжелые, упорные, кровопролитные встречные бои. Все же армия Брусилова медленно продвигалась вперед. На левом фланге фронта, в Буковине, русские войска вынуждены были отступить под напором австро-венгров и отойти к рекам Днестр и Прут. А Брусилов удержал свой участок и даже продвинулся вперед. В своих воспоминаниях Брусиллов так писал об этих днях:

«Нужно помнить, что эти войска в горах зимой, по горло в снегу, при сильных морозах ожесточенно дрались непрерывно день за днем, да еще при условии, что приходилось беречь всемерно и ружейные патроны и, в особенности, артиллерийские снаряды. Отбиваться приходилось штыками, контратаки производились почти исключительно по ночам, без артиллерийской подготовки и с наименьшею затратою ружейных патронов...» (12, стр. 147).

Здесь невольно так и хочется обратить внимание читателей на настоятельные советы Петрова командирам: учить войска ночным действиям и решительным контратакам. Это явное свидетельство

того, что Петров хорошо знал все операции Брусилова и учитывал его опыт ведения боев в горах.

8-я армия Брусилова выдержала ожесточенный напор врага и не позволила ему прорваться к Перемышлю. Это привело к большому успеху русских войск. Окончательно убедившись, что на помощь ему не придут, и чувствуя уже недостаток в продовольствии (а боеприпасов хватало бы еще на многие дни боев!), комендант крепости Перемышль капитулировал. Победа была блестящей! Армии Антанты еще не знали таких удач в боевых действиях первой мировой войны. В Перемышле было взято в плен 9 генералов, две с половиной тысячи офицеров, 120 тысяч солдат, больше 900 орудий.

Однако в целом в той давней карпатской операции ни одна из сторон, участвовавших в этих боях, не достигла поставленных целей. Австро-германское командование не смогло широко охватить левое крыло русской армии и разблокировать Перемышль. А русская армия не смогла преодолеть Карпаты, потому что не хватило сил, не хватило необходимых резервов, войска не были обеспечены артиллерией, боеприпасами и всем необходимым для проведения такой крупной операции. Боевые действия здесь вылились в кровопролитные лобовые столкновения на фронте протяженностью в 200 километров. Обе стороны потеряли около миллиона человек, причем около 800 тысяч из этого миллиона потерял противник. Здесь особенно ярко начало проявляться военное искусство одного из талантливейших русских военачальников — Брусилова.

И вот теперь советским солдатам и их командирам предстояло проявить еще более высокий героизм и еще более искусное воинское мастерство: в кратчайший срок подготовиться и преодолеть Карпаты, то есть осуществить то, что не удалось русской армии в начале века.

А события накануне этой операции развивались стремительно, и условия становились еще более неблагоприятными — теперь уже не только по природным, а еще и по главным — военным и политическим — обстоятельствам.

В дни, когда 4-й Украинский фронт готовился срочно перейти в наступление, за Карпатами происходило следующее. Немецко-фашистское командование, опасаясь потерять Моравско-Остравский промышленный район, почти единственный, снабжавший теперь гитлеровскую армию, решило для его спасения действовать очень решительно. Оно сняло дивизии с фронта и перебросило их сюда. Гитлеровцы действовали быстро и жестоко — при том, что командование восточно-словацкого корпуса не оказало никакого сопротивления. Корпус так и не был приведен в боевую готовность и не получил приказа к отражению гитлеровских войск. Солдаты не знали, что делать, что предпринять. В течение двух дней — 1 и 2 сентября — корпус был гитлеровцами разоружен. Многие солдаты и офицеры были арестованы и направлены гитлеровцами в лагеря, часть ушла к партизанам. Восточно-словацкий корпус перестал существовать в результате явного предательства. А ведь именно этот корпус должен был выполнить важную задачу — захватить перевалы на Карпатах и тем обеспечить продвижение наших войск на помощь воставшим.

Но об этом генерал Петров пока еще не знал. Он получил приказ Ставки о наступлении 2 сентября, когда восточно-словацкий корпус был уже разоружен.

Через Восточные Карпаты

Итак, 2 сентября 1944 года из Ставки поступила новая директива об одновременном наступлении 1-го Украинского фронта, его левого фланга (там находилась 38-я армия), и 4-го Украинского фронта,

его правого фланга, где располагалась 1-я гвардейская армия. 2-й Украинский фронт должен был содействовать их наступлению ударом на Клуж.

В тот же день, в 22.30 И. Е. Петров принял решение: силами одного стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии, усиленной несколькими танковыми, артиллерийскими и инженерными соединениями и частями, прорвать оборону противника в районе Санок на фронте протяжением 4 километра, нанося удар в общем направлении на Команьча.

О том, в каких трудных условиях готовилась эта операция — при катастрофической нехватке времени, при очень сложных природных условиях, при малом количестве войск, истомленных предшествующими боями,— уже говорилось в предыдущей главе. К этому добавлялась еще одна трудность: нахождение двух участвующих в наступлении армий, 38-й и 1-й гвардейской, в разных фронтах усложняло планирование и руководство операцией.

Вообще с самого начала организации 4-го Украинского фронта так и напрашивалось: 38-ю армию, тоже вышедшую к предгорьям Карпат, включить в состав войск этого фронта. Это дало бы возможность маршалу Коневу сосредоточить все внимание на продвижении в глубь Германии, не отвлекаясь на одну из многих своих армий, упершуюся в Карпаты. А генерал Петров, получив 38-ю армию, руководил бы всеми войсками в Карпатах и более целеустремленно, без долгих согласований, вел бы здесь боевые действия. Позже Ставка исправила это положение — 38-я армия была включена в состав 4-го Украинского фронта.

Но операция началась вот при таком построении, когда 1-й и 4-й Украинские фронты наносили удар своими соседствующими флангами.

8 сентября перешла в наступление 38-я армия под командованием генерал-полковника, ныне маршала К. С. Москаленко. Она наступала на главном направлении. Суть ее задачи была следующая: быстро разгромить врага в предгорьях Карпат и стремительным продвижением кавалерийского и танкового корпусов упредить противника и занять Дуклинский перевал, захвату которого должны содействовать словацкие войска, заверившие в своей готовности наступать навстречу Красной Армии. Глубина операции была 90—95 километров, и пройти это расстояние части 38-й армии должны были за 5 дней.

На следующий день, 9 сентября, перешла в наступление 1-я гвардейская армия под командованием генерал-полковника А. А. Гречко.

Петров находился на наблюдательном пункте генерала Гречко и, не сковывая его инициативу своим присутствием, внимательно следил за развитием наступления, для того чтобы реагировать на изменение обстановки в масштабе всего фронта, а также увязывать и поддерживать взаимодействие с соседом справа, 1-м Украинским фронтом.

К. С. Москаленко так вспоминает это наступление:

«Атака войск 38-й армии началась 8 сентября в 8 часов 45 минут. Ей предшествовала 125-минутная артиллерийская подготовка. ...Наша артиллерия сопровождала пехоту и танки, как и планировалось, на глубину 1,5 километра... Спустя час вклинились в оборону противника на 1,5 километра» (13, стр. 446).

В течение дня армия продвинулась вперед до 12 километров. На этом, собственно, продвижение частей прекратилось. Повторные атаки 9 сентября успеха не имели и, как продолжает Москаленко:

«В ходе двухдневных боев войска 38-й армии не смогли прорвать тактическую зону обороны, уничтожить противостоящие войска и развить стремительное наступление к перевалам Карпат» (13, стр. 456).

На участке 4-го Украинского фронта события развивались несколько иначе. 9 сентября, на сутки позже, перешел в наступление один корпус 1-й гвардейской армии (с целью содействовать 38-й армии) и в течение первого дня операции прорвал оборону противника на фронте в 12 километров и продвинулся до 6 километров в глубину.

Противник стал подтягивать сюда части с других участков фронта, желая локализовать, остановить здесь наступление. Как только об этом стало известно Петрову, он тут же отдал приказ перейти в наступление 17-му гвардейскому стрелковому корпусу. Этот гвардейский корпус под командованием генерал-майора А. И. Гастиловича, находясь на самом левом крыле фронта, занимал очень широкую полосу обороны — до 110 километров и имел к тому времени сугубо оборонительную задачу.

Но как только на участке 1-й гвардейской армии удалось создать для противника трудное положение, Петров не побоялся двинуть в наступление часть сил из обороняющихся на широком фронте. Это смелое решение командующего полностью себя оправдало. За три дня наступления частям корпуса удалось продвинуться в центре до 15 километров, а на фланге — от 30 до 60 километров и приблизиться к основным перевалам на этом участке.

Стремясь остановить наши войска теперь уже на этом направлении, противник двинул сюда резервы с соседних участков. И опять как только об этом узнал от разведчиков Петров, он по предложению командарма-18 Е. П. Журавлева приказал 17 сентября перейти в наступление и частям 18-й армии. Эта армия оборонялась на широком 170-километровом фронте. Петров и Журавлев очень рисковали, оставляя на остальных 150 километрах всего две дивизии и посылая вперед остальные части армии. Но риск этот был оправдан — генерал Петров видел, как гитлеровцы заматались, стремясь заткнуть бреши, в таких условиях им было не до наступления.

В течение 5 дней войска 18-й армии прорвали фронт противника на ширине до 30 километров и продвинулись в глубину на 30—40 километров. Таким образом, операция 4-го Украинского фронта, несмотря на многие трудности, развивалась успешно благодаря своевременному и умелому анализу всего происходящего на участке фронта его командующего генерала Петрова.

Приведу один только боевой эпизод из этой сложной горной операции.

Приятно было генералу Петрову услышать 20 сентября 1944 года доклад командира 3-го горнострелкового корпуса А. Я. Веденина о том, что первым из советских и чехословацких войск вступил на землю Чехословакии 1-й стрелковый батальон 897-го горнострелкового Севастопольского полка. К 12 часам дня границу перешли все части этого корпуса.

Можно было бы радоваться этому обстоятельству, но левый фланг 38-й армии почти не продвинулся, и поэтому правый фланг 3-го горнострелкового корпуса остался открытым, что немедленно использовала танковая дивизия СС. Она ударила в стык между 3-м горнострелковым корпусом и 38-й армией. Части 38-й армии стали отходить.

Об этих критических минутах командир горного корпуса А. Я. Веденин пишет:

«Гитлеровцы контратаковали соседа справа, части 155-й стрелковой дивизии 67-го стрелкового корпуса (38-й армии.— В. К.), которые отошли на 2—3 километра на северо-восток и начали закрепляться на новом рубеже. Чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника, мы решили ввести в бой 318-ю горнострелковую дивизию Героя Советского Союза генерал-майора В. Ф. Гладкова, находившуюся в это время в районе Гурны. Дивизия успешно решила поставленную перед ней задачу: она не только отбила вражеские контратаки, но и отбросила противника за Мошанец. Большую роль сыграла помощь, оказанная 318-й дивизии и всему корпусу командующим

4-м Украинским фронтом И. Е. Петровым и командующим 1-й гвардейской армией А. А. Гречко. Они внимательно следили за ходом боевых действий корпуса и по нашей просьбе срочно перебросили в район Вислок-Дольны три истребительных противотанковых полка. Враг, стремясь не допустить нашего дальнейшего продвижения в Чехословакию, перебрасывал на наш участок все новые и новые силы» (11, стр. 308).

Отметим опять личное вмешательство в ход боя генерала Петрова в критический момент: когда в контратаку шли танки дивизии СС, он из своего резерва послал на это направление три истребительно-противотанковых полка, чем очень своевременно способствовал отражению танковой контратаки. И еще хочу напомнить: мастерски отбивала наступление эсэсовцев и сама перешла в контратаку 318-я дивизия под командованием того самого Гладкова, которого читатель, наверно, помнит по героическому эльтигенскому десанту.

К 21 сентября дивизии 1-й гвардейской армии вышли на границу Чехословакии и достигли перевалов, а 18-я армия и 17-й гвардейский стрелковый корпус подошли к перевалам на своих направлениях еще раньше. Таким образом 4-й Украинский фронт, который имел силы лишь для выполнения оборонительных задач, совместно с 1-м Украинским фронтом перешел в наступление на участке шириной в 300 километров, сломил сопротивление противника и пробился в труднейших горных и погодных условиях к перевалам главного Карпатского хребта!

Я рассказываю об этом наступлении коротко, но прошу читателя представить, как в течение 20 дней непрерывно, один за другим, следовали тяжелейшие бои, как наши бойцы и командиры в холод и грязь, под дождем и в туман, днем и ночью буквально прогрызали оборону противника в горах.

В этих усилиях войскам очень помогла та учеба, та подготовка к особенностям ведения горных боев, которую так настойчиво вел генерал Петров. Вот как об этом говорит маршал Гречко:

«Необходимо отметить... широкое применение маневра во всех войсковых звеньях... Почти каждая задача в масштабе дивизии и полка решалась с применением обходов и охватов опорных пунктов противника, с проникновением через незанятые промежутки во фланг и тыл противника по горам, оврагам и долинам, покрытым лесами... Фронтальные атаки применялись, как правило, для отвлечения внимания противника и сковывания его главных сил. Основное же решение задачи достигалось обходом и охватом опорных пунктов, расположенных по высотам, причем обход и охват в зависимости от конфигурации и рельефа местности осуществлялся с одного или одновременно обоих флангов» (10, стр. 143—144).

Хочу напомнить об очень важном обстоятельстве этой труднейшей горной операции. Ожидаемое содействие в захвате перевала со стороны восточно-словацкого корпуса не состоялось, части Петрова, постоянно ожидавшие этого обещанного удара в тыл врагу, так и не получили столь необходимой помощи. Но и без этого 4-й Украинский фронт пробился к перевалам на своем участке, опередив 38-ю армию 1-го Украинского фронта, на которую был возложен главный удар.

Командование 1-го Украинского фронта и командующий 38-й армией К. С. Москаленко постоянно помнили главную задачу, поставленную в директиве Ставки,— помочь восстанию. Они представляли себе, в каком трудном положении находятся сейчас восставшие на территории Словакии, и поэтому искали любую возможность прорваться к ним и оказать помощь. Движимый, видимо, такими соображениями, маршал Конев в полосе 38-й армии ввел 4-й гвардейский танковый корпус, чем добился перелома в борьбе.

Следует сказать и еще об одном обстоятельстве. Командующий 38-й армией генерал-полковник Москаленко очень бережно отнесся к 1-му чехословацкому корпусу, поставив этот корпус во второй эшелон наступающих, таким образом основные трудности по прорыву укреплен-

ной полосы обороны возлагались на советские части, наступавшие в первом эшелоне. Но вот когда настал момент вводить вторые эшелоны и 1-й чехословацкий корпус был двинут в бой, неожиданно проявились некоторые отрицательные качества не самого чехословацкого корпуса, а его командира генерала Кратохвила.

Он был ставленником лондонского правительства и в соответствии с полученными от него указаниями не только сам не проявлял активности, но и всячески препятствовал энергичным действиям подчиненных ему частей. Вот как об этом пишет генерал С. М. Штеменко:

«Генерал Кратохвил... был назначен по настоянию правительства Бенеша командиром 1-го чехословацкого армейского корпуса, но не справился с возложенными на него задачами: он отсиживался на тыловых позициях и злоупотреблял привезенным с собой британским виски, в то время как солдаты и офицеры его корпуса штурмовали в Карпатах с большими потерями оборону сильного и упорного врага.

Поэтому Конев отстранил тогда Кратохвила от командования корпусом и вместо него назначил генерала Свободу, а после того доложил И. В. Сталину. Верховный Главнокомандующий одобрил решение командующего фронтом...» (2, кн. 2, стр. 342).

С назначением генерала Людвика Свободы положение в чехословацком корпусе резко улучшилось. Корпус за несколько дней совместно с советскими частями вышел к границе своей родины и овладел Дуклинским перевалом.

Это произошло 6 октября 1944 года. С тех пор день 6 октября, когда чехословацкий солдат впервые ступил на свою родную землю и положил начало ее освобождению, празднуется как День чехословацкой Народной армии.

Именно в боях за Дуклинский перевал родилась крылатая фраза — «С Советским Союзом — на вечные времена!».

На месте боев около Дукли сейчас создан мемориал, символизирующий нерушимую братскую дружбу чехословацких и советских воинов.

Вспоминая эту операцию, генерал Штеменко пишет, что в Генеральном штабе была высоко оценена инициатива Петрова по развитию операции и по использованию малейших возможностей для перехода в наступление по всему фронту, особенно на выгодных направлениях. Однако по замыслу Генерального штаба ключом, позволяющим открыть путь на Карпаты, считалась 38-я армия Москаленко. А войска Петрова действовали более активно и вроде бы перехватывали инициативу.

Далее Штеменко пишет:

«При этом было замечено, что И. Е. Петров, пытаясь обойти горные хребты, отворачивал свои силы от направления на Команьчу, намеченного Ставкой. Это расстраивало взаимодействие с 38-й армией, наступавшей в трудных условиях. Обстановка требовала не разобщения, а тесной взаимосвязи и взаимопомощи всех сил, участвующих в операции.

По докладу Генштаба советское Верховное Главнокомандование обратило тогда внимание И. Е. Петрова на необходимость уточнить его решения и приказало: основным направлением наступления фронта иметь Команьча — Гуменне — Михальовец.

Верховный Главнокомандующий, стремясь всеми возможными средствами ускорить продвижение наших войск в Карпатах, велел своему заместителю маршалу Г. К. Жукову, находившемуся тогда у К. К. Рокоссовского на 1-м Белорусском фронте, побывать у И. С. Конева и И. Е. Петрова, чтобы лично разобраться в обстановке и подумать, нельзя ли там ускорить наше наступление. Он дал маршалу право, если потребуется, приказывать от его имени» (2, кн. 2, стр. 347).

19 сентября Жуков был на 1-м Украинском фронте. Ознакомившись с обстановкой и состоянием частей, он коротко доложил Сталину:

«У Москаленко мало стрелковых дивизий, а действующие — переутомлены, малочисленны» (2, кн. 2, стр. 348).

20 сентября Жуков был уже у Петрова. Он подробно разобрался здесь в обстановке и доложил Сталину следующее:

«Ознакомившись с группировкой сил и средств армий Петрова, я считаю, что силы и средства нацелены правильно. Лично Петров правильно понимает построение операции и свое дело знает неплохо» (2, кв. 2, стр. 348).

Во время этого визита маршал Жуков внес коррективы в проведение совместной операции 1-го и 4-го Украинских фронтов. 38-й армии для наращивания успеха были даны дополнительные средства усиления, и все же это не дало того результата, к которому стремилась Ставка. 4-й Украинский фронт, несмотря на меньшие силы и вспомогательную роль, отведенную ему в операции, продолжал наступать более успешно. Его войска овладели перевалами и вступили на землю Чехословакии. Эти активные и успешные действия войск фронта были отмечены Верховным Главнокомандованием:

«ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику ПЕТРОВУ

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами — Лупковский, Русский, Ужокский, Верецкий, Вышковский, Яблоницкий, Татарский, продвинулись в глубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров...

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за преодоление Карпат, представить к присвоению наименования «Карпатских» и к награждению орденами.

Сегодня, 18 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, преодолевшим Карпаты, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за преодоление Карпат.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

18 октября 1944» (14, стр. 251—252).

Будет справедливым высказать здесь и такое суждение: в успешных действиях 4-го Украинского фронта сказалось именно полководческое мастерство генерала Петрова, знающего специфику горной войны, к тому же он сумел научить свои войска действиям в горах, что было тоже немаловажным фактором.

Выполняя указание Ставки и внося соответствующие коррективы в действия своих войск, генерал Петров всячески старался осуществлять тесное взаимодействие на своем правом фланге с 38-й армией 1-го Украинского фронта. Но он продолжал использовать и малейшие возможности для проведения активных наступательных действий на других участках своего фронта. Не стану утомлять читателей изложением подробностей этих боев, скажу лишь о том, что они были, как все горные бои, тяжелыми. Для доказательства того, какие блестящие результаты были достигнуты войсками под руководством Петрова, приведу лишь два документа и тоже в сокращенном виде:

«ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику ПЕТРОВУ

Войска 4-го Украинского фронта сегодня, 26 октября, овладели на территории Чехословацкой республики промышленным центром Закарпатской Украины городом Мукачево — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны противника у южных отрогов Карпат...

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Мукачево, представить к присвоению наименования «Мукачевских» и к награждению орденами.

Сегодня, 26 октября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта...» (14, стр. 262—263).

На следующий день новый успех и еще один салют в столице нашей родины!

**«ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику ПЕТРОВУ**

Войска 4-го Украинского фронта в результате стремительного наступления сегодня, 27 октября, овладели на территории Чехословацкой республики главным городом Закарпатской Украины Ужгород — крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны противника.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение Ужгородом, представить к присвоению наименования «Ужгородских» и к награждению орденами...» (14, стр. 263—264).

Так 4-й Украинский фронт под командованием генерала И. Е. Петрова преодолел на своем участке Восточные Карпаты и прорвал созданную на этом хребте оборону противника.

Нелегкие задачи

В боях за Восточные Карпаты советскими бойцами и командирами было совершено много смелых, благородных подвигов. У меня нет возможности рассказать обо всех, да даже и о немногих (повесть моя и так уже разрослась, а может быть, кому-то покажется, и затянулась). Но несколько эпизодов из деятельности Ивана Ефимовича мне все же хочется здесь воспроизвести.

Вот, к примеру, что произошло при взятии Ужгорода. Предоставляю слово тому, кто был тогда рядом с Петровым — бывшему заместителю командира 317-й стрелковой дивизии полковнику И. Ф. Хомичу. Вот о чем он вспоминал в статье «Флаги над Ужгородом»:

«Вечером 13 октября 1944 года командующий 4-м Украинским фронтом генерал-полковник И. Е. Петров пригласил меня к карте, на которой была нанесена боевая обстановка, и сказал:

— Нам предстоит освободить два крупных города: Мукачево и Ужгород, главное — Ужгород.

— Трудная задача, товарищ генерал.

— Да, нелегкая, — согласился он. — И особенно тяжело будет танкам и артиллерии. — Генеральский карандаш скользнул по карте. — Видите, полковник, горы, масса рек и речушек. В довершение всего — слаборазвитая сеть дорог и горных проходов. А тут еще дожди... Наступать всем фронтом — значит, надо иметь подвижные группы, которые будут действовать смело, решительно и настойчиво. Где нельзя пройти напрямик — обходный маневр. Вот так. Одну подвижную группу возглавите вы, полковник Хомич» (11, стр. 259).

Всматриваясь в состав группы, которую создал командующий фронтом (5-я гвардейская танковая бригада: 20 средних и 32 легких танка, 875-й самоходно-артиллерийский полк, истребительно-противотанковый артиллерийский и зенитно-артиллерийский полки, разведывательная рота армейского запасного полка), видишь, как хорошо он понимал специфику боя в горах, потому что группа имела не только ударные танковые подразделения, но и артиллерийско-противотанковые для отражения атак танков противника и зенитно-артиллерийский полк для прикрытия подвижной группы с воздуха.

Непросто было выполнять поставленную задачу: в горах, покрытых лесом и кустарником, все проходы и дороги взорваны против-

ником на большом расстоянии, к тому же погода дождливая, туманная. О том, как все это преодолевалось, опять рассказывает полковник Хомич:

«...Посоветовавшись с командиром танковой бригады полковником Морусом и командирами артиллерийских полков, мы решили сами пройти на хребет, взяв саперов и несколько человек водителей танков, самоходок и шоферов зенитных систем, и на месте решить: где и как должна пройти подвижная группа.

Продвигаясь в тумане, вехами намечали путь по склонам гор, указывали, что и где взорвать, что засыпать. Главными советчиками были водители танков и шоферы, а исполнителями — саперы. С трудом мы достигли хребта. Был отдан приказ вести группу новым маршрутом. Только сознание высокого долга перед Родиной, уверенность в наших солдатах и офицерах помогли нам преодолеть неимоверные трудности» (11, стр. 260).

Мужество людей, их самоотверженность в выполнении долга принесли свои плоды. Подвижная группа, созданная Петровым, неожиданно появилась в тылу гитлеровских войск и вышла к Ужгороду. А генерал Петров не только отдал приказ и следил за боевыми действиями подвижной группы, он по своему характеру не мог усидеть на наблюдательном пункте и сам перебрался вперед, для того чтобы быть поближе к войскам. Он знал по опыту, что иногда бывает необходимо вовремя подсказать, а порой и потребовать от командиров более энергичных действий, подтолкнуть их.

Так было и на этот раз. Шофер Ивана Ефимовича — Сергей Константинович Трачевский мне рассказал:

— Когда мы приехали на командный пункт Восемнадцатой армии, генерал-лейтенант Журавлев доложил, что подвижная группа приблизилась к Ужгороду. Генерал Петров сказал, что он хочет сам поехать туда и увидеть это. Генерал Журавлев предостерег — это опасно, там идет бой, ехать сейчас туда нельзя. Но Ивана Ефимовича этим не испугаешь. Он сел в машину и сказал мне: «Поехали вперед». Когда мы приблизились к городу, там действительно все грохотало и было в дыму. Но приехали мы, как оказалось, очень вовремя. На окраине мы увидели колонну наших танков. Она стояла. Генерал Петров приказал вызвать командира. Вскоре прибежал командир Пятой гвардейской танковой бригады Морус. Генерал спросил: «Почему вы стоите, почему не продвигаетесь вперед?»

Морус доложил, что мосты взорваны, а берега реки бетонированы и танки не могут по крутым, бетонированным склонам спуститься в реку и тем более выйти на противоположный берег, тоже крутой и бетонированный.

Иван Ефимович строго сказал: «Ну и сколько же вы будете здесь стоять перед этими берегами? Берега бетонированы в городе. Надо выйти из города и обойти город с фланга, за городом берега не будут бетонированными. Садитесь в машину, поедем со мной».

Мы быстро выбрались из улиц и, огибая пригород, выехали на берег реки. Здесь река Уж была широкая и, видимо, не глубокая. Генерал сказал командиру бригады: «Вот смотрите, нет никаких бетонированных берегов, давайте переправляйте вашу бригаду на тот берег».

Командир танковой бригады тут же сам стал проверять, глубоко ли, и пошел через реку. Мы видели, что ее можно преодолеть вброд. Иван Ефимович спросил: «Ну как, Сергей, переедешь?» — «Да, надо лагать, переберемся», — ответил я. Затем я снял ремень с вентилятора автомобиля. Иван Ефимович встал на переднее сиденье и так стоял, держась за стекло. Я повел машину вперед. Течение оказалось очень быстрым и сильным, а дно каменистым. Машина дрожала, переваливалась с боку на бок, того и гляди нас могло опрокинуть.

Генерал показал мне куст на противоположном берегу и сказал: «Держи на тот куст». Я старался двигаться в том направлении, но ма-

шину все время сносило. Генерал, что бывало с ним очень редко, обругал меня крепким словом, а я изо всех сил старался все-таки выйти к указанному кусту.

Наконец мы выбрались на противоположный берег. А командир танковой бригады, возвратясь обратно с середины реки, стал выдвигать к этому месту свои танки. Иван Ефимович с этой стороны оглядывал подступы к городу.

И вдруг с окраины города вырвалась машина с немецкими автоматчиками и устремилась прямо к нам.

А мы одни, только наша легковая машина, в ней я, адъютант Кучеренко и один автоматчик, больше никого нет. Мы схватились за оружие и приготовились защищать командующего. Немцы приближались. Хорошо, что эту опасность заметил командир бригады. Он тут же послал первый прибывший танк к нам на помощь. И вовремя. Танк успел переправиться через реку и сразу же хлестнул по автомашине из пушки.

В машину он не попал, но она остановилась, и немцы выпрыгнули и залегли. Танк дал еще несколько выстрелов и застрочил из пулемета. Смотрю, несколько немцев стали поднимать руки. Мы приблизились к ним, стреляя над головами из автоматов. И всех, кто остался живым с этой машины, мы обезоружили и взяли в плен. Конечно, командующему фронтом так вести себя не полагается: ведь не успей на помощь танк, еще неизвестно, чем бы все это кончилось. Но такой уж у него был характер и так сложились обстоятельства...

К счастью, к этому времени подоспела танковая бригада и благодаря подсказанному Петровым маневру неожиданно ударила с фланга, ворвалась в Ужгород, захватила много пленных, а на железнодорожной станции — десятки составов, подготовленных к отправлению.

Так предусмотрительность Петрова, своевременно создавшего подвижную группу, и то, что он лично руководил ее действиями, по сути дела, спасли Ужгород от долгих уличных боев и разрушений, не говоря уж о многих спасенных жизнях воинов и жителей города.

С овладением городами Ужгород и Мукачево 4-й Украинский фронт выходил на равнину вдоль реки Тиссы, и таким образом завершилось преодоление Восточных Карпат, а в целом и Восточно-Карпатская операция. Она вошла в историю военного искусства как операция, в ходе которой впервые в истории войн было преодолено такое мощное препятствие, как Карпатские горы, большими массами войск, причем на широком фронте — почти в 300 километров.

Другой важной особенностью этой операции является то, что она была осуществлена войсками, которые, ввиду своей малочисленности, предназначались для обороны и наступали только верные своему интернациональному и союзническому долгу, желая оказать помощь восставшему словацкому народу.

В боях за Карпаты понесла большие потери гитлеровская армейская группа «Хейнрици», в состав которой входили 1-я немецкая танковая армия и 1-я венгерская армия. Немецко-фашистские войска лишились важного стратегического рубежа в Восточных Карпатах.

Одним из результатов этой удачной операции было историческое событие, которое произошло в городе Мукачево на I съезде Народных комитетов Закарпатья. 26 ноября 1944 года этот съезд принял Манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. Съезд постановил:

«1. Воссоединить Закарпатскую Украину со своей великой матерью Советской Украиной и выйти из состава Чехословакии.

2. Просить Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики и Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик включить Закарпатскую Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики» (10, стр. 274).

Решение I съезда Народных комитетов Закарпатья получило поддержку советского народа и трудящихся Чехословакии. 29 июня 1945 года правительство СССР и Чехословацкой Республики подписали договор, согласно которому Закарпатская Украина воссоединялась с Украинской ССР.

Вот такие крупные военные и исторические события были результатом Восточно-Карпатской операции.

Здесь мне еще раз хочется подчеркнуть ту энергию и то мастерство, которые проявил при руководстве этой операцией И. Е. Петров. Военное дело — такое же точное, как математика. И здесь при противоборстве сторон взвешиваются все «за» и «против», скрупулезно учитываются все возможности, вплоть до последней пушки, вплоть до усилий отдельного солдата. И вот, когда фронт, не имеющий реальных сил для наступления, тем более в таких исключительно трудных условиях, какие были в Карпатах, несмотря на это проводит стремительную операцию и преодолевает этот горный массив, тут, кроме реальных сил, осуществляющих это наступление, громадную роль играет, конечно, и то, кто и как руководил такой операцией.

Несомненно, опыт генерала Петрова, его талантливость и мастерство в проведении предшествовавших операций, особенно его умелые действия в горных условиях на Кавказе самым положительным образом сказались и на результатах Восточно-Карпатской операции. За нее Петрову было вновь присвоено звание генерала армии. Приказ, отданный на другой день после взятия Мукачева, 27 октября, был уже адресован генералу армии Петрову с благодарностью «руководимым Вами войскам» за освобождение города Ужгорода.

После освобождения Ужгорода и Мукачева боевые действия не прекращались ни на один день и ни на один час. Противник постоянно контратаковал наши части.

Находясь в горячке боев, генерал Петров думал и о дальнейшем развитии операции. Как это бывало уже не раз, в непрерывной сумятице постоянных телефонных звонков, вызовов по радио, взволнованных докладов командующих армиями, требующих немедленно реакции и решений, Петров как бы разделил свою работу на сиюминутную, повседневную, требующую полной отдачи, внимания, сил и нервов, и каким-то вторым зрением, отрывающимся от всего происходящего сегодня, устремлялся вперед, всматривался в глубь обороны врага и прикидывал дальнейшие действия войск своих и противника.

Всесторонне оценивая обстановку, складывающуюся сегодня, в ближайшие дни и в перспективе, генерал Петров выработал решение на операцию и доложил его 5 ноября Верховному Главнокомандующему. Коротко это решение можно изложить так: 1-й гвардейской армии в составе трех корпусов продолжать наступление по сходящимся направлениям и выйти на рубеж Медзилаборце — Гуменне — Михальовце. 18-й армии наступать вместе с ними, но только частью сил — одним стрелковым корпусом. А два корпуса этой армии и 17-й гвардейский корпус, то есть три корпуса, в которых находится 10 стрелковых дивизий, из боя вывести и готовить для активных действий при выполнении последующей задачи операции, ее второй части, которую Петров намеревался развивать после выхода 1-й гвардейской армии на рубеж Гуменне, Михальовце.

Предполагаемую операцию Петров думал начать 15—17 ноября, то есть просил на ее подготовку 10—12 дней.

Четыре дня в Ставке рассматривали этот план Петрова, 9 ноября он был утвержден. Однако Ставка попросила Петрова дать объяснение: как будет выполняться первая часть этой операции, если половина всех имеющихся во фронте дивизий его решением выводится в резерв армий и фронта?

Петров дал объяснение своего замысла, но, видимо, оно не удовлетворило Ставку. 14 ноября поступило указание:

«Ввиду того, что 2-й Украинский фронт ведет наступление всеми силами и его действия тесно связаны с действиями 4-го Украинского фронта, ослаблять наступление войск Вашего фронта нельзя.

Ставка считает, что количество дивизий, используемых Вами для наступления, недостаточно для решения задачи выхода на рубеж Медзилаборце, Гуменне, Михальовце. Ставка расценивает вывод Вами почти половины дивизий в резерв фронта и армий как стремление считаться только с интересами своего фронта, не заботясь о положении соседа и общих интересах.

Исходя из указанного, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Оставить в резерве фронта и армии не более пяти-шести дивизий, остальными силами при улучшении погоды, дающей возможность использовать артиллерию и авиацию, развернуть наступление и выйти на рубеж Медзилаборце, Гуменне, Михальовце. Если обстановка потребует, то для решения этой задачи ввести в бой и выведенные в резерв дивизии...» (10, стр. 241).

Как видно из этих указаний Ставки, она требовала от генерала Петрова активных наступательных действий и самого решительного содействия 2-му Украинскому фронту, то есть его левому соседу.

Но не успел Петров еще как следует вдуматься в указания Ставки, не говоря уж о принятии решения, как в тот же день, 14 ноября, вслед за только что отданной директивой, из Ставки пришло еще одно указание, в котором предписывалось передать из состава 4-го Украинского фронта во 2-й Украинский фронт два корпуса: 30-й стрелковый в составе трех дивизий и 18-й гвардейский в составе двух гвардейских стрелковых дивизий.

Мне кажется, здесь нет необходимости в пространных комментариях, любому, даже невоенному, человеку понятно, что изъятие такой большой силы, как два корпуса, из состава фронта, имеющего вообще всего две армии,— это настолько значительное ослабление сил, что даже не очень понятно, как можно после этого требовать от 4-го Украинского фронта самых активных наступательных действий.

Генерал Петров после изъятия двух корпусов из состава фронта ждал уточнения своей задачи, однако новых указаний не поступило — задача осталась прежней.

Иван Ефимович стал искать выхода из очень трудного положения и нашел его в более тщательной подготовке к наступлению тех войск, которые у него остались. Опыт ему подсказывал: чем тщательнее подготовка, чем лучше люди знают задачу, чем полнее обеспечение операции всем необходимым, тем надежнее ее осуществление. И он начинает со своим штабом, с командующими 1-й и 18-й армиями тщательно готовить войска к выполнению полученных задач.

Как это бывало уже много раз прежде, самым труднопреодолимым было недостаточное количество артиллерии. А от нее зависит продвижение пехоты. Но генерал Петров хорошо знал: малым количеством стволов и боеприпасов можно достигнуть необходимого эффекта в подавлении противника за счет более точного огня, то есть за счет мастерства артиллеристов. Вот этого от них добивался командующий в ходе подготовки операции.

23 ноября в 8 часов 30 минут началась артиллерийская подготовка, которая продолжалась 50 минут. Благодаря скрупулезно проведенной подготовительной работе, артподготовка дала очень хорошие результаты, у противника было нарушено управление, подавлены его артиллерия и минометы, а также огневые точки в траншеях. Об этом свидетельствует показание пленного:

«Роты и батальоны в результате артподготовки русских потеряли до 50% личного состава. Несколько дней назад солдатам был зачитан приказ, подписанный командиром дивизии, в котором говорилось, что данный рубеж будет удерживаться до последнего солдата, пока не будет готов зимний оборонительный рубеж в районе Кошице» (10, стр. 248).

И вот, несмотря на крепкую оборону и такой строгий приказ, противник не удержал своих позиций. Дивизии 107-го и 11-го стрелковых корпусов 1-й гвардейской армии прорвали фронт на ширину 16 километров и продвинулись в глубину до 11 километров. Продолжая наступление 25 ноября, отбивая контратаки противника, 1-я гвардейская армия упорно продвигалась к Михальовце.

Очень хорошо показал себя в этом наступлении выдвинутый генералом Петровым на должность командующего 18-й армией генерал-майор А. И. Гастилович. Разрабатывая план наступления своей армии в этой операции, он принял весьма остроумное решение — нанести главный удар на участке 17-го гвардейского стрелкового корпуса севернее Чопа (того самого Чопа, через который многие из читателей проезжают государственную границу, направляясь в туристские поездки или в командировки за границу). Превосходства над противником на этом участке у Гастиловича не было, но он рассчитывал на внезапность, потому что противник не ожидал наших активных действий на таком болотистом участке.

Болотистая местность действительно не позволит нашим войскам набрать высокий темп в наступлении. Что же выгодного видел для себя в этой столь неблагоприятной местности новый командующий армией?

Предлагая свой план Петрову, он обосновал его так:

— На болотистом пространстве у противника нет сплошных глубоких траншей. А это значит, что все, кто находится в мелких траншеях, будут уязвимы для артиллерии и минометов. Кроме того, оборона противника из-за болотистых пространств тяготеет к населенным пунктам — именно в них, как в более сухих местах, созданы узлы обороны. И это позволяет нам вести сосредоточенный огонь по небольшим площадям этих населенных пунктов, что обеспечит хорошую масированность огня и, следовательно, подавление противника.

Генералу Петрову понравилась убедительная логика молодого командующего, и он утвердил его решение. И со своей стороны очень весомо помог ему. Он дал указание командующему 8-й воздушной армией генерал-лейтенанту авиации В. Н. Жданову поддержать 400 самолетами действия 18-й армии Гастиловича. Причем Петров посоветовал своеобразно спланировать действия авиации: не наносить удары по участкам прорыва, а не допустить подхода резервов противника, и особенно танковых частей, к месту прорыва. Оградив таким образом армию от подхода новых резервов противника, авиация даст Гастиловичу возможность своими силами разгромить врага на первых позициях.

В 9 часов 20 ноября громовые раскаты артиллерии потрясли широкую болотистую равнину к юго-западу от Ужгорода. За 45 минут артиллерийской подготовки вражеская оборона действительно была подавлена. Противник понес значительные потери в живой силе и огневых средствах. Также надежно были подавлены опорные пункты на более сухих местах населенных пунктов. Как выяснилось позже, враг действительно не ожидал, что наши части осмелятся здесь наступать.

Наступление началось, но происходило оно в невероятно трудных условиях.

Только вера в способность наших бойцов и командиров преодолеть невиданные трудности позволила Гастиловичу принять и осуществить свое решение. Пехотинцы и артиллеристы, увязая в болотной жиже, не только продвигались сами, но, несмотря ни на что, тащили за собой пулеметы и пушки. Причем шли они, обходя опорные пункты, не ввязываясь за них в бои, а значит, продвигались по самым топким местам.

В результате таких умелых и героических действий к исходу дня

был совершен прорыв шириной 15 километров, и части продвинулись в глубину обороны врага до 16—17 километров.

Таким образом удачно пошли вперед 1-я гвардейская и 18-я армии. Только на участке 95-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал-майор И. И. Мельников, положение складывалось тяжелое. Корпус встретил очень сильное сопротивление противника. Петров немедленно прибыл на этот участок.

К препятствиям, которые были перед наступающими прежде, прибавились еще большие разливы. После проливных дождей реки Лаборец и Ондава вышли из берегов и затопили низины и долины. Образовался не просто разлив, а мощный водный поток шириной до 10 километров.

Форсирование такой серьезной водной преграды требовало самой тщательной подготовки. А переправочных средств для этого не было. Все пригодное для сооружения переправ в этих низинах осталось под водой или было унесено вниз. Мосты, которые после восстановления предполагалось использовать в ходе операции, были полностью снесены.

К тому же из-за этой водной преграды противник интенсивно обстреливал берег Ондавы, занятый нашими войсками.

Петров понимал, что в такой, казалось бы, безвыходной ситуации ни в коем случае нельзя дать возможность врагу опомниться, привести себя в порядок за этой широкой водной преградой и подготовить там новую оборону.

Бывший командир 95-го стрелкового корпуса генерал-майор И. И. Мельников вспоминает о том, как Иван Ефимович осматривал разлив этих двух рек, чтобы лично оценить возможности форсирования огромной водной преграды, присутствовал при наведении новых мостов (опоры были целы), под огнем противника разговаривал с саперами, ободрял их, представил к награде за их тяжкий труд.

«— Профессия самая мирная — сапер,— заметил кто-то из присутствующих.

— На войне нет мирных профессий. Что касается важности предстоящей операции,— продолжал Петров,— наша оценка остается в силе. Преодолеть нужно водное пространство шириной пять-семь километров. Это два Днепра! Войска, сумевшие осуществить эту задачу, заслужат самой высокой похвалы, люди, совершившие такой подвиг, будут достойны самой высокой награды» (10. стр. 257).

Верный своему принципу растягивать, рассредоточивать силы противника и таким образом давать возможность своим частям бить его, ослабленного, на определенных участках, Петров применил этот принцип и в данной операции. Благодаря активным действиям 18-й армии даже в таких трудных районах, как затопленные водой или болотистые, противник не смог снимать с них части и перебрасывать на участок успешно наступающей 1-й гвардейской армии. А она в силу этого сломала сопротивление частей, находившихся на ее фронте, и к исходу 26 ноября овладела городами Гуменне и Михальовце.

4-й Украинский фронт выполнил задачу, поставленную ему Ставкой, несмотря на то, что был ослаблен перед началом наступления изъятием из его состава двух корпусов!

И опять Москва салютовала доблестным войскам 4-го Украинского фронта за овладение на территории Чехословакии городами Михальовце и Гуменне — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны противника, как было сказано в приказе Верховного Главнокомандующего на имя генерала армии Петрова 26 ноября 1944 года.

Новая директива Ставки

Как уже говорилось, деятельность командующего 1-м Украинским фронтом маршала И. С. Конева несколько осложнялась из-за положения 38-й армии. Его внимание уже целиком было направлено

на Берлин, а 38-я армия вела бои в Карпатах, — не подчиняясь при этом командующему 4-м Украинским фронтом, руководящему операциями по преодолению Карпат.

Учитывая эти непростые обстоятельства, Ставка издала директиву о подчинении 38-й армии генерала Москаленко и 1-го чехословацкого корпуса под командованием генерала Л. Свободы командующему 4-м Украинским фронтом генералу армии Петрову. В связи с этим были изменены разграничительные линии фронта и поставлена новая задача. 30 ноября Верховный Главнокомандующий приказал 4-му Украинскому фронту:

«1. Левым крылом и центром фронта продолжать наступление с задачей не позднее 12—15 декабря 1944 г. овладеть рубежом Зборов, Бардеев, Прешов, Кошице. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Новы-Тарг и частью сил левого крыла фронта на Попрад.

2. 38-ю армию подготовить к наступлению с целью во взаимодействии с левым крылом 1-го Украинского фронта не позже начала января 1945 г. овладеть г. Краков.

3. Свои соображения по выполнению настоящей директивы, с планированием действий по срокам и рубежам представить не позднее 3 декабря 1944 г.» (10, стр. 258—259).

Началась разработка новой операции. Эту работу генерал Петров проводил вместе с начальником штаба генерал-лейтенантом Корженевичем. Но ни на минуту не прекращались и бои на фронте. Времени для представления в Ставку решения и плана операции до 3 декабря оставалось очень немного — всего несколько дней.

Когда столица нашей Родины салютовала 4-му Украинскому фронту за взятие городов Михальце и Гуменне, его левый сосед, 2-й Украинский фронт, окончательно приостановил наступление на своем правом фланге, и те два корпуса, которые были переданы ему из 4-го Украинского фронта, тоже перешли к обороне. Наступление, длившееся с 7 по 25 ноября, желаемого успеха 2-му Украинскому фронту не принесло. Оно развивалось медленно. Однако Петров использовал напряженные бои на участке соседа слева и двинул здесь вперед части своего фронта. В результате таких энергичных и инициативных действий Петрова буквально через неделю, а именно 3 декабря, был издан еще один приказ Верховного, адресованный генералу армии Петрову и генерал-лейтенанту Корженевичу:

«Войска 4-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта сегодня, 3 декабря, штурмом овладели окружным центром Венгрии городом Шаторальуйхель — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны противника.

В ознаменование одержанной победы...» (14, стр. 273—274).

И далее все, что обычно указывалось в таких приказах.

В тот же день, когда столица нашей Родины салютовала его войскам, генерал Петров доложил в Ставку, как ему и было приказано, план новой операции.

Я не буду подробно излагать замысел и то, как представлял Петров развитие этой операции, потому что она очень сложна, в ходе ее армии и корпуса неоднократно меняют направления, наносят фланговые удары, помогают друг другу и постоянно продвигаются вперед. Но в общих чертах на первом этапе 1-я гвардейская армия силами 3-го горнострелкового корпуса и 11-го стрелкового корпуса должна была овладеть городом Кошице, и в дальнейшем — Прешовом. На этот же рубеж выходила и 18-я армия.

Далее начинается второй этап операции, который осуществляется силами 38-й армии опять-таки во взаимодействии с 1-й гвардейской и 18-й армиями. Вот с этого-то рубежа 38-я армия должна устремиться на Краков и овладеть им, а 1-я гвардейская армия и 18-я — выйти в долину рек Висла, Одер и дойти до Моравска-Остравы.

Как это часто бывает, так и в этом случае, на бумаге все выглядело обоснованно и достижимо. Но Петров отлично представлял себе

трудности, которые встанут на пути, особенно вначале — в боях за город Кошице. Для того чтобы пробиться к Кошице, надо было преодолеть горный хребет Хедьяля. А стояла зима. В низинах между хребтами — вздувшиеся реки, слякоть, ветры, а в горах — морозы, доходящие до 25 градусов. Все пространство между горами, да и сами горы, поросшие лесом и кустарником, занесены снегом. Нет дорог, пригодных хотя бы для гужевого транспорта. Все высоты, в направлении которых придется наступать, заняты противником и господствуют над наступающими частями.

Вот как характеризует этот оборонительный рубеж в своих воспоминаниях маршал А. А. Гречко:

«Вражеские войска занимали оборонительный рубеж «Гизеле штелюнг», что означало «Гизельская неприступная позиция». На этой позиции гитлеровцы рассчитывали продержаться всю зиму, до получения «сверхсекретного» и «сверхмощного» оружия, обещанного фюрером. Это оружие должно было изменить ход войны «в пользу великой Германии», как шумела геббельсовская пропаганда. Окопы полного профиля, блиндажи, ходы сообщения, доты, проволочные заграждения, минные поля — все было подготовлено к устойчивой и длительной обороне. Подступы к переднему краю «Гизеле штелюнг» прекрасно просматривались, а сама «Гизельская неприступная позиция» была укрыта от наблюдения обширным лесным массивом» (10, стр. 262).

Здесь уже были не те болотистые места, которые недавно преодолевали наши войска, а каменистые горные хребты, позволяющие создать мощную оборону, что и было сделано гитлеровцами.

На участке, где предстояло наступать 1-й гвардейской армии, оборонялся 49-й горноегерский корпус противника. Это тот самый корпус, который в свое время штурмовал Главный Кавказский хребет. Как известно, корпус своих задач там не выполнил и был изгнан с Кавказа. И вот теперь противники как бы поменялись местами — теперь «здельвейсам» предстояло показать себя в обороне, а нашим частям подтвердить свое мастерство и в наступательных действиях в горах.

Пятый по счету приказ Верховного Главнокомандующего войскам 4-го Украинского фронта от 3 декабря 1944 года адресовался, как я сказал, не только генералу армии Петрову, но и начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту Корженевичу. Это первое обращение Верховного к генералу Корженевичу. Феодосий Константинович был верным и добрым помощником Ивана Ефимовича на 4-м Украинском фронте. По характеру, да и по биографии своей он в некотором отношении был похож на Петрова, они с первых дней сработались и в течение всего времени пребывания на этом фронте действовали дружно.

Мне кажется необходимым подробнее познакомить читателей с биографией генерала Корженевича. По возрасту он был на три года моложе Петрова, в 1944 году ему было 45 лет. В Красной Армии он начал служить с 1918 года. В 1919 году окончил командные курсы, а в 1924 году — Высшую объединенную военную школу командного состава в Киеве. В отношении образования Феодосию Константиновичу повезло больше, чем Петрову. До войны, еще в 1931 году, ему удалось закончить Военную академию имени М. В. Фрунзе.

После окончания академии он служил начальником оперативной части штаба 3-го кавалерийского корпуса, потом — начальником штаба 3-й кавалерийской дивизии, начальником штаба 1-го гвардейского корпуса. А с 1937 года — на преподавательской работе на курсах усовершенствования командного состава и в Военной академии имени М. В. Фрунзе. Затем он получает повышение, с октября 1940 года он помощник генерального инспектора кавалерии Красной Армии. С началом Отечественной войны Корженевич в июле 1941 года получает назначение начальником оперативного отдела штаба Южного фронта, а позднее — начальником штаба 9-й и 66-й (5-й гвар-

дейской) армий. Его работа в этих должностях была оценена высоко, и Феодосий Константинович опять получает повышение, в течение 1943—1945 годов он был начальником штаба Воронежского, Юго-Западного, 3-го и 4-го Украинских фронтов. Имел большой опыт планирования и проведения крупных армейских и фронтовых операций. Звание генерал-лейтенанта ему было присвоено в 1943 году, в том же году он вступил в партию.

9 декабря, после 45-минутной артиллерийской подготовки, в 9 часов 45 минут дивизия 1-й гвардейской армии перешла в наступление. Фронт медленно продвигался вперед, вклиниваясь в расположение противника. Гитлеровцы понимали, что это последние горные хребты. Если советские части выйдут на закарпатские равнины, там их не удержат. Поэтому командование оперативной группы «Хейнрици» предпринимало все возможное, чтобы остановить наступление здесь, в горах. Сосредоточив до четырех дивизий, гитлеровцы ударили под основание клина, вбитого в их оборону частями 1-й гвардейской армии. Наше наступление было остановлено.

Однако 16 декабря после 35-минутной артподготовки 11-й стрелковый корпус форсировал реку Ондава и овладел городом Дарговым. Используя этот успех, соседний 107-й корпус с тяжелыми боями продвигался вперед и овладел Давидовом. В течение 18 декабря части 1-й гвардейской отражали ожесточенные контратаки врага, только на участке 107-го корпуса их было девять.

Все эти дни и ночи генерал Петров находился в передовых частях, пристально всматривался в ход тяжелых боев, искал малейшую возможность развить успех. 20—21 декабря происходит скрытая перегруппировка на левый фланг 1-й армии и 22 декабря после артподготовки новый бросок на врага. И опять медленное продвижение наших частей и остервенелые контратаки противника.

Иван Ефимович наблюдал через стереотрубу за тем, что происходило на переднем крае. В горах это понятие было условным, не вырисовывалась даже приблизительно линия фронта — одни подразделения были впереди, другие отстали, к тому же они в отличие от сражающихся на равнине находились на разных уровнях по отношению друг к другу. Петров видел, как солдаты карабкались по каменистым откосам, преодолевая толщу снега, набившегося между кустарниками и деревьями. Солдат поливал дождь. Они были мокрыми не только от этого дождя, но и от таявшего снега и своего пота. А наверху становилось холодно, мороз до 20 градусов, ветер обжигал лицо, руки, пробирался под одежду, леденил разгоряченное взмокшее тело. Шинели, насквозь пропитанные водой, дубели, стесняли движения, мешали прицельно стрелять. Кирзачи на ногах раскисали, резиновые подметки скользили по льду и камням, отваливались. Мокрые ноги сводило от холода. Люди выбивались из сил, которых, кстати сказать, было не так уж и много. Ведь это не первый бой. Позади месяцы такого же карабканья по скалам. Недоедание из-за трудностей с доставкой продовольствия. Бездорожье, горы, вода и снег — лошади и ишаки пробиваются с трудом и доставляют минимум из минимального и в первую очередь боеприпасы, без которых просто гибель...

А наверху, куда так упорно лезли бойцы, их ждал не отдых, не пища, ждал враг, полный сил. Он сидел в траншеях и дотах, обеспеченный всем необходимым, ему ничего не надо подвозить, он если и отходил, то на новые подготовленные позиции со всеми необходимыми для боя запасами.

И вот, забравшись наверх, наши бойцы, те, что уцелели под огнем противника, должны были найти (и находили!) в себе силы кинуться врукопашную и одолеть этого сытого, полного сил, вооруженного до зубов врага!

И наши бойцы и младшие командиры это совершили! Это ли не подвиг? Правильно говорят — любой из них был героем, хотя каждый был простым, обыкновенным человеком, и, что самое поразительное, они себя не считали героями. Они считали, что делают свою повседневную солдатскую работу — воюют.

Иван Ефимович смотрел на этих прекрасных в своей простоте и нестигаемости воинов, и сердце его, как всегда бывало в таких случаях, переполнялось любовью, уважением и восхищением. Велик советский солдат! И нет ничего выше его ратного подвига!

Хотелось поддержать, облегчить деяния этих замечательных людей, и Петров все силы отдавал поискам реальной помощи. Он не давал покоя командирам, штабам, артиллерии, авиации, тылам, транспорту, медикам, как говорят солдаты, «тряс их, как грушу, выбивал душу», и никто на это не обижался, потому что все понимали, ради чего и ради кого командующий это делает.

Все эти трудности легли на плечи Петрова дополнительным бременем, если сравнивать боевые дела его горного фронта с делами на других фронтах, тоже, конечно, тяжелыми (на войне легких боев не бывает!), но все же в более благоприятных условиях.

Ну, театр военных действий ни улучшить, ни заменить нельзя, какой выпадет на долю полководца, там ему и приходится выполнять свою задачу. А вот боевая обстановка и политическая ситуация может быть сложнее и проще, на нее можно влиять — изменять, поворачивать, чтоб была более выгодной для своих войск и трудней для противника. Делается это не просто, не быстро, и не каждому подвластно.

В сражениях за Карпаты, казалось, все факторы были против Петрова — горный театр, плохая погода, мало своих войск, сильный противник, мощная оборона, недостаточная обеспеченность, отсутствие дорог.

И в дополнение к этому еще одна беда, каких не знали другие фронты. Мне кажется необходимым рассказать о ней, потому что дело это требовало многих дополнительных забот, переживаний, траты сил и нервов. Я имею в виду действия в тылах 4-го Украинского фронта националистических банд. То, что они орудовали в этом районе, общеизвестно. Приведу небольшую выдержку из документа, подтверждающего, что именно Карпаты были определены зоной действия этих фашистских прислужников. Документ этот рассыпался по нескольким адресам: в Главное управление имперской безопасности штурмбанфюреру СС Поммерингу; начальнику полиции безопасности и СД в генерал-губернаторстве обер-фюреру СС Биеркампу; начальнику полиции безопасности и СД в генерал-губернаторстве — зондеркоманды IV—N—90/44 — гауптштурмфюреру СС Шпилькеру; СС — и полицейфюреру дистрикта Галиция бригадефюреру СС Димгу.

«Лемберг, 26 мая 1944 г.

Совершенно секретно

Относительно установления связи УПА с аппаратами вермахта, полиции и гражданского управления

...Части УПА (Украинской повстанческой армии.— В. К.), которые в Галиции вряд ли смогут противостоять войскам Советов, следует передислоцировать в район боевых действий, который предоставил бы относительно слабым подразделениям УПА обещающую успех возможность отразить дальнейшее продвижение советских войск. Таким благоприятным районом могли бы стать Карпаты.

Немецким оккупационным властям следует быть убежденными в том, что стягивание УПА в Карпатах направлено исключительно против Советов и ни в коем случае против немецких интересов.

Если кто-то будет опасаться, что на своих карпатских позициях УПА захотела бы помешать или предотвратить возможный отход немецких войск, то такое предположение абсолютно нереально» (15, стр. 257—258).

Из этого документа видно, что даже не все гитлеровские штабы и гражданские инстанции знали о том, что бандеровцы и оуновцы (ОУН — организация украинских националистов) были заодно с фашистами. Открыто они действовали как «самостийники», борющиеся за независимую Украину. Подлинное их лицо было глубоко спрятано, его не знали даже многие рядовые члены бандеровских и оуновских организаций, их вслепую использовали руководители этих банд, которые были самыми настоящими агентами гитлеровских секретных служб.

Вот еще одно подтверждение этого, на сей раз из нашего документа:

«Осенью 1940-го органы государственной безопасности перехватили эмиссара центрального провода ОУН. У него нашли указание организациям националистов, в котором, кроме всего прочего, говорилось:

«В будущей войне немцев против Советов националисты должны рассматривать немцев не только как своих освободителей, а, главное, как сообщников. Поэтому от всех организаций и их членов требуется ведение активной подрывной работы еще до начала боевых действий, чтобы на деле доказать Германии, на что способны ее союзники по борьбе с большевиками» (15, стр. 67).

Зверства оуновцев по отношению к населению Советской Украины были составным элементом их «программы», заранее предусмотренной гитлеровцами. Перед нападением фашистской Германии на СССР абвер забросил диверсионные группы именно на базы националистов. В ряде сел они жестоко расправились с мирными жителями.

С началом боевых действий шайки оуновцев развернули подрывную работу в тылу Красной Армии — шпионили, проводили диверсии, пытались сорвать эвакуацию людей и материальных ценностей. Переодетые в военную форму бандиты нападали на отдельные советские части, обстреливали их с чердаков, с заранее укрепленных огневых позиций. А сколько преступлений совершили печально известные бандеровские части «Роланд» и «Нахтигаль», которые под фашистскими знаменами перешли границу СССР в составе оккупационных войск!

Из отдельных фактов вырисовывалась страшная картина: сотни, тысячи расстрелянных, повешенных, зверски замученных граждан на Львовщине, Тернопольщине, Станиславщине (теперь — Ивано-Франковская область). И это только в первые месяцы войны.

Я умышленно назвал все адресаты в гитлеровском документе: они неопровержимо доказывают, кому служили оуновцы и бандеровцы.

По указанию своих хозяев в конце 1944 года Бандера и Стецко были направлены в Краков, в гитлеровскую абверкоманду-202, для того чтобы они были ближе к своим бандам и конкретно руководили их действиями в Прикарпатье.

Формировались банды УПА. Их основателями оказались те, кто еще недавно носил нарукавные повязки немецких шуцманов, а то и офицерские мундиры.

Первым руководителем националистических банд абвер (а не ОУН!) назначил своего агента Дмитрия Клячковского, который действовал под псевдонимом Клим Савур, а позже — члена центрального руководства ОУН, бывшего командира абверовского батальона «Нахтигаль» Романа Шухевича по кличке Чупринка.

Они и их подручные террором загоняли в банды украинскую молодежь, готовили страшную роль братоубийц простым крестьянским хлопцам, далеким от понимания сложных политических ситуаций, возникающих на оккупированной врагом территории.

Бандиты чинили дикие расправы в западных областях Украины, Белоруссии, имея задание уничтожать «прокоммунистический элемент», беспощадно расправляться с каждым, кого можно считать потенциальным партизаном, подпольщиком, кто будет помогать им или хотя бы сочувствовать.

Пылали по ночам усадьбы. После налетов бандеровцев на подворьях, огородах оставались трупы задушенных, зарубленных топорами мужчин, женщин, детей.

Приближение Красной Армии к западным областям Украины вынуждало гитлеровцев и националистов тщательно маскировать и в то же время укреплять свое сотрудничество.

Одно отступление: не хочется, чтобы читатели подумали о моей забывчивости,— ратовал за объективность, за неуместность карикатур в серьезной литературе и вдруг применяет такое слово, как «бандиты» к оуновцам и бандеровцам. В данном случае это не мой огрех, гитлеровцы в официальных документах сами называли их не иначе, как бандитами.

Вот выписка из протокола допроса Ильчишина — бывшего члена руководства ОУН. После того как его ознакомили с трофейными документами, попавшими в руки советской контрразведки, он, прочитав их, признался:

«— Да.. Обидно, что они, абверовцы, не нашли других слов для нас, как бандиты. Бандиты — и все тут.. Разве нельзя было найти другого слова для тех, кто в действительности были их сообщниками?

— А вы, Ильчишин, до сего дня не знали, что и гестапо и абвер вас, националистов, именовали только бандитами?..

— Не знал. Хотя Гриньох (член центрального руководства ОУН.— В. К.) мне рассказывал, что по поручению руководства он просил оружие для УПА, а гестаповский генерал Димг его высмеял и даже сказал: «Вы, любезный, в другом месте можете говорить про УПА, а не здесь. То, что вы называете УПА, мы, немцы, считаем бандой. Но не это самое страшное. Смотрите, чтобы народ не подумал о вас так, как мы, немцы». Я тогда не поверил Гриньоху, а теперь убедился, что он говорил правду» (15, стр. 259—260).

Разумеется, генералу Петрову не приходилось самому организовывать операции по борьбе с бандами в тылу фронта, для этого были специальные люди и силы. Но информацию о ходе этой борьбы командующий получал регулярно. Главное не в этом. Я напоминаю читателям о том, что происходило в тылу 4-го Украинского фронта, потому, что действия банд отрицательно сказывались на боевых действиях войск. Подвоз боеприпасов, горючего, продовольствия и так был затруднен из-за плохого состояния дорог, а диверсии, конечно же, еще больше усложняли снабжение. Но основная беда была даже не в этом. Очень большой вред приносили националисты как шпионы гитлеровцев. Находясь среди населения и в тылах войск фронта, они регулярно и быстро передавали разведывательные сведения в немецкие штабы. Многие из того, что задумывало и пыталось осуществить командование фронта, становилось известно противнику, как только начинались перегруппировки, перемещения артиллерии и подвоз боеприпасов к месту готовящегося удара.

Для противодействия клевете и антисоветской пропаганде оуновцев приходилось вести большую разъяснительную работу среди населения. Чтобы не давать ни малейшего повода для разжигания антисоветской пропаганды со стороны националистов, учитывая при этом, что наши войска вышли на территорию соседнего государства, была издана специальная директива:

«1. Разъяснить всему личному составу войск, что Чехословакия является нашей союзницей и отношение со стороны войск Красной Армии к населению освобожденных районов Чехословакии и к повстанческим чехословацким частям должно быть дружественным.

2. Запретить войскам самовольную конфискацию автомашин, лошадей, скота, магазинов и разного имущества.

3. При размещении войск в населенных пунктах учитывать интересы местного населения.

4. Все необходимое для нужд наших войск получать только через местные орга-

ны гражданской администрации чехословаков или через командование чехословацких повстанческих частей.

5. Лиц, нарушающих этот приказ, привлекать к суровой ответственности» (10, стр. 284).

Кроме забот на передовой и в тылу, у генерала Петрова немало времени и внимания занимало то, что происходило за линией фронта. Я имею в виду не разведку сил и действий противника, это обычная повседневная работа командующего, а другое. Как уже было сказано, в результате предательских действий со стороны командования восточно-словацкого корпуса этот корпус был гитлеровцами разоружен. Но это совсем не значит, что борьба против фашистов в Чехословакии прекратилась. Народ продолжал вести эту борьбу, партизанское движение разрасталось. Не случайно после того, как гитлеровцы объявили о подавлении восстания и пышно отпраздновали эту победу, им пришлось продолжать вести там боевые операции — на это были брошены две дивизии СС, бригада СС «Дирлевангер», 148-я дивизия «Татра», боевая группа «Шилл», мусульманский полк СС, пять противопартизанских батальонов, спешно формировались две новые дивизии «фольксштурма».

С кем же они боролись? В Чехословакии пылало мощное партизанское движение, поддерживаемое населением. Руководил всем Главный штаб партизанского движения Чехословакии, в который входили коммунисты Карол Шмидке, Густав Гусак и другие. Начальником этого штаба стал майор Красной Армии И. И. Скрипка. Советником от советского командования был полковник Алексей Никитович Асмолов. Многими партизанскими бригадами и отрядами командовали советские офицеры — Петр Величко, Алексей Егоров, Вячеслав Квитинский, Евгений Волянский, Алексей Садиленко, Всеволод Клоков и другие.

При Военном совете 4-го Украинского фронта был штаб партизанского движения, им непосредственно руководили генералы Петров, Мехлис, Корженевич. Такой же штаб был и при Военном совете 1-го Украинского фронта.

Военный совет и штаб партизанского движения 4-го Украинского фронта осуществляли не общее руководство, а разрабатывали и осуществляли конкретные операции в тылу противника силами партизанских отрядов. Приведу для подтверждения этого рассказ полковника (а позднее — генерала) Асмолова:

«В конце января 1945 года партизанская бригада под командованием П. А. Величко получила задание штаба партизанского движения 4-го Украинского фронта освободить до подхода советских войск город Липтовски-Градок, а главное — захватить и удержать мост около Липтовски-Градока, чтобы им могли воспользоваться наши наступающие части. Спустившись с Высоких Татр, отряды бригады внезапно ворвались в город и завязали уличные бои. Партизанам не удалось очистить от врага весь Липтовски-Градок из-за его значительного превосходства в силах. В их руках оказались лишь западная и северо-западная окраины города. Но и это было чрезвычайно важно. Противник не смог вытеснить отряды бригады Величко и вернуть мост, который партизаны удерживали до подхода советских войск. Благодаря этому наши части успешно продвинулись в направлении Липтовского Микулаша.

Успешно взаимодействовало с наступающими советскими частями партизанское соединение, которым командовал А. М. Садиленко. Партизаны находились вблизи поселка Черный Балог, юго-восточнее города Брезно. Штаб партизанского движения 4-го Украинского фронта передал А. М. Садиленко приказ не пропускать к Черному Балогу и Брезно отступающие части 208-й дивизии гитлеровцев. Как донесла партизанская разведка, сюда двигался 309-й горнострелковый егерский полк этой дивизии, носивший название «Эдельвейс». Непосредственное руководство операцией возлагалось на командира бригады Н. С. Радула, входившей в соединение А. М. Садиленко. Партизаны установили контакты с разведкой 42-й гвардейской дивизии и согласовали свои планы с советским командованием.

В течение одной ночи с помощью местных жителей все дороги, ведущие к Черному Балугу, были завалены деревьями и заминированы. Обильный снегопад и ударивший вдруг мороз завершили это своеобразное блокирование путей передвижения. Для врага оставался только один проход — через ущелье.

И вот 28 января 1945 года сотни вражеских солдат и офицеров начали медленно втягиваться в ущелье. Прозвучала команда, и по черной, растянувшейся на два километра ленте гитлеровцев, четко выделявшихся на ослепительно белом снегу, ударили партизанские пулеметы, автоматы и минометы. С тыла горнострелковый полк фашистов теснили советские подразделения 42-й гвардейской дивизии, а с флангов, с крутых заснеженных горных вершин и с фронта разили огнем партизаны. Несколько раз фашисты бросались в атаку, но безуспешно» (16, стр. 309).

О значении и весомости этих совместных действий советских войск и партизанских отрядов так сказал Г. Гусак в своей речи на митинге в Банска-Бистрице 29 августа 1969 года:

«Если мы говорим о восстановлении чехословацкого государства, о восстановлении нашей национальной жизни, мы должны сказать о том, как мы завоевали эту свободу, кто нам помогал. Конечно, каждый народ, словацкий и чешский, внес большую долю в завоевание свободы. Но могли ли, друзья, Словацкое национальное восстание, партизанское движение в нашей стране иметь сколько-нибудь большую перспективу без помощи и без наступления Советской Армии в направлении наших границ и нашей территории? Мы знаем, что вся наша борьба — и борьба не только чешского и словацкого народов, но и других европейских народов — была связана и зависела от борьбы и жертв Советской Армии и советского народа. Об этом мы должны постоянно напоминать. На основе этого была восстановлена наша свобода, на этом и впредь основаны безопасность и уверенность чехословацкого государства» (16, стр. 318—319).

Таким образом, во всей полосе 4-го Украинского фронта — там, где шли ожесточенные бои, а также на сотни километров в тылу этих боев и за линией фронта — всюду шла напряженная деятельность многих тысяч людей, и все эти действия обдумывал, направлял и вел генерал Петров со своим штабом.

Победный фейерверк

Наступил 1945 год. Все были уверены, что это последний год войны. Верховный Главнокомандующий всенародно объявил задачу нашим войскам на 1945 год:

«...Довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином знамя победы» (17, стр. 168).

С радостным волнением ждал победного окончания войны и генерал армии Петров. Он уже ясно видел, что идут завершающие операции. Войска 3-го Украинского фронта совместно с частями югославской Народно-освободительной армии вошли в столицу Югославии — Белград. Взят Бухарест, и Румыния объявила войну фашистской Германии, ее войска участвуют в боях совместно с советскими частями. В конце декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили окружение будапештской группировки противника. 1-й Украинский фронт и 1-й Белорусский фронт уже нацелены на Берлин.

Успешно восстанавливалось народное хозяйство в освобожденных районах Советской страны, и промышленность все более полно обеспечивала всем необходимым Красную Армию.

В такой трудной для себя обстановке на востоке Гитлер решил все же провести крупную наступательную операцию на западе. Может быть, в какой-то степени это была демонстративная операция, своеобразная вспышка гнева против англосаксов, которые все-таки открыли второй фронт.

Видимо, Гитлер надеялся на то, что с руководителями Англии и Америки еще можно договориться, объединиться на почве общего

противостояния коммунизму. И вот за то, что они не только открыли второй фронт, но и стали наступать, Гитлер их хотел теперь прочить.

Три немецких армии неожиданно ударили по войскам союзников в районе Арденн.

Работа над этой главой совпала с моей поездкой в Люксембург и Бельгию. Я посетил исходный район, где гитлеровское командование сосредоточивало войска для этого контрудара. Ходил по живописным горам и долинам, которые здесь называют маленькой Швейцарией. Я представлял, как под покровом деревьев прятались танки и артиллерия гитлеровцев. Не случайно был выбран именно этот район: у союзников было господство в воздухе, если бы они обнаружили сосредоточение больших сил, то своей авиацией разбомбили бы их, не позволив перейти в наступление. Но американско-английское командование, увлеченное своим продвижением после высадки, зная к тому же, что главные силы гитлеровцев находятся на Восточном фронте, даже не предполагало о возможности их наступления.

А они ударили. Да еще как! Три армии одновременно рванулись вперед.

В поселке Вилти есть небольшой музей, посвященный битве в Арденнах. Его создал и много лет встречает здесь посетителей очевидец этих боев, господин Швейг. Немолодой, располневший, но бодрый и энергичный, этот господин с большим подъемом рассказывает, как немецкие дивизии громили союзников.

— Им не хватило совсем немного сил,— говорит он.— Если бы немцы достигли Антверпена, где у союзников была главная база горючего, то дело кончилось бы полной катастрофой для американцев и англичан. Немцы заправили бы свои танки и сбросили бы союзников в море.

Много этих «если бы» было в рассказе господина Швейга. Но самый главный его грех в том, что он завершает свой рассказ, не упоминая о финале этой операции и причинах поражения гитлеровцев. На мой вопрос, почему он так поступает, хозяин музея ответил, что у него нет точных данных о том, что происходило в эти дни на Восточном фронте. Я пообещал и действительно послал ему сведения и даже схему действий наших войск, выручивших тогда союзников.

Но это, как говорится, к слову, а теперь я коротко напомним, чем все же завершилась Арденнская операция.

С 16 по 25 декабря гитлеровские войска продвинулись на 90 километров. К концу декабря союзники с трудом остановили их наступление. Но в ночь на 1 января Гитлер преподнес союзникам своеобразный новогодний «подарочек» — более 1000 самолетов нанесли внезапный удар, и фашистские дивизии ринулись в новое наступление в Эльзасе.

Гитлеровцы стремительно двигались вперед. Как известно, Черчилль в личном, строго секретном послании просил Сталина выручить союзников, попавших в такое сложное положение:

«Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы» (18, стр. 348).

Довольно рано союзники заговорили о потере инициативы. Бои после высадки во Франции шли всего несколько месяцев, и при первом же контрударе гитлеровцев союзники потеряли инициативу! Дальше Черчилль спрашивает:

«Можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января?..» (18, стр. 349).

Сталин ответил Черчиллю в своем послании, что обстановка не благоприятствует такому наступлению наших войск, ибо еще не закончена подготовка, да и погода не способствует этому.

«Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам» (18, стр. 349).

Исходя из общей стратегической обстановки и из этих обещаний союзникам, Ставка отдала соответствующие распоряжения войскам, в том числе и 4-му Украинскому фронту. Войска 4-го Украинского фронта, взаимодействуя с левым крылом 1-го Украинского фронта, должны были нанести главный удар в направлении Горлице—Новы-Сонч и в дальнейшем на Краков. 1-я гвардейская армия и входивший в ее состав 1-й чехословацкий корпус должны были наступать на Люботин, Новы-Тарг и дальше по польской территории выйти в долину Вислы и Одера в районе Моравска-Остравы. 18-я армия должна наступать в направлении Попрад — Живец.

Основные усилия генерал Петров решил сосредоточить в полосе 38-й армии, где местность была наиболее благоприятной для наступления. Поэтому он выделил для 38-й армии большую часть артиллерии и танков. 1-й гвардейской и 18-й армиям предстояло действовать в горных условиях, и потому танков и артиллерии на усиление им было дано поменьше. В целом же 4-му Украинскому фронту предстояло преодолеть последние западные хребты Карпат и выйти к Моравско-Остравскому промышленному району.

Наступление было назначено на 12 января 1945 года.

Для того чтобы распылить резервы противника, Ставка решила, что первыми перейдут в наступление войска 2-го Украинского фронта — 6 января 1945 года. Это наступление соседнего фронта началось удачно. За два дня боев наступающие вклинились в глубину обороны до 40 километров и подошли вплотную к городу Комарно, хотя взять его не смогли, как не смогли и переправиться через Дунай.

Используя этот успех и учитывая, что внимание противника приковано именно к данному направлению, 12 января перешли к активным действиям войска правого крыла 2-го Украинского фронта, того самого, который прилегал вплотную к 4-му Украинскому. Преодолевая крутые склоны словацких Рудных гор, эти части хотя и медленно, но все-таки продвигались вперед.

В тот же день, 12 января, перешли в наступление войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Так началась Висло-Одерская операция.

12 же января Петров приказал наступать 18-й армии. В 10 часов утра после 40-минутной артиллерийской подготовки два корпуса этой армии пошли вперед; Петров стремился этим отвлечь внимание противника от того направления, где он намеревался нанести главный удар силами 38-й армии.

13 января начали наступление 2-й и 3-й Белорусские фронты, осуществляя Восточно-Прусскую операцию.

Таким образом, двинулся вперед весь советский фронт. Гитлеровцам в такой передышке уже было не до союзников, их контрнаступление на западе прекратилось.

До 17 января части 18-й армии вели очень тяжелые бои в горных условиях. Активные действия этой армии заставили противника производить перегруппировки и подбрасывать сюда силы, чтобы сдержать ее наступление. Особенно тяжелые бои развернулись на подступах к городу Кошице, который был превращен гитлеровцами в сильный узел сопротивления.

Подступы к городу прикрывались оборонительным рубежом с системой траншей полного профиля, которые проходили по западному берегу реки Ториса. В системе траншей были построены доты и блиндажи. Доступные танкам участки вне дорог были перекрыты эскарпа-

ми и противотанковыми рвами. Все мосты через реки Ториса и Гернад были подготовлены к взрыву, а места, удобные и возможные для переправ, были заминированы и пристреляны артиллерией. Подступы к городу с юго-востока и юга тоже прикрывались сильной линией обороны с траншеями полного профиля, проволочными заграждениями, минными полями, а направления, где могли пройти танки, были перекрыты надолбами, рельсовыми ежами и минными полями.

Непосредственно по окраине города был подготовлен оборонительный обвод, представляющий из себя не что иное, как самый настоящий укрепленный район.

Конечно же, видя такую сильную оборону врага и зная, как трудно придется здесь 18-й армии, генерал Петров находился именно на этом участке.

Наши части, усталые, понесшие заметные потери, все медленнее, все с большим трудом продвигались вперед. Петров понимал: наступление вот-вот может остановиться. Нужны резервы, хотя бы небольшие. Но их не было. Естественно, командующий не мог допустить невыполнения задачи. Кошице надо взять! Но чем? И вот Петров в который раз изучает карту, всматривается в местность, обдумывает положение своих войск и войск противника. Найти хоть бы маленькую зацепку, из которой можно развить успех! Но ее нет.

С утра 17 января 18-я армия предприняла еще одну попытку взять Кошице. Враг, как показалось Петрову, встретил наши части еще более сильным сопротивлением. За день боя они совсем не продвинулись вперед.

Казалось бы, создалась ситуация, из которой нет выхода. Но Петров не из тех, кто опускает руки в безвыходном положении. Он начинает прикидывать: если противник усилил здесь сопротивление, значит, откуда-то он снял свои части. Подхода резервов наша разведка не обнаружила. С какого же участка переброшены сюда подкрепления? Надо искать! И Петров приказывает разведке всех частей спешно и как можно более точно установить состав войск противника перед собой, его силы.

Выслушав доклад, Петров вдруг уловил в словах командующего 18-й армией то, что искал. Генерал Гастилевич доложил, что разведка, высланная от 159-го полевого укрепленного района, установила, что на их участке гитлеровцы стали слабее. Местные жители рассказали, что позавчера противник перебросил отсюда часть войск в район Кошице.

Петров приказывает Гастилевичу немедленно послать в наступление 159-й укрепрайон. На первый взгляд естественное, логичное решение. Но надо напомнить читателям, что укрепленный район (УР) — это формирование, предназначенное для выполнения оборонительных задач. Ему поручается определенная полоса, которую УР оборудует полевыми фортификационными сооружениями, насыщает полагающимся ему по штату оружием и создает таким образом мощный укрепленный район. Подвижность его, если и предусматривается, то лишь после завершения боев на этом участке, вперед или назад — это уже зависит от исхода операции. И вот Петров принимает решение послать УР в наступление! Не знаю, было ли где-нибудь такое на других фронтах, я не слышал.

И какой риск! А что если противник ударит на этом направлении, когда УР уйдет из фортификационных сооружений и лишится своей главной силы?

Да, риск был немалый. Но и выхода другого не было. Вот что пишет командир этого 159-го УР генерал-майор (тогда полковник) И. Н. Виноградов:

«Бросив в бой резервы остальных батальонов, мы к рассвету 18 января прорвали первую оборонительную полосу немцев на всю ее глубину и вышли ко второй... Выяс-

нилось, что и она занята сравнительно небольшими вражескими силами, но все же одних лишь резервных подразделений недостаточно для ее прорыва.

А прорывать ее нужно было немедленно (и этого требовал неотступно Петров! — В. К.), пока вражеское командование не начало подбрасывать сюда подкрепления. Тем более что, взломав и здесь оборону противника, мы получили бы возможность выйти непосредственно к городу Кошице» (19, стр. 235).

Используя успех УР, пошли вперед соседние с ним 318-я и 237-я стрелковые дивизии, противник был сбит с оборонительного рубежа и отброшен на десятки километров. Вот что значит уловить необходимый нюанс в обстановке и двинуть вперед тех, кому даже не полагается наступать!

19 января 1945 года Верховный Главнокомандующий издал приказ, адресованный командующему войсками 4-го Украинского фронта генералу армии Петрову и начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту Корженевичу. В этом приказе говорилось:

«Войска 4-го Украинского фронта, перейдя в наступление 15 января из района западнее города Санок, прорвали сильно укрепленную оборону противника и за 4 дня наступательных боев продвинулись вперед до 80 километров, расширив прорыв до 60 километров по фронту» (14, стр. 297).

В ознаменование этой победы Москва салютовала героическим войскам 4-го Украинского фронта.

В тот же день, 19 января, начался штурм Кошице. На город наступали части 3-го горнострелкового корпуса, а 17-й гвардейский стрелковый корпус наносил удар юго-западнее Кошице. Гитлеровские войска здесь сопротивлялись ожесточенно, потому что Кошице был крупным узлом коммуникаций в Восточной Словакии. И, кроме того, в городе были очень важные для противника заводы. Гитлеровцы стремились удержать Кошице во что бы то ни стало.

Генерал Петров сделал все необходимое для того, чтобы войска не задерживались на подступах к городу, благодаря его инициативному и своевременному руководству, а также и смелым действиям командующего 18-й армией генерала Гастиловича, к исходу дня, сломив сопротивление противника на подступах к городу и на его окраинах, части 18-й армии завязали уличные бои. В этот же день, 19 января, противник был выбит из Кошице с большими для себя потерями. Было взято много пленных.

В боях за город особенно отличились части 159-го полевого укрепленного района полковника И. Н. Виноградова и 318-й горнострелковой дивизии генерал-майора В. Ф. Гладкова.

На следующий день, 20 января, Верховный Главнокомандующий издал новый приказ, адресованный генералу армии Петрову и генерал-лейтенанту Корженевичу:

«Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 20 января, с боем овладели на территории Польши городом Новы-Сонч и на территории Чехословакии городами Прешов, Кошице и Бардеев — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев» (14, стр. 306).

Наиболее отличившимся частям присваивалось название «Прешовских» и «Кошицких».

Рассказывая о предыдущих сражениях, я знакомил читателей с теми гитлеровскими полководцами, с которыми приходилось «скрестить шпаги» Ивану Ефимовичу Петрову. Мне кажется, необходимо познакомить читателей и здесь с тем, кто противостоял Петрову в этих завершающих сражениях. Тем более что 17 января на должность командующего группой армий «Центр» был назначен генерал-полковник Фердинанд Шернер, с которым читателям предстоит еще не раз встретиться до окончательной нашей победы. Кстати, Шернер был очередной и последний «оппонент» Петрова, которому даже в ходе

гибельных последних боев Гитлер присвоил звание генерал-фельд-маршала.

Необходимость назначить генерал-полковника Шернера на этот участок фронта была вызвана тем, что Моравско-Остравский промышленный район практически оставался единственным, снабжавшим гитлеровскую армию в этих завершающих сражениях. Гитлер все еще надеялся на то, что ему удастся заключить сепаратный мир с нашими западными союзниками и тем самым спасти рейх от уничтожения.

Что касается Шернера, то он действительно был опытный вояка. Начал офицерскую карьеру лейтенантом еще в годы первой мировой войны, показал себя смелым в боях, за что был удостоен ордена. В 1922 году Шернер — капитан, в 1934 — майор и работник генерального штаба в отделе иностранных армий, в 1937 году — полковник, командует горнострелковым полком. Он участвовал в захвате Австрии, Чехословакии, Польши, Бельгии, Голландии и Франции. При нападении на Советский Союз уже был в чине генерал-майора и командовал горноегерской дивизией на мурманском направлении, где вскоре был назначен командиром корпуса и находился там до 1943 года.

Шернер познакомился с Гитлером в 1920 году и, как он сам говорил, «был одним из первых германских офицеров, примкнувших к национал-социалистскому движению еще в период его зарождения». Шернер был убежденный враг коммунизма и заявлял: «Мои враги — это большевики!» Всюду, где только была возможность, он с оружием в руках выступал против коммунистов, в частности в 1919 году он принимал участие в ликвидации Баварской советской республики, а также в подавлении революционного движения в Рейнской области.

За действия в захватнических походах в страны Европы Шернер был награжден Рыцарским крестом, а в 1944 году — Рыцарским крестом с дубовыми листьями. В том же году, вспомнив о его давней преданности идеям национал-социализма, Гитлер назначает Шернера на пост начальника штаба по национал-социалистскому воспитанию войск при главном штабе верховного командования сухопутных сил. Однако в появлении рядом человека, занимающегося национал-социалистской проблематикой, усмотрел для себя опасность Борман. Они не поладили, и вскоре Шернер был назначен главнокомандующим группы армий «Юг». Здесь, в районе Крыма и Румынии, Шернер также проявил свой, как пишут его начальники и подчиненные, главный тактический и стратегический принцип: любой ценой удерживать позиции.

В июле 1944 года, когда Красная Армия успешно развивала наступательные операции на севере вдоль берега Балтийского моря, Шернер назначается командующим группой армий «Север». Под новый, 1945 год Шернер получает от Гитлера самую высшую награду — бриллианты к дубовым листьям. Насколько это высокая награда, свидетельствует тот факт, что в Германии к концу войны было всего 22 человека, имеющих такую награду, Шернер был двадцать третьим.

Как свидетельствуют сослуживцы Шернера, самой главной чертой его как военачальника, на которой держался его авторитет, была жестокость. Бывший помощник германского военного атташе в Румынии Макс Браун, знавший Шернера на протяжении четверти века, вспоминал:

«Шернер ежедневно разъезжал по какому-либо участку своего фронта, большей частью в тылу. За ним следовал автобус или грузовая машина, служившая для погрузки «преступников». Все солдаты, обратившие на себя его внимание каким-либо нарушением дисциплины, правил движения на дорогах или имевшие при себе неправильно оформленные документы, немедленно задерживались, и он «по собственным законам», лично приговаривал их к тяжелым наказаниям, часто к смерти, якобы за трусость перед противником. «Я не нуждаюсь в суде, я сам у себя судья», — часто говорил Шернер» (20, стр. 257).

Не удивительно, что там, где появлялся Шернер, дрожали все, начиная от солдата и кончая высшими офицерами.

В дни назначения на должность командующего группой армий «Центр», когда он «скрестил шпагу» с генералом армии Петровым, Шернер был предельно ожесточен и полон решимости «спасти Германию», что приказал ему фюрер в личной беседе.

И вот, как видим, в самом начале «единоборства» (если это можно так назвать) Петров наносит Шернеру два чувствительных удара, отмеченных Верховным Главнокомандующим нашей армии.

Гитлеровцы, отступая из Кошице, взорвали и вывели из строя заводы, подожгли вокзал, разрушили жилые дома. Они не щадили ни культурные, ни исторические ценности, ни памятники. Был ограблен музей и вывезено из театра его имущество. То, что осталось в Кошице, уцелело благодаря стремительному наступлению частей генерала Петрова — только это не позволило гитлеровцам окончательно разрушить город.

Жители города встречали советских воинов с большой радостью. Еще рвались снаряды на улицах, а к командирам наших частей приходили горожане и предлагали свою помощь, чтобы провести войска в обход сопротивлявшихся гитлеровцев.

Кошице — второй по величине промышленный и административный центр Словакии. Его освобождение было и политическим актом в жизни Чехословакии: Кошице стал местом пребывания нового чехословацкого правительства. Выражая свою искреннюю благодарность и уважение генералу Петрову, приложившему так много сил для освобождения и спасения Кошице, местные власти присвоили Петрову звание почетного гражданина города. С любовью была изготовлена специальная грамота. Сама эта грамота, сделанная хорошими художниками, представляет собой произведение искусства.

В дни радости и победных боев за город Кошице Петров не упускал из виду главной намеченной цели. Еще готовясь к штурму Кошице, отвлекая сюда много сил противника, командующий фронтом 15 января посылает в наступление 38-ю армию на направление избранного им главного удара. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки враг, не ожидавший здесь такого сильного удара и считавший, что главные усилия в настоящее время сосредоточены в районе Кошице, начал отступать.

16 января к 11 часам утра части наши овладели городом Ясло. В боях за этот город особенно отличились чехословацкие артиллеристы. Отмечая их заслуги, Верховный Главнокомандующий присвоил наименование «Ясловских» 2-му и 4-му истребительным противотанковым и 5-му пушечному артиллерийским полкам 1-го чехословацкого армейского корпуса.

В честь такой знаменательной победы чехословацких артиллеристов 15 января с тех пор отмечается как День артиллерии в чехословацкой Народной армии.

Чтобы бить противника более быстрыми темпами, командующий 38-й армией генерал-полковник Москаленко ввел в бой свою подвижную группу. Танкисты 31-го и 42-го отдельных гвардейских танковых бригад смело врываются в тыл противника, перерезали пути отхода вражеским частям и создавали благоприятные условия для наступления пехоты с фронта.

В эти же дни войска 1-го Украинского фронта быстро продвигались в направлении Бреслау, Катовице, Кракова, и это создавало благоприятные условия для наступления правого фланга войск Петрова. Иван Ефимович не замедлил воспользоваться этим обстоятельством: 18 января была двинута в наступление 1-я гвардейская армия. Вместе с ее частями наступал и 1-й чехословацкий армейский корпус.

В течение дня они продвинулись до 22 километров в глубину и прорвали фронт шириной до 60 километров.

Генерал Петров неоднократно бывал в чехословацком корпусе, его связывали хорошие отношения с Людвиком Свободой. Руководя боями, Иван Ефимович с особой заботой и участием относился к командиру 1-го чехословацкого армейского корпуса в эти дни. Он понимал его отцовское горе — дело в том, что в это время пришла весть, что сына Людвика Свободы, Мирека, фашисты зверски замучили в Маутхаузене. В разговорах с Иваном Ефимовичем Свобода сказал и о том, что его очень беспокоит судьба жены и дочери, о которых он ничего не знает с лета 1939 года.

Генерал Петров был очень внимателен ко всем нуждам 1-го чехословацкого армейского корпуса, своевременно снабжал его всем необходимым.

Положение германской армии на всех фронтах, прямо скажем, было плохое. Тем не менее в район, прикрывающий Моравска-Остраву, подбрасывались резервы, взятые отовсюду, откуда только можно, да и откуда даже нельзя было брать. Шернер предпринимал огромные усилия, для того чтобы выполнить приказ Гитлера и удержать этот промышленный район.

Однако генерал Петров, умело маневрируя имеющимися в его распоряжении войсками, несмотря на невероятные трудности ведения боев в горной местности, да еще при плохой погоде, наносил войскам Шернера удар за ударом.

И в конце января вновь следуют один за другим три приказа Верховного Главнокомандующего, адресованных генералу армии Петрову и генерал-лейтенанту Корженевичу:

«Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 27 января, с боем овладели городами Вадовице, Спишска-Нова-Вес, Спишска-Стара-Вес и Левоча — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев» (14, стр. 341).

На следующий день опять приказ Верховного:

«Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 28 января, овладели крупным административным центром Чехословакии городом Попрад — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны противника» (14, стр. 346).

И на следующий же день новый приказ:

«Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 29 января, овладели городом Новы-Тарг — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны противника» (14, стр. 347—348).

Это уже не просто залпы и не просто салюты нашей Родины в честь доблестных войск 4-го Украинского фронта, руководимых генералом армии Петровым, а настоящий победный фейерверк!

Преодолевая западный Карпатский хребет, войска 4-го Украинского фронта освобождали теперь города и села трех государств: Польши, Чехословакии и Венгрии.

19 января 1945 года был приказ Верховного Главнокомандующего маршалу Коневу — командующему 1-м Украинским фронтом и генералу армии Соколовскому, начальнику штаба этого фронта, отмечающий их умелые действия по освобождению крупного культурно-политического центра союзной нам Польши, города Кракова.

К 11 февраля 1-я гвардейская и 18-я армии 4-го Украинского фронта подошли и завязали бои за город Бельско. Три дня наши войска вели уличные бои, занимая дом за домом, и 12 февраля в полдень выбили противника из города Бельско. И опять был очередной приказ Верховного Главнокомандующего генералу Петрову и генералу Корженевичу:

«Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 12 февраля, штурмом овладели городом Бельско — крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Моравска-Остраве...» (14, стр. 362—363).

Таким образом, в ходе зимнего январско-февральского наступления войска 4-го Украинского фронта, преодолев большую часть Западных Карпат, продвинулись от 175 до 225 километров. Своими успешными наступательными действиями фронт сковал в Карпатах крупные силы врага и тем самым способствовал успеху своих соседей справа, 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, в Висло-Одерской операции по освобождению Силезии и взятию Кракова, а также помогал 3-му Украинскому фронту (соседу слева) отразить три мощных контрудара врага под Будапештом.

4-й Украинский фронт внес свою лепту в грандиозное январско-февральское наступление Красной Армии, в ходе которого фронт гитлеровцев был взломан на протяжении 1200 километров. Наши войска в Восточной Пруссии продвинулись на 270 километров и достигли низовьев Вислы. С плацдарма на Висле до нижнего течения Одера советские дивизии прошли вперед на 570 километров, с Сандомирского плацдарма — на 480 километров. За 40 дней наступления было освобождено 300 городов, взято в плен 350 тысяч солдат и офицеров, уничтожено и захвачено 3000 немецких самолетов, 4500 танков, 12 000 орудий.

Подводя итоги этого наступления, Верховный так сказал о командном составе наших войск:

«Генералы и офицеры Красной Армии мастерски сочетают массированные удары могучей техники с искусным и стремительным маневром» (17, стр. 179).

Мне кажется, эти слова имеют прямое отношение и к генералу Петрову.

В ходе успешных операций на завершающих этапах войны многие военачальники, товарищи, соседи Петрова по фронтам, командующие 1-м, 2-м, 3-м Украинскими фронтами И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин еще в 1944 году за умелое руководство боями были удостоены высокого звания маршалов Советского Союза. Почти все они носили геройские Звезды на груди.

Думается мне, что и генерал Петров к тому времени тоже вполне заслужил звания и маршала и Героя. Вспомним Одессу, Севастополь, остановку гитлеровцев на пути к бакинской нефти, предотвращение катастрофы под Туапсе, блестящую Новороссийскую операцию, прорыв «Голубой линии» и освобождение Тамани. А сколько раз им было проявлено личное мужество, о чем я здесь рассказал (а еще больше не рассказав!), взять хотя бы эпизод при освобождении Ужгорода. И вот, наконец, подряд десять салютов Родины и благодарственных приказов Верховного Главнокомандующего. Неужели всего этого недостаточно, чтобы отметить Петрова высоким званием и наградой?

Значит, были какие-то сдерживающие мотивы?

Да, к сожалению, были. С великой горечью за Ивана Ефимовича я приступаю к описанию очередной беды, постигшей его. Трудно и горько писать о ней. А как же больно было Петрову пережить все это!

(Окончание следует)

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ



ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Я знаю, оно все годы
Работало на износ.
Ведь я сквозь огни и воды,
Сквозь грохот его пронес.

Мы вместе в болотах вязли,
И снайперы били в нас,
И мины рвались... Но разве
Оно подвело хоть раз?

И мерзли, и голодали,
Да нас не смогли сломать...
За сердце, что вы мне дали,
Спасибо, отец и мать!

В работе своей бессменной
Другой его жгло бедой:
Пытали его изменой,
И подлостью, и враждой.

Оно не черствело в злобе,
Не сбила его вражда.

И, кто бы его ни гробил,
Работало хоть куда.

И вместе мы побеждали,
А нас не смогли сломать...
За сердце, что вы мне дали,
Спасибо, отец и мать!

Казалось, все беды мимо,
Живи себе да живи...
И все же оно ранимо,
А больше всего — в любви.

Но, как друзья по несчастью,
Держались мы заодно.
И все же в ту пору часто
Пошаливало оно.

Мы всякое повидали —
Терпенья не занимать...
За сердце, что вы мне дали,
Спасибо, отец и мать!

Мой окоп

С той немислимой поры
Годы рысью пробежали...
Отпылали те костры,
У которых мы лежали.

И окоп, спасавший нас,
Но израненный врагами,
Засыпало сорок раз
То листвою, то снегами.

От берез ему светло,
Благодарен он березам.

Ведь его и солнцем жгло
И тиранило морозом.

Размывало силой вод,
Прорывавшихся с болотца...
Только он еще живет —
Не сдается, не сдается!

Он еще живет войной,
Той великой и проклятой,
Как на память, вырыт мною
Малой шанцевой лопатой.

* * *

Дружбу не свяжешь клятвою—
Встречи сроднили нас...
Вновь я сегодня Латвию
Вижу в который раз.

Вновь над рассветной Ригею
Сизый туман и мгла,
Словно я в бездну прыгаю,
Выйдя из-за угла.

Вновь из тумана вышагиваю,
Лишь каблуки стучат...
Где-то над сонной Даугавою
Чайки кричат.

Словно опять предместьями,
Ночь не сомкнувши глаз,
Входим с тобою вместе мы
В этот рассветный час.

Если бывое — по сердцу,
Память о нем жива...
Вот потому и просятся
Сами собой слова.

Вот и прошу я: кланяйся
Славным своим краям —
Родине Яна Райниса,
Милым моим друзьям...

* * *

Иду под открытою синевой
Тропинкою полевой,
И жаворонок где-то над головой
Голос пробует свой.

Уже немало стукнуло мне,
И, уверяю вас,
Что песни жаворонка по весне
Я слышал тысячи раз.

Но каждая так светла и чиста,
Но столько трепета в ней,
Что выше кажется высота,
А синева — синей.

Она разливается, как бубенцы,
Над полем и над селом...
О, бедные книжники-мудрецы,
Сидящие за столом!

Мы слову можем честно
служить,
Над рукописями корпеть,
Но песню такую нам не сложить
И так ее не пропеть.

А этот поет, не щадя головы,
Трепещет все существо.
И рухнет на землю из синевы,
И трактор запашет его...

* * *

Когда-то (не помню уже когда!),
Особенно по весне,
Светла, красива и молода,
Все ночи ты снилась мне.

Так снилась, так снилась, что я и сам
Путал, где сон, где явь,
Когда за тобой бежал по лесам,
Летел и пускался вплавь.

Казалось, казалось, что догоню,
Казалось, что и во сне
Я прикоснусь к твоему огню,
Пускай и сгорю в огне.

И нынче, и нынче мне — вот беда! —
Приснилась ты, как тогда,
Все так же красива и молода,
Тебе нипочем года...

И я, как прежде, плыву, бегу,
Лечу за тобою вслед.
И лишь понимаю, что не смогу
Догнать тебя в смене лет.



Л. ЛИХОДЕЕВ

★

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ*

Роман

2

Лыковы жили на противоположном конце Четвертого квартала в одном из первых его домов. Дом был тяжелый, трехэтажный, толстостенный, сложенный из кирпича. Замышлялся он этажей на шесть-семь, с колоннами, арками и, возможно, даже со статуями на крыше. Но вдруг остановился, поспешно прикрывшись плоской крышей. Перед подъездами высились мощные квадратные цоколи, на которых вместо колонн стояли деревянные ящики для цветочной рассады.

Дубовые резные двери, обитые медью, способны были пропустить сквозь себя и всадника в манеж и автомобиль в гараж. В дверях была прорезана малая дверца, как калитка в воротах.

Широкая лестница красного гранита с коваными перилами поднималась неспешной спиралью вокруг пустого пролета, предназначенного под лифт.

Квартира Лыковых находилась во втором этаже. На просторную площадку, уложенную банной плиткой, выходили две немалых дубовых двери в алебастровых лепных рамах. На правой двери помещалась чистая латунная пластинка: «Д. Я. Лыков».

Нина Ивановна не обратила внимания на дощечку, Курдюмов же сказал добродушно:

— Профессор гинекологии...

Галина Сергеевна Лыкова, маленькая, как подросток, открыла немедленно, будто ждала за дверью. Рассмеялась, всплеснула руками. Платье на ней было похоже на дорогой мешок с дыркой для головы. Должно быть, эффект этого балахончика состоял в подчеркивании скрывании неправдоподобно тонкой талии Галины Сергеевны.

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! — торопливо захлопала она маленькими узкими ладошками. Длинные лимонные волосы ее с боковым пробором загибались под небольшим подбородком.

Глаза Галины Сергеевны, когда она спрашивала, были, как солнце на детском рисунке: в середине кружок, вокруг ресницы. Могла она держать это удивление довольно долго. Взгляд от этого получался каким-то приглашающим, а к чему — неизвестно.

В зале, устроенном из двух комнат, разделенных аркой и тяжелой занавесью, находился главный предмет сабантуя — коренастый стол, осевший от тяжести разнообразной пищи.

Пища красовалась хвастливо, даже нагло, белая, зеленая, красная, из разлапистых стеклянных блюдец, из деревянных корытцев, из глиняных мисок. Посреди стола, должно быть, как главная приме-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

чательность покоилась в длинном фаянсовом коробе тяжелая рыба, обжаренная до золотого хруста. Из вытянутой пасти торчал зеленый пучок. Стараясь не смотреть на стол,— будто его и не было — хозяева повлекли гостей в ближний угол, где на полированном столике тускло мельхиоровое ведро, из коего торчала фольговая шейка шампанского. Возле ведра в окружении хрустальных резных чарок и жбанчиков ждали разнокалиберные бутылки — и круглые, и пузатые, и закрученные винтом.

И как бы в противопоставление всем этим достижениям современного стеклодувного производства, на стене, на толстой со старинной резьбой по торцу полке стояли казаны, горшки и висел на двух черных цепях, на крюках, вделанных в полку, печной ухват.

— Для диаграммы,— спросил Курдюмов,— раньше и теперь?

Лыков дернул носом:

— Неохота рвать связь времен. Надо кому-то и тянуть ниточку...

Он поднял со столика дымчатую, зеленоватую, в пузырьках сулею, наполненную до половины буроватым зельем, взвесил в руке:

— Ей лет триста. Говорят, гетман Самойлович пил из нее. Потом — к князьям Лыковым попала.

— Фамильная, что ли?

— Да нет. Придумал. Тут на хуторах этого добра было...

— Вы, конечно, знаете Пиунова? — спросила Нина Ивановна.

Лыков задержал в руке посуду:

— Какого Пиунова?

— Вот это — да! Живете в одном городе с замечательным человеком и не знаете его!

Лыков поставил сулею:

— А кто это?

— Это наш ветеран. Еще когда начиналось строительство! Неужели не знаете? Он прошел пешком три тысячи километров!

— Зачем?

— Как — зачем? Он выступал перед молодежью, рассказывал о подвигах, дошел до Средней Азии! И сейчас руководит группой здоровья.

— До Средней Азии больше трех тысяч,— уточнил Лыков,— наверно, немного и проехал. Погодите! Тут есть старик один — морж — в проруби купается...

— Вот видите — знаете! Я была уверена, что знаете! Вам нужно встретиться. Я это устрою! Он тоже собирает старинные предметы.

— Теперь все собирают...

Нина Ивановна сказала назидательно:

— Все собирают предметы, не имеющие исторического значения (покосилась на сулею), а Пиунов исключительно серьезные, имеющие историческое значение.

Лыков посмотрел на свою полку:

— Чего ж он собирает?

— Ну что вы! У него есть такое специальное седло от первой советской тачанки!

— Зачем оно ему?

— Вы меня удивляете, Дмитрий Ярославич!

— Нина Ивановна, какая разница? Первое, второе... Седло оно и есть седло.

— Это смотря какое! Смотря кто в нем сидел (Нина Ивановна вспомнила, что сидеть в том седле нельзя, и даже почувствовала, что нельзя). У него еще сабля есть, белогвардейская, которую отбили красные. Он тщательно устанавливает, когда и кто отбил...

Лыков внимательно посмотрел на Нину Ивановну:

— Для голов, которые она снесла, это было все равно.

— Не понимаю вас.

— А жаль.

— Вы действительно странно рассуждаете.

— Нина Ивановна, — стал наливать в чарочки Лыков. — Давайте лучше выпьем за настоящее!

Галина Сергеевна все искала, как перебить неприятно заблудший разговор. Она беспокойно вертела головой и вдруг нашлась.

При стене расположился старый книжный шкаф. Стекло на дверях его крест-накрест оберегались модными копиями. Из-за копия, не корешком, а всей обложкою, смотрела полированная белая книга Владимира Свиридова.

— Дмитрий сказал, что вы знакомы со Свиридовым, правда? — неожиданно спросила Галина Сергеевна. Глаза ее сделались как детские солнца.

— Прорабами вместе были, — ответил Курдюмов, стараясь не смотреть в глаза.

— Это же — чудо! Расскажите!

Какое чудо — Володька Свиридов, Николай Павлович не мог себе представить. У Свиридова в книгах хорошие люди использовали бетон до конца, вычищая грабаркой корыто, нехорошие же — вольнили. С чего тут быть чуду, Николай Павлович не понимал. Но Галина Сергеевна и не ждала рассказа.

Она приобняла Нину Ивановну, что-то шепнула, и обе дамы вышли, оставив мужей при бутылках.

Лыков налил наконец рыжеватое питье в чарки:

— Николай Павлович, я рад, что нам вместе работать...

Курдюмов поднял чарку, посмотрел на свет:

— Что это?

— А черт его знает! Это ее дела. (Кивнул в сторону, куда жена ушла.) Сорок есть — и благо.

Курдюмов прихлебнул:

— Да нет... Больше, наверно.

— Свиридов пишет ничего, — сказал на это Лыков, листнув книжку. — Бывает даже — что надо... У него мышление заказчика, чем он мне нравится.

Курдюмов подумал, не понял:

— Мудрено.

— У него профессор один, старичок, говорит — кончайте заниматься справедливостью. Справедливость относится к сфере распределения, а чтоб распределить, нужно произвести! А производство не может быть справедливым! То ли в самом деле такой профессор есть, то ли придумал — а мне нравится... А вот смотрите — «Хозрасчетный договор семнадцатого века»: «Ежели мы от вышеписанных сроков в чем отойдем, или не станем делать добрым мастерством, или учнем бражничать, или пить, или за дурным ходить, или еще в чем убытку чинить противу уговора, то взять с нас, с оставшихся в живых, — двести рублей... Ежели случится какая поруха — то переделывать своим товаром за тою же рядою...» Изящный стиль, Николай Палыч, куда деваться, а?

И — залпом, не дожидаясь Курдюмова.

Курдюмов поднял чарку, посмотрел на свет, стал пить малыми глоточками. Он пил и думал, что не встречал у Свиридова такого умника — профессора. Должно быть, читал невнимательно. А это — насчет той же ряды — интересно. Неужели и тогда!

Появились дамы.

— Может быть, сегодня не будем говорить о производстве? — залучилась Галина Сергеевна. — Знаете, Нина Ивановна, это просто невыносимо! Мужчины не умеют отдыхать! Либо хоккей, либо производство!

И побежала в дальний угол включать телевизор.

За темным неживым экраном заворочались шорохи, хрипы, и вдруг красивый молодецкий голос загремел во всю силу: «Вы ответите за эти вагоны!»

В ответ кто-то невидимый, но грозный заревел еще зычнее — звякнули чарки: «Не пугайте! Это — партизанщина!»

Экран прояснился. Два озлившихся актера в фибровых касках сблизилась нос к носу ненавистно, как перед убийством.

— Интересно,— усмехнулся Курдюмов,— как ни воткну, обязательно крик. Как будто все глухие.

— Конфликт,— пояснила Нина Ивановна, стараясь услышать, что там кричат эти двое в касках.

— Какой же тут конфликт? Вагонов не дали — крик, бетон не привезли — крик,— вздохнул Курдюмов.— Каждое слово — лишнее.

— Николай, ты не прав,— возразила Нина Ивановна,— это максимальное приближение к жизни.

— В жизни люди помалкивают,— слабо махнул рукою Курдюмов.

— В искусстве всегда должен быть подтекст,— мягко пояснила Нина Ивановна.— В жизни люди иногда произносят нецензурные слова, а на сцене — нельзя. Вот они и повыпают голос..

— Тогда в этой картине ничего нету, кроме матюгов,— сказал Лыков, пошел к телевизору и надавил клавишу.

Изображение поплыло внутрь ящика, растаяв в глубине.

— Как ты грубо говоришь,— поморщилась Галина Сергеевна.— Здесь же женщины.. Мы с мужем расходимся в вопросах искусства!.. Недавно мы смотрели картину, где бригадир потребовал от начальника главка..

— Да глупости все это! — нетерпеливо сморщился Лыков.— Ну чего бригадир будет требовать от начальника главка? Соображаешь? Ну что он из него вытрясет? И что ему надо из него вытрясти? Требовали, не требовали.. Все это для показухи. Бригадир на начальника главка критику навел! Ты что, не знаешь, как это делается?.. Ну чего моему Кисленке надо от Овчинникова? Кисленке один хрен, кто там наверху сидит — Овчинников или не Овчинников. И у Овчинникова этих Кисленков — три тысячи! Что они один про другого знают?

— А Лыковых? — загадочно посмотрела на мужа Галина Сергеевна.

— И Лыковых — штук сто! Подумаешь! Лыков, не Лыков — какая разница!

— Кому? — не отставала Галина Сергеевна.

— Как — кому? Да тому же Овчинникову!

— А мне?

— Да кончай ты! При чем здесь ты?

Галина Сергеевна широко прояснилась глазами:

— Ну как же? Ты же — один! И для Овчинникова, и для меня, и для всех — ты один и тот же!

— Как это — один и тот же? Что же я — сплю с Овчинниковым? Детей от него имею, что ли?

— А где ваши дети? — примирительно спросила Нина Ивановна.

— У нас сын,— дернул очками Лыков,— отличник боевой и политической подготовки. Свидания разрешены. Вот Галина собирается.

— Как?! — удивилась Нина Ивановна.— Он — в армии?

— А где же ему быть в девятнадцать лет?

— Конечно! — исправила удивление Нина Ивановна.— Он вернется самостоятельным человеком! Наши дети — чего греха таить — очень не самостоятельны. Он что, не попал в институт?

— Он не хотел в институт! — жестко сказал Лыков.

— Это ты не хотел,— залучилась Галина Сергеевна.

— Ну ладно... Это наш вопрос.

— К столу, к столу, к столу! — весело, как ни в чем не бывало, позвала Галина Сергеевна.

Не зная, как реагировать на такое демонстративное изобилие, Курдюмов сел молча, но Нина Ивановна отметила героизм хозяйки:

— Это вы — все сами?! Когда же вы успеваете?

— Я очень люблю готовить.

— И что это за рыба? — спросил все-таки Курдюмов.

— Карпиус браконьерикус! — провозгласил Лыков. — Новая какая-то... Раньше ее и не было здесь.

— Солидная, — улыбнулся Курдюмов, — прямо жаль разрушать.

Рыбину разрушили. Некоторое время жевали молча — уж больно была вкусна. Галина Сергеевна чувствовала, когда надо вклиниться разговором, чтобы не затягивать тишину.

— А вы всегда работали в библиотеке? — спросила она Нину Ивановну.

— Всегда. Я окончила библиотечный. И с тех пор... Приходилось создавать библиотеки на местах. Я очень люблю свою работу.

— Да, — согласилась Галина Сергеевна, — для женщины такая работа более подходящая, чем конструкторское бюро. У меня от этих чертежей уже в глазах рябит.

— Теперь ведь больше собирают книги, чем читают, — как бы невзначай заметила Нина Ивановна. — Полные собрания, корешки...

Галина Сергеевна присмотрелась: не в ее ли шкаф камешек? Спросила:

— А у вас разве нет личной библиотеки?

— Все никак не соберем, — примирительно сказал Курдюмов, заметив про себя, что глаза хозяйки похожи на две голубенькие сигнальные лампочки, снабженные реостатом.

— Почему же? — залучилась Галина Сергеевна. — У вас такие возможности, выход в коллекторы. Вы знаете, для меня книга — я даже не могу подыскать слово... Как-то Дмитрий говорит — давай отдадим вторые экземпляры. Не могу! Для меня продать книгу — все равно что живого человека!

— Ну, не отдали же, — сказал Лыков, и Курдюмов почувствовал в его тоне суетливую предупредительность разлюбившего мужчины.

Реостат прибавил напряжения в глаза Галины Сергеевны:

— Расскажите, пожалуйста, как вы работали!

— По-разному, — приятно смутилась Нина Ивановна. — Организовывали пункты, красные уголки. Мало ли... На Севгазе у нас было шефство над поселком. Зима, пурга... Ездила, добиралась.

— Я всегда мечтала о такой жизни! — сказала Галина Сергеевна. — Необычной, с опасностями! В детстве я всегда играла с мальчишками!

Нина Ивановна вспомнила свист пурги, гортанные голоса и поселок, финский домик, в котором ее отогревали и мазали щеку вонючей ворванью. Она застенчиво улыбнулась.

Галина Сергеевна сделала вид, будто смотрит на Курдюмову, как ребенок. Взгляд этот был приятен Нине Ивановне, он смущал ее и торопил сказать что-нибудь такое, что вывело бы ее из центра внимания. Она полагала, что если начнет рассказывать о себе — это будет нескромно.

— Как же вы добирались? — спросила Галина Сергеевна. — На оленях?

— Нет, на оленях почему-то не приходилось... На вездеходе...

— Он же — железный! Холодно, наверно, было?! Бррр... В чем же вы ехали? В малице?

— Да нет. В меховых штанах. В унтах. Куртка была меховая...

— А я просто мечтаю о малице! Это так необычно!

— А где ты ее здесь будешь носить? — мрачно спросил Лыков.

— Но бывают же и у нас морозы! Вы знаете, какие вьюги бывают в этой степи? Пробирает до костей! Нина Ивановна, дорогая моя! Я на вас смотрю, как на героиню! Смотри, Дмитрий! Ничем не примечательная женщина и — героиня!

— Ну что вы, Галина Сергеевна, какая же я героиня? Делала свое дело, и — все.

— Почему это — не примечательная? — возразил Лыков. — Самая примечательная! И мы сейчас выпьем персонально за Нину Ивановну!

— Все начиналось с нуля, — улыбнулась Нина Ивановна, находясь во власти воспоминаний. — Здесь мы когда-то построили кафе. Назвали «Бригантина». Вы знаете, наверное...

— Где же это? — Лыков поставил чарочку.

— Дмитрий Ярославич! — удивилась Нина Ивановна. — Вы давно здесь работаете?

— Четыре года. А где это кафе?

— Ну как же! Над обрывом! Перед Индостаном!

— А! Да-да-да... Там бытовка была, потом — буфет! Это вы строили?

Нина Ивановна попросила взглядом поддержки у мужа, но Курдюмов не вникал в разговор.

— Там зародилась традиция! — тряхнула головою Нина Ивановна. — Мы проводили Пятницы. Говорили об искусстве, о жизни... Было очень интересно. И потом всюду возили с собою эту традицию.

Галина Сергеевна всплеснула руками:

— Сегодня как раз — пятница!

Курдюмов поднял голову и убедился, что реостат сработал.

— Я читал где-то про такие вечера, — сказал Лыков. — «Бригантина»... Песня была такая, по-моему.

— Песня у нас была своя! И сочинил ее, между прочим, Владимир Свиридов. Он тогда был прорабом.

— Значит, моржа этого вы знаете с тех времен? — спросил Лыков.

Галина Сергеевна покосилась на Лыкова (за моржа), посмотрела на Курдюмова и вдруг — как узнала:

— Николай Павлович, извините, конечно... Мне кажется, ваше лицо мелькнуло в картине Анисимова «Ураган».

Теперь Курдюмов понял, почему она на него щурилась, будто пытаеться узнать.

Нина Ивановна порозовела:

— Вам понравилась картина?

— Это замечательная картина, — воскликнула Галина Сергеевна, — мы с мужем смотрели ее два раза!

— Ты — два, — мрачно поправил Лыков, — я — один.

— Неужели? — засияла Галина Сергеевна. — Потрясающий факт: где бы я ни была, мне всегда кажется, что я была с мужем! Я не могу представить себя одну... Дмитрий! Неужели я была когда-нибудь в кино без тебя?

— Это — твой вопрос, — сказал Лыков.

Галина Сергеевна рассмеялась.

Нина Ивановна переглянулась с Курдюмовым и спросила:

— А вам понравился тот кадр, когда упал кран?

Галина Сергеевна напряглась памятью:

— Сlišком натуралистично! Это гениальный Анисимов с его штучками, с его эффектами! Анисимову все можно! Ему хочется, чтоб авария была, как настоящая...

— А она и была настоящая, — сказал Курдюмов.

— Это у нас снимали, — тряхнула головою Нина Ивановна.

— Как? — всплеснула ладошками Галина Сергеевна. — Значит, это не инсценировка?

— Нет!

— Я же тебе говорил, — двинул носом очки Лыков.

— К сожалению, было такое чепе, — подтвердила Нина Ивановна, — это был ужас. Помнишь, Николай?

— Помню.

— Не понимаю, — распахнула глаза Галина Сергеевна, — значит, там был Анисимов?

— Нет. Это снимал Граб,— сказала Нина Ивановна,— он там оказался случайно. Он был тогда у нас. Замечательный оператор!

Нина Ивановна говорила искренне. В памяти ее возникло щепящееся лицо Граба, и она даже жалела его сейчас, видя в памяти, как его бьют на крыше бытовки.

— Потрясающе! — всплеснула ладошками Галина Сергеевна.— А люди? Люди погибли?

— Крановщица, к сожалению,— вздохнула Нина Ивановна и, стряхнув мимолетную печаль, добавила весело:— А с нею в будке была журналистка Погодина. Она жива! Вот действительно интересная женщина! Где она только не была, куда только не лазила! Вы знаете, когда в книгах читаешь про людей— обязательно хочется представить себе тех, кого знаешь... Она же тогда сломала ногу, когда кран падал!

— А чего она туда полезла?— спросил Лыков.— Кто ее пустил?

— Полезла! — воскликнула Нина Ивановна.— Отчаянная журналистка!

— А техника безопасности?— проворчал Лыков.— Она бы у меня полезла...

Нина Ивановна улыбнулась снисходительно:

— Вы очень строгий руководитель, Дмитрий Ярославич... Техника техникой, но есть же еще и сердце, правда? Прекрасные порывы души!..

— Ну это — в стихах,— отмахнулся Лыков,— а на производстве душевные порывы дорого стоят... Они не планируются...

— Вы думаете, не планируются? — вдруг спросил Курдюмов.

— Покажите! — бодро отозвался Лыков.— Покажите мне то место в плане, где занаряжены прекрасные душевные порывы!

— Везде,— мягко улыбнулся Курдюмов и листнул Свиридова.

Там было написано:

Сколько я себя помню — освоенные капиталовложения отличались от капиталовложений неосвоенных, как душевный покой от тяжелой тревоги. Освоенный миллион отличался от миллиона неосвоенного, как рай отличается от преисподней.

Миллионы лежали в желтых потрепанных папках, миллионы плавали в плотном спрессованном воздухе, бесконечные миллионы, которые надо было брать и осваивать.

— Где ваши заявки? Вам все время приходится напоминать, что пока не выстроен главный объект, денег жалеть не будут. Чего вы ждете? Вбивайте сваи, ставьте скелеты — они обрастут. Вы — плохие хозяева... Брать, брать, брать, пока дают! Еще никого не убивали, если он просил больше, чем нужно, но того, кто не успевал освоить, съедали с кашей!..— Человек, который произносил эти слова, всегда был молод, ему всегда было немногим больше сорока, и за множество лет странствий я отвык удивляться, встречая его не постаревшим и не помолодевшим.

Миллионов всегда было много. Они влетали в разговоры, как вводные слова, которых не жаль. Они употреблялись, как междометия и присказки. Миллионами бранились по телефону, миллионами отрубивались по телеграфу, миллионами веселились, огорчались, ими клялись и от них отрецивались.

— Везде,— мягко улыбнулся Курдюмов, откладывая книгу,— к сожалению. Или — к счастью...

— Не понял! — изумился Лыков.— Это вы говорите? Курдюмов?

— Я.

— Скажите,— вдруг перебила Галина Сергеевна,— а эта Варвара Никитична давно работает с Николаем Павловичем?

— Давно! Еще с вельяминовских времен! (Посмотрела на мужа.)

Мы делим свою жизнь на два периода — вельяминовский и курдюмовский. Правда, Николай?

— Я не делу, — добродушно улыбнулся Курдюмов, — ты делишь и дели на здоровье...

— Скромность Николая Павловича всем известна, — улыбнулась Галина Сергеевна, немного сузив глаза.

«Реостат перегрелся», — подумал Курдюмов и сказал, поднимаясь:

— Скромности у меня нет.

Глава четвертая

1

Погодина появилась вдруг — как с неба свалилась.

Николай Павлович проснулся в синеватом рассвете. От дверного звонка. Нина Ивановна вскочила, торопясь, не попадала в шлепанцы.

«Надо поменять звонок, — подумал Курдюмов, — резкий очень». Звонок был типовой.

Нина Ивановна щелкала замком — предохранитель заедал. Курдюмов вдруг решил, что приехал Алешка, поднялся, спустил ноги на коврик, но тотчас лег: не Алешка. Радостный женский шепот насторожил его. Кто же это, ночью?

В прихожей не только шептались. Там, должно быть, обнимались, танцевали, целовались, кружились от счастья.

— Задушишь, сумасшедшая!

— Ни-но-чка! Ни-но-чка!

«Погодина, — вздохнул Николай Павлович и закрыл глаза, — Люд-ка Погодина нашлась. Значит, Нина вызвала ее не спросясь. И что с ней делать? Куда ее девать?»

— Спит? — услышал Николай Павлович и подумал, как быть — вставать, притворяться?

— Я тебе постелю у него в кабинете.

«Новости», — подумал Курдюмов. В кабинете лежали бумаги, которые он, обыкновенно, просматривал перед уходом в управление.

— Я не устала! Ехала замечательно!

«Ну и хорошо, — подумал Курдюмов, — на чем же она заявила ночью?»

Николай Павлович не умел притворяться. Встал, спросил для порядка:

— Нина! Кто там?

— Людочка! — громко отозвалась Нина Ивановна и распахнула дверь. Электричество из большой комнаты освещало ее сзади, про-никало свозь ночную сорочку, золотилось на неприбранной голове, на рассыпанных волосах.

За женою смело улыбалась Погодина — Курдюмов узнал ее сразу, будто не было никаких десяти лет.

— Николай Павлович! — закричала Погодина и, отстранив Нину Ивановну, бросилась к нему обниматься. Она была в ватнике, штаны заправлены в сапоги. — Николай Павлович! Дорогой!

Курдюмов стоял в пижаме, покорно принимая объятия:

— С приездом... Значит, приехали? Хорошо. Нина... Ты бы халат мне...

— Ой, — закричала Погодина, — извините! Но все равно вы мне — как родной!

«Родной-то родной, — подумал Курдюмов, — а куда ее девать?» Николай Павлович ценил порядок, специальными вызовами никого не баловал, считал, что за вызовом должны быть и работа и жилье. Ни того, ни другого для Погодиной у него пока не было.

Преувеличенное счастье двух обрадовавшихся друг другу женщин смущало Курдюмова, голоса звенели одновременно изо всех комнат.

Николай Павлович сидел на постели, смотрел в окно, за которым светлело небо, проясняя циферблат пузатого будильника. Будильник стоял колченого, наклонясь и показывая пять часов тридцать шесть минут. Нет — тридцать семь. Спать не хотелось и бодрствовать не хотелось. Нелепое состояние ни того ни сего сковывало Курдюмова, утомляло.

— А жить пока будешь у нас! Новости! Почему — неудобно? Смотри, какая квартира! У нас никогда такой не было!

«Так, — подумал Николай Павлович. — Где ж она будет жить? В кабинете? (Вспомнил бумаги и почему-то Варвару.) Нет — в столовой. Неудобно ей будет в столовой... Может быть, здесь, в спальне? А Алешка? А работать где будет?»

Сегодня (нет, уже вчера) утром Лыков как вдаль глядел:

— Николай Павлович, у Комбината нет гостиницы.

— Построим.

— Но она нужна сегодня.

— Зачем? У нас не туристский комплекс.

— Туристский, — вздохнул Лыков.

И был прав.

Придется выбивать из сельтыбы башню. Тридцать шесть квартир. Будет комбинатская гостиница. Дать жилье без очереди Курдюмов не мог прежде всего потому, что не хотел. Первое, что он велел сделать — повесить списки очередников на самом видном месте. Жилье должно распределяться гласно, справедливо. Как сказал тот профессор? Справедливость — сфера распределения, а не производства... Товарищ Качанов строит объекты, а товарищ Курдюмов превращает их в жилища. Объект — это еще не сельтыба, говорит товарищ Лыков. Чтобы дом стал домом, надо его официально объявить таковым. А если объявить дом гостиницей? Приютом для пилигримов, странноприимным очагом. Народ у нас дисциплинированный, усечет что к чему. Ах, слова-слова! Неужели не все равно, как называется жилище — квартира или номер? Оказывается, не все равно! Потому что в сфере распределения употребляется несравненно больше благородных, заораживающих слов, чем в сфере производства. Где он взял такого умного профессора?

Мадам Баттерфляй летала по курдюмовским комнатам, устраивалась. Нине Ивановне не пришлось ее долго уговаривать.

«Хоть бы спросили, — подумал Николай Павлович и застеснялся, — да ну их... Еще скажут — жадный... Какой же объект прятать от справедливости?»

2

Нина Ивановна устраивала комбинатскую библиотеку громко-гласно.

«Дорогой Владимир Егорович, — писала она Володе Свиридову. — Вы знаете, какое место в жизни советского человека занимает книга. Вы сами были строителем и, безусловно, остались им в душе...»

Свиридову предназначалась роль главного шефа комбинатской библиотеки. Нина Ивановна предлагала ему взять на себя почетную обязанность организатора книжного фонда. «Пусть каждый из Ваших коллег, дорогой Владимир Егорович, пришлет нам свою новую книгу. Что может быть для писателя выше той чести, которую оказывает ему читатель, да еще такой необычный читатель, как строитель и эксплуатационник Комбината? Посылая книги, пусть авторы пишут свои автографы с пожеланиями успехов в героическом труде. Это, безусловно, мобилизует наших людей на новые трудовые подвиги».

Стеллажи с подаренными книгами представляли собою особенную гордость Нины Ивановны. Стеллажи эти стояли и на Севгазе, и на Терпуге, и на Нефтехиме, и на Тургае... Конечно, основной поток книг шел из коллекторов по заказам. Там были и собрания со-

чинений, и классика, и зарубежные авторы. Но дарственные надписи утепляли книгу, они как бы свидетельствовали о непосредственном контакте писателя с читателем, а что может быть дороже такого контакта?

Нина Ивановна писала Володе официально, на комбинатском бланке и с подписью Николая. Она была уверена, что ничто не может так уважить человека, как обращенная лично к нему государственная бумага.

Курдюмов, подписывая, усмехнулся:

— Хоть бы привет передала.

— Неудобно,— сказала Нина Ивановна,— я ему отдельно напишу... Николай, как же с помещением?

— К Лыкову. Он — книголюб.

К Лыкову было два дела — помещение для библиотеки и, конечно, «Бригантина».

Лыков занимался в крайней комнате управления.

Надо было пройти по длинному узкому коридору, выложенному стертým линолеумом. Коридор был похож на вагонный: справа окна, слева, как купе, кабинеты. Как будто помещение на миг остановилось перед тем, как катиться дальше. На дверях небольшие таблички чертежными буквами по ватману обозначали отделы.

В сизом коридорном дыме толклись люди. В металлических пепельницах на высоких алюминиевых ножках мокли рыжие окурки.

Нину Ивановну, должно быть, уже знали в лицо, расступались в тесноте почтительно. Кто-то даже открыл дверь с надписью: «Секретарь». Думал — к мужу. Нина Ивановна увидела Варвару, лихо барабанящую по клавишам машинки, и пошла дальше, в конец, где возле лыковской двери теснилось человек десять — в плащах, в робах, иные в красных фибровых касках. Курили, переговаривались.

— Мне — к Дмитрию Ярославичу,— сказала Нина Ивановна.

— Представьте, нам тоже,— ответил за всех приземистый человек в каске, из-под которой торчали пышные коричневые бакенбарды.

— Но мне ненадолго...

— Какое совпадение!

— Ладно тебе,— негромко сказал кто-то.— Проходите, Нина Ивановна! — И толкнул дверь.

В маленьком кабинетике не видать было хозяина. Нина Ивановна увидела спины, столпившиеся над столом.

— Ну, все? — услышала она голос Лыкова.

— А третий объект?

— Третьим объектом сам займусь! Кто там еще?

Спины расступились. Лыков увидел Нину Ивановну, встал — длинный до потолка:

— А, Нина Ивановна, прошу вас...

Лыков был недоволен, она это поняла.

Несколько женщин с папками, мужчины в пиджаках (один — в макинтоше) посмотрели на Нину Ивановну как на неизбежную помеху, без зла, без досады, пошли к двери.

«В конце концов, я — по делу», — успокоила себя Нина Ивановна.

— Садитесь! — сказал Лыков.— Чем обязан?

— Библиотека... Николай Павлович говорил вам?

— А мне ничего говорить не надо. Пока могу — две квартиры на одной площадке. Там стенки гипсолитовые. Уберем — будет читальный зал.

Нина Ивановна вспомнила лыковскую квартиру:

— И занавес повесим?

— Зачем? А впрочем — вешайте... Ничего другого нет, Нина Ивановна. Видите, какое у нас управление? Селитьбу гоним... жилье. Жить людям надо. Кстати, вы эту комнату не узнаете?

Нина Ивановна осмотрелась — типовое квадратное окно, немалый чугунный сейф возле окна, стены обиты светлой планкой.

— Ну как же, Нина Ивановна! — оживился Лыков. — Вы же здесь жили! Мне Николай Павлович сказал.

— Неужели здесь? — удивилась Нина Ивановна.

— Здесь! — рассмеялся Лыков. — Видите, как все меняется?

Нина Ивановна не узнавала помещения. Она даже и не старалась узнать. Лыков насторожил ее каким-то неделовым, поверхностным отношением к ее делу. «Технарь, — подумала она, — гипсолитовая стенка... Как будто речь идет не о библиотеке, а о каком-нибудь бездуховном помещении».

— Что еще? — подбодрил Лыков, отметив про себя, что воспоминания никак не тревожат Нину Ивановну.

— Еще? Еще я бы хотела отремонтировать «Бригантину»...

— Ах! Этот буфет? Но его прежде надо отобрать у торго и отдать нашему орсу.

— Так заберите.

— Слушаюсь, — улыбнулся Лыков. Улыбка его была дружеской, отнюдь не язвительной. Нина Ивановна тоже улыбнулась.

— Дмитрий Ярославич, но это же очень серьезно!

— Не сомневаюсь! Отберем, отладим, запустим, как сказал бы Юлий Цезарь.

— Почему это вас так веселит? Есть же опыт, Дмитрий Ярославич. Клубы по интересам, непринужденные встречи — об этом много говорят, пишут...

— Нина Ивановна! Организуем непринужденные встречи, не тревожьтесь. Я — за!

— И еще одна просьба, лично от меня...

Лыков не удивился пустячной просьбе Нины Ивановны. Спросил только:

— Больше ему ничего не надо?

— Нет, конечно, Дмитрий Ярославич. Он очень скромный.

— Нина Ивановна, — сказал Лыков, — скромность это тоже профессия. И довольно доходная.

— Я не поняла вас, — насторожилась Нина Ивановна.

— Тут понимать нечего, — сказал Лыков, — платить он не будет. Да я и не знаю, как провести эту мелочь. У меня и статьи такой нет. Значит, отхватит бесплатный ремонт под видом чего-нибудь такого (пошевелил в воздухе пятерней). Ну, скажем, «Бригантину» вашу отладим по соответствующей статье и Пиунову — заодно.

Разговор этот не понравился Нине Ивановне. Учтивость и любезность Лыкова едва появилась, но тут же растворилась в разговоре, как сахар в кипятке. Лыков посмотрел на нее, спохватился запоздало:

— Хорошо, Нина Ивановна, черт с ним, с Пиуновым.

Но Нина Ивановна если за что-нибудь бралась, то непременно с принципиальных позиций.

— Странно, — сказала она, — товарищ Пиунов — активный пенсионер. О нем не раз писали в печати. И если хотите знать, Дмитрий Ярославич, я сама подсказала ему эту мысль!

Нина Ивановна искренне верила в то, что сама подсказала Пиунову насчет музея.

Лыков устал от разговора. Он нетерпеливо барабанил по желтой папке, в которой лежали шестьдесят два миллиона освоенных Качановым средств, и освоение это было липовым по меньшей мере процентов на сорок.

— Неужели вы не понимаете, Дмитрий Ярославич? Вы же сами говорили о связи времен... Может быть, его музей-квартиру будут посещать иностранцы!

— Нина Ивановна, мы возьмем в пустяке.

— Я не считаю это пустяком,— возразила Нина Ивановна,— так можно посчитать пустяком и «Бригантину».

«Можно»,— хотел сказать Лыков, но воздержался, чувствуя, что не может отвязаться от дурацкого разговора. Надо бы кончать, однако Лыков против воли тянул разговор, будто облегчаясь от чего-то такого, что саднило его:

— Для нас иностранцы вроде ревизоров. Будто мы постоянно таим от них что-то. Стыдно все это и надоело. Вагончики они ревизовать не будут?

«Ну на черта я тяну это все?» — удивился самому себе Лыков.

— Какие вагончики? — спросила Нина Ивановна.

— В которых у меня проживает двадцать восемь процентов рабочих.

— Я сама жила в вагончиках! — подняла голову Нина Ивановна.— И в палатках жила! И горжусь этим!

— Нина Ивановна,— дружелюбно улыбнулся Лыков,— передо мною этим гордиться не надо. Жизнь — это не вериги. Сделаем мы вашему моржу клозет!

3

Из письма Свиридова к Варваре.

Варя! Вот что я вычитал в старой книге: Речь Нагворного Советника Туманского, говоренная в Собрании Вольного Экономического Общества Декабря 10-го дня 1793 года: «Благоразумно бы, кажется, сделал тот, который бы назначил каждый год давать некоторые малые награждения и поставить некоторые знаки отличия для селян, преимуществующих трудолюбием и благоуспешностью в полевом и домоводственном хозяйстве. Известно, колико награждения, коль бы малы они ни были, производят соревнования. А сим способом один другого превзойти стараясь, одним бы к цели шествовали путем соревнованием и усердием...»

Варя, мы с тобою оба успешествуем в домоводстве, а толку чуть...

Пиунов ехал как-то странно, будто раздумывал — ехать или не ехать. Он притормаживал, едва не останавливался посреди дороги, тихо подкатывался к бордюру тротуара, потом вздумал было развернуться, но не развернулся, снова приткнул колесо к тротуару и вышел из автомобиля. Он стоял растерянный, какой-то неточный, никак не похожий на самого себя.

Всякий, кто знал Пиунова, удивился бы, встретив его. Но утренняя улица была пуста. В сростшихся акациях дули в пустые флаконы гулицы, почирикивали ранние воробьи. Кое-где среди черных акаций бульвара вспыхивали, как малые газовые горелки, первые гроздьи сирени, белели розоватым дымком задичавшие жерделы, клейкие листочки едва разворачивались на ветках под цветами. Из-за заборов вдоль бульвара тянулись мохнатые, готовые сиреневые охапки, густо дымились яблони, как будто весна появилась здесь сперва за забором, а потом уж, от избытка, перелезла на бульвар, оживляя его, наливая живым цветом пробуждения.

Синий хлебный фургон протарахтел мимо Пиунова. Пиунов смотрел на свой автомобиль странно, наклоня седую голову то к левому плечу, то к правому, то отходил от машины, пятясь спиною, то поворачивался боком, и все время тяжело вздыхал, будто болело сердце.

— Степан Федорович! — вдруг услышал он, замер и медленно повернулся.

Мантулина вывела гулять свою породистую боксершу Геру. Мантулина была равнодушна к старику Пиунову, это он знал.

— Доброе утречко, Степан Федорович,— застеснялась Мантулина,— а мы вот вышли с Герочкой, смотрим — вы едете...

— Еду,— подтвердил Пиунов.

— Далеко?

«Как же быть с этой страхолюдной Герочкой,— подумал Пиунов,— если, например, посвататься к Мантулиной?»

— Да вот клапан забарахлил,— сказал он,— проверить хочу в ходу... А она у вас никак ценная?

Мантулина покраснела, вопрос показался ей неприличным, любовно посмотрела на собаку, на складчатую черную курносую ее морду с коричневыми неглупыми глазами, сказала с некоторой гордостью:

— Рано нам еще, Степан Федорович... Еще так побегаем.

— Ну-ну, бегайте, да недалеко,— пошутил Пиунов, вздохнул, как перед ледяной прорубью, и шагнул садиться в машину.

«Жигуль» ехал медленно, прижимался к обочине. Сорвавшись с места, пролетал метров сто, резко тормозил, без причины снова катился к обочине в каком-то странном раздумье.

Возможно, Пиунов слушал свои клапана на ходу, но похоже было, что старик не знал, куда ехать.

Тяжелый домовоз с двумя застекленными панелями прорычал мимо Пиунова, обгоняя. Пиуновский «Жигуль» поотстал немного и вдруг как спохватился, погнался вслед.

Обгонять домовоз Пиунов не стал. Он катился почти впритык, не отставая ни на шаг, как привязанный. Бульварчик кончился. Домовоз, шипя и отдуваясь, стал притормаживать, поворачивая направо. Он поворачивал неуклюже, загромождая дорогу. Вместо того чтобы притормозить, Пиунов надал газу и — вмазался правым передним крылом в нижнюю ферму домовоза! «Жигуль» замер, качнувшись.

Домовоз повернул, не почувствовав толчка.

Пиунов проворно выскочил из машины, посмотрел след удара, потрогал рукою и крикнул вслед домовозу:

— Стой! Стой, нарушитель!

Но сокрушенно махнул рукою.

Происшествие оживило бульвар. Пиуновский «Жигуль» стоял поперек дороги, как виноватый. Накатывающиеся сзади шофера тормозили, кричали из кабин, чтоб убрал машину, но кричали без зла, для порядка. Вылезали, сочувственно осматривали след аварии.

— Ничего, папаша! Тут — молоточком, и вся недолга! Как новая будет...

— Куда молотком? Оно все гнилое. Его выкидывать надо!

— Ну новое поставишь. Это ж как повезло: прямо в плохое стукнул.

— Нехай убирает.

— Ку-да убирает? След надо промерить.

— Какой след? Сюда ГАИ до вечера не приедет!

Публика собиралась охотно, озабоченно.

— Степан Федорович, как же это вы?

— Степан Федорович, сами-то вы как?

— Да ну — я что... Живой, здоровый.

— А мы вышли с Герочкой, а он как-то ну не хочет ехать... Как предчувствовал. Степан Федорович, да шут с ней, с машиной!

Мантулина смотрела на Пиунова с состраданием.

Пиунов принимал соболезнования, особенно тронуло его сострадание Мантулиной.

— Надо же, какая сволочь! — сказал он. — И не остановился! А если бы убил?

— Да они пьяные с утра! Еще спасибо — не задавил!

— Одно слово — новостроевская шоферня! Бандюга на бандюге! Запретить здесь надо грузовым! Хватит! Вот у них дорога **вокруг** поселка!

— А он, может, у тещи ночевал!

И смех, конечно.

— Ну где это чертово ГАИ?

И как по заказу затрещал желто-синий мотоциклет. За рулем сидел строгий небольшой инспектор с усиками.

Публика расступилась.

Инспектор слез, нахмурился, потрогал мятое крыло.

— А где молдинг? — спросил инспектор, осматривая асфальт.

— Где, — пробурчал Пиунов, — а черт его знает, где... Зацепил и оторвал... Ищи теперь.

— Застрахованная? — спросил инспектор.

— А что толку... Возись теперь...

— Да-а-а, — похвалил инспектор, — мастерски вы ее... Ничего не скажешь.

— Что — мастерски? — нахмурился Пиунов, чувствуя законное удовлетворение от похвалы. — Вы давайте делом занимайтесь, а не подозрения кидайте. Мастерски...

— Я ж и говорю — никаких подозрений. Не подкопаешься!

— Копать тут нечего, — нахмурился Пиунов, — давайте оформлять...

— Это можно! — охотно отозвался инспектор.

Пиунов докатился до дому, стараясь ехать медленно, как бы показывая всему Индостану, какие могут быть несчастья вследствие безответственности отдельных водителей.

Увидев издали свой дом, он насторожился, потому что возле дома стоял небольшой комбинатский (Степан Федорович определил по номеру) грузовичок и ходили какие-то работяги.

Приятное предчувствие (неужели Нина сдержала слово?) подбодрило старика Пиунова. Он остановился за грузовичком, понимая, что прежде всего пойдут разговоры про помятое крыло.

Рыжий парень с выщербленным зубом, с шалавыми беззаботными глазами сразу полез на разговор:

— Какой это гад вас, папаша?

— С чем прибыли? — хмуро спросил Пиунов.

— Из УКСа! А кто это вас?

Подошел молоденький невысокий бородач, волосы до плеч. Степан Федорович не любил этих бородатеньких — хоть убей. Держась обеими руками за растянутую дерюжную кацавейку, бородач спросил высокомерно:

— Вы — Пиунов?

— Ну...

— Надо осмотреть помещение. Оборудовать будем.

— Оборудовать, — проворчал Степан Федорович, — теперь затянется на все лето.

Не снимая рук с отворотов кацавейки, парень вытащил зубами из бокового карманчика сигарету. «Ленивый», — подумал Степан Федорович и скорбно попросил:

— Ребята, откатите грузовик... Я в гараж закачу...

— Кто вас так, папаша? — не унимался рыжий.

— Кто... кто... Ищи теперь — кто.

Прохладный чистый гараж старика Пиунова был устлан красной плиткой с бордюриком вокруг смотровой ямы, а сама яма темновато белела чистым кафелем.

— Сам-то поставишь, папаша? Не сверзишься? — лез на разговор рыжий, вкативший свой грузовичок во двор вслед за хозяином.

Степан Федорович не желал, чтоб они лазили в гараж, ну их к черту. Потому что на верстаке красовалось торчком новенькое крыло, и как раз правое переднее. Узенький молдинг, заглаговременно снятый утром перед аварией, лежал на верстаке, сверкая хромиров-

кой. Вообще-то молдинги практически не ржавеют, их можно переставлять на новые крылья. Главное — не память. Потому что выправить нельзя, а достать трудно. Да и госстрах, кажется, не оплачивает молдинги...

4

Желто-синий милицейский мотоцикл с зацепленным на ручке красным шлемом стоял возле самого входа в аэровокзальчик. Бетонная площадь пустовала.

Пассажиры — двенадцать человек — стояли на краю тротуара, переговаривались, смотрели в степь на дорогу, переваливающуюся через подъем.

— Автобус вышел, — объявила басом дежурная, большая, как стог сена.

Граб поставил на тротуар свой багаж. Новая камера торчала кожаным прикладом из недотянутой змейки мягкого чемодана.

Пассажиры галдели, нетерпеливо шагали по узкому тротуару вдоль пустой площади, бодрились в ожидании. Толстый парень занимал — кого зацепит — анекдотами. Пассажиры слушали невнимательно и смеялись поспешно, чтобы скорее отсмеяться. И глядели на бугор, с которого сползала дорога.

— Семен Семеныч, — услышал Граб и почувствовал, что голос знаком, жарким теплом наполнилась голова от этого голоса. Граб обернулся. Звала женщина. Она была в синей на змейке курточке и в старых потертых джинсах. Куртка сверкала на утреннем солнце. Но еще не рассмотрев лица, Граб вздрогнул, узнав. Это была мадам Баттерфляй.

Значит, она жива! И не только жива — она стоит перед ним. Он смирился с этим диким бредом — причастностью своей, даже как бы причиной ее гибели. Но она — жива!

— Люда, — кинулся он к ней. — Людмила Васильевна!

Она тоже бросилась к нему, размахнув руки — шире нельзя, засмеялась, обхватила его, сильно и бесцеремонно. Обхватила, сжала, оттолкнула, заливаясь смехом:

— Семен Семеныч! Покажитесь!

И отступила на шаг рассматривать.

За десять лет мадам Баттерфляй как будто не изменилась, но то, что с нею все-таки произошло, вдруг изумило Граба — как хорошо, оказывается, он знал ее лицо! Родинка на щеке оказалась чуть-чуть больше, чем была, губы сузились, и скорбные складочки робко пробирались от уголков губ на подбородок, такой же небольшой, круглый, как был, только слегка потемневший, как, впрочем, и все лицо. Должно быть, лицо потемнело оттого, что волосы были теперь светло-медными, подстриженными.

Она смотрела на Граба коричневыми, послушными, совершенно не изменившимися глазами. Граб увидел на левом, возле самого зрачка, крапинку и обрадовался (как хорошо, оказывается, он ее помнит):

— Людмила Васильевна, вы ничуть не изменились!

— Неправда, — без смеха сказала Погодина. — Так не бывает. Все меняются!.. Где ваши шмутки? Поехали!

— На чем?

— Вот мой примус!

И она схватила за рога милицейский мотоцикл.

— Вы что — в милиции теперь?

— Моя милиция меня бережет! — воскликнула Погодина. — Микрия! Меньше придираются!

— Кто же вы теперь? — спросил Граб.

Погодина нахлобучила шлем и шутовски, как бы отдавая честь, приложила к нему почему-то левую руку:

— Ответственный секретарь многотиражной газеты «Машиностроитель»!

Граб узнал нефритовое колечко.

И вдруг Погодила сняла, поставила синюю с белой подошвой кеду на выступ стартера и сказала печально:

— А главное, Семен Семеныч, уже надоело дурачиться...

— А государственные цвета?

— Да ну! — дернула стартер Погодина и на реве мотора прокричала: — Ребята в гараже покрасили, и все!

Мотоцикл ревел в шуме встречного ветра.

Желтые, только что проклюнувшиеся одуванчики тянулись вдоль шоссе, отгораживая широкую, до горизонта, пашню, по которой вдали попыхивали неслышным дымом трактора.

Граб полулежал в люльке, посматривая на Погодину. Она трепыхалась в небе, раздутая ветром и с силой припавшая к рулю. Она что-то крикнула несколько раз, Граб не расслышал. Он не смотрел по сторонам, видел только чистое синее небо, прикрытое спереди плексигласовым козырьком и загороженное синей курткой мадам Баттерфляй.

Погодина жила теперь в комбинатской гостинице, под которую Лыков отдал пятиэтажку, принятую условно с недоделками, чтобы иметь еще один повод ткнуть Качанова носом в качество. Дом, конечно, доделали сами. Первый подъезд (малогабаритки) отвели под жилье для молодых несемейных специалистов. Под рубрику эту попала и Погодина.

Граб сидел в ее комнатухе, как тогда, десять лет назад, в вагончике. Сидел, как тогда, нога на ногу, поводя ботинком. Ботинок был другой, но тоже бывалый.

Гостиницей распоряжалась Варвара. Тоже как тогда.

Грабу казалось, что эта комната — все тот же вагончик, только с балконом. Около балконного окна висела на костыле гитара. Тогда гитары не было.

— Играете? — спросил Граб.

— Нет, — посмотрела на гитару Погодина... — Так... Придет кто-нибудь, сыграет... Сейчас позвоню. Надо вас устроить. — И взяла трубку: — Варвара Никитична! Приехал Граб! Ну да! Граб! Конечно! — И поднесла Грабу трубку вместе с аппаратом.

— Тебе что, — низким голосом сказала Варвара, — переводчики нужны?

Сердце Граба дрогнуло:

— Варя...

— Здравствуй, Симеон Столпник.

Граб удивился: так называл его Свиридов. Виделись они редко, а когда виделись, Свиридов учил психологическим тонкостям бытия. «Внемли, святой пилигрим, — дурачился Свиридов, — мужики простодушнее баб, на этом строятся все сюжеты». Однажды он сказал Грабу про Варвару: «Мне никогда не приходило в голову смотреть на нее как на модель для своих сочинений. Взяв перо, я горячусь сомнительным утешением судить и рядить на бумаге. Я не желаю, чтобы эта забава каким-нибудь боком коснулась ее».

— Здравствуй, Семен, — мягче сказала Варвара, — я жду тебя, приходи. Буду дома в шесть. Скажи комендантше, чтобы поселила тебя в третьем подъезде. Я ей позвоню. — И положила трубку.

— А где она живет? — спросил Граб.

— Напротив Комбината. Там всего-то семь домов. В гости зовет? А я думала, мы сегодня с вами посидим, повспоминаем...

Граб вспомнил наперстки. «Много пьете?» — подумал он и сказал:

- Так пойдемте вместе!
 — К Варваре, да еще без приглашения? Нет. Гостиницу она вам сделала?
 — Сделала. В третьем подъезде.
 — А! Ну это — для второй гильдии!
 — А не для третьей?
 — Нет! Третья — вот она (показала пальцем в пол), а первая — для большого начальства. Вы — посередке, Семен Семеныч!

5

Шестьдесят два миллиона были освоены Качановым громогласно. Оставалось принять дома.

— Виктор Васильевич, — устало говорил в телефон Лыков. — Ну зачем вы мне рассказываете сказки...

Качанов слушал, не перебивал, и вдруг как не слышал, о чем речь:

— Люди здорово потрудились, Дмитрий Ярославич! Там у нас четыре славных начинания. Таких людей приветствовать надо, награждать.

— Виктор Васильевич! Это ваш вопрос. Вы слышали, что я сейчас говорил?

— Конечно, Дмитрий Ярославич! Вы — заботливый руководитель. Ну, немножко там придется, конечно. Где гвоздь вбить...

— Какой гвоздь? — закричал Лыков. — Какой гвоздь? Там трубы перекладывать надо! Там у вас — времянка! Виктор Васильевич, вы же старый человек! Меня-то вы зачем обманываете?

— Я не обманываю, — мягко возражал Качанов, и Лыков представил себе, как управляющий трестом Новострой катает по столу синий карандашик. Карандашик то перекачивается гранями, то вдруг скользит юзом по полированному столу, — как же я вас обманываю? Зачем? У меня там — мастера на все руки, а вы им не доверяете. Обижаете их... Работать нам с вами до-олго, если не случится чего (эти слова Качанов сказал грозливо). Так что разберемся. А пока...

— Что — пока?! — закричал Лыков. — До каких пор — пока? Что вы все готовитесь, когда уже давно пора быть готовыми! Не нужны мне ваши танцы! Не нужны мне ваши игры!

На этот раз Качанов сказал холодно:

— Хорошо.

И отключился.

Лыков бросил трубку и побежал к Курдюмову, зная, что Качанов уже звонит ему. Лыков хотел помедлить — не входить, пока идет разговор.

— Варвара Никитична, — спросил он, — говорит?

— С кем?

— С Качановым.

— Нет. Он говорил с ним час назад.

— Та-а-ак, — протянул Лыков и без спросу вошел в кабинет директора.

Курдюмов поднял голову, как ждал:

— Противоречий у вас, Дмитрий Ярославич, вагон...

Лыков остановился с разбегу:

— Не понял...

Курдюмов улыбнулся дружелюбно, прихлебнул чай из стакана:

— Поправок не признаете.

— Опять не понял.

— Жизненных поправок... Строитель катится перекасти-полем. Там — панель подцепит, там — опору поставит, там — обои налепит, и — дальше... Других рук у Качанова нет. Текучесть — один к одному. Пришел — ушел. Кем ему строить, Дмитрий Ярославич?

Лыков всплеснул руками:

— Опять трагедия русского либерализма!

Курдюмов насторожился, склонил голову к плечу, наверно, Лыков и это у Володьки Свиридова вычитал. Надо все же почитать произведения Володьки Свиридова. Друг-приятель все-таки.

— Каждому жалко всех навалом и никому не жалко каждого в отдельности! — кричал Лыков.

Это было похоже на цитату — слишком складно. Цитата показала Николаю Павловичу толковой, по крайней мере — на слух. Он даже хотел попросить Лыкова повторить, но воздержался.

Лыков сказал спокойнее:

— Значит, мне уходить?

— Куда? — печально спросил Курдюмов.

— Туда, где не принимают туфту!

— Если вы знаете такое место, Дмитрий Ярославич, возьмите и меня. Запом. Или главным инженером... Я пойду.

Лыков молчал. Он наконец успокоился, сидел, откинувшись на спинку тяжелого красного кресла, курил, выпуская дым узкой струйкой. Курдюмов смотрел на струйку, ждал, пока кончится. Легкие у Лыкова были емкие — струйка не иссякала.

— Значит, все по-прежнему? — проговорил Лыков вслед дыму.

— Людям надо жить, — покачал головою Курдюмов.

— Но я должен уйти, — сказал Лыков, уже без дыма, и встал. — Николай Павлович, вы не меня отдаете. Вы себя отдаете. Я хотел воспротивиться. И вы этого тоже хотели. Это очень трудно — все пересилить. А теперь вы остаетесь один... Конечно, я не льщу себя надеждами. Строительного рая я нигде не найду. Но с вами мы могли бы хоть подумать о нем. Хоть лечь поперек этой дикой орды...

— А вы оставайтесь, — тихо сказал Курдюмов. — Авось ляжем...

— Человек — это звучит гордо, Николай Павлович.

— Вот видите как, — развел руками Курдюмов, — гордо... Но, должно быть, не настолько, чтобы ему ни с того ни с сего ставили в туалеты вентиля. Звучит гордо, Дмитрий Ярославич, а работать некому.

Лыков не ответил, пожал плечами, вышел.

Курдюмов посмотрел на бумаги. И вдруг вспомнил Нину — как она прикладывала Лыкова. Обжился, забарахлился. Да, обжился. А выходит, плевать ему на то, что он обжился! Сорвется — не задумается. Ах, Нина, Нина! Что с того, что мы с тобою гарнитура не нажили? Старую погудку мы с тобою тянем. Все для человека, все для человека... А люди, между прочим, катятся по земле. Кстати, надо повидать Пиунова.

6

Курдюмов все-таки почитывал Свиридова:

...Прорабы сидели за столом, пружиня ноги, будто только что спешили.

Твердые, опаленные степью лики их отсвечивали, как угли ночного костра.

А между тем был день, полдень, обеденный перерыв.

Прорабы кушали рассольник ленинградский и беф-брезе, запивая тонизирующей водичкой «Байкал» из высоких хрустальных фужеров. Прорабы кушали молча, вздрагивая от нетерпеливых мыслей. Они сидели в мешковинных клетчатых рубашках, и каски их висели на полированных спинках шикарных стульев, как стетсоновские шляпы. Они сидели так, будто за дверью салуна грызли коновязь их дикие мустанги.

А рядом с ними трудился над пищей проектировщик. Он сидел в черном пиджаке, с черным галстуком, в белейшей крахмальной сороч-

ке, беловласый, с черными бровями, и черные глаза, непомерно увеличенные большими круглыми окулярами, глядели удивленно. Он сидел весь черно-белый, корректный, академичный, будто нарисованный тушью на ватмане.

Рудакин угрюмо рубал свой беф-брезе, предварительно нарезав его на мелкие ошметки тупым ресторанным ножиком.

Прорабы кушали хорошо, смело. Проектировщик не попевал за ними. Он не попевал за ними не потому, что маялся вставными зубами, и не потому, что годы его превзошли желаемое. Нет, годы были ни при чем и зубы — тоже. Проектировщик не попевал потому, что был иначе устроен. Он не попевал потому, что ему все еще нужен был старомодный черный галстук, требующий иного темпа, иной посадки, иных мыслей. Он размышлял на века, они же строили поквартально. Он видел город таким, каким замыслил, они же строили его таким, каким получается. Он держал отчет перед господом богом, они же — перед кварталным титулом. Они обедали зычно, громогласно, торопливо, он же единым взором упрасивал их — погодить...

Рудакин сидел мрачный, молчаливый, чужой. И железные собратья, победившие его в соревновании, топтали Рудакина лихими взорами, в коих не было ни брильянта сожаления.

Он сидел рядом с проектировщиком, и я видел, что их ровно двое на этом мимолетном пиру.

Рудакин катал желваки, но не беф-брезе, а странную виною перед этим старомодным чудаком.

И вдруг один сотрапезник, вязко прожевывая смех, объявил безобидно:

— А тебе, Рудакин, оторвут голову!

И все рассмеялись и полезли за сигаретами, потому что обеденный перерыв подходил к концу.

— Пусть, — сказал Рудакин.

И все рассмеялись еще громче, рассмеялись дымом дорогого табака. Они смеялись, как люди, коим отрывали голову не раз и не два, и всякий раз голова отрастала, и было ничуть не жаль беговой своей головы.

— Вы же и оторвете, — объявил Рудакин.

Обеденный перерыв пролетел, все встали, затолкались к выходу, к коновязям.

И — полетели, поскакали по участкам...

7

Как же быть с Качановым?

Шестьдесят два миллиона висели над головой, как контейнер на ржавом тросе. Людям надо жить. Лыков здоровался холодно — ждал. И Качанов ждал. Они ждали, а Николай Павлович являлся в семь тридцать, как всегда, включал селектор и слушал знакомые голоса, как будто никакой ржавый трос не скрипел под грузом над его теменем.

Курдюмов ткнул в разговорник:

— Варвара Никитична, пожалуйста — с Качановым.

Подождал, подумал, закурил.

— Качанов...

— Виктор Васильевич, Курдюмов...

— Слушаю вас! — отозвался Качанов весело, догадываясь заранее, зачем звонок.

— Виктор Васильевич, квартал принимать не будем.

— Николай Павлович, — сдержанно сказал голос Качанова, — людям надо жить. Ва-шим лю-дям...

— Надо. Потому и доделайте.

— Николай Павлович, — мягко сказал Качанов, — вот что я вам

скажу. Я о вас слышал, но подробностей не знаю. Может быть, у вас рука наверху, может быть, вы и победите в данном конкретном случае. Но вы погибнете.

— От вас или от обкома? — так же мягко спросил Курдюмов.

— Нет, — сказал Качанов, — от естества действительности вы погибнете.

— Что это еще за мистика? — почувствовал какое-то неприятное волнение Курдюмов.

— Не мистика, — мягко возразил Качанов.

«Как там у Свиридова?» — подумал Курдюмов:

...— *Рудакин, — спросил я, — вы когда-нибудь видели миллион?*

— *Золотом?*

— *Да зачем золотом? Ассигнациями.*

— *Бумажками, что ли? Нет, не видел... Я думаю, никто его не видел. Так говорится — миллион... Иной раз нуль возведешь — полмиллиона нету, а другой раз за полмиллиона цельный дом поставишь...*

— *Так, может быть, нуль большой, а дом маленький?*

— *Зачем? Нормальный...*

— *Так в чем же дело?*

— *Как попадешь, — пояснил Рудакин...*

— Не мистика, — мягко возразил Качанов. — Вы же против логики жизни идете, неужели не понимаете?

— Будет вам! — преодолел неприятное чувство Курдюмов.

— Будет, — не зло сказал голос Качанова, — все будет... Поздно будет, Николай Павлович.

И — надавил кнопку, отключился.

Курдюмов почувствовал и облегчение и тяжесть. Сердце как будто увеличилось, как раздулось изнутри, как налилось чугуном.

А днем вошла Варвара:

— Можно, Николай Павлович?

Курдюмов удивился: Варвара никогда не входила без вызова, а если входила — не спрашивала, можно ли.

Лишний стучок сердца не замедлил.

— Что случилось, Варвара Никитична?

Варвара стояла перед столом, держала в опущенной руке папку.

— Вы садитесь, — пробормотал Курдюмов и поймал себя на том, что говорит с нею, как с чужой. Тесное предчувствие беды сдавило горло, Николай Павлович зачем-то хотел подняться из кресла, но почувствовал — не сможет.

Варвара протянула папку.

— Что здесь? — спросил Курдюмов.

Он принял папку, положил перед собою и смотрел на красную поверхность, не решаясь раскрыть. Варвара села.

«Замуж выходит!» — ожгло Курдюмова изнутри.

Варвара молчала. «Замуж выходит! Замуж выходит!» — стучало в висках Курдюмова. Он приложил пальцы к вискам, как будто хотел что-то вспомнить, но на самом деле ему нужно было унять беспощадные удары. Это самое «замужвыходит» стучало в нем, как неведомая болезнь, навалившаяся вдруг, ни с того ни с сего и ни за что. Не отнимая пальцев от висков, Курдюмов упер локти в стол и бессмысленно уставился на красную папку. Знакомая риска (след ногтя) поперек петропавловского шпиля угадывалась на лоснящейся поверхности. Виски успокоились. Курдюмов раскрыл папку и сразу попал в слова «по собственному желанию».

Курдюмов взял из стакана синий карандаш:

— Я ни о чем не спрашиваю.

Варвара подняла глаза. Они были сухими:

— Николай Павлович, мне предложили работу в министерстве.

«Замужвыходит» снова стукнуло в виске Курдюмова, но стукнуло не резко. Ревнивая теплынь разлилась в голове. Давящая детская обида обессилила Курдюмова. Он посмотрел на синий карандаш, как на игрушку, сунутую обманом взамен чего-то такого, без чего нельзя жить. Дети, должно быть, ненавидят такие игрушки.

Качанов сказал — от естества жизни. Врал? Знал? Или к гадалке ходил? Может быть, он гороскопы по ночам изучает?

Курдюмов выпустил карандаш. Карандаш упал, сшиб острый кончик (тоже Варвара строгала) и перевернулся на две грани.

— Варвара Никитична,— слабо пробормотал Курдюмов.

Из письма Свиригова к Варваре.

...Наверно, был момент, когда мы отшутились друг от друга, полагая себя ужасно умными. Мы отшутились от радостных глупостей, опасаясь произнести банальные слова, без которых не бывает жизни.

— Варвара Никитична...— слабо пробормотал Курдюмов.

— Николай Павлович... Я найду замену. Я еще побуду.

— Давайте переводом. Чтобы стаж не рвать,— покорно сказал Курдюмов и вспомнил Лыкова: «Неохота рвать связь времен». Тоже, наверно, цитата.

Это был день, не наполненный ничем, кроме тяжелой бессмысленной пустоты, которая не впускала в себя ничего, зияя бесцельно занимаемым местом.

Ночью Курдюмов толкнул жену. Она проснулась вмиг, как ждала, и хрипловато пробормотала, придвигаясь:

— Ты с ума сошел...

Она всегда так бормотала.

Курдюмов, опершись на локоть, лежал, рассматривая ее в темноте.

— Ты с ума сошел,— прошептала она, цепляя ладонью его за тылок.

Курдюмов не двигался. Шлейка сорочки сбилась с круглого полтолстевшего плеча жены.

— Нина,— тихо сказал Курдюмов.

Она вмиг отдернула руку и, поворачиваясь спиной, сказала недовольно, без хрипоты:

— Ты с ума сошел... Дай спать.

— Нина,— сказал Курдюмов и полез через нее. Она вздрогнула, хотела было задержать его, но Курдюмов слез с постели и пошел к столику искать сигареты.

— Опять курить ночью?

— Нина,— в третий раз сказал Курдюмов,— а ты мне изменяла?

— Ты с ума сошел! — вскочила она, придерживая руками грудь.

— Чего ты испугалась?— спросил он.— Я же так просто. К примеру...

— К какому примеру? — вглядывалась она в него в темноте.

— Бывает же... когда изменяют...

— Конечно, бывает! К сожалению...

— Почему — к сожалению?

— Потому что ничего хорошего от этого не бывает. Я бы не могла тебе в глаза смотреть!

Курдюмов, не решаясь надавить кнопку ночника, так и держал палец на кругленьком выступе. Ему казалось, что свет зажигать сейчас нельзя.

Глава пятая

1

Прораб Володька Свиридов, сам того не подозревая, сделался на данном этапе любимым писателем Курдюмова.

Белозубый парень с непомерного фанерного щита вздел руку в рукавице, улыбаясь трехметровой улыбкой.

— Рудакин,— спросил я,— а что делают крепче: комбинат или дома?

— Все крепко.

— Ну, хорошо, спрошу иначе... Где вы себе позволяете больше вольностей при строительстве — на комбинате или на жилье?

— Нигде не позволяем.

— Будет вам, Рудакин! Бывают же отдельные недостатки строительства?

— Ладно,— сказал он,— комбинат делаем крепче.

— Как крепче?

— Ближе к проекту.

— Почему?

— Иначе продукции не даст.

— А человек?

— Человек свою продукцию и под кустом сдекает.

Отягощенные святым грузом, молодницы в пространных цветастых капотах горделиво переносили себя через кочки и вызывающе цокали каблучками по едва застывшей тротуарной плите.

— Скоро меня будут кушать за ясли,— сказал Рудакин.

— А что — не планировали?

— Почему не планировали? Планировали. На одном нуле пришлось дом поставить.

— Как же так?

— Жить надо,— сказал Рудакин.— Одно дело — проект, а другое — проспект.

Граб вышел на балкон своего номера. Жаркое степное утро еще не утратило следов влажной ночной прохлады — духа росной травы. Но запах плотной пыли уже вытеснял из обоняния этот первобытный дух. Небо было ярко-голубым, однако желтело к окраинам все той же невидимой, прозрачной пылью, ощущаемой не столько глазом, сколько дыханием. Перед балконом стоял новый дом, а за домом этим громоздилась насыпь степного ила, за которой торчала стрела экскаватора. Между домами лежали брошенные в глину и присохшие в ней потолочные панели с арматурными кольцами, прижатыми к бетону и стертыми до железного блеска. Меж панелей, в широких стыках, степной бурьян буйно выталкивал молодые листья, припорошенные палевой пылью. Два пацана лет по десяти гоняли по панелям на велосипедах, перескакивая с резаным визгом стыки. Должно быть, все счастье заключалось в том, чтобы подскокнуть, не застряв колесом.

Возле первого подъезда, на площадке, уложенной все теми же временными бетонными панелями, стояли два красных легковых автомобиля и желто-синий мотоциклет Погодиной. «Дома,— подумал Граб,— позовет или не позовет?»

Вышла Погодина, опустилась на корточки возле мотоцикла, клацнул ключ, должно быть, подворачивала гайку. Пацаны подкатили к ней, присели рядом — смотреть.

Граб хотел скрыться, но остался.

— Людмила Васильевна,— негромко сказал он, и Погодина вмиг поднялась, помахала ключом:

— Доброе утро!

Грабу показалось, что она обрадовалась.

— Поздравляю вас,— сказал Граб.

— С чем?

— С завтрашним днем...

Погодина подошла ближе:

— Вы помните?

— Помню.

— Спасибо.

И вдруг — как спохватилась:

— Тороплюсь в Усть-Пески! На весь день!

«Не позовет»,— подумал Граб и сказал:

— Счастливо!

Он ушел с балкона, почувствовав щелчок по носу. Граб ощутил какую-то забавную обиду, которая и печалила его и веселила.

Триск мотоцикла, резкий и преувеличенный, как пулеметная очередь в кино, влетел в балконную дверь. Погодина в голубом дыму проскакала по стыкам панелей. «Как ведьма»,— усмехнулся Граб.

Он ходил без дела по двухкомнатной квартире, представлявшей собою гостиничный номер второй гильдии. Какой-то равнозначный гильдиец, проживавший здесь до Граба, должно быть, увлекался периодической печатью — на столике возле двери лежала немалая стопка неновых иллюстрированных журналов, предназначенных в утиль. За столиком, привалившись к углу, стоял рулон бумаги.

Граб поворошил журналы. Лица кинозвезд были значительны и загадочны. Они мало походили на живых несфотографированных знаменитостей, которых Глеб знал и встречал в обыденных коридорах, у окошек касс, за столиками киностудийных буфетов. Граб сложил журнал. Неправдоподобно яркая бабочка была напечатана на лакированной обложке. Бабочка доверчиво трепетала на тяжелой мужской (Граб уточнил — натруженной) руке. Снимок был со значением: экология в наших руках. Конечно, бабочка лучше, чем птичка. Птички уже всем надоели. Кто снимал? Граб полистал журнал. А, Венечка Стуков. Молодец, красиво.

И тут печаль оставила Граба. Веселую мысль внушил ему Венечка своим снимком.

Граб взял тяжелый рулон, развернул. Это были плакаты по технике безопасности. Белозубый красавец в красной каске, с синими, как небо, глазами, поднял новенькую брезентовую рукавицу. Тяжелый гак висел над каской, как опрокинутый вопросительный знак. «Не стой под стрелой!» — прочитал Граб и сказал зеркалу:

— Годится!

День рождения Погодиной приходился как раз на пятницу, и Нина Ивановна увидела в этом полезное совпадение. Традиция была жива — пусть Люськин день послужит этой традиции. Людмила всегда обрастала друзьями. Впрочем, в тесную Людмилину комнатенку много народу не поместишь, да пока и не нужно.

День рождения превращался в мероприятие, и Нина Ивановна не считала возможным вводить Погодину в расходы.

— Николай,— сказала она мужу,— у Людмилы день рождения..

— Поздравляю. Передай привет.

— Ты бы мог сам... Может быть, пойдем к ней?

— Зачем?

— Понимаешь, мы хотим сделать первую официальную Пятницу. Как раз — пятница...

— Ну сделайте. Скажи Мише. Он мне как-то играл на магнитофоне «Мы все Робинзоны»...

— Я не о том. Поскольку это не личное мероприятие — надо как-то помочь ей.

— Ну скиньтесь.

— Она обидится. Может быть, Комбинат поможет? Представительские... Гостевые...

— А на казенные она не обидится? — сдобродушичал Курдюмов. — Скажи Лыкову. У него там есть какие-то... Сувенирные...

— Не стану я просить твоего Лыкова! Он с «Бригантиной» уже сколько тянет! И приходится Пятницу проводить у Люськи.

— Ну а не станешь — гуляйте на свой счет.

Нина Ивановна обиделась. Впрочем, обида отлетела вмиг, как только ей пришла в голову удачная мысль: взять деньги в сберкассе. В конце концов, нужно придать мероприятию если не официальное, то, во всяком случае, серьезное значение.

— Людмила, — сказала Нина Ивановна в телефон, — Комбинат выделяет пятьдесят рублей...

— Прекрасно! — обрадовалась Погодина. — Где их получить?

Нина Ивановна смутилась — Погодина была щепетильна.

— А я их уже получила! — выпалила Нина Ивановна. — У Лыкова! Написала расписку — у него там сувенирная ведомость! Представительские!

Граб давно уже не испытывал такого счастливого озорства, как в этот день. «Заметит ли женщина мужчину?» — малевал он синим толстым фетровым карандашом на обороте плаката. Посмотрел на почти ровные буквы, взял красный фломастер, зачеркнул и женщину и мужчину, но так, чтоб было видно зачеркнутое, и надписал сверху, наоборот: «Заметит ли мужчина женщину?» Чтоб усложнить проблему — кто кого заметит. А в вопросительном знаке, как в перевернутом крюке, Граб нарисовал глаза, нос, родинку и губу со слегка приподнятыми уголками — лицо Погодиной, чтобы было понятно, о ком идет речь. Ножничками перочинного ножа он бережно вырезал бабочку вместе с натруженной рукою и приклеил посередине листа, центральной точкой, чтоб организовала композицию эта бабочка — мадам Баттерфляй. Клея у Граба было мало — остаток тюбика, приходилось экономить.

Граб редко рисовал, однако принадлежности возил с собою, сам не зная зачем.

Слева Граб набросал довольно похожего журавля, пометил легкими каракулями облачка, чтобы получился журавль в небе. Синицу в руках он не стал изображать. Синицу заменяла бабочка.

Вошла уборщица (открывала своим ключом), заглянула в комнату, где стол, увидела бумажную лапшу на полу, обрезки, подошла ближе.

— Я уберу, уберу, — заторопился Граб.

Уборщица молчала. Посмотрела на вопросительный знак, сказала строго:

— С первого подъезда. Мотоциклетка...

— Похожа? — обрадовался Граб.

— Ну...

И вышла, тихо щелкнув дверью.

То, что Погодина была похожа, подбодрило Граба — значит, он хорошо ее помнит. И почему вдруг она разворошила его память, как ворох журналов, предназначенных в утиль? Он ведь и жалел ее и посмеивался над нею. Затянувшееся легкомысленное отрочество Погодиной не молодило ее. Это была наивная самозащита не от возраста, а от того, что с этим возрастом должно было бы появиться, — от опыта. Впрочем, тогда он так не думал. Он даже не помнил, как думал тогда. Тогда она погибла, и он ощущал странную суеверную вину, от которой избавился только сейчас, когда Погодина встретила его на своем странном мотоцикле.

И вот он сидит и с увлечением выклеивает на обороте плаката

по технике безопасности модную по нынешним временам стенгазету одноразового пользования, посвященную юбилею мадам Баттерфляй.

Нина Ивановна дала Мише задание: организовать что-нибудь выдающееся, необычное.

Необычным, по мнению Миши, оказался старый, мятый, позеленевший от безделья самовар. Самовар этот раздобыл рыжий Петруха.

— Путем? — спросил он Мишу.

— Там пауки живут.

— Выселим! Смотри, медали. Царь нарезан. Видишь? Написано — поставщик двора. А что, мужики, царь пил чай из самовара?

— Должно, пил. Поставщик... Это, выходит, он ему поставлял все время самовары?

— Ну...

— Зачем столько?

— А свита? Все чаю хотят.

— Мало ли — груз задержат. Из графика выпадет. Царь все-таки, надо бесперебойно.

— А что, мужики! Может, он из этого пил?

Посмотрели на самовар с почтением.

— Накипь в нем, как в радиаторе.

— Снимем.

— Чем ты снимешь? А потом — пить?

— Брезгливый ты, Михаил Васильевич, я смотрю.

Самовар мыли из шланга, под напором. Гаражная публика собралась, смотрела уважительно, давала советы.

— Пошкурить надо все же, чтоб сверкал.

— Не надо шкуркой. Пастой лучше.

— Мужики, накипин не вредный для здоровья.

Старый, взбодренный водою запах древесной гари шел от самовара.

— А уголь?

— Стой! Мужики! «Партизан» уголь жжет.

— Ну...

— Давай на моем «козле»...

— А сколько надо?

— А черт его знает, сколько надо. Бери мешок — не ошибешься!

Жестящик зажал в тисы лом, стучал киянкой, ладил из кровельного листа трубу:

— Ручку подваривать не буду. На заклепки поставлю — как положено. У деда был самовар — я видел...

— Ты колено подлиннее отведи — на балконе гореть... Жильцы телегу напишут.

— Куда они напишут? Там сама Курдюмиха будет.

Самовар, начищенный до бледного золота, стоял на балконе Погиной. Из длинного оцинкованного колена новенькой трубы струился невидимый в светлом вечере дым, как мираж. В мираже колыхался торец открытой двери.

Шум небольшого собрания рвался с балкона.

Двое парней в робах проходили мимо, остановились.

— Во дают, — прислушался один.

Второй одобрительно пояснил:

— Хозяйка гуляет...

И — прошли.

Граб посмотрел на балкон — должно быть, там все уже было в разгаре, вошел в подъезд, ступил на лестницу, шум доносился навстречу.

Дверь в квартирку Погиной была открыта — входи, кто хочет. Теплый, насыщенный плотным запахом ужина сквознячок баловался

портьеркой, приделанной к двери. Из-за портьерки громыхали непримиримые голоса, завязшие в споре:

— Женщина помнит только того, кого хочет помнить,— будто никого больше и не было.

Погодина выбежала навстречу горячая, радостная, потянулась обнять с разбегу, но вдруг как будто смутилась. Граб, неудобно придерживая локтем плохо свернутый плакат, взял ее за запястья:

— Здравствуйте, Люся...

Погодина на миг притулилась к нему.

— Идемте.

В маленькое жилище собралось человек пятнадцать — в табачном дыму, подсвеченном с балкона, лиц не было видно. Граб посмотрел на стол, заставленный едою и питьем, и узнал дверь, снятую с петель.

Из дыма объявили весело:

— Сейчас нас будут снимать на «Фитиль»...

— Семен Семеныч, нехорошо! — воскликнула Нина Ивановна. — Так старые друзья не поступают! Вы до сих пор не позвонили!

Нина Ивановна Курдюмова, как показалось Грабу, совершенно не изменилась, она отнеслась к его появлению как-то обыденно, как будто никаких десяти лет перерыва не было. Погодина стояла возле Граба в горделивом, потаенном смущении.

— Здравствуйте, Нина Ивановна! — улыбнулся Граб и протянул наконец Погодиной свернутый плакат. — Людмила Васильевна, вот...

Погодина взяла лист, развернула, увидела свой портрет в вопросительном знаке, яркую бабочку на тяжелой руке и, не разглядывая, подняла лист над головою, чтобы видели все.

Дверь, заменившая стол, мешала двигаться, гости сидели плотно.

— Стол опрокинете! — весело крикнули с той стороны, от балкона. — Кладите сюда!

— Нет! Вам видно, а нам — вверх ногами!

— Заменит ли женщина — мужчину? — нервно рассмеялась Нина Ивановна. — Семен Семеныч! Вы все еще на пройденном этапе! Этот вопрос уже решен!

Повернулись смотреть Грабово произведение, повернулись неудобно, в тесноте.

— Не заменит, а заметит! — хрипло поправил большелобый гость, посмотрев на Граба недружелюбно.

— Все-таки — бабочка? — негромко спросила Нина Ивановна.

— Бабочка, потому что красиво, — сказал Граб.

— Однозначно? — сощурилась Нина Ивановна. — Тогда почему заметит?

Большелобый гость посмотрел на плакат, потом на Граба и сказал с вызовом:

— Изображение не может быть однозначным. Иначе это не искусство.

Граб сообразил, что парень неравнодушен к хозяйке.

— Нет, искусство! — заявила Погодина, притопнув ногою. И — Грабу: — За-ме-тит...

— Значит, — мягче сказал ей большелобый, — ты видишь второе прочтение!

— Вижу!

То, что он сказал ей «ты», укололо Граба.

Погодина протиснулась к балкону, насадила угол стенгазеты на пустой костыль из-под гитары. Газета повисла боком. Граба усадили рядом с Ниной Ивановной на доску — табуреток с этой стороны не было.

Граб оказался напротив незнакомой дамы с лицом, соблюдающим строгое бесстрашие. Она была одета в кокетливое платьице с погончиками. На приподнятом клапане нагрудного кармашка золоти-

лась мелкими литерами какая-то заморская эмблема. Платице было милитаристского цвета с затейливыми пятнами камуфляжа.

Грабу показалось, что и сам он и его плакат раздосадовали публику тем, что пришлось отклониться от предмета спора, в суть которого Граб не мог проникнуть.

Перепадка продолжалась, как будто не было ни Граба, ни его плаката.

— Достать, достать... Достать, значит, спереть!

— А мы свое берем!

— А зачем?

— Чтоб быстрее!

— А куда так торопиться? Что дают?

Граб ловил смысл перепадки и не ухватывал. Должно быть, и хозяйка участвовала в ней, потому что она вдруг спросила:

— Ниночка! Помнишь, мы с тобою сидели у костра из разбитых домиков?

— Да! Разбитых! И мы писали об этом! И виновные, наверно, наказаны!

— Но домики вы сожгли! — громыхнул большелобый. — Вместо того, чтобы в них жить!

— Так что же?! — возмутилась Нина Ивановна. — Умирать от этого? Сдаваться?! Семен Семеныч!

— Надо, наверно, просто не жечь домиков, чтобы никуда не писать, — несмело предложил Граб.

— А вы мне нравитесь! — вдруг объявил Грабу большелобый.

— По-моему, — сказала Нина Ивановна, — вы просто спорщик! Вам все равно, о чем спорить!

Большелобый покачал головою:

— Не все равно! Когда человек мне приятен — я не буду с ним спорить, а если он противный — буду!

— А если он прав?

— Как это противный человек может быть прав?!

— Интересное суждение! Значит, вы не признаете истину?

— Не признаю! — громыхнул большелобый. — Истина — друг, но Платон — дороже... Черт с ней!

— Неправильно, — вскрикнула Нина Ивановна, — в корне неверно! Платон — друг, но истина — дороже! Это аксиома!

Большелобый зычно возразил:

— Эта аксиома дает возможность закладывать друзей ради истины. Истин — вагон, друзей — ни грамма! А вы какого мнения?

— Я думаю, вы правы, — смутился Граб.

— Ну до чего же ты мне нравишься! — вдруг зарычал большелобый. — Я же тебя удавить хотел, когда ты пришел!

— За что? — улыбнулся Граб.

— Вот так! Хотел, и все! Будем знакомы! Меня зовут Афанасий, — категорически заявил большелобый, — Афанасий!

— Очень приятно, — старался снизить его агрессивность Граб.

— Тогда выпей со мной! — потребовал большелобый.

Граб протянул к нему граненую стопку. Афанасий дзинькнул о стопку своим фужером и стал пить, не сводя с Граба глаз. Пить так было неудобно.

Толстая женщина, очень толстая и очень подвижная, сидела в углу возле балконной двери под грабовской стенгазетой и курила. Дым она выпускала стружкой, выштив губы.

— Этот кирпич мы вам не дадим, Александр Иванович...

Сидевший напротив нее щуплый человек с негустыми бачками сказал введливо:

— Нет, вы дадите нам этот кирпич, Калерия Тимофеевна!

— Нет, не дадим, Александр Иванович, — толстая Калерия Ти-

мофеевна ткнула окурком в край своей тарелки,—чего бы такого съесть, чтобы похудеть?

— Нина Ивановна,—шепнул Граб, чувствуя, что на домик и на истину он отреагировал невпопад.— Постепенно Пятницы придут к первоначальному виду.

— Все люди,—сказала Нина Ивановна,—болеют прежде всего за свое дело!

В дверном проеме стоял длинный до потолка Лыков. Темные очки его прикрывали победную улыбку. Он держал в вытянутых руках синее пластмассовое ведерко, полыхающее алыми тюльпанами.

— Людмила Васильевна! Я только сейчас узнал, что у вас такое мероприятие!

— Но вы-то, наверно, лучше всех об этом знали!—весело приняла от него ведерко Погодина.

— Только по долгу службы!—защитился обеими ладонями Лыков.—Как губернатор, который должен знать, что творится в губернии!

Нина Ивановна облегченно вздохнула: губернатора этого она никак не ждала. Не хватает, чтобы Людмила догадалась, какие такие сувенирные пошли здесь в ход.

— Вот это да!—закричала Нина Ивановна.—Дмитрий Ярославич! Вы неотразимы!

«Зачем же он приперся?»

Лыков был взбудоражен, как навеселе. Граб посмотрел на даму в камуфляже и удивился: лицо ее ожило и сделалось просто красивым. Она по-прежнему старалась быть безучастной, но это ей стоило немалых сил.

Цветы, разумеется, произвели впечатление, но, как подумал Граб, главным образом потому, что их принес Лыков. Появление Лыкова смутило гостей—Лыков был начальство, и немалое. Вел он себя по-хозяйски, без смущения, протиснулся к столу, сел рядом с дамой в камуфляже, не скрывая удовольствия, что сел рядом с нею.

Протискиваясь к своему месту, Лыков увидел плакат, рассмеялся:

— Даешь журавля в небе! Правильно!

«Вот оно что,—сообразила Нина Ивановна,—он явился из-за этой Марины!» Нина Ивановна поразительно точно догадывалась о чужих тайнах.

Погодина нервничала, пристраивая в тесноте тюльпаны.

— Не на стол! На балкон давай! Там свежее!

Тюльпаны поплыли на балкон над головами.

Неудовольствие Нины Ивановны было круглое, мягкое и теплое—теплее сердца. Из того, что она хотела, ничего не получилось. Пятница не клеилась. Люди ели, пили, разговаривали черт знает о чем. Даже шампанское пили обыкновенно, без всякого подъема. Даже цветы (где он их набрал столько) выставили на балкон и—все. Нине Ивановне не было жаль денег, которые она вложила в мероприятие, она бы даже не вспомнила о них, если бы не появление Лыкова. Жаль ей было того, что люди тянули кто в лес, кто по дрова, что были они неуправляемы. Кто-то там доказывал, что ему недодали три цистерны солярки, доказывал так, чтобы слышал Лыков, а Лыков не слышал или не хотел слышать.

Кто-то включил магнитофон—«Мы все Робинзоны». Лыкову налили, Погодина придвинула тарелку. Лыков выпил, ел хорошо, завлекательно. Молчал, жуя, как хозяин после работы. Дама в камуфляже сидела рядом, светясь ожившим лицом.

Грабу показалось, что за столом ждали, пока насытится Лыков.

Пленка крутилась—по которому разу.

Мы все новостройки большой Робинзоны,
И есть у нас общая Пятница.

— Веселая музыка! — одобрил Лыков. — Глупая, но ничего.
— Смотря для кого, — возразила Нина Ивановна, — наши песни — наши биографии.

— Не возражаю, — развел в тесноте ладонями Лыков, — не возражаю! Нина Ивановна! Я лично был в этом вашем буфете и обещаю сделать из него архитектурный шедевр!

Большелобый Афанасий вдруг приложил руку к груди:

— Обидеть художника может всякий. Но не всякий может оценить то, что делается тут...

— Вас обидишь, — попыталась улыбнуться Нина Ивановна.

— Правильно! — ответил на это Афанасий и потянулся стаканом к Лыкову. — За здоровье мецената!

Но ни песня, ни заявление Лыкова, ни кривляние этого Афанасия не вызвали интереса гостей.

Щуплый Александр Иванович неудобно повернулся и поднял прислоненную к стене гитару. Рванул несколько раз струны и запел негромким медвежьим голосом:

Ах, ребята, как мне надоели
Поиски далеких берегов.
Но у нас — семь пятниц на неделе,
Будто нет ни сред, ни четвергов.

Мотив был какой-то нарочито надломленный, несерьезный, но когда Александр Иванович стал повторять последние строчки, многие подхватили, припевая за ним.

Мелкий мягкий шарик неудовольствия бестолково прыгал, сбивая сердце, мешая колотиться, будто, кроме сердца и этого шарика, ничего внутри Нины Ивановны не находилось. И опять сквозь музыку, на этот раз сквозь гитарную:

— Кончай! Учись экономить...

— А что мне экономить, когда солярку не привезли! (Опять что-бы Лыков слышал.) Ни грамма!

— Это неважно, — заявил Александр Иванович, ставя за спину гитару и глянув на Лыкова, — найдут энергию... Термояд или что-нибудь другое, неважно. Не в этом проблема. Проблема в том, чтобы выпихнуть в космос излишнее тепло!.. Шарик согреется, и пойдут таять гренландские льды, Антарктида... Поползет пустыня.

Граб чувствовал неудовольствие Нины Ивановны. Он искал, как ее успокоить.

— Пугают, — наклонился Граб, — не бойтесь...

— Оставьте! — резко ответила Нина Ивановна. — Одни люди живут, думают, мечтают, а другие — одним словом, могут все свести на нет! Ну не привезли горючего! Завтра привезут! Нет! Сразу теория: иссякает энергия. Да! Иссякает! Нужна новая! Да, нужна! Управляемый атом, плазма, не знаю что! Люди работают, думают, ищут! Еще ее не нашли, а уже — земной шар погиб! Сами как пустыня!

Теплый шарик выскочил, освободив ее.

— Нина Ивановна, — печально и совершенно трезво попросил Граб, — не надо бояться слов.

— Глобальных проблем не существует! — добродушно сказал Лыков. — Их придумывают бездельники! Фантазий на этом свете куда больше, чем кирпичей.

— Конечно, — сказала Нина Ивановна, — если не видеть дальше своего носа.

Лыков благодушествовал:

— А вдаль смотреть приятнее. Под носом черт те что делается!

— Самовар! — крикнула Погодина, захлопав в ладоши.

И, надо сказать, вовремя.

Она пробиралась на балкон за спинами, а Грабу показалось, что

она задержалась за его спиной. Граб тесно повернулся и неожиданно спросил:

— А где наперстки?

— Их только два,— ответила Погодина, пробираясь дальше.

Самовар пыхтел на балконе, дожидался своего часа.

Нина Ивановна почувствовала, как излишнее тепло, снова накапливающееся в сердце, вдруг пропало. Пятница не получилась, ну так что же из-за этого — сдаваться?

— Самовар! — весело поддержала она.

Нина Ивановна бывала искренна в каждую данную минуту.

2

Вокруг буфета от столовой номер шесть витал сырой дух перестоявшегося пива и подмокших ошметков вяленой рыбы. Рыба была мелкая, бросовая, не то карась, не то плотвичка, вялили ее самодельно местные жители и приторговывали при этом буфете.

Пиво привозили к вечеру, бочковое, из Усть-Песковского пивзавода. Пивзавод только пустили, работал он пока с перебоями, и поэтому весть о пиве собирала народу немало.

Толстая Светка, разморенная жарою, сыростью, галдежом, качала насос зло, кружки у нее брякались одна о другую не как стеклянные, как стальные. Пена долго не укладывалась, топырилась хлопьями, ждять, пока осядет, никто не желал — почему-то торопились.

На широких сыроватых днищах пустых бочек любители потрошили рыбешку, разбирали некрупных раков, гудели разговорами, поддывали не тайно в кружки запретную влагу. А у самого обрывчика свалены были свежие бревна.

Народ был послесменный, комбинатский, новостроевский, знакомый в лицо, и даже если незнакомый — все равно свой каким-то несмысленным, доверчивым тяготением.

И, как при всяком таком месте, находился здесь сухонький, чистый, стираный старичок, седенький и неслышный. Не встречая ни в чей разговор, старичок этот находился сам по себе, оберегаемый от всего света алюминиевой своей исключительностью, тихим правом немеряных своих лет.

Рыжий Петруха не был любителем пива, и занесла его сюда неожиданная печаль, резкая тоска выговориться. Он сам удивлялся суевой этой тоске, которая защемила в нем полчаса назад, когда он случайно оказался в Индостане.

Петруха подошел к Светке, не глядя на очередь, и очередь пропустила его, будто чувствовала его тоску и сговорила ждать, пока Светка нацедит рыжему пива. И Светка ни слова не сказала, будто пиво без очереди полагалось рыжему отродясь.

Он держал кружку, примериваясь, к кому бы пристать, но никто не видел его, будто не его сейчас пропустили без слов к насосу.

Все беседовали о своем, не впуская в разговоры.

— Медпунктов будет больше, мужики. И лекарств. Чтобы дольше жить и работать.

Сердце дрогнуло в рыжем. Он сунулся было к той бочке, откуда разобрал эти слова, но там уже перешли на медосмотры при рабочих местах. Разговор еще годился, чтобы воткнуться, и рыжий пошел к бочке.

Небольшой верткий парень в безрукавочке с напечатанным медведиком носил меж бочек камышовую кошелку, показывая некрупных вареных раков. Раки тлели сыроватым укропным теплом.

— Спикуй ты! — незло сказали парню у бочки.

— Чего спикуй? Я их сам наловил! Свежие. Безо всякого медпункта пройдут. Гарантия фирмы.

И пошел, оставив все-таки на бочке с десяток своего товара.

— Лоб он, а не работает.

— Ничего, мужики, трудоустроится.

— Посадить его надо.

— А чем закусывать?

— Действительно.

— Злой ты, я вижу.

— Я не злой! Обидно. Все вкалывают, а он раков ловит! Фирма.

— А может, у него талант раками торговать?

Разговор уже не впускал рыжего Петруху. Он отхлебнул пива стоя, не зная, куда приткнуться со своей печалью, поразившей его самому себе на удивление. Рыжему казалось, что все должны знать о его тоске, потому что тоска эта всеобщая. Но никто не впускал в себя эту тоску, будто знали, с чем ходит рыжий Петруха, ясно, знали! Пустили же его ни с того ни с сего без очереди к Светкиным рукам.

Рыжий еще разок отхлебнул, осматриваясь.

— Я ему говорю: не хочу я бригадиром! А он мне дурость эту: каждый солдат носит в сумке маршальский жезл! Тю, дурной! Я говорю: что же ему больше таскать нечего? Одно дело — в книжках, а другое — потаскай выкладку!

— А я в стройбате служил. Ничего.

— Мужики, а какой из себя маршальский жезл?

— Должно, полосатый, как у милиционера.

— Нет. Должно быть, не полосатый. Должно быть, золотой.

— Сказал тоже — золотой! Какой весовой коэффициент у золота?

— Как у свинца, наверно.

— Ну! Потаскай такой дрючок! Не обрадуешься!

— Раньше люди сильнее были! Навалит на себя килограммов сорок нержавеющейки, и — хоп што.

Рыжий сунулся было в разговор, услышав про то, что раньше люди сильнее были. В самый раз бы сейчас вернуть про старика, такой он был здоровый, запросто б мог нацепить на себя не сорок, а все шестьдесят кило, но окошко в разговоре закрылось, едва показавшись.

— Та нержавеющейка легкая была. Меч носили, как пояс, — гнулся.

— Как же им рубать?

— А он фиксировался как-то. Тоже секреты знали. Дамасская сталь.

— А! Я видал! В музее. Узорчики такие, как травленая.

Музей тоже всколыхнул рыжего вклиниться, но разговор сразу перешел на масляную закалку, а потом почему-то на заточку резцов.

А Светка качала пиво, и никто не дожидался, пока осядет пена, будто все торопились, никуда, однако, не торопясь.

— Это одно название — Новый, а вообще-то — Пески. Город Новый только начинается. Нет, но будет! А ты откуда?

— «Я земной шар чуть не весь обошел», понял?

— Помотался, выходит, а сейчас откуда?

— Дорогу ложил в Горячей степи. Зря я сюда прибыл! А мог бы вбить последний костыль в последнюю шпалу! Запросто! А он, между прочим, серебряный.

— Никелированный.

— Нет, серебряный!

— Никелированный. Так тебе и дали серебро в шпалу забивать! Что же его вытащить нельзя?

— Ну и куда бы ты с серебряным костылем? В какую скупку, воображаешь?

— Действительно. Я сам недавно вернулся. На Нефтехиме был. Слышал?

— Слышал. А чего вернулся?

— Комбинат зовет! А я местный. Четверо нас было с одного колхоза. Неразлучные друзья.

— А они где?

— Павлик на Дальнем Востоке, Сашка в Ашхабаде, Валерка загремел.

— Ну да...

— Путешествовать, конечно, хорошо. Только опасно.

— Почему опасно?

— Ну как же? Все вкалывают на месте, а ты один гуляешь, как вольный. Обидно.

— Кому обидно?

— Ясно кому. Коллективу.

И тут рыжий наконец-то вклинился:

— Этот дед тоже ходил. А потом ему указали — сиди на месте.

И поставил кружку на край дна, к самому бортику, ручка уперлась в клепку.

— Кто указал?

— Как это кто? — обрадовался разговору рыжий и заторопился. — Не знаешь, кто указывает? Дед не дурак. Он велел пенсию на книжку откладывать, а сам пошел по родной стране. Ну, к городам, конечно, подходил пехом. А так на попутных. Придет — ему гостиницу сразу бесплатно, обед, барахлишко.

— За что?

Рыжий торопился завладеть разговором:

— Как это за что? Он же заливал всю дорогу! У него этих грамот разных, газет про него, справок — навалом! Он показывал. Там домина — будь здоров! Он музей делал. Тачанка у него буденновская. «Жигули» — ноль третья модель. А барахла! Там ковер ему в Средней Азии где-то дали, забыл где, не поднимешь!

— Как же он его на горбу таскал?

— Таскал! Он одних посылок своей старухе штук пятьдесят с дороги прислал! Он побился недавно. И точно в гнилое крыло! Везет людям!

— Чего ж ему приказали сидеть? То грамоты давали, а то...

— Потому что не от коллектива! — Рыжий ликовал оттого, что его слушают. — Я же тебе толкую! Если не от коллектива, значит, тунядец, понял? Барахло там, ковры, колеса или грамоты не забрали, как у почетного пионера, а ходить не велели.

— У какого еще пионера?

— Ему в пионерлагере галстук нацепили! Как берегущему здоровью. Он заливал возле костра, на линейке. Думали, что он от коллектива. Если бы он гулял от коллектива!

Но интерес к рыжему уже пропал. Обернулись к тому, который с Горячей степи:

— Ты на Комбинат переходи.

— Тоже вагончики.

— Зато Лыков! Он велел всем телевизоры ставить. Коменданты, конечно, заорали — кому? Перевыполняющим или еще каким? Но Лыков пресек: всем!

— Почему это всем?

— Потому что все — люди!

— Это смотря какие люди.

— Обыкновенные! Голова, два уха!

Рыжий, конечно, мог бы рассказать про Лыкова получше этих дудозвонов. И с телевизорами не так дело было. Но тяжелая пугающая печаль была сейчас сильнее всего, и то, что все они, как сговорились, не хотят ее делить, не хотят принять хоть часть ее на себя,

сжимало рыжего изнутри. Он осторожно взял свою посуду (стукнулась краешком дна о клепку) и пошел к обрывчику, где лежали бревна, которые он сам привез сюда три дня назад. Светка качала пиво без роздыха, как чемпионка на бесконечной дистанции. Чистенький старичок сидел на бревне верхом, кружка стояла на газетке. Рыбешку он разбирает детально, сдирая мясо по волоску, складывая в стожок. На газетке лежал крупный красный рак с повернутым хвостом.

Рыжий присел возле старика почтительно:

— Можно, папаша?

Старик посмотрел на него ласково, будто ждал собеседника на свой одинокий пир и — дождался. Отложил рыбешку, поднял красного зверя. Держа ровными, совсем будто и не стариковскими пальцами алый пупырчатый панцирь, зацепил снизу свернутый хвост. Хвост спружинил, вернувшись в исходное положение.

— Так-то, папаша, — напрашивался на разговор рыжий, — не пил, не курил, в проруби купался. Моложе вас был.

Старик повернул рака клешнями к рыжему. Левая клешня была здоровенной, пухлой, правая едва только намечалась на месте оторванной в драке.

— Превосходно устроены эти рептилии, — сказал негромко старик. Он не говорил, а как бы по-быстрому проговаривал слова. — Смотрите-ка. Хвост оторвешь — отрастает, лапу оторвешь — отрастает. Из чего? Из собственного тела. Вообразите, молодой человек, — оторвали голову, и она снова выросла! Из чего? Из собственного мяса! Тончайшая субстанция мозга — божественное достижение природы — заменена функциональным производением мышц! О чем может мыслить голова, выросшая из мышц? Неудивительно, что слова «мыслить» и «мышца» происходят от общего корня!

Рыжий с уважением посмотрел на вареного рака.

— А вы профессор?

— Зачем? Я — просто так. Размечтался.

3

Нина Ивановна вернулась с Пятницы, когда муж был дома. Он сидел у себя в кабинете и, конечно, слышал, как она вошла. Но не встретил, не спросил — как там вы? Договорились? Одной проблемой меньше? Садись пить чай!

Чай он заваривал сам. Нина Ивановна ждала этого чая всегда, будто в нем-то и было все самое главное. Николай сидел, ласково слушал, не перебивая. Любовался, должно быть, и это придавало ей счастливого куража. Ну спроси хоть что-нибудь, Коля! А он улыбался: все сама скажешь! А она говорила, заливаясь радостью. Нравственна ли наука? Есть ли будущее у идеализма? Существует ли проблема отцов и детей? В традициях ли русской сатиры Булгаков? Как она бывала счастлива за этим чаем!

Но Курдюмов не вышел.

Она пришла и без того огорченная. Как ни пыталась она весь бессмысленный вечер направить разговор, ткнуть этих людей в общественный интерес, ничего не получалось. Неужели люди постарели?

— Нина, — отозвался наконец Курдюмов.

Из письма Свиридова к Варваре

Я люблю Колю Курдюмова. Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес.

Не был бы Коля Брутом — он не создан для мокрого дела. Периклесом был бы он частично: только по части муниципального строительства, ибо витийство — не по нему.

Был он молчаливым Колей Курдюмовым во все времена. Я вижу его на стапелях петровской верфи — битого и изысканного, сеченного и обласканного справедливым государем. И вижу его в вицмундире вedomства казенных имуществ, с зеленой фуражкой на отставленном локте: он стоит с непокрытой головою под мостом, который выстроил, и смущенно улыбается, ожидая, пока пройдет поезд, испытывающий его мост на прочность...

А что же Ниночка? «Ты с ума сошел!» Она учила бы политес, и выписывала бы журналы, и раздавала бы зингеровские машинки девам, прошедшим в дамки вследствие общественного неурядства. И был бы у нее салон, полный знаменитых бород.

А Коля молча любовался бы ею во все времена и смотрел бы на нее как на утешение, посланное судьбою, провидением, предестинацией.

Ах, Коля Курдюмов, деловая совесть России! Неть спасения во многоглаголанье, ты прав. Но скажи хоть словечко!

— Нина,— отозвался наконец Курдюмов,— Пиунов умер.

Нина Ивановна, не снимая плащика, шагнула в кабинет:

— Когда?!

Из передней вслед за Ниной Ивановной в кабинет спокойно вошел кот Пятница.

(Окончание следует)



ВЛАДИМИР СЕМАКИН

★

НА КАМУШКЕ-КАМЕ

* *
* *

Я завидую Камушке-Каме:
потрудилась река на веку,
если горы и донные камни
перемолоты ею в муку.

Где-нибудь на крутом повороте
глянешь — кру́гом пойдет голова:
так упорны в бессонной работе
водоверти — ее жернова.

Пробиваясь к раздольному плесу,
к перескрипу речных пристаней,
эта мощь не боится износу —
всё к чертям, если что не по ней!

Не века и не тысячелетья,
лишь бы доброе дело свершить,
так все лучшее жило на свете,
так и дальше намерено жить.

Оставайся квакушка квакушкой
и урманом болотный урман —
перед каждой рекой и речушкой
так и так впереди океан.

* *
* *

Зло военного времени
было круто зело.
Нашим юным преемникам
в жизни так повезло!

Молодые и бодрые,
вон черпают они
счастье полными ведрами,
только край принагни.

Знай бери не с опаскою,
если ведра вподъём, —

не как раненый — каскою,
не как я — решетом...

А у завтрашних жителей
там дойдет и до труб
и до кранов-смесителей,
так что пей, счастьелюб!

Лишь бы гарью немислимой
им не застило свет.
А средь нас ни завистливых
и ни слазчивых нет.

Трава-росопас

Знойно марево, травы поджары. у нее, у травы-росопаса,
 Небывалая сушь и сухмень. видно, было кой-что про запас.
 Перелетное пламя, пожалуй,
 может вспыхнуть в лесах
 ежедень. И когда изнемогший просвирик
 уж воронкою листья сложил,
 не она ли, одна из двужильных,
 изо всех напрягается сил?!

От жары ум заходит за разум,
 если, людям унынье неся, —
 что листва! — осыпается наземь
 даже хвоя, хотя и не вся. Напрягается, держится стойко —
 для того родилась и взошла.

Но и в пекле полднейного часа У нее жизнелюбия столько,
 не поникла трава-росопас: что не выжить она не могла.

* *

Прорезались листья из почек еще ни в кого не влюбленным —
 под ласковым вешним лучом — в мальчишество разве одно.
 и вот уже каждый лопочет,
 поди, и не знает о чем. Еще и не пахло медами
 с лугов и опушек лесных;
 ни робости первых свиданий,
 ни сладкого таинства их.

А может, и знает — не знаю,
 не спрашивал, в душу не лез.
 Мальчишкой себя вспоминаю,
 как только облистует лес. И все-таки густо желтела
 предвестница меда — пыльца.
 И если мечты — без предела,
 то, может, и жизнь — без конца...

* *

Пугливый заяц-куролес, Беги за частые кусты,
 не чуя под ногами где сойки всполошились,
 валежника, где, словно беличьи хвосты,
 метнулся в лес хвощи пораспушились,
 да и пошел кругами.

Не мешкай, зайчика, беги где перецелкиванье птах —
 по лесу и подлеску, как музыка сплошная,
 себя от нас побереги где вся в улыбчивых цветах
 и жми на всю железку! прогалина лесная,

Круги всё шире... Дуй, не стой, где капля родниковая
 пока патрон в подсумке. хоронится от зноя
 В тебя и в летнего порой за па-по-рот-ни-ко-во-е
 пуляют межеумки. резное и сквозное.

* *

Я не буду больше молодым.
 С. Есенин.

Редуют волосы, как дым, Я так когда-то ждал весны —
 и все тебя по отчеству. всю зиму бредил встречей!
 Уже не станешь молодым,
 а стариться не хочется. В бараках жил и не тужил
 в уюте стен палаточных
 и звать не знал нехватки сил,
 казалось, недостаточных.

Подуло с южной стороны,
 теплынь с утра до вечера.

И вот вздыхаю тяжело,
гляжу устало на́ руки.
Ужели к старости пошло?
Ужели скоро с ярмарки?

Неужто, люди, все мы так
с морщинами свыкаемся

и, вдруг попавшие впросак,
пред молодостью каемся?

Начну былое ворошить —
не скрою вздоха явного:
во младе надо бы свершить
побольше в жизни главного...

* *
* *

Опять мы, кажется, как дети,
надулись, кудри теребя.
А разберемся на рассвете —
и станет стыдно за себя.

И сердце, нойко изнывая,
больнее прежнего болит
и, наших ссор не признавая,
играть в молчанку не велит,

ну а расстаться — и тем паче,
тем паче, если ты права.

Я рад бы все переиначить —
поступки, жесты и слова —
и ни в глаза, ни за спиною
не раздувать своих обид.

Умри же раньше, чем со мною,
что мне в самом себе претит!

Да пощадит во мне добрушу,
слепое минет стороной
все, омрачающее душу
и помыкающее мной.

Я рос, а где-то ты росла

Сначала — чуточку, а там —
все больше соответствий.
Пройди, родная, по местам,
что я избегал в детстве.

По тем урочищам пройди,
где, дай я только маху,
я упустил бы из груди
сердчишко, словно птаху.

Постой на той крутой горе,
на том юру заветном,
где я на лыжах в январе
захлебывался ветром.

Взойди на яр береговой,
где сам себе на диво
без страху в омут головой
бросался я с обрыва.

Да и тебя порою той,
уралочка-незнама,
гора манила высотой,
звала куда-то Кама,

звала из школы, из избы,
а мы и знать не знали
о том, что наших две судьбы
уже тогда совпали:

ведь мы — канунчики того
нешаднейшего года,
росли как дети одного
с Матросовым народа.

Я рос, а где-то ты росла,
но рос и тот, который
потом содеял столько зла, —
враг, на расправу скорый.

Я так хотел, чтоб он в бою
почувствовал в натуре
святую ненависть мою
на собственной бы шкуре.

Когда орал он: «С нами бог!»,
паля во все орудья,
как знать, и я, поди, бы смог
на амбразуру — грудью.

И ты, наверно, бы смогла —
не дочь России, что ли...
А время шло, вода текла
хлебнуть каспийской соли.

Сверкал под крышей заводской
ствол орудийный новый,
и взгляд станочницы, как твоей,
не по летам суровый.

Весною нам не до весны
и летом не до лета,
пока уральский бог войны
не сжил врагов со света,

пока не сгинула орда,
отвратная народу,
пока не канула беда,
как тяжкий камень в воду.

АЛЕН БОСКЕ



Ален Боске — известный современный французский поэт, романист и литературный критик. Его стихи неоднократно печатались в нашей периодике, в том числе и в «Новом мире», а также в различных антологических изданиях. В публикуемой подборке представлены новые переводы его стихов, написанных в разные годы, но связанных между собой общей темой, которая занимает значительное место в творчестве Алена Боске.

Явление дерева

Явилось деревце к нам из такой далекой,
неведомой страны, из тайны столь глубокой,
что мы не знали, как найти к нему подход.
Оно тянулось к нам, пытаясь в свой черед
нам уподобиться. И вот без напряженья
постигло наш язык. Затем телодвиженья,
нам свойственные, научилось повторять.
Когда же обрело и высоту и стать,
то с башнею своей, покрытою корою,
оно сравнило нашу хрупкость, и порою
казалось нам, что мы две веточки его,
что, рядом с ним живя, и слова одного
нельзя произнести... И ввысь оно стремилось,
а мы все ждали птиц, на их надеясь милость,
в то время как оно шептало иногда:
«Играть не вздумайте в людей — не то беда,
и мифы сочинять не вздумайте при этом:
здесь только я могу считать себя поэтом».

Фрагмент

Я — запятая:	фрагмент теоремы,
вам текстом стать надлежит.	которую надо еще доказать.
Я — глаз:	Я — пепел,
это вам уж решать,	я — колос:
принадлежит ли он птице,	все выжжено,
рептилии	все возродится.
или туману.	Не требуйте только,
Я только осколок	чтобы я стал выступать
какой-то столицы,	в роли провидца.

Рентабельность поэта

Разочарованы? Поэт к услугам вашим,
дешевле, чем таксист, дешевле машинистки;
к тому же если он найдет вас симпатичным,
то и задаром согласится поработать.

Сообщите возраст ваш, где жили, где учились,
чем занимаетесь, и через час иль два
он вас придумает иным: другая жизнь,
неведомые прежде чувства, некто новый,

кто слился с вами или хочет вас покинуть,
и наконец душа: что может быть отрадней
и правомернее? Одно не забывайте:

большими дозами поэзию глотать
не стоит, это даст не тот эффект. И лучше
к услугам прибегать присяжного поэта.

Персонажи

До наступления зари все персонажи
из книги будущей уходят, чтоб скитаться
по улицам, где дух иронии сквозит,
скитаться среди тех, кто создан был из плоти.

Легко их узнают по трепету в глазах,
и по рукам в чернильных пятнах, и по лицам
в словесной шелухе. Совсем не в радость им
вдруг обретенная свобода: так непросто

жить в соответствии с придуманной судьбой
героев рукописи! К вечеру они
домой смущенно возвращаются: их место

среди вороха страниц, среди стихов и прозы —
там их пристанище! Великодушный автор,
сердиться перестав, впускает в книгу их.

Имя

Без моих слов, без моих легенд
был бы я безымянным,
как поцелуй безответный,
как глаза, лишённые взгляда.
Мне слова помогают
возбудить в тебе любопытство
или, если удастся, растрогать тебя.
От строки к строке
я тебя приобщаю

к моим радостям,
этим летающим рыбам,
к моим горестям,
этим нахмуренным кленам,
что из земли вырывает
поднявшийся ветер...
И, понимая меня,
ты мне даешь
имя.

Перевел М. КУДИНОВ.



ПОНТЕР ГРАСС

★

МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ*

Роман

А что, если переписать начатую рукопись: 28 января 1955 года его переправили из ГДР в Федеративную Республику. Два года спустя суд присяжных в окружном мюнхенском суде возбудил против него дело. (Он расстреливал и вешал солдат без суда и следствия.) Прокурор потребовал восемь лет тюрьмы. Приговор гласил: четыре с половиной года заключения. Его кассационную жалобу отклонили, и Шёрнер отсидел свой срок в тюрьме Ландсберг на Лехе. Сейчас ему семьдесят и он живет в Мюнхене. Таковы факты, (Или то, что зовется фактами.)

Шербаум подошел ко мне.

— Я хочу вас предостеречь. Веро что-то задумала. И она это выполнит.

— Спасибо, Филипп. А что еще новенького?..

— Некоторые трудности... Но повторяю: раз Веро что задумала, она это выполнит.

— Вам надо расслабиться. Почему бы вам не поболеть недельку, не отойти...

— Во всяком случае, вы теперь в курсе. Я против того, что она задумала.

(У него усталый вид. Ямочки исчезли. А я? Кого интересует, как я выгляжу? Нахожу языком маленький след от ожога на нижней губе и убеждаюсь, что ранка зажила.)

Третье угрожающее послание было засунуто в виде закладки в мою книгу — второй том «Писем к Луцилию». Она изъясняется более кратко: «Мы требуем покончить с соглашательской политикой». Нашла, что прочтения заслуживает во семьдесят второе письмо против страха смерти: «Я больше о тебе не тревожусь...»

Хоть бы мороз ненадолго ослабил свою хватку, хоть бы опять пошел снег во всех районах города, хоть бы он окутал город снежным покрывалом и прикрыл бы все и вся, хоть бы, наконец, снег заглушил все угрозы.

Без всякого предупреждения она пришла, нет, оккупировала мою квартиру.

— Я должна с вами поговорить, обязательно.

— Когда именно?

— Сейчас, немедленно.

— К сожалению, это невозможно.

— А я не уйду, пока вы...

В общем, я прервал едва начатую работу, более того, поспешно захлопнул рукопись, ведь ежели подружка моего ученика хочет поговорить со мной «обязательно» — я должен превратиться в слух, в одно сплошное педагогическое ухо.

— Что произошло, Вероника? Кстати, большое спасибо за ваши краткие и столь замечательно недвусмысленные письма.

— Почему вы путаетесь под ногами у Флипа? Разве не понимаете, что он должен это сделать обязательно? Неужели вы вечно будете все портить, качать, как маятник, — с одной стороны... с другой...

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 5—7 с.г.

- Это вы уже однажды сформулировали более метко: я — соглашатель.
- От вашего реакционного жеманства просто тошнит.

Она села. При всей выдержке я чувствовал себя не в своей тарелке и стал выкладывать аргументы неуверенно — но у меня не было другого выбора, — аргументы эти, с одной стороны, были направлены против плана Шербаума, с другой — отчасти признавали его правоту. Так складывалась наша беседа: она заявляла «обязательно», я советовал лучше употребить выражение «необязательно»; ей все было ясно, а я нагромождал противоречащие друг другу точки зрения, не испытывая в них недостатка.

— Ясно как божий день: капиталистическая система эксплуатации должна быть уничтожена.

— Это зависит от точки зрения и от более или менее оправданных интересов различнейших групп и объединений. Что ни говори, мы живем при демократии...

— Ох уж это ваше плюралистское общество.

— И у учеников тоже есть свои особые интересы и они должны выражать их более четко. Например, в школьной газете...

— Детские забавы!

— Разве вы не предлагали Филиппа в главные редакторы?

— Раньше я сдуру считала вас левым...

— ...и даже выступили с речью...

— ...но с тех пор как вы пытаетесь внушить Флипу неуверенность в своих силах, я поняла, что вы доподлинный реакционер, и притом реакционер того сорта, который сам не предполагает этого.

Она все еще сидела в своем коротком пальтишке с капюшоном. («Не хотите ли снять пальто, Вероника?») Сидела не сдвинув колени, как это делают девушки, а по-мальчишески, расставив ноги в ядовито-зеленых колготках, говорила в нос, и потому казалась, будто она хнычет, хотя она намеревалась устроить мне разгром. (Надо решить, насколько я левый: ведь я нахожусь левее моего зубного врача — «не правда ли, доктор, с этим и вы согласитесь?», — зато Шербаум стоит левее меня, но пока он не решился сжечь таксу, правее Ирмагд Зейферт, которую, однако, нельзя считать более левой, нежели Веро Леванд; а коли так, где же, собственно, Веро обретается?) Хотя она пришла ко мне одна, за ней выстроилась целая группа!

— Мы требуем, чтобы вы раз и навсегда оставили Флипа в покое.

Я говорил, обращаясь к ее каучуковым подметкам, стоящим стоймя, нет, противостоящим мне:

— Будьте благоразумны. Его убьют на месте. Западные берлинцы его убьют.

— В определенных ситуациях жертвы не избежать.

— Но Филипп не мученик.

— Мы требуем, чтобы вы раз и навсегда прекратили его деморализовывать.

— Я не исключаю, что вы хотели бы превратить его в мученика.

— А я хочу, чтобы вам было ясно: я люблю Флипа.

(А я ненавижу признания, ненавижу жертвы. Ненавижу символы веры и вечные истины. Ненавижу все однозначное.)

— Милая Вероника, если вы по-настоящему любите своего Филиппа, как вы это сейчас с похвальной открытостью признали, то именно вы должны помешать ему исполнить задуманное.

— Флип принадлежит не только мне.

— Помните то место в брехтовском «Галилее», где писатель говорит, что народ, который нуждается в героях и в героических подвигах, достоин сожаления.

— Нуконечно. Нуразумеется. Все эти места я знаю наизусть. Флип, как попугай, повторяет ваши побасенки. Иногда мне кажется, что он вообще разочаровался в своем плане. Вот и еще одна среда прошла — и опять ничего. Теперь новое-новое: сперва он намерен оглушить собаку лекарствами. Половина эффекта пропадет. Вы его переделали на свой лад. Парень совсем размяк. Одолели сомнения. Возможно, скоро заревет.

Я предложил подружке Филиппа сигарету. Пальто с капюшоном она упорно не желала снимать. Мне не оставалось ничего иного, как **ходить вокруг да около**

и рассказывать разные истории, начинавшиеся словами «как-то раз...». Конечно, я рассказал и о себе:

— Да, раньше и я считал: если ты от чего откажешься — конец авторитету...

Я говорил о жизненных крушениях, о том аде, который зовется штрафным батальоном, о разминировании без огневого прикрытия.

— И хотя я не погиб, время меня сокрушило, я приспособился. Постоянно искал компромиссы. Цеплялся за здравый смысл. Так отчаянный главарь шайки превратился в умеренного штудиенрата, который вопреки всему считает себя прогрессивным.

Я хорошо говорил, потому что она хорошо слушала. (Возможно, из-за того, что Веро дышит ртом, кажется, что она само внимание. Можно сказать, жадно внимает тебе.) В моей однокомнатной квартире — тут тебе и кабинет, тут тебе и гостиная, тут тебе и спальня — установилась особая атмосфера: мутная смесь изрядного самосожаления и мужской меланхолии (под соусом — герои устали). Я уже хотел было вытащить из недр памяти несколько цитат из Дантона, хотел наполнить пузыри на губах текстом — настоятельной просьбой о нежном участии, уже собирался предложить разделить мое одиночество. Однако когда Веро Леванд в своем пальтишке с капюшоном вдруг поднялась со стула и бросилась на берберский ковер, я буквально одеревенел. (Она была от меня в трех с половиной метрах — слишком большое расстояние.)

Перед уходом Веро я снял с ее пальтишка с капюшоном несколько ворсинок — из моего ковра вылезает ворс.

Отказаться — признать себя несостоятельным — расписаться в этом. Уйти в себя. Умыть руки. Предпочесть всему чистое созерцание. Погрузиться в размышления. Ничем не возмущаться. Ведь нет даже течения, против которого стоило бы плыть; только вонь от множества стоячих водоемов, пусть даже изобилующих рыбой, и каналы, движение в которых регулируется. Сейчас я не гляжу на это сквозь пальцы, вгляделся хорошо. И знаю теперь, что вода убывает здесь, если там она прибывает. Стало быть, надо взорвать шлюзы. (Тогда нам объяснят, что они и без того собирались перейти на железнодорожное сообщение. Что транспорт можно повести в обход... «Мы просили бы вас в ходе запланированных вами эксцессов, называемых также революцией, первым делом разрушать те учреждения и промышленные комплексы, которые в рамках нашего долгосрочного планирования и без того предполагается заморозить. Всего вам доброго во время этой работенки. Не исключено, что она окажется утомительной».) А может, сломить Шербаума, пока он сам не сломится? Глобальная профилактика — остановить Шербаума!

«Послушайте, Филипп. Что было, то было — я переспал с вашей девушкой на моем берберском ковре. Вот какая я свинья. Пользуюсь тем, что предлагают. Ибо предложение исходило от нее. Честное слово. Вы должны больше заниматься Веро. А вы только и говорите что о таксе, которую вы еще неизвестно когда обольете бензином и сожжете. Веро этого мало. Вы должны наконец решить: либо собака, либо любимая девушка».

(Что мне с того, что Шербаум махнет рукой: «Меня не волнуют ваши забавы на ковре. Стенография куда интересней».)

На школьном дворе я заговорил с Шербаумом о все возрастающем числе демонстраций против войны во Вьетнаме.

- Завтра еще одна. На Виттенбергплатц.
- Ну да. А после все разбегаются по своим делам.
- Говорят, в демонстрации примут участие пять тысяч человек.
- Выпустят пар, только и всего.
- Мы могли бы пойти вместе. Я и без того собирался...
- Не выйдет. Завтра у меня стенография.
- Тогда мне придется одному...
- На вашем месте я так и поступил бы. Вреда, во всяком случае, не будет.

И Шербаум превращается в стоячую воду. Поскольку мир его травмирует, мы прилагаем усилия к тому, чтобы он жил под местной анестезией. (В конце концов родительский комитет и педсовет согласятся создать для учеников курилку — отведут совершенно определенное место за крытой стоянкой для велосипедов.) Все останется по-прежнему: отказаться — признать себя несостоятельным — расписаться в этом... Или же читать письма Сенеки Луцилию и разговаривать по телефону с зубным врачом: стойки промеж себя.

— Послушайте, доктор, старый бородач говорит: «Более того, философ не может жить без государства, даже если он живет в уединении...» Меня прямо-таки тянет уйти со службы и давать частные уроки.

Зубной врач назвал мое желание уйти в отставку изворотливостью софиста. Когда я сказал, что ему, мол, хорошо — его приемная ломится от народа, он напомнил, что Сенека говорил: «Все преходяще». Большое число пациентов доказывает, по мнению зубного врача, что его деятельность полезна. А мою меланхолию он назвал старомодной чепухой (она и впрямь какая-то странная: вроде бы ее вызвал непреднамеренный коитус).

(«Пора вам возобновить прогулки вокруг Грюневальдского озера или, по крайней мере, начать играть в настольный теннис...») В лекции по телефону он сказал еще:

— Вы, конечно, знаете, что учение стоиков рассматривает мир как самое большое государство; уход с государственной службы всегда значил: освободиться для служения миру, обязательства по отношению к которому являются важнейшими.

Я упорно продолжал брюзжать:

— Но ведь все это гроша ломаного не стоит. Что мы делаем? Меняем расписание.

На это он возразил сентенцией из семьдесят первого письма:

— «Будем усердны и упорны!»

Я напомнил ему о том, что и Шёрнер-ни-шагу-назад угощал на мурманском фронте своих полубледневших солдат изречениями наподобие сенековских: «Арктика — не фактор».

Пациентам пришлось еще подождать.

— Ни один философ не огражден от ложной хвалы. Мудрецу это безразлично. В день своего провала на выборах в преторы Катон играл в мяч на Марсовом поле. И Сенека говорит...

— Нет. Хватит цитат! Ваш Сенека чуть ли не всю жизнь вел правительственные дела кровавой собаки Нерона и писал ему цветистые речи. Только на старости лет, когда в нем угасли страсти, он стал мудрым. Предаваться безделью и не моргнув глазом взирать на мирские горести. Увольте, доктор! Я не отдам на растерзание моего ученика. Пусть идет к черту все их стоическое спокойствие!

В трубке раздался смех зубного врача.

— Таким вы мне больше нравитесь. Кстати, мальчик посетил меня совсем недавно, всего два часа назад. Об инъекциях для собаки и не заикался. По моему совету он решил ознакомиться с «Письмами к Луцилию». Как вы думаете, что этот парнишка там вычитал? Ну? Как вы думаете? Ваш ученик нашел, что Сенека так же оценивал римское общество времен упадка, как Маркузе — капиталистическое общество потребления. Вы припоминаете — в сорок пятом письме говорится: «Может, они и нашли бы необходимое, если бы не искали лишнего...» Я посоветовал мальчику и впредь, читая Маркузе, обращаться к писаниям старого стоика.

Положив трубку, я остался один на один с животрепещущим вопросом: неужели он раздумал? Слегка раздосадованный, прикинул: неужели то был всего-навсего холодный бенгальский огонь! И из-за этого ты волнуешься, говоришь горькие слова, выходишь из себя. Разочарован ли я? Если он и впрямь, во что я не могу поверить, изменит своим убеждениям, если он — а это как раз вполне возможно, хотя маловероятно — уступит или пойдет на попятный — надеюсь, этого не случится, впрочем, я могу его понять, — я постараюсь не показать своего разочарования «Вы достойны восхищения. Филипп. Из разумных соображений отказаться от смелого поступка значит проявить еще большую смелость, принести еще большую жертву».

Шербаум остановил меня после уроков:

— Веро была у вас. Я вас предостерегал.

— Не важно, Филипп. Она обязательно хотела поговорить со мной. Это ее слова.

— Вы и так теряете столько времени со мной, ведь я все еще не могу решиться.

— Мы бьемся, стараясь найти правильное решение. Поэтому и вашей подруге следовало предоставить шанс выслушать мой совет.

— Ну и что? Она отколола свой любимый номер?

— Вела себя довольно развязно, но я к этому привык.

Шербаум шел рядом со мной, делая то большие, то маленькие шажки. А я, переходя от дерева к дереву, мучительно размышлял: не проболталась ли она... Прикинулась эдакой сироткой и нажаловалась... Он лез ко мне... Сделал ерш, намешал водку с кока-колой... Хотел стянуть с меня колготки... Я уже рисовал себе, чем это пахнет для меня. Принуждение к сожительству несовершеннолетней, да еще использование служебного положения... И придумывал броские заголовки для «Бильд-цайтунг»¹: «Школьный урок на берберском ковре...», «Штудиенрат любит ядовито-зеленые колготки...», «Каждый раз, когда она говорит в нос...» И уже сочинял в уме хоть какое-то объяснение для смущенного школьного директора, но тут Шербаум остановился. (Вид у него был измученный. И движения беспокойные. Никогда он не мерз, но на этот раз его познабливало. И он слегка шепелявил, что уже отметил мой зубной врач.)

— Веро хочет вас доконать. Переспит с вами, чтобы вы перестали меня отговаривать. Ей это нипочем.

(Я, кажется, что-то сказал? Нет, я опять схватился за очки. Дурацкий рефлекс, словно от фразы, сказанной в лоб, могут запотеть стекла.)

— Разумеется, я пытался отговорить ее от этой глупости. Во-первых, Веро наверняка не в вашем вкусе, а во-вторых, вы побоитесь путаться с несовершеннолетней. А может, нет?

(Он оскалил зубы: мой Шербаумчик, который обычно весело ухмыляется, двусмысленно скалил зубы.) Я скрыл свои чувства за маской шутивого превосходства. Не отвечая на его реплику, может ли меня привлечь Веро Леванд в известных ситуациях, я стал насмешливо жаловаться на опасности, нередко подстерегающие учителей:

— Не всегда легко, Филипп, быть у всех на виду, и притом всегда на высоте!

А позже я спросил Шербаума прямо, перейдя, как и подобало педагогу, на свой обычный серьезный тон:

— Но коли у нас пошел такой откровенный мужской разговор, скажите — вы находитесь с вашей подругой в интимных отношениях?

Шербаум сказал:

— Сейчас нам не до того. История с Максом сильно отвлекает нас. И потом, для нас это никогда не было главным.— И вдруг он остановился и стал разглядывать голые каштаны, которыми был обсажен школьный двор.— Тут я, наверно, чего-то недопонимаю. Вероятно, женщинам это необходимо регулярно, иначе у них заходят шарики за ролики.

— Одним словом, Филипп, не беспокойтесь о вашей подруге. Даже если она опять захочет «обязательно» поговорить со мной, я буду твердокаменным. Но Шербаум волновало совсем другое.

— Не в том дело. Если вам так уж обязательно с ней, пожалуйста. Я не сексуально озабоченный. Но только я не хочу, чтобы эта дурь, эта чепуха была как-нибудь связана с Максом. Это совершенно разные вещи. И смешивать их нельзя.

С преувеличенным прилежанием я склонился над моей рукописью, чтобы замаскировать ожидание (похоже на то, как монтер Шлоттау копался в своих электромеханических схемах, с тем чтобы отвести войска с фланга во Ржеве,— в общем, топтание на месте). А в промежутках я придумывал короткие предло-

¹ Бульварная газета, которую издает многомиллионным тиражом концерн Шпрингера.

жения. Не хотите ли снять пальто, Веро?.. Как мило, что вы пришли и нарушили мое одиночество... Должен признаться, что я, каким бы сильным ни было мое влечение, намереваюсь в дальнейшем противостоять вашей приводящей в оторопь непосредственности. Правда, я не прочь, но это невозможно — не должно — не нужно делать. Нам необходимо вместе научиться воздержанию... Хотите, я вам кое-что прочту?.. Вот несколько писем жене Георга Форстера — выдающегося человека, хотя он и потерпел трагическое фиаско, а жена — к тому времени он лежал больной в Париже — уже списала его со счетов; она в ту пору жила с другим... Не хотите, чтобы я прочел? Лучше, чтобы я рассказал? Потому что мой голос хорошо звучит? О войне? О том, как я совершенно один, отрезанный от всех, очутился в рощице позади русской линии фронта? Не хотите о войне? Хотите услышать о моем жениховстве?.. Кстати, вы все больше напоминаете мне мою тогдашнюю. Правда, она не дышала ртом, но вполне могла бы. Такая целеустремленно-прямолинейно-несгибаемая. Например, она спуталась с заводским электромонтером для того, чтобы узнавать у него — пока он развлекался с ней, стоя между строительными плитами, — узнавать у него, что задумал ее отец, который во время войны сперва под Мурманском, потом в Курляндии, а потом на юге Украины... Ах да, мы решили не говорить о войне... Может быть, угостить вас сигаретой? Так вот, этот заводской электромонтер сконструировал электромеханическую систему переключения для огромного ящика с песком. Не надо садиться на ковер. Он линияет, Веро... И притом весьма хитрую систему. Вы что-нибудь смыслите в переключениях, в системе централизации рычагов и стрелок и в аппарате сигнализации?.. Но пусть это останется между нами, Веро... Слышишь? И мне, правда, не надо остерегаться?

Под вечер пришла Ирмгард Зейферт. И она хотела поговорить со мной «обязательно». И она не желала снимать пальто. Стоя в пальто, она сказала:

— Одна ученица — думаю, имя называть излишне — намеками дала мне понять, хотя я запретила ей об этом говорить, но все же я хотела попросить вас, Эберхард, объясните мне, каким образом вы позволили себе попасть в такое двусмысленное...

Почему я был так спокоен?

— Милая Ирмгард, полагаю, что болтливая ученица, намекавшая бог знает на что, — это фрейлейн Леванд. На что же она намекала? И почему вы не садитесь?

Ирмгард Зейферт внимательно разглядывала мой берберский ковер.

— Эта дуруха поймала меня сразу после конца уроков. И, как обычно гнусява, спросила: «А вам нравится ковер, который лежит перед письменным столом господина Штаруша?..» Когда я сказала, что это ковер берберский и, стало быть, отличного качества, то услышала в ответ: «Но он лезет...» И чтобы я могла убедиться, сняла со своего пальто несколько ворсинок, которые вполне могли быть от вашего ковра. Что вы на это скажете?

(Она положила тебя на обе лопатки. Сперва распалила, как старого павиана... а потом продала. Молчок! Будьспок! Тип-топ!)

Я начал смеяться. Мне правда было смешно, когда я вспомнил, как снимал очки — дышал на стекла — протирал стекла.

— Девчонка знает, чего она хочет. Возможно, что условия в семье, окружающая среда сделали ее такой своенравной и что именно этим вызваны ее столь впечатляющие, хотя и дерзкие выходки. Вот почему она, значит, каталась на этом ковре! — Я покачал головой. — Она пришла ко мне. Позавчера. Без предупреждения. Хотела обязательно поговорить со мной. Не дала себя выставить. Села там, где вы сейчас стоите, в пальто... А вы не хотите снять пальто, Ирмгард, не хотите сесть?.. И взяла меня в оборот, да, обругала самыми последними словами. Я должен оставить в покое ее Флипа. Я — реакционер, качающийся, как маятник... Представьте себе, она так и выразилась: вы качаетесь, как маятник. Смех и многократное повторение этого вульгаризма. И так далее и так далее. Под конец она бросилась на ковер. Я невозмутимо смотрел на нее. Предложил сигарету. Закурил сам. Наука о поведении утверждает, будто совместный перекур ослабляет агрессивные инстинкты. Говорить было больше не о чем.

И когда девочка уходила, я — не предполагая, как она это использует, — обратил ее внимание на то, что мой ковер, не выдержав такого яростного натиска, оставил на пальтишке с капюшоном несколько волоконцев... Вот и все.

Ирмгард Зейферт решила мне поверить. Сняла пальто, но все еще не сядилась.

— Представьте себе, Эберхард, эта дуреха спросила меня буквально так: переспала ли я с вами на этом линияющем берберском ковре?

Сразу после этого мы сели с Ирмгард на тахту и закурили. Коротали вечер под приглушенные звуки проигрывателя (Телеман, Тартини, Бах) и воскрешали прошлое, что, увы, не возвращало нам наши семнадцать лет. Как мы ни держались за ручки, как ни прижимались ладонями, расстояние между нами все росло; непонятно было только, как могла так растянуться моя тахта.

Я громоздил эпизод за эпизодом из истории моей шайки, она писала и писала донос на того крестьянина в Гарце, и при этом каждый раз каллиграфическим почерком; я углубился в дебри, описывая, как мы разрушали алтарь из бокового нефа в одной католической церкви, и пытался нарисовать общий вид железной арматуры внутри гипсовой псевдоготической мадонны; она утверждала, что и второй донос — вернее, напоминание, потому что первый прошел незамеченным, — послала опять же заказным письмом в Клаусталь-Целлерфельд; я вспоминал, как трудно было управляться с шайкой подростков, и доказывал, что присутствие в шайке девочки привело к предательству; она разъясняла боевые качества противотанкового гранатомета; хотела, но не могла понять одного — неужели именно она обучала стрелять из этого оружия ближнего боя четырнадцатилетнего подростка? Ну а когда я попытался сбросить с нас обоих венки вечнозеленых воспоминаний, рискнул заговорить о Веро Леванд и о моем линияющем берберском ковре, Ирмгард Зейферт, отмахнувшись от позавчерашних открытий Веро на ковре, объявила их бреднями и немедленно нацепила венки снова.

— Поверьте, Эберхард, мне придется встать перед классом и все выложить. Разве я могу учить дальше, скрывая эту ложь, затрагивающую самое существо моей жизни? Да, мне по-прежнему нужен толчок. Признаюсь, я слабый человек. Но лишь только юный Шербаум покажет пример, я последую за ним, наверняка последую. Так больше продолжаться не может.

Я подлил в рюмки мозельского и поставил новую пластинку. Походил по комнате, правда не наступая на берберский ковер, а потом преодолел прямо и молча то расстояние, которое мы сами создали этой говорильней; но когда я без перехода сел рядом с Зейферт, повернулся к ней лицом и правым коленом стал раздвигать ее сдвинутые колени, она быстро и на корню разрушила мой замысел:

— Послушайте, Эберхард. Я и так верю, что вы можете. Не надо доказывать.

Немного позже сквозь короткий смешок, нет, сквозь девичье воркование до меня донеслись слова:

— Будь я моложе и не имей преград как учительница — словом, будь я свободна и намного моложе, поверьте, Эберхард, я остановила бы свой выбор на Филиппе; обнимая его, я вселяла бы в мальчика мужество, любила бы его, горячо любила бы... Ах, если бы я обладала его несгибаемой верой, то не побоялась бы сказать во всеулышание голую правду.

(Они присасываются. Облепили стенки ее аквариума. Живут за счет других и размножаются. Такова же и вечнозеленая омела с ее стекловидными ягодами, которые, если их раздавить, превращаются в стекловидную слизь, да и омела — паразит, хотя верующие считают, что ветка омелы над дверью освящает их дом.)

Ирмгард Зейферт ушла вскоре после полуночи. Под конец мне пришлось принять таблетку арангила. Ни об уже закончившемся курсе лечения у зубного врача, ни о еще предстоящем она не захотела говорить. На пороге поцеловала меня.

— И пожалуйста, не сердись за то, что я наговорила тебе в начале вечера.

(«Какие пустяки. Я еще немножко поработаю».) ...Когда дело дошло до процесса, от шестидесяти шести пунктов обвинительного заключения осталось только два: дело о крепости Найссе, неудавшееся подстрекательство к ликвидации полковника Шпарре и майора Юнглинга. И расстрел обер-ефрейтора Арндта, которого Шёрнер обнаружил спящим в грузовике. Подсудимый сослался на так называемый приказ о «чрезвычайных мерах», на указ фюрера № 7 от 24 февраля 1943 года: «Тот, кто действует смело, не подвергается наказанию и тогда, когда превышает полномочия».

Возвращаясь из советского плена, Шёрнер по совету полиции сошел со скорого поезда Хоф — Мюнхен уже во Фрейзинге, там его встретила дочь Аннелизе. На мюнхенском Главном вокзале наблюдалось скопление бывших солдат вермахта «с целью совершения противозаконных действий»...

Я больше не хочу. Сначала боишься боли, потом мучаешься от боли. Неуютно и передыху нет. Я знаю устройство моей памяти. слова влетают и открывают ящички, где покоятся слова, которые только и ждут своей очереди влететь в другие ящички и открыть их. Да, я все понимаю и, прежде чем сказуемое, раздувшись, займет сцену, лишь киваю. Нуда... Сейчас я пойду спать. Это ложе отвратительно.

Проснуться и найти карандаш. Полная нечувствительность при детальном знании, что такое боль и как действуют болеутоляющие. Эпикур упрекал греческих стоиков, особенно Стильпона², в апатии, в то время как Сенека, почитатель Эпикура (и, вероятно, тайный эпикуреец), все же призывал, что он чувствителен к несчастьям, хотя преодолевать эти несчастья его заставляет мудрость, а не *impatientia*³, неумение страдать, свойственное киникам. Что касается меня, то при малейшей зубной боли я хватаюсь за арантил: несчастье — то же самое, что зубная боль!.. Могло ли так случиться, что Нерон, последовательный ученик Сенеки, велел поджечь Рим, потому что у него болели зубы?

Стало быть, спать не в кровати, а на этом мерзком ковре. Гнаться за сном, как будто это что-то вещественное, поговорим, Веро. Вы же не можете просто лежать на моем берберском ковре... Почему нет?.. От него несет козлом?.. Не чувствую. У меня в носу полипы... А если я тоже лягу на эту шкуру?.. Тогда будет вонять вдвойне... Но я вас предостерегаю... От чего предостерегаете?.. От меня на ковре... Но вам ведь не позволено... Кто сказал?.. Я несовершеннолетняя, и вдобавок вы используете свое служебное положение. Мои родители развелись. Я вечно мотаюсь между ними. Кроме того, я закричу и расскажу все вашему Архангелу. Вам нельзя! Никак нельзя!

(На моем ковре мне все можно. Даже лежать одному, гнаться за сном и найти уведенную возлюбленную, которая сжалась до размеров жирных катышков пыли и угнездилась в этом козлином ковре. Иди-сюда-иди!)

Моя ошибка: я не должен был позволить тебе остаться в пальто, берберский ковер чересчур новый — он еще долго будет линять. Теперь о нас знают все, и госпожа Зейферт говорит: «Будьте добры дать объяснения, коллега Штаруш. Мне не хотелось бы опять сообщать об этом куда следует, ведь уже в семнадцать лет, незадолго до конца войны, я сочла своим долгом донести в соответствующие инстанции на крестьянина, который покушался на мою честь...» Скажите, Веро, почему вы всегда и везде носите ядовито-зеленые колготки?.. Чтобы лучше вас слышать.

И еще я обезвреживал мины на открытой местности. И блуждал среди базальтовых глыб на Майенском поле. И еще: видел на телеэкране розовый гипс для слепков, видел свою пасть, залепленную розовым гипсом для слепков. А потом увидел похороны на Лесном кладбище в Целендорфе. Отец Шербаума и я вели под руки за гробом шербаумовскую мать. За спиной у меня шептались: «Там впереди — его учитель, он был его учителем...» В конце концов меня сморил сон на берберском ковре. К счастью, я заснул.

² Стильпон (III в. до н. э.) — греческий философ, представитель мегарской школы.

³ Вестрастие (лат.).

Утром, бреясь, подумал: пусть действует. Я буду молча глядеть на него и хранить спокойствие.

Утром я соскребал с себя отросшую щетину и все отросшие за ночь добрые намерения, и тут как раз позвонил мой зубной врач:

— С этим покончено. Ваш ученик отказался от своего плана.

(Выплюнуть горькую слюну. И громко возликовать в трубку:

— Ну слава богу! Честно говоря, я ничего другого не ждал, люди всегда пасуют в последнюю минуту.)

— Он отказался исключительно из-за вас. Не стройте себе иллюзий. Мальчик объяснил: он не хочет, как вы, в сорок лет торговать вразнос подвигами, совершенными в семнадцать; ведь именно этим, по его словам, вы и занимаетесь.

(Я обратился к Сенеке, получил от него подкрепление в виде цитаты и подвел итог:

— Он повзрослел, стало быть, сломался.)

— Ничего подобного. Он полон планов, планов, которые, как я схотно признаю, могли возникнуть на основе моих осторожных советов. Хочет возглавить школьную газету. Просветительские статьи! Злая сатира! Возможно, даже манифесты!

(«Похвальное решение. Наш совершенно захиревший листок можно сравнить разве что с шутивными газетками, какие выпускают по случаю капустников».)

— Какая цель, нет, какая задача!

(«Вот уже много месяцев как у нас дебатруется один-единственный вопрос: разрешено ли ученикам курить на переменах и где именно?»)

— Ваш ученик будет бережно относиться к своему времени и формировать свое сознание.

(Что говорил воспитатель малолетнего Нерона: «Правильно, Луцилий! Посвяти себя себе, береги время, не растрачивай его попусту».)

— Кстати, мне придется поставить мальчику пластинку на передние зубы. Завтра же приступлю к лечению. Вы ведь знаете, при позднем вмешательстве редко удастся исправить дистальный прикус. Лечение требует от пациента большой выдержки. Я предупредил его: мы добьемся успеха только при том, что вы, так сказать, совершенно освоитесь с инородным телом в полости рта. Он обещал набраться терпения. Много раз обещал.

(«Он все равно не сдюжит, доктор. У него ни на грош стойкости. В этом мы могли сейчас убедиться. Да и со школьной газетой. Тоже не выдержит. Уже после трех номеров... Хотите, поспорим, доктор? Будет заниматься курилкой и ничем больше!»)

Мой врач сказал:

— Поживем — увидим! — И напомнил о моем прикусе. — И мы тоже скоро опять начнем. Маленькая передышка, очевидно, пошла вам на пользу. Кстати, заметим, что дистальный прикус ученика является как бы антиподом по отношению к настоящей — как же иначе, раз она врожденная! — прогении учителя.

Он всегда прав. Само благоразумие. Пусть даже его прогнозы не оправдываются, свои ошибки он сочтет частичными победами. Он относительно уверен в своем деле. Ходит на лыжах, играет в шахматы и с удовольствием ест говяжью грудинку. Он тщательно готовится к своим не слишком хорошо посещаемым лекциям в народных университетах Штеглица, Темпельхофа и Нойкельна. Такого, как он, поражения не убьют. Уверенный в том, что со своей профессией он не пропадет, дантист дружелюбно возвещает: «Кто следующий? Прошу...»

После собрания — утомительная говорильня: речь шла об обеспечении учебными пособиями — я сообщил Ирмгард Зейферт:

— Между прочим, Шербаум отказался от своего плана. Он займется школьной газетой.

— Стало быть, опять победил так называемый здравый смысл. Bravo!

— А кого вы хотели бы видеть в роли победителя?

— Я сказала: «Bravo! Да здравствует школьная газета!»

— А вы, случаем, не ждали, что Шербаум проявит то самое мужество, которого так не хватает ни мне, ни вам, да, да, вам тоже?

— А я-то уже решила начать сначала,

— С нуля, не так ли?

— Хотела встать перед классом и прочесть ребятам эти ужасные письма строчка за строчкой... Но теперь уже не стоит. Я тоже отказываюсь.

— Зря отчаиваетесь. Пожертвуйте письма главному редактору Шербауму. Пусть напечатает их в школьной газете. Чем не гвоздь номера?

— Вы хотите причинить мне боль. Не правда ли?.. Вы причинили мне боль.

Она страдает чересчур охотно, чересчур легко, чересчур громко. Теперь мне придется просить прощения.

— Вырвалось, сказал не подумав, давайте забудем...

Недавно мы слушали у нее грегорианские хоралы. После «Аллилуйи» она сказала: «Это словно сияние святого Грааля. Не явлено ли нам здесь глубочайшее таинство пасхи? Как вы считаете, Эберхард? Кровь агнца могла бы принести нам избавление...» Когда я снял ее долгоиграющую пластинку и поцарапал открыткой для пива, ее удивлению и обиде не было предела. «Рассказывайте это своим декоративным рыбкам, перед тем как они подохнут». «Да,— сказала она,— пора переменить воду».

Шербаум созвал первое собрание редколлегии. Было решено не помещать в газете объявления, чтобы сохранить самостоятельность. Кроме того, листок надо было переименовать.

— Ну, Филипп, как же будет называться ваша газета?

— Я предложил назвать ее «Азбука Морзе».

— Понимаю.

— Моя первая статья будет о группе сопротивления Гельмута Хюбенера. Я хочу сравнить деятельность Хюбенера с деятельностью Кизингера в сорок втором году.

— А как поживает Макс?

— Спасибо, уже лучше. Видимо, сожрал какую-то гадость. И это ему навредило. Но теперь он опять стал жрать.

— А ваш дистальный прикус?

— Мне вставят специальную пластинку. Довольно сложная штукавина. Но я это вытерплю. Наверняка.

— Ну конечно, Филипп... С завтрашнего дня и я опять начну у него лечиться. Он намерен обточить мне шесть зубов. Пойдем по второму кругу.

— Желаю приятно провести время.

(Мы попытались дружно засмеяться. И нам это удалось.)

При чем здесь бетон? Построить из глубоко эшелонированных книг неприс- тупный бастион. Взять за образец идеальную крепость Вобана⁴. Снова начать работу над рукописью или опять заняться историей Форстера. (Между Нассенхубеном и Майнцем...) Книги и прочие ловушки.

Почему я не купил оба тома в Фриденау? Почему, несмотря на холодную и сырую погоду, потащился в центр, чтобы приобрести книги на Курфюрстендамм? (В наличии был только один том, другой пришлось заказывать.) У Вольфа я купил бы оба.

Выйдя из магазина и преодолев некоторое внутреннее сопротивление, я двинулся к Кемпински. Сухой мороз держался долго, но теперь моросил дождь. На площадке перед кафе почти не было народа, а те, что проходили по ней, не задерживались. Какая-то сила, которую я счел сентиментальностью, но с которой не мог сладить, заставила меня остановиться, выжидая, на том клочке мостовой, который Филипп выбрал в качестве места действия. (Неизвестный в твидовом пальто.) Подняв воротник пальто и поглядывая на часы, я сделал вид — перед кем? — будто у меня здесь назначено свидание. Оттепель и грязный дождь разрушили продырявили-зачернили сугробы, обрамляющие площадку. На мостовой ничего не было заметно. Только сырость, которая проникала сквозь подошвы. Неужели я надеялся обнаружить следы? Здесь в январе 1967 года семнадцатилетнего гитлеровца Филиппа Шербаума стошнило при виде дам, обедавших пирожными.

⁴ Вобан Себастьян ле Претр де (1633—1707) — французский военный инженер, изложил основы фортификации, построил и перестроил триста крепостей.

На террасе сидело не так уж много людей. Ничего похожего на тогдашнее: несколько пожилых женщин, два-три одиноких господина, на заднем плане за сдвинутыми столиками стайка медицинских сестер, а впереди — истинная приманка для глаз — индеец с дамой в экзотических шелковых одеяниях. Они пили чай, но пирожные не ели. Зато Веро Леванд ела пирожное.

Она сидела в своем пальтишке с капюшоном, вытянув ядовито-зеленые ноги, и быстро ложка за ложкой заглатывала ореховый торт со взбитыми сливками. Наши взгляды встретились: я увидел, как она ест... И она увидела, что я вижу, как она ест. Веро не прекратила орудовать ложечкой, хотя я наблюдал за тем, как она орудовала ложечкой. И движения ее не стали ни более быстрыми, ни менее равномерными. А я не снял очки, не стал дышать на стекла, протирать их. Она ела из протеста. Я понимал, что она ест ореховый торт со взбитыми сливками из протеста. Пожилые дамы за соседним столиком пили кофе и не ели пирожные. Ни у одной из дам не было собаки.

- Ну как, Вероника, вкусно?
- Все дорогое вкусно.
- Разве это может быть вкусным?
- Хотите тоже кусок?
- Придется, видно.
- Я угощаю.

Я выбрал шварцвальдский вишневый торт. Веро Леванд заказала еще и для себя:

- Безе со взбитыми сливками.

Мы молчали, глядя в разные стороны.

Когда принесли торт и безе, мы молча принялись за еду. Честно говоря, торт оказался вкусным. На ее пальто с капюшоном уже ничего не было видно. Индийцы рассчитались и ушли. Медицинские сестры, что сидели за нами, время от времени смеялись — через разные промежутки времени, но зато одновременно. Группы западногерманских гостей в прозрачных облегающих дождевиках замедляли шаг на площадке перед кафе, но потом шли дальше — жалели деньги. Электрорадиаторы под потолком террасы не переключили, они работали так, будто все еще стоит мороз. Слева через три стола от нас сел негр в верблюжьем пальто — он сел прямо под радиаторами, палившими изо всех сил. Его знаний немецкого хватило на то, чтобы сказать:

- Порцию шварцвальдского вишневого торта.
- Ну как, Веро? Заказать еще?
- Достаточно.
- Может, что-нибудь полегче? Песочное печенье?

И опять мне не осталось ничего другого как угостить Веро сигаретой «рот-хэндл». Она курила, не глядя на меня. Я курил, не глядя на нее. В паузах вверх поднимались пузыри, в которых могли бы уместиться диалоги на продуваемом ветром рейнском променаде по дороге в Андернах. (Наверно, моя прежняя невеста имеет право участвовать во всем этом на равных — кто сосчитает, сколько раз я сидел у нее за столом незванный.)

- Скажите, Веро, вы были когда-нибудь в Андернахе на Рейне?
- А вы были когда-нибудь в Хапарандо, господин штудиенрат Штаруш?
(Она всегда так говорит, погода здесь ни при чем, это не от насморка.)
- Скажите, Веро, почему вы, собственно, не удалите полипы в носу?
- А почему вы их не выращиваете?

(Теперь она вертит в руках серебряную ложечку; сейчас ложечка исчезнет.)

— Между прочим, фрау Зейферт обратила мое внимание на то, что мой ковер линяет.

- Раньше вы этого не знали?
(Позже, много позже она подарила мне эту ложечку.)
- А теперь я заплачу. Согласны?

На столе лежала листовка: «Гори!»

Мы вышли из кафе, ноги у нас оочечнели, а во рту была приторная сладость.

3

Остались рожки да ножки. Пустые промежутки, которые легко заполнить. Позже стали торговать воспоминаниями. Что-то должно было случиться и частично произошло, но не у нас. Позже стали приходиться неоплаченные счета. Никто не признавался. Позже продолжали проводить профилактику. В каждом Раньше заключено Позже.

Курс лечения верхней челюсти мало чем отличался от курса лечения нижней. Даже сейчас, когда это ушло в область предания и оплачено сполна, мой зубной врач отвечает на все вопросы; вчера я сказал, что он должен признать: при всем его дружелюбии он был со мной довольно резок, иногда обрывал; и тут он излил на меня целый поток красноречия:

— Относительно не важно, что мы говорили — то или другое. Главное, не надо церемониться. Я говорил не то, что вам хотелось бы услышать. И старался, чтобы вы говорили то, что я нахожу правильным, то, на что я наталкивал вас. Даже поправки, внесенные вами позднее — вы любите исправлять ошибки, — это мои же идеи, неверно понятые вначале. Вот видите, вы смеетесь!

Я сказал, что при том множестве пациентов, с которыми он должен беседовать и на вопросы которых он дает ответы, наверняка возникает путаница, память подводит.

— Вы забываете о картотеке. Передо мной ваша карточка — после долгого перерыва и после того, как трудности с вашим учеником удалось ликвидировать, — давайте будем точны: с седьмого по тринадцатое февраля мы лечили вашу верхнюю челюсть и если не полностью выправили, то все же ослабили прогнившую; тогда же я начал заниматься дистальным прикусом вашего ученика Шербаума и сказал, обтачивая ваш коренной зуб: «Милый мой студийернат Штаруш, после того как вы немного успокоились — ведь план вашего ученика, слава богу, расстроился, кстати, мальчик сумел даже меня заставить задуматься, — итак, после всего этого вам пора проститься и с вашими путанными россказнями: этот Крингс, как бы там ни звали его на самом деле, судя по всему, тянет лишь на полковника, обойденного по службе, он, как и многие другие военные, не получившие настоящей профессии, попытался внедриться в промышленность. Подобные случаи нам известны. С этими крингсами мы совсем закрингсовались. Но вашему Крингсу было мало успехов на гражданке, поэтому он в кругу семьи за столом старался выиграть те сражения, которые его начальники проиграли. (Мой парикмахер, в прошлом капитан, предается похожим победным фантазиям, стоя перед зеркалом.) И вот из-за этих хвастливых бредней между полковником и его дочерью иногда возникали ссоры; дочь вы теперь хотите изобразить в виде эдакого монстра, но лично я представляю себе вашу невесту хоть и трезвой девушкой, но отнюдь не сухарем, просто ее все больше и больше раздражали бесконечные любовные похождения жениха...

(Он отточил мне шесть зубов конусом — можно было надевать колпачки. Когда экран не занимали картины, нарисованные моим дантистом, я смотрел по телевизору фильм-концерт «Встреча с Рудольфом Шоком» — его передавала станция «Свободный Берлин». Камерный певец разевал рот, пел, но мне казалось, что он шепчет.)

— Припомните, вы водили тогда «мерседес», привлекавший в предгорьях Эйфеля всеобщее внимание, «мерседес» с откидным верхом, выпуска тридцать второго года. Будучи истинным пижоном, вы часто оставляли свой шикарный старый драндулет на солнце — мол, глядите, — а сами располагались рядом, демонстрируя свой прогенический профиль. Кому придет в голову упрекнуть глупенькую фрау Шлоттау за то, что она втюрилась в драндулет вкупе с его шофером в замшевых перчатках и с подбородком, как у самого дуче? (Тогда в вас еще что-то было.)

И вот случилось так, что однажды в ясное апрельское утро вы проехали через Кретц и припарковали ваш чудо-автомобиль перед еще не оштукатуренным домишком супругов Шлоттау. Резко затормозили, так, что брызги полетели во все стороны, а куры захлопали крыльями. (Ни одно облачко не омрачало глянец машины.) Глава семьи, бравый водитель самосвала Шлоттау, возил бетонную

смесь андернахской строительной фирмы, тесно связанной с близлежащими цементными заводами, он возил бетонную смесь на большую стройку в Нидермендиге и был в дороге, когда вы заявили к Лотте Шлоттау; и если бы водитель самосвала в то апрельское утро не забыл дома свои водительские права, вам и на этот раз удалось бы самоутвердиться. Однако, едва миновав Круфт, Шлоттау хватило своих прав, развернулся и, доехав до населенного пункта Кретц, увидел чудо-автомобиль среди своих кур перед неоштукатуренным домишком; он тоже затормозил (но не так резко) и не стал тщательно, профессиональным оком обозревать «мерседес», вместо этого он быстро шмыгнул в дом, обнаружил свое супружеское ложе занятым, но не стал убийцей, не стал бить посуду, хрипеть, реветь, как разъяренный бык, беситься, он молча повернулся на каблуках, оставив парочку лежать на оскверненной постели, распугал кур, вскочил в свой тяжело нагруженный самосвал, завел мощный мотор, проехал немного вперед, свернул направо, переключил скорости и, подав назад, поставил машину так, чтобы вывалить полторы тонны бетонной смеси аккуратно в открытый «мерседес», в черно-серебристый чудо-автомобиль, в эту быстроходную, известную каждому жителю от Майена до Андернаха козлиную колесницу, гордость Эберхарда Штаруша.

Когда гидравлическая установка постепенно наклонила платформу самосвала, Шлоттау вылез из кабины и стал смотреть, как медленно выползающая смесь заполняет и переполняет «мерседес», как она заливает радиатор с его звездочкой и хоронит под серой массой изящно изогнутые грязезащитные крылья, откидывая верх и багажник с прикрепленной к нему запаской. А потом за бетонным покрывалом скрылись и четыре быстрых колеса. Бетона хватило и на то, чтобы заполнить пространство между автомобильной ямой и участком Шлоттау. Куры склонили головы набок. Шлоттау все еще не произнес ни слова, только прикусил нижнюю губу.

Вот это глыба так глыба! Местные газеты с издевкой требовали, чтобы причудливую окаменелость установили в краеведческом музее в Майене. Пусть это чудище красуется во дворе музея, где всегда был наплыв посетителей, пусть красуется между римским и раннехристианским базальтовым хламом. Школьники целыми классами приходили и глазели на памятник вашего поражения до тех пор, пока пневматические молоты не расколошматили его и не вывезли наконец (за ваш счет). (Даже ваши замшевые перчатки, лежавшие в ящичке для перчаток, Шлоттау навек замуровал в бетон.)

И вдобавок — правда, за это никто не поручится — ваше козлиное дело вы, увы, не завершили. Так, по крайней мере, рассказывали в предгорьях Эйфеля. Совершенно недоказуемый слух. Конечно. Но факт остается фактом: вас уволили. Ваша помолвка расстроилась. И только потому, что у вас хватило наглости угрожать судом по трудовым конфликтам, фирма, боясь за свое реноме, решила выплатить вам компенсацию, хотя цементные заводы наверняка выиграли бы процесс; отец невесты тоже дал деньги — от вас хотели избавиться быстро и, поелику это еще было возможно, без особого шума. Чего бы это ни стоило. Вот как становятся штудиенратами. Ну а теперь полощите...

Даже если тебе смешно, не очень-то посмеешься, когда у тебя разинут рот, когда ты обвешан слюноотсосами и когда у тебя обтачивают зубы. (Пусть болтает вздор!)

Я терпеливо сносил рассказы моего зубного врача, возразил только против некоторых деталей.

— Замечательная выдумка. Но не я, а Крингс ездил в открытом «мерседесе». (Мне достался «боргвард».) И не мою машину, а машину старого Крингса превратили в бетонную глыбу. Не из-за каких-то там амурных дел (хотя не поручусь, что старикан был на них не способен), а из мести: да, бывшие фронтовики из мести использовали бетонную смесь не по назначению. Я все еще полагаю, что Шлоттау не имел к этому отношения. (Старик его окончательно приручил.) Произойти это на большой стройке в Кюбленце. (Одной из тех стеклянных коробок, что воздвигали в середине пятидесятых.) Итак, праздник по случаю окончания строительства. Мы, как поставщики бетона и других строительных материалов, были почетными гостями. Даже тетя Матильда обрядилась в свое черное шелковое. Линда и ее приятельницы были в полосатых летних платьях, хотя на дворе

уже стоял сентябрь. И Шлоттау, который привез старика, — он водил «мерседес» — в своем темно-синем однобортном костюме мог сойти за гостя. По плоской крыше — дом был двенадцатитажный — гулял ветер. Традиционный праздничный веночек пришлось хорошенько закрепить. Разносили пиво в бутылках. Девушки мерзли в прозрачных платьицах. Один раз мы со Шлоттау оказались рядом. Речь артельного старосты каменщиков тянулась бесконечно. И Шлоттау, этот вонючий козел, сказал мне: «Ваша невеста — дамочка что надо. Она мне нравится. Честно, господин инженер. Прошла хорошую школу, этого у вас не отнимешь...» Мне удалось также постоять недолго бок о бок с Линдой, которая перегнулась через перила. (Внизу лежали наши пемзобетонные перекрытия, армированные железобетонные балки, кессонные плиты.) Но думать я думал, а делать ничего не делал. Хотя свидетелей не было, все слушали речь Крингса; хорошая видимость с крыши новостройки развязала ему язык. Глядя в направлении Эренбрейтштейна, он перекрикивал ветер, одерживая очередные победы. Говорил о предательстве под Курском. О неласковой Арктике. О «красном потоке», на пути которого стоикам необходимо возвести дамбу. А под конец дошел до Сталинграда. Его слова, подкрепленные цитатой из Сенеки, прозвучали бодро и прямо победоносно: «Исход этой борьбы еще не решен!» Аплодисментов не последовало, и я услышал шипенье Линды: «Я из тебя сделаю Паулюса, Паулюса!»

Внизу рядом со штабелями наших типовых блоков мы нашли «мерседес», погребенный под быстро застывавшим бетоном. («Поглядите-ка, доктор! Крингс хохочет...») Его не проймешь. «Великолепно! Великолепно! Ну что, Шлоттау? Ваша постановка, не правда ли? Маленькая порция мести поутру. Но теперь мы в расчете? Да?» («И глядите-ка, доктор, глядите-ка...») Не только Шлоттау, который, возможно, все же являлся зачинщиком этой акции, но и другие ее участники, бывшие солдаты в прозодежде каменщиков, громко и дружно ответили: «Так точно, господин генерал-фельдмаршал!»

Вот и вся история забетонированного «мерседеса». Но, быть может, пока я буду полоскать рот, вам придет в голову еще один, третий вариант? Как он вам нравится? Линда сидит за рулем «мерседеса», который установился за самосвалом с бетонной смесью, ибо перед моим самосвалом и ее «мерседесом» закрылся шламбаум...

Первый день лечения, можно сказать, окончился вничью. От зуба к зубу и в промежутках между зубами врач и пациент нанизывали свои противоречившие друг другу версии и теории. Иногда они отдыхали, занимаясь рассуждениями общего характера: о педагогике или о зубоврачебной профилактике среди детей дошкольного возраста. Речь зашла и о Шербауме:

— Представьте себе, доктор, с недавнего времени он стал говорить о себе во множественном числе: «Мы единогласно решили...» — а набросок его первой статьи «Что натворил Король Среброуст» начинается примерно так: «Мы — ученики. Мы учимся в школе совсем неплохо. На нас стоит возлагать надежды. Иногда мы хотим забежать вперед. Это можно понять. На то мы и ученики. Но иногда мы вообще ничего не хотим, потому что уж очень много дряни вокруг. И это тоже можно понять, потому что дряни вокруг и впрямь много, а мы всегонавсего ученики, и ученикам разрешено ставить точку, если вокруг много дряни. Жил да был на свете король, которого ученики прозвали Король Среброуст...»

Но мой зубной врач хотел говорить только о дистальном прикусе Шербаума. Я попытался было заинтересовать его ученицей Веро Леванд, но он махнул рукой:

— Этот случай для специалиста по уху-горлу-носу...

Камерный певец Рудольф Шок пел: «Искать любви любовь велит...»

В первой статье Шербаума (ее так и не напечатали) было написано: «Мы хороший выпуск. Говорят, мы кем-то станем. Но иногда мы не хотим кем-то стать. И это понятно. Ученики, которые не хотят кем-то стать, наверняка кем-то станут. И Король Среброуст не хотел кем-то стать, а потом стал очень даже кем-то...»

Сейчас мне трудно четко и ясно рассказать о создании церкви в бомбоубежище. Уж очень много всего вклинилось (отнюдь не только камерный певец Рудольф Шок и мой зубной врач). Шербаум наступает на меня, потому что он сам отступил. Ирмгард Зейферт зачастила ко мне. Одна ученица катается по моему берберскому ковру, заставляя меня снимать очки, дышать на стекла, протирать их.

Когда я говорю: «Госпожа Матильда Крингс, сестра генерал-фельдмаршала, тетка моей прежней невесты Зиглинды Крингс, пожертвовала деньги на создание подземной церкви в Кобленце...» — я при этом думаю: став главным редактором школьной газеты «Азбука Морзе», мой ученик Филипп Шербаум не сумел напечатать целиком свою первую статью, где сравнивал деятельность национал-социалиста Курта Георга Кизингера в 1942 году с деятельностью борца сопротивления Гельмута Хюбенера, ему пришлось сократить статью, хотя он предусмотрительно вывел Кизингера под другим именем...

Когда я говорю: «Во время строительства железобетонного высотного дома лопнули стекла» (а камерный певец поет арию из оперетты «Летучая мышь»), — когда Матильда Крингс, обозревающая вместе с духовными лицами высокого сана церковь, спрашивает: «Как ты находишь здешнюю акустику, Фердинанд?» — я слышу и Веро Леванд: «Ну давай, old Hardy!..» — а также признания моей коллеги Ирмгард Зейферт: «Я люблю вас, Эберхард» — и даже ее заключительную фразу: «Только не говорите, пожалуйста, что и вы меня любите...»

Пожертвование на церковь и самоцензура, попытка соблазнить и объяснение в любви не противоречат друг другу. Как бы громко Веро Леванд ни называла своего прежнего друга гнилым оппортунистом, как бы настойчиво ни пытался Шербаум втолковать мне, почему ему пришлось уступить доводам членов редколлегии, как бы самозабвенно ни объяснялась в любви Ирмгард Зейферт во время прогулки вокруг Грюневальдского озера, находя такие слова, как «Служа со скорбью — готовая к отречению», я все равно предоставляю слово Крингсу, который проверяет акустику церкви в бункере вслед за камерным певцом, уже проверившим эту акустику.

Крингс процитировал своего любимого Сенеку: «Давайте приучим наш ум хотеть того, чего требует создавшееся положение».

Потом он повторил свое «Арктика — это не фактор» в помещении объемом в пятьдесят тысяч кубических метров, целиком из железобетона, в помещении, которое когда-то защищало немцев против тех, кто имел абсолютное превосходство в воздухе над территорией рейха.

Слова Крингса, произнесенные не слишком громко, прогремели в железобетонной церкви наподобие победоносной сводки о положении в Сталинграде; можно было подумать, что Крингс сменил Паулуса и принял на себя командование: «Военная инициатива опять в наших руках!»

Сегодня мне ничего не стоит поместить моего ученика Шербаума в освященное железобетонное пространство и заставить его публично исповедаться: «Среброуста пришлось вычеркнуть. Они заявили: для первого номера чересчур полемично. Если нападаешь на Кизингера, надо напасть и на Брандта. Говорят, он тогда дошел до того, что носил норвежский военный мундир. Ну тут я им и сказал: «Начхать мне на вашего Кизингера. Но все, что написано о Хюбенере, останется, иначе я складываю с себя полномочия».

(Обозревая подземную церковь, я сказал Линде: «Если мы все же обвенчаемся, то только здесь...»)

Пока они снимали со всех шести обточенных зубов мерку с помощью медной фольги, пока наносили кисточкой на усеченные конусы целительную жидкость «тектор», пока на зубы надевали металлические колпачки, которые должны защищать их от внешнего воздействия — я черпал мужество лишь в зажигательно-веселой «Встрече с Шоком», передаче, стоившей, как я потом подсчитал, сто пятьдесят восемь тысяч марок. Господин Шок получил около десяти тысяч, дирижер по фамилии Айсбрэннер положил в карман три тысячи. Грим, включая шиньоны, парики и собственно грим, стоил четыре тысячи триста марок. Главный ос-

ветитель и его десять помощников получили за шесть съемочных дней пять тысяч шестьсот девяносто восемь марок. Все это я выстроил в ряд. Расходы на оформление, веерообразные пальмы, купленные, взятые напрокат старые костюмы, новые костюмы, а также специально сшитые костюмы, равно как backgrounds⁵ плюс пожарник; лишь dolly⁶ от радиостанции «Свободный Берлин» бесплатно. Впрочем, все это, вместе взятое, мало что говорило о моем самочувствии, когда мне надевали металлические колпачки. Ибо пока шла передача и по мере того как она становилась все более дорогостоящей, меня занимало, в сущности, лишь одно слово — «стусеваться».

Да, мне хотелось стусеваться. Быть ниже травы, тише воды. Уменьшиться до полной незаметности. Как люди, которые быстро исчезают за углом, чтобы закурить, а потом пропадают, потому что они по собственной воле стусевались (но куда?). Стусеваться — это даже больше чем испариться. Возьмем, к примеру, школьный ластик, который, стирая ошибку, стирается сам, так же и я сотрусь на школьном фронте до полной незаметности, останутся лишь только крошки; эта пылинка, нет, эта, нет, та, типичный Штаруш. Он стусевался до конца из-за своего ученика. (Теперь Шербаум винит меня в своем поражении.) Штудиенрат, который целиком растворяется в работе, который хотел все сделать одновременно. Но теперь уже не стоит. («Я разочарован, Филипп, огорчен и разочарован...»)

Лечение успешно продолжалось; спустя три дня, когда врач опять снял с меня металлические колпачки и примерил пробные мосты и когда мне опять наклидали в рот ложкой розовый гипс, я на время возненавидел моего зубного врача. (В тот день по телевизору показывали feature⁷ «Убийство Малькольма Х».)

Когда гипс у меня во рту стал затвердевать, он сказал:

— Закомплексованность, которую вы испытываете по отношению к своей коллеге, объяснима: из-за Шлоттау вы ничего не можете.

Я стал разоблачать его по всем пунктам: он, который необоснованно утверждает, будто намерен ослабить мир глобальной профилактикой, он, который беспрестанно борется против наступления кариеса — во всяком случае, так он себя видит, — он, который громогласно проповедует обязательный осмотр зубов в дошкольном возрасте, он, именно он в часы приема то и дело куда-то исчезает: прячется в уборной. Я сказал ему, что он там делает: быстро, жадно, по-детски, по-звериному набрасывается на липкие сладости и поглощает их в огромном количестве. В этой крохотной каморке он стоя лакомится, громко и торопливо жует, тая от блаженства. А иногда, между одним пациентом и другим, он садится на стульчак и опять же жрет сладости.

— Вы, — сказал я, — вы хотите убедить меня в том, что у меня комплексы, что я, вероятно, чуть ли не импотент, а сами сидите в уборной — вот именно, в уборной — и, причмокивая, сосете сливочную карамель: с влажным блеском в глазах смакуете шоколадное ассорти, брызгая слюной, похотливо грызете глазированные орехи; потом приходите в неистовство из-за того, что кулек пуст, и хватаетесь — вот-вот, хватаетесь — сразу же после ваших оргий за взятый с собой ирригатор «аква», чтобы пульсирующей стружкой воды смыть следы обжорства, следы свинства... И вы считаете себя врачом?

Зубной врач попытался оправдаться — говорил, будто безобразие в туалете не что иное, как научный эксперимент для опробования ирригатора «аква», но даже его помощница захихикала. Потом он заговорил о некоторых навязчивых идеях: при длительном процессе лечения они передаются от пациента к врачу.

— Речь идет о психозах — они заразительны. Вспомните, что вы делали примерно неделю назад, когда отношения между вашим учеником и вами подверглись болезненным испытаниям на разрыв. Как вы переносили боль?

И тут я признался, что, чувствуя себя несчастным, ибо я и впрямь был несчастен и покинут всеми в моем несчастье, впав в глубокое отчаяние, я за каких-нибудь пять минут сжевал две плитки молочного шоколада.

— Вот видите, — сказал он, — ваше несчастье заразительно. — И вместе с помощницей выломал специальный розовый гипс у меня из полости рта.

⁵ Задники (англ.).

⁶ Операторская тележка (англ.).

⁷ Документальная передача, телеочерк (англ.).

Теперь мы с зубным врачом опять говорим по телефону как ни в чем не бывало.

— Что новенького у Шербаума?

Он деловито сообщил о том, как долго надо лечить дистальный прикус, если его не захватить вовремя, и похвалил упорство моего ученика.

— Тяжелая пластина на передних зубах с уродливым валиком спереди — весьма обременительное инородное тело, особенно для юноши, которому минуло семнадцать; при длительном ношении она становится также психологической нагрузкой — не каждый может это вынести.

Я рассказал ему о деятельности Шербаума на посту главного редактора.

— После всех компромиссов он сумел записать в свой актив маленький успех. Не кто иной, как он добился разрешения на устройство школьной курилки. («Теперь они могут дымить на законных основаниях».)

Даже Иргард Зейферт проголосовала за. И при этом сам Шербаум — некурящий, убежденный противник курения.

Иногда от него приходит письмо с газетными вырезками. Несколько строк подчеркнуты красным карандашом. Два-три телефонных разговора в неделю. Как-то раз мы вместе посетили выставку в Ганзейском квартале. Однажды встретились случайно на Курфюрстендамм и выпили по чашке чая в кафе «Бристоль». Дважды он заходил ко мне, чтобы поглядеть кельтские черепки и римские базальтовые обломки. Но ни разу не пригласил меня к себе.

Мы бережно обходимся друг с другом. Политические волнения в городе, уход в отставку правящего бургомистра и тот факт, что полиция превысила власть, комментируем довольно осторожно:

— Этого давно надо было ожидать.

Далее я слышу в его словах легкий намек:

— Определенного рода комплексы можно излечить теперь на улицах.

Только с иронией и не прямо, а косвенно мы упоминаем о времени моих визитов к нему, когда мы были чересчур откровенны друг с другом и слишком близко сошлись.

— Признаю, доктор, что первая попытка вступить в интимные отношения с Иргард Зейферт окончилась ничем, несмотря на двухчасовые усилия. «И все же, — сказала она, когда мы снова закурили, — это не мешает мне любить тебя. Нам обоим надо проявлять терпение».

Терпение мы проявляем. Да, проявляем. Но вся беда в том, что уж очень много перебивок. Она постоянно вторгается, именно она; сообщает разные военно-стратегические сведения, и тогда я принимаюсь читать лекцию о туфовых цементах и о том, как их используют при строительстве подводных сооружений. Даже убогий пейзаж предгорий Эйфеля при его живописном уродстве, прямо созданный для натуральных съемок, — равнины, изрезанные карьерами, а посередине две дымящиеся трубы заводов Крингса, — даже это мешает нашим отношениям: к тому же с некоторых пор я встречаю в заброшенных базальтовых карьерах не только мою прежнюю невесту, но и мою ученицу Веро Леванд. Линда и Веро что-то задумали; наверное, готовят акцию против меня. Вот видите, доктор?

Мой зубной врач вскользь упомянул телеочерк о Малькольме Х.

— Вероятно, будущее за насилем. — А потом сказал: — Оставим в стороне ваши совершенно обычные неполадки в сексуальной сфере и поговорим о цементах. Я навел справки. Заводов Крингса нет и в помине. В Круфте расположены туфоцементные каменоломни ТУБАГ, которые на все сто процентов являются дочерним предприятием Диккерхоффа. Эта основанная в 1922 году крупная фирма по производству строительных материалов все еще находится в руках семьи Диккерхофф и выпускает ныне продукцию чрезвычайно широкого профиля. Однако по сравнению с однотипной фирмой в Нойвиде количество цемента, поступающее от ТУБАГ из Круфта, все же относительно невелико. Но это я говорю просто так, между прочим, чтобы объяснить соотношение капиталов в данной отрасли. На запрос, посланный в Андернах, тамошняя биржа труда ответила, что в студенческие каникулы в пятьдесят четвертом — пятьдесят пятом годах

ваше имя — вы были тогда студентом-вечерником — значилось в списках персонала ТУБАГ. Однако о poste главного инженера не могло быть и речи.

Мой зубной врач подготавливал металлические колпачки на столике для инструментов и, видимо, ждал, осмелюсь ли я возражать. Но мне ничего не пришло в голову, кроме довольно беспомощного иронического замечания:

— Вам следовало бы работать в уголовной полиции. Правда, вам следовало бы работать в полиции.

Он улыбнулся. (А может, он и впрямь служит в полиции?)

— Раздобыть эти документы было относительно легко. Сами видите, я сделал фотокопии. Мы, зубные врачи, поддерживаем между собой довольно тесные связи. И коллега в Андернахе, доктор Линдрат, признался, что одна из его дочерей — сейчас она замужем, детский врач в Кобленце — помнит, хоть и смутно, студента с такой фамилией. Но это может быть просто совпадение. К тому же ее имя Моника. Ну? Вам это что-нибудь говорит? Моника Линдрат? Вот ее фото в профиль. Вот анфас. Здесь она снята с подругами в Андернахе, на рейнском променаде. Так и не вспомнили?.. Красивая девушка.

Я молчал, и он прекратил допрос, ухватив пинцетом первый металлический колпачок.

— На нет и суда нет. Охотно верю, что если не в Андернахе, то в Майене жила девица по имени Зиглинда. Все мы были когда-то помолвлены. В мои намерения отнюдь не входит ограничить полет вашей фантазии. Не расскажете ли вы, пока я буду надевать защитные колпачки, о грандиозной военной игре «Сталинградская битва», когда дочь Крингса выступала против папаша Крингса?

«Как потускло золото...» Мне бы следовало предложить моему 12 «а» написать сочинение, взяв в качестве темы эту строчку из плача Иеремии или хотя бы одно словечко «как». Сочинение о словосочетаниях: как так, как-никак, вот как. Или о какбожемой, или о значении «как» в жалобных причитаниях. Сочинение о «как», которое произносится удивленно-сердито. О «как» у Клейста и об ироническом «как» у Томаса Манна. О «как» у детей и «как» у дряхлых стариков. О том, чем отличается «как», которым встречают особо красивый закат, — как прекрасно, — и «как», которое произносят при виде моря. Сочинение на тему «как» в песне «Как я потерял тебя...» и «как» в политике: «Как, дорогой коллега Барцель...» Разумеется, «как» играет свою роль и в рекламе: «Как так, вы не полощите рот нашим «Прилем»?..» И еще «как» в жизни женщины: как-как-как-как. Это «как» Шербаум уже слышал. (Не забыть бы «как» перед именами собственными: «Как, Ирмгард, разве мы должны были бы...», «Как, Веро, разве мне не хотелось бы...», «Как, Линдалиндалиндалинда...»)

Пока он надевал металлические колпачки, я описывал генеральную репетицию «Сталинградской битвы» и мою акцию перед кафе Кемпински. В цементном бараке «Д» Крингс победил Линду на ящике с песком. На углу Курфюрстендамм и Фазаненштрассе после обеда наступили часы пик. Линда казалась безучастной. Я держал белого шпица на коротком поводке. Линда велела разыграть на ящике с песком метель — терраса кафе была переполнена, горячего в окруженной армии не хватало, так что ни о каких наступательных операциях не могло быть и речи. Шпиц вел себя тихо, и я смог вылить ему на шерсть бутылочку бензина. Электромеханическая система переключения Шлотта действовала безотказно — впечатляющее зрелище. Предварительно я накачал шпица валиумом, поэтому он не проявлял признаков беспокойства. Особо впечатляюще это выглядело при одновременных контратаках обеих сторон. (Кто-то из зевак спросил: «Это против блох?») Выиграв генеральную репетицию, Крингс разослал приглашения; и пока читался вслух список приглашенных и читалась вслух моя листовка «Гори!», я вводил наплывом то сцену прибытия первых гостей к Крингсу, то вспышку моей зажигалки. Приехали высокие правительственные чиновники из Майнца, офицеры бундсвера, ушедший на пенсию обер-штудиенрат, журналисты и, как всегда, генеральные директора. Язычок пламени обжег мне левую ладонь и опалил твидовое пальто; на собачьем поводке теперь крутился огненный шар. В бетонном бараке люди стоя не принужденно болтали, словно на приеме. (Надо подуть на ладонь.) По обрывкам разговоров нельзя было догадаться о предстоящем спектакле на

ящике с песком, да и прохожие перед террасой Кемпински сперва ничего не принимали. (Человек предусмотрительный непременно захватил бы с собой мазь от ожогов.) Гости говорили на профессиональные темы — об экономических прогнозах, кадровых вопросах, острили насчет ведомства Бланка⁸ и вспоминали об отпусках радостях. Сначала даже раздался смех: «Очевидно, это опять хэппенинг». В бетонном бараке царило веселье, но, разумеется, сдержанное. Мне пришлось отпустить поводок: ладонь болела. (Кто-то с юмором изображал федерально-го президента.) Шпиц катался, вскакивал на столики с пирожными. Один столик опрокинулся. Кроме Линды в бежевом вечернем платье и тети Матильды в черном шелковом, дам не было. Отдельные возгласы: «Вон он! Я его видел. Тот, в очках...» Специально приглашенный официант обносил гостей напитками. Кто-то набросил скатерть на тлеющего шпица; он уже только слабо вздрагивал. Линда наливала слишком полные рюмки. Меня толкали и (когда я начал разбрасывать листовки) меня стали бить. Шлоттау проверял исправность лампочек. Я потерял очки. Как и во время репетиции, премьеры крингсовского наступления проходила планомерно и успешно. Они били меня зонтиками-кулаками-портфелями. Он соединился с Хотом⁹ и создал плацдарм для прорыва на Астрахань. (Пузырь от ожога на моей ладони все раздувался.) Незадолго до полуночи отбыли последние гости. Я кричал: «Прочтите сперва мои листовки!..» Тетя Матильда тоже удалилась. На Курфюрстендамм я оказался весь в крови. (Моя правая бровь была рассечена.) А в бетонном бараке «Д» мы со Шлоттау стали свидетелями того, как Линда разбила на ящике с песком отца в пух и прах... «Это бензин, а не напалм!» — кричал я. Линда уличила Крингса в том, что он хотел поставить во главе атакующих войск части, которые уже были перемолоты во время операции «Удар грома»¹⁰: «Теперь ты капитулируешь?» Я пытался прорваться к Фазаненштрассе, но тут меня сбили с ног. «Никогда!» (Мне стало страшно.) Крингс повторил слово «никогда!». На мостовой (я все еще кричал) я вдруг нашел мои очки. Они не разбились. Зиглинда положила на барьер ящика с песком, где стоял отец, немецкий армейский револьвер («ноль-восемь»). «Тогда будь последователен». На площадке перед террасой кафе Кемпински я обрадовался, услышав полицейскую сирену (иначе мне бы несдобровать). В бетонном бараке «Д» стояли мы со Шлоттау — два столпа. Парни из полиции тоже дали волю рукам. (Хотя я не оказал ни малейшего сопротивления.) Трансформаторы электромеханической установки для ящика с песком равномерно гудели. Кто-то закричал: «Его надо было прикончить на месте!..»

Крингс взял револьвер «ноль-восемь» и сказал: «А теперь оставьте меня одного». Я крепко держал мои очки. Линда тут же ушла. Прежде чем полиция оттащила меня, я еще успел несколько раз крикнуть. Шлоттау хотел что-то возразить. Они загоготали: «Это мы знаем». Крингс махнул рукой. В полицейской машине я все еще кричал: «Напалм!» Даже цитаты из Сенеки не мог вспомнить. Потом я провалился куда-то во тьму. (К моему смущению.) На душе у меня было весело. Перед бараком мы со Шлоттау выкурили две сигареты. Только в полицейском участке я опять пришел в себя. (Спички у меня были.) Моя ладонь. Выстрел так и не раздался. Они спросили, кто я по профессии, и, когда я ответил — учитель, штудиенрат, один из полицейских ударом сбил с меня очки. Мы пошли. (Только теперь очки слетели.) Шлоттау пожелал мне спокойной ночи.

— Но это еще не конец, — сказал я моему зубному врачу.

(По телевизору показывали рекламу; «Убийство Малькольма Х» мы прозевали.) Шесть металлических колпачков уже были поставлены.

Не хватает еще нескольких деталей — Шербаум посещает меня в больнице, приносит с собой плитку шоколада, а также газеты, ну а с Крингсом вот что: чем сильнее он ощущает свое поражение, тем больше налегает на шоколадное ассорти, пытаясь побороть начавшуюся депрессию.

Мой зубной врач сразу понял:

⁸ Ведомство Бланка после поражения фашизма заменяло в Западной Германии военное министерство.

⁹ Хот Герман — гитлеровский генерал.

¹⁰ Кодовое название сталинградской операции, данное германским командованием.

— Вот оно что, больно... Но мы останемся верны арантилу. Быстро примите еще две таблетки на дорогу...

И еще это и это. (И я и я.) А потом наступает чувство легкости, и я жадно ловлю ртом воздух. И еще о погоде и о шпиге, что с ним случилось. И кто-то закричал: «Пусть лучше сожжет себя!» А один чиновник из Майнца спросил: «Разве мосты через Волгу целы?» И переброски и перемены места. Шлоттау ударил меня, и я нашел свои очки среди передовых частей Хота. (И здесь и здесь.) И языки пламени, выбивающиеся из трансформаторов, и терраса Кемпински — все перемещается в ящик с песком. И еще аплодисменты и возгласы одобрения. Так этому следовало быть: наконец кто-то нашел в себе мужество. В мае и в январе. Небо прояснилось, было солнечно, морозно и ясно...

- Скажите, Шербаум, вы рады, что до этого не дошло?..
- Не знаю...
- Но если бы вы сейчас спросили себя: должен ли я?..
- Не знаю...
- А если бы другой и в другом месте?..
- Понятия не имею, как я...
- А если бы не вы, а я, может, не так, а иначе?..
- Нет, вы никогда ни на что не решитесь.

Три недели спустя после лечения, три недели спустя, когда прикус был исправлен, появились и еще кое-какие перемены к лучшему — в первый раз мне удалась близость с Ирггард Зейферт, во всяком случае нечто такое, что относительно удовлетворило нас обоих,— три недели спустя после курса у стоматолога и через несколько дней после того как я прекратил принимать арантил — отвыкание было трудным и даже отразилось на моей работе в школе, — в общем, в начале марта, а именно четвертого числа, я сделал предложение Ирггард Зейферт.

Поскольку я использовал в качестве плацдарма нашу обычную прогулку вокруг Грюневальдского озера, решающие слова были сказаны на деревянных мостках через рукав, соединяющий это озеро с Хундекельским озером. — теперь рукав уже не был скован льдом.

— Мне очень хотелось бы, милая Ирггард, пойти к ювелиру и купить два кольца разной величины.

Ирггард Зейферт попросила у меня сигарету.

— Несколько недель назад именно на этом месте вы дали мне пощечину, поэтому я, наверно, должна счесть, что у тебя серьезные намерения.

Я был благодарен ей за шутливый тон.

— Милая Ирггард, пощечина была прелюдией к нашей помолвке. Но если вы ответите сейчас «нет», я полезу в драку, откажусь от помолвки и в наказание женюсь на тебе сразу же.

Она затаилась только что закуренной сигаретой и сразу бросила ее.

— Дабы предотвратить худшее, я скажу «да», хоть и вполголоса и без особой торжественности.

Мы решили не праздновать наше обручение, хотя несколько дней меня прямо подмывало устроить вечер; я даже хотел пригласить зубного врача. Мы ограничились тем, что разослали открытки с оповещением. Он поздравил нас и подарил первое издание шмекелевского «Учения Средней Стои».

Моему 12 «а» я сказал о помолвке, начав со слова «кстати...». На следующий день Веро Леванд протянула мне (молча) серебряную чайную ложечку, гравировка на ложечке указывала на ее прежнего владельца. (Так получаешь памятные подарки.)

В апрельском номере школьной газеты «Азбука Морзе» была помещена шутливая заметка Шербаума «Что молвят помолвленные». В своей обычной манере короткими фразами он так играл словами «состоялась помолвка», что довел все до полного абсурда. «Состоялась помолвка. В основе всякой расстроившейся помолвки находится состоявшаяся помолвка. Когда хотят, чтобы вместо расстроившейся помолвки снова состоялась помолвка, надо сперва устроить расстроившуюся».

ся помолвку. Таким образом, цена расстроившейся помолвки выше, нежели состоявшейся...»

Ирмгард Зейферт нашла заметку «довольно безвкусной». Она попросила меня ходатайствовать о созыве собрания, которое постановило бы изъять апрельский номер. Я попросил Шербаума извиниться перед ней.

— Вы должны понять, Филипп, фрау Зейферт уже не такая молоденькая, чтобы спокойно относиться к вашей игре слов, зачастую довольно-таки язвительной.

Став главным редактором, Шербаум по-прежнему старается щадить меня.

— Ну конечно. Я так и сделаю. Ведь я вовсе не хочу, чтобы она проела вам плешь.

Наша помолвка еще не расторгнута. В майском номере школьной газеты под рубрикой «Точка-тире» было помещено короткое сообщение о среднесуточном потреблении сигарет в легальной курилке, после него несколько строк о государственном визите: «Иранский шах прибывает в Западный Берлин. Мы его не приглашали». А потом перед объявлением о школе танцев «Антуан» под заголовком «Объявление» была напечатана фраза, которая не так уж неправильно характеризовала нашу ситуацию: «Госпожа Зейферт и господин Штаруш все еще помолвлены».

На сей раз и Ирмгард попыталась превратить это в шутку:

— Полагаю, что шпильки исходят не от Шербаума, а от малышки Леванд. Как ты считаешь, Эберхард?

(Да, от нее, и она все еще жалит. Она сейчас на подъеме. В школьном комитете ШНО за ней большинство. И она предложила вынести вотум недоверия Шербауму. Хочет сместить его. Сразу после визита шаха решила выпустить свою контргазету. «Мы не намерены впредь идти ни на какие компромиссы...»

Она еще больше выдвинулась. И много раз я видел ее на газетных полосах: взяв под руки своих товарищей, она бежит бегом, всегда впереди...)

Мысль обручиться с Ирмгард Зейферт возникла у меня в последний день лечения. Я еще раз услышал его позывные: «Сейчас вы почувствуете маленький гадкий укольчик... А теперь прополощите...» И я еще раз произнес мой внутренний монолог, от которого на телеэкране появились пузыри с надписями. Мы с зубным врачом обошли вокруг всей земли. Осуществили наши модели социального обеспечения плюс профилактика, предложенные им, и реформы в педагогике, предложенные мной; словом, взвинчивали и подбадривали друг друга. Были необычайно смелы и притом чрезвычайно реалистичны.

Оросили Сахару. Осушили болота, которые были нам известны. Он еще намеревался побороть агрессивные инстинкты.

— В рамках глобального социального обеспечения жестокость, иными словами, ее рецепторы будут обезврежены, выражаясь по-простому — они окажутся под местным наркозом.

Я умиротворял все путем педагогики.

— С помощью средств массовой информации в пределах всемирного учебного процесса статус ученичества будет продлен до глубокой старости.

Но как бы мы усердно ни прыгали выше головы, остаток земного притяжения вынуждал нас сталкиваться лбами.

По первой программе передавали фильм для лыжников и для людей, которые хотели ими стать: «От телемарка до христианин».

Он обдирал меня, как луковицу, слой за слоем, и я становился все меньше и прозрачнее; поэтому я и решил заменить порошкообразный искусственный снег и быстрые лыжи документальным фильмом о спиритическом сеансе, в котором принимали бы участие также зубной врач и его помощница (в качестве медиума): обычное столоверчение.

Едва он успел сделать мне четыре укола, как в пространственном изображении появился еще народ, кроме нашего хорошо спевшегося трио; в зубокабинете возникла давка. Иногда то были текучие, иногда плотные тела,

сверхчувствительные астральные объекты, которые, к моему разочарованию, совпадали с представлениями о призраках в белых ночных балахонах: они явились на телепатическое свидание.

И моя мамуля оказалась тут же. Я спросил ее, стоит ли мне обручиться, и получил истинно материнский совет: сперва все выяснить. После долгого обмена репликами, который проходил с помощью медиума — помощницы, я понял, что мамуля знает все об Ирмгард Зейферт. «Только смотри не вляпайся. Сперва надо выбросить ее старые писульки. Не то толку не будет, она тебя заговорит вусмерть и про то, что тогда было, и про то, что она делала...»

Три недели спустя я последовал совету матери: как только мы решили обручиться, попросил Ирмгард Зейферт отдать пачку тех старых писем.

Она сказала:

— Ты хочешь их уничтожить. Правда?

Хотя я, собственно, собирался всего лишь запереть их у себя, я сказал:

— Да, хочу освободить тебя от них.

Уже на следующей нашей прогулке вокруг Грюневальдского озера она отдала эту пачку. В лощинке на песчаном восточном берегу я сложил письма в кучу. Они быстро сгорели.

По дороге домой Ирмгард Зейферт обратила внимание на соответствующую табличку с надписью «Запрещено».

— Нам повезло, хорошо, что люди из лесничества не застали нас на месте преступления...

В раздвинувшемся благодаря телекинезу кабинете моего зубного врача мамуля дала мне еще несколько полезных советов, прежде чем врач удалил металлические колпачки. На телеэкране в это время появилось нечто туманно-прозрачное, возможно, это объяснялось тем, что фоном служил фильм о лыжниках (астральные тела совершали телемарк — приземление с выпадом).

Мамуля призывала меня пить меньше пива и поменять прачечную. Состояние моих рубашек ее явно не удовлетворяло. Она передала мне с того света дословно: «Погляди-ка хоть раз на уголки. Они теперь совсем разучились гладить воротнички».

Потом она велела тщательно присматривать за одним из моих учеников, которому в начале лета в связи с предстоящим визитом «высокой особы»¹¹ может угрожать опасность: «Знаешь, мальчик, он такой же, каким ты был тогда. Всегда забегал вперед, ветерголове, лезнарожон. Я с тобой намаялась...»

Я попросил прощения у мамули и обещал следить за Шербаумом. (С ним, кстати, ничего не случилось на площади перед Оперой, зато Веро Леванд могла похвастаться сильными ушибами и кровоподтеками.)

Зубной врач снял металлические колпачки. Я попытался продолжать диалог с умершими.

— Они ведь все еще живы, доктор, хотя Крингс взял револьвер, который дочь положила на борт ящика с песком, но, как и Паулус, стреляться не стал. На следующий день он созвал всю семью — стало быть, и Шлоттау и меня тоже — к себе в кабинет и признался, что потерпел фиаско, после чего ознакомил со своим решением, предварительно упомянув о самоубийстве Сенеки, равно как и о том, что смерть не фактор. «Я решил, — сказал он, — добиться победного перелома в другой области — посвящу себя политике». После этого я тоже принял решение — расторг помолвку с его дочерью. Он согласился, дав понять, что это его вполне устраивает. А Шлоттау, которого никто ни о чем не спрашивал, сказал: «Разумно». Так закончились эти семейно-военные игры, но если позволите, доктор...

Зубной врач был против вариантов на эту тему, не хотел знать и о моем последнем объяснении с Линдой.

¹¹ Здесь, как и ранее, речь идет о визите шаха Ирана весной 1967 года в Западный Берлин, вызвавшем мощные демонстрации протеста, во время одной из которых был убит полицией студент Бено Онезорг.

— Ваша песенка спета, дорогуша. Точка. Занавес. Добавления излишни. Как зубной врач я ежедневно выслушиваю подобного рода истории о любовных треугольниках; герои их изображают себя либо в исторических костюмах, либо в почти современных. И конечно, обязательно маскируют этот неизменный жалкий треугольник: иногда теоретически-экономическими рассуждениями, иногда религиозными, иногда даже уголовно-правовыми или налогово-правовыми. Однако все эти переодевания имеют лишь одну цель — замаскировать вечный треугольник. Прежде чем вы заставите нас присутствовать на свадьбе Линды и Шлоттау, давайте посмотрим лучше на лыжников; они оживлены, совершают телемарк, поднимают облачка снега, оставляют следы, смеются, а под конец выпьют свой питательный «Овомальтин». Словом, пора наконец похоронить вашу прежнюю невесту. Договорились?

— Я сделал то же, что во времена оны сделал художник Антон Мёллер из моего родного города с дочерью бургомистра, своей суженой.

— Значит, вы все же хотите рассказать еще одну байку?

Веро Леванд называет это переключением. То время, что он приготавливал специальный цемент, высушивал мои обточенные зубы струей горячего воздуха, устанавливал два мостовидных протеза, я посвятил перенесению на экран телевизора, так сказать, для сравнения, притчи о художнике Мёллере.

Я рассказал не только историю о классическом любовном треугольнике (мой зубной врач с удовольствием принес бы ее в жертву прогрессу), я еще позволил себе одновременно некоторые намеки на его личный треугольник. Разве могло укрыться от моих зорких глаз, что зубной врач — один из углов типичного старомодного треугольника, ведь он разрывается между своей супругой, матерью его детей, и помощницей?

Итак, вот что случилось с моим земляком, талантливым Антоном Мёллером, который в 1602 году должен был написать для данцигского магистрата «Страшный суд»; то была заказная работа; живописец, увлекавшийся до той поры маньеризмом и писавший лишь аллегорические фигуры, получил ее по протекции бургомистра. Он должен был жениться на дочери этого бургомистра, лишь только будет выдан соответствующий ганзейским обычаям щедрый гонорар.

Часть поверхности, где следовало изобразить скучный рай, Мёллер написал быстро — хотел поскорее избавиться — и по моде того времени. Однако художник заранее радовался работе над чистилищем и над спуском в ад; будучи истым сыном порта, он решил изобразить грешников плывущими на кораблях. Они должны были сошествовать в ад на зафрахтованных лодках, баркасах и изящных ладьях — натурой для реки послужила Моттлау, приток Вислы. А в одной из ладей он решил написать голую женщину — воплощение греха; Мёллер не мог без аллегорий.

Но и грех как в ту пору, так и до сих пор нельзя было изображать без живой природы. Дочка паромщика, простая деваха с пышным телом, послушно позировала художнику, и Мёллер во всех отношениях неплохо воспользовался ее прелестями; но когда невеста живописца захотела своими глазами увидеть, насколько продвинулось сошествие в ад, она сразу же попала в двусмысленное положение — оказалась в любовном треугольнике, который вы, милый доктор, считаете устаревшим и хотели бы упразднить, хотя сами герои точно такого же треугольника; тем не менее треугольник этот помог художнику Мёллеру в его живописи.

Невеста подняла шум. Отец, члены магистрата и городские советники хором потребовали от Мёллера, чтобы он взял в качестве природы для греха свою невесту, смазливую, но не такую пышнотелую девицу. Художника принудили изменить своему искусству. Его поставили перед выбором — либо сделать известную всему городу легкомысленную дочку паромщика неузнаваемой, либо... отказаться от гонорара и от доченьки бургомистра.

И вот искусство пошло на свой первый компромисс. И я избрал тот же путь, когда пытался рассказать о Фердинанде Крингсе, хотя оригинал спокойно носит имя Фердинанд. Мёллер пририсовал паромщице лицо невесты, как иначе мог он изобразить грех, ведь ему запретили запечатлеть на картине хохочущую мор-

дашку потаскушки из предместья — паромщики жили около Санкт-Барбары, в нижней части города.

Однако когда прототипом грешного образа стала дочка бургомистра, опять поднялась буча, да такая, что она нашла свое отражение даже в хронике города. Цехи и ремесленники, стоявшие на стороне Мёллера, громко ржали и распевали шуточные песенки. В воздухе запахло политическим скандалом. (Суть дела была в разрешении варить пиво и арендовать рыбные склады.) И тут отцы города позабыли о своих угрозах и под предводительством бургомистра перешли на протестный тон.

Таким образом, художнику Мёллеру пришлось согласиться на второй компромисс; его не миновал и я, поместив папашу Крингса и Крингову дочку в декорации из цемента, пемзы и разных пород туфа. Мёллер, оставив нетронутым обнаженное тело дочери паромщика, закрыл стеклянным колпаком с рефlekсами хорошенькое, глупенькое личико своей невесты — сегодня нам представляется загадкой, что общего между нежной, скорее худой козлей мордочкой, мистически расплывающейся под стеклом, и столь соблазнительно округлым туловищем. (Поглядите-ка, на какое преломление способен стеклянный колпак: все в нем преломляется — и мир и его противоречия...)

А Мёллер, войдя в раж, написал именно в той ладье, что держала путь в ад и везла грех, всех членов магистрата вкупе с бургомистром, и получились они до ужаса похожими и даже не под стеклом.

Так дело дошло до третьего компромисса в искусстве, который предстает и мне: ведь я боюсь назвать по имени вас и вашу помощницу — что скажет на это ваша жена? Что касается Мёллера, то он не захотел отправлять в ад городских советников вкупе с бургомистром и его доченькой; он написал себя в реке Моттлау, превращенной им в реку Гадеса. Художник изо всех сил упирается в нос ладьи и притом смотрит на нас: мол, если бы не я, вся компания быстро полетела бы в тартарары.

Человек искусства в роли спасителя. Ведь не согрешишь, не покаешься. Он не дает погибнуть любовному треугольнику. Кстати, и вы втайне связаны с тригоном. Правильно, доктор? Честно? Правильно?

Но тут мои мостовидные протезы были поставлены и зубной врач выключил телевизор. Его помощница поднесла мне зеркало.

— Ну что вы скажите?

(С такими зубами не стыдно показаться людям. Есть чем щелкать. А при эдаком прикусе можно все начать сначала. И смеяться стало веселее. И аппетит разыгрывается — всего хочется. Хочется даже сыграть в ящик. Теперь можно по-настоящему обручиться. «Да, скажи скорее: да. Да. Скажи скорее: да». Так много зубов и все наготове. Сейчас я выйду с ними на улицу...)

Зубной врач — не его помощница — подал мне пальто.

— Как только отойдет заморозка, ваш язык начнет шарить в поисках привычных дырок. Но потом вы привыкнете.

Я уже стоял в дверях, когда он протянул мне рецепт.

— Предусмотрительно выписал вам двойную упаковку. Ее хватит... Вы были приятным пациентом...

За дверью и впрямь оказался Гогенцоллерндамм. По дороге к Эльстерплатц я увидел Шербаума — он шел мне навстречу.

— Ну как, Филипп? Я теперь освободился и кусаюсь всеми зубами.

Для наглядности я показал свою почти выправленную прогению. Шербаум в свою очередь продемонстрировал мне дистальный прикус, не исправленный вовремя.

— Это валик впереди. Довольно неприятная штука.

Я все еще говорил с неправильным прононсом.

— Желаю удачи.

— Перетерплю как-нибудь.

Мы засмеялись без особых на то причин. Потом он пошел, потом пошел и я, щелкая зубами.

Линдалиндалиндалинда... У меня за пазухой покушение на убийство. Я поехал за ней. Январь 1965-го. Госпожа Шлоттау решила провести зимний отпуск со своим супругом и с детьми на острове Зильте — так посоветовал врач. Ежедневные прогулки среди дюн, отшлифованных ветром. С закрытым ртом навстречу ветру, открывающему все поры, по пустынной земле Северо-Фризских островов. Вдыхать йод, обходя бухту или оконечность Гернума, где береговая полоса и море сливаются воедино, образуя множество водоворотов. Отец ежедневно отмечает их маршруты на туристской карте. Давайте посмотрим на эту семейку — мальчики в резиновых сапогах впереди, в центре мать в спортивной куртке с капюшоном, замыкает шествие отец, вооруженный биноклем. Они ходят по пляжу туда и обратно в поисках раковин и здоровья.

А я их подкарауливаю, упершись языком в образующийся зубной камень, лежа пластом в шуршащей траве, которая растет на песке, хихикаю, ибо мальчуганы не находят ничего, кроме электрических лампочек, которые море щедро выбрасывает на берег. А вот они увернулись от дрожащих хлопьев пены, которые ветер бросает им вдогонку по обнажившемуся во время отлива пляжу. «Возьмем! Папуля, возьмем!»

(Вчерашний день еще придет и предъявит счет за электричество.)

Преподавая в кельнской спортивной школе, я во время каникул нанялся смотрителем купален. Обслуживал машину, которая поднимает волны в знаменитом бассейне с морской водой. Шаркая, ходил по тепловатым плиткам в парусиновых туфлях. Но исподтишка бросал взгляды на ресторан при бассейне над душевыми и кабинками для раздевания — на ресторан, где за сплошными стеклянными окнами пожилые курортники и местные жители, которые не умели плавать, нагуливали прохожим аппетит, — там сидели одна-две семьи, но семью Шлоттау я ни разу не видел.

Когда-то она придет, ведя за собой в кильватере всю семейку?

Она раздалась в бедрах, но по-прежнему похожа на выносливую горную козу, суровую и нескладную вблизи загона, но зато грациозную на кручах. Когда же она наконец появится, отдавая краткие приказания, которые идут от самого сердца: «Улли, ты пойдешь купаться только тогда, когда я скажу: сейчас мы пойдем купаться», «Папочка, нельзя пялить глаза на посторонних», «Нырять я не разрешаю, Вольфхен, слышишь? Нырять я не разрешаю».

Но пока что их клан в резиновых сапогах бродит по окрестностям, заходя в Кампен, Кейтум, Морзум. Сперва они хотя бы акклиматизируются — так советовал врач. Они все еще глазуют на крытые камышом крыши фризских домиков. Они все еще показывают друг другу суденышки на горизонте. «Посмотри-ка, вон маяк! Посмотри-ка, реактивный самолет. Посмотри-ка, чайки на разрушенном бункере...»

Едят они, естественно, дары моря: палтусов, камбалу, густеру. Папочка хочет заказать угря; мамочка поправляет его и заказывает треску. Его тянет на мидии, она считает, что сегодня они обойдутся без супа. Детям скармливают по полпорции, и преимущественно окуневое филе — ведь оно без костей. Вкусную и дорогую еду у Киффера они чередуют с едой попроще в пансионате: телячье фри-касе с мучной подболткой. А на десерт манный пудинг с малиновым сиропом.

Семья быстро освоилась в чужой обстановке. Отдыхают, в кино не ходят. (Папочка и мамочка посылают открытки с чайками и тюленями бабушке и тете Матильде.) Удачный брак. Вечером, прежде чем лечь спать, она читает — что она, собственно, читает? (Романы с продолжениями в истрепанных иллюстрированных журналах: Клаузевиц, Шрамм¹² и Лиддль Гарт¹³ давно забыты.)

В своей каюте рядом с пультом управления машины, поднимающей волны, лжесмотритель купален складывает в портфель своих Маркса и Энгельса и жадно глотает страница за страницей Ницше.

Ребятишки канючат: «Мамочка, когда мы пойдем купаться в волнах?.. Ты же обещал, папочка. Когда мы пойдем купаться в волнах?..» Язык лжесмотрителя, еще недавно вялый, начинает энергично тереться о зубной камень, образуя-

¹² Шрамм Перси Эрнст (1894—1970) — западногерманский военный историк.

¹³ Лиддль Гарт Вэил Генри (1895—1970) — известный английский историк, писавший популярные книги о войне.

щийся все снова и снова. («Ну идите же, идите!») Язык беспокойно движется, цепляя за шершавую зубную эмаль и опасные просветы между обнаженными, боящимися холодного и горячего шейками зубов. Хозяин желает, чтобы язык лениво покоился, а он встает стоймя, шарит и находит именно этот один клык, чувствительный из-за поврежденной десны, и расшатывает его все сильнее и сильнее вкрадчивыми толчками и легоньким подталкиванием.

Но вот они входят после душа через дверь мужского и через дверь женского отделений, слегка смущенные длинной инструкцией для купальщиков, — теперь они у него в руках.

Нет ничего проще чем устройство машины, поднимающей волны: две болванки поочередно падают на нагретую до двадцати двух градусов морскую воду. (После двадцати минут мертвого штиля десять минут штормит.) Наивный принцип морского прибора, переведенный на язык техники. (Слишком сильный напор уменьшается путем регулирования подъема — спуска болванок.) Возможно, изобретатель подсмотрел за играющими детьми, которые бросают в пруд с разного расстояния камешки и поднимают волны. Машину очень легко обслужить, знай себе нажимай на разные кнопки. «Купаться в волнах, купаться в волнах!»

Какое ликование царит в этих облицованных кафелем стенах. Здесь и следящие за собой пожилые мужчины, и расплывшиеся матроны, здесь свыше десятка призывников бундсвера из Гернумер Экке (они заранее договорились и пришли по общему пропуску со скидкой — таково правило) и молодежь из Вестерланда, которой сейчас, в январе, разрешено купаться на льготных условиях, без курортного удостоверения, просто по удостоверению личности. И среди всех: она — она — она. До пояса насадка, выше пояса — девушка. Она со своим выводком, которому потом достанется наследство. Она и ее уже обрюзгший хахаль.

Вот они входят в бассейн — насадка впереди. Пусть сперва окунутся, пусть поликуют: «Ой, мамочка, какая прелесть купаться в волнах». Отвести язык от зубного камня, пусть получит разбег: «Не ныряй. Вольфхен. Улли, не отходи от папочки, не отходи!»

Первая скорость — умеренные прибойные волны выплывают из своих решеток, расстояние между ними соблюдено. «Не отходите от мамочки, держитесь рядом, не то вы сейчас же вылезете и уже больше никогда...»

Только теперь преподаватель из Кельна мизинцем переключает с первой скорости на вторую: у машины, поднимающей волны, три скорости.

(Полистать книгу и найти: «Все сделанное с умыслом делается с одним умыслом — приумножить свою власть».)

Поэтому быстро, пока в настроении купальщиков не произошел перелом и они в страхе не сбежали на кафельный барьер бассейна, включить третью скорость и поставить обе болванки так, чтобы они работали в одинаковом ритме: только тогда прилив разыграется вовсю. Большие гребни, гребни, как в открытом море при шторме. Всю эту вышедшую из душа публику с латунными номерками на запястьях ждет тяжелое испытание: и жирных дам, и господ с благородной сединой, и призывников бундсвера, и молодежь из Вестерланда, и ее клан.

Уже первая прибойная волна — вторая скорость — кидает их — ой, как больно! — на облицованные кафелем ступеньки бассейна. Жалобные вопли. Следующая волна тащит назад. И третья скорость не подводит — волны подхватывают их, переносят через ступеньки и бросают на торцовую стену бассейна, вошедшего в строй меньше года назад. Нет, ломаются не ручки, покрытые глазурью, — сломались ребра.

(Только что лжесмотритель нашел соответствующие строки в наследии того, кто творил в восьмидесятих годах прошлого века, и теперь, подняв глаза от книги, скользит взглядом по застекленной стене при купальне: там все прилипли к стеклу — видны только расплюснутые носы.)

Отлив хочет забрать обратно, отнять то, что натворила прибойная волна, но сестрица волна прозорлива и ничего не возвращает назад. Расторгнутое обручение — расторгнуто. (Зубной камень — окаменевшая ненависть.)

После четвертой ударившей в торцовую стену прибойной волны у деток уже переломаны кости. Еще раз раздался ее крик: «Вольфхен, Улли, о боже!» — о

папочке ни звука. А потом никто больше и не пикнул, не закричал: шторм не остановишь, благословенную морскую гладь у неба не вымолишь.

Даже в ресторане при бассейне люди в благоговейном молчании застыли за застекленным фасадом — в аквариуме беда, просто беда.

У официантов остыл пунш. Кое-кто из посетителей щелкает фотоаппаратом. Лжесмотритель кладет в книгу закладку и обращается к реальной жизни. Он уперся языком в свой уже качающийся клык; клык пружинит, поддается. Не худо было бы и вовсе выломать его. А стена в полкирпича уже зашаталась. Ведь ни архитектор, ни курортное управление, которое разрешило строительство этого здания, создавая проект бассейна, не предполагали, что разразится такая буря. Ну а теперь они поплатятся за свою беспечность: строительный раствор не выдерживает, поддается. Мощная волна прилива вылетает напоследок из погнутых решеток, перекрывает гребни отлива. мимоходом увлекает за собой бессильных, безгласных купальщиков и, проломив стену, вышвыривает их наружу в январский полдень. От этого броска, поднимая фонтан соленых брызг, они шмякаются на каменные плиты площадки позади курортного променада. Легкие тельца детей долетают до самого аквариума, в котором миленькие тюленчики мечтают о все новых и новых косяках селедочек («Мамочка, когда мы пойдем кормить тюленей, кормить тюленей?..») И вот уже порыв ветра, а вместе с ним и чайки. Позже прибегают фотокорреспонденты. Еще три-четыре раза из зияющего торца выливаются волны. И вот уже бассейн пуст. Только теперь служба мужских и женских раздевалок, набравшись смелости, входит в бассейн, где гуляют сквозняки, — ее мучит любопытство. В ресторане за стеклянным фасадом, помутневшим от дыхания множества людей, гости поспешно расплачиваются. Болванкам все еще мало, они беснуются на холостом ходу. Лжесмотритель выключает машину. Он устал и не вполне удовлетворен, складывает свои книги, идет к себе в кабину, стараясь почувствовать печаль.

Немного разочарованный — ведь все произошло так быстро, — я покидаю этот летне-зимний курорт еще до того, как вмешалась полиция и оцепила место происшествия: в скором поезде Гамбург — Альтона я мчусь над Гинденбургдамм.

На своем письменном столе я обнаружил начатую рукопись «Пароль: ни шагу назад, или История Шёрнера». Спустя два года (перед самым экзаменом на аттестат зрелости) Веро Леванд бросила школу и вышла замуж за канадского лингвиста. Шербаум изучает медицину, Ирмгард Зейферт все еще ходит в невестах. А у меня внизу слева образовался гнойный очаг. Мостовидный протез пришлось распилить. Нижний шестой удалили. Очаг выскоблили. Мой зубной врач показал мне висевший на кончике корня мешочек, наполненный гноем. Ничто не вечно под луной. И боль возвращается.

Перевела с немецкого Л. ЧЕРНАЯ.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ЛИЛИЯ ДОЛГОШЕВА



ПАМЯТЬ СЕРДЦА

23 августа 1944 года — знаменательная дата в истории румынского народа: день освобождения от фашизма.

Бухарест бережно хранит память о погибших воинах. На одной из центральных площадей столицы — пьаца Викторией — высится строгий обелиск из серого камня. Наверху — статуя солдата с развевающимся знаменем в руках. Это памятник советским героям.

А сколько их, этих памятников, сколько могил советских солдат, павших за освобождение народов Европы от фашизма, разбросано по земле. Их жизни отданы за счастье Родины, за свободу людей. Эти жизни — горение, высокое и светлое. Благодарные потомки зажгли на могилах солдат вечный огонь — в память о них, во славу их подвига. О них стихи Михая Бенюка:

Горение — в окалине металла
И в переблесках звездного накала;
И на костре, куда ступил герой,
По всей земле в любой душе живой —
Горение.

Горение — в любви, что без предела,
В цветке, что встал на пепелище смело,
В творении, в мятущейся груди
И в терниях на истинном пути —
Горение.

Горение — в молчанье, верно ждущем
Свиданья справедливости с грядущим,
В мечте, живущей в глубине веков
И рвущейся на волю из оков, —
Горение.

Горение — в стремлении к полету
И в слове, не солгавшем ни на йоту.
В усилиях, всем бедам вопреки,
Жизнь оградить от мертвенной руки —
Горение.

Горение — не пепел, не сожженье;
Единственный залог преображенья.
Горение — не по ветру зола:
Залог животворящего тепла —
Горение.

И в замысле — горенье, и в свершенье,
В борьбе, труде, в задаче и решенье,
И среди бела дня, и среди тьмы,
И в том, что были, есть и будем мы, —
Горение.

Живи, себя горению даря,
Чтоб человеком быть, и быть не зря!

(Перевел Кирилл Ковальджи)

...Поэт живет в скромном особняке на тихой бухарестской улочке, возле обширного парка Херэстрэу с его сонными озерами и прудами, зелеными лужайками и зарослями душистых роз. Академик, депутат Великого национального собрания Румынии, Герой Социалистического Труда, лауреат многочисленных литературных премий, классик, при жизни увенчанный славой на родине и признанный за рубежом поэт принял нас с писателем Феодосием Видрашку радушно. Знакомить с домом начал с картинной галереи, его гордости и святыни. Картины в гостиной, картины над витой деревянной лесенкой, ведущей в спальню и кабинет-библиотеку писателя. У лесенки — портрет красивой гордой женщины, Эммы, умершей жены поэта, известной переводчицы русской и советской литературы.

...Молчим. Вспоминаем. И кажется, будто в гостиной и на лестнице звучат голоса друзей Бенюка. Старых, еще с той поры, когда он был советником румынского посольства в Москве, и новых, кто узнал его годы спустя. «...привет от меня и моей жены Вашей очаровательной супруге» (письмо Бориса Полевого, 1956 год), «...желаем Эмме здоровья и бодрости... Вам двоим — счастья и радости в жизни» (письмо Алексея Суркова, 1965 год) — это лишь крупницы человеческого тепла, донесенного письмами большому другу Советского Союза Михаю Бенюку.

Поэта — в ноябре нынешнего года ему исполнится 77 лет, — бодрого умом и духом, с живыми, пронзительными глазами, не назовешь старым человеком. Он — сгусток энергии, молод душой. Планирует поездки в Венгрию и Советский Союз — «звонят друзья», общается он нам доверительно. Усиленно работает над совсем не литературной книгой — по зоопсихологии. Вспоминая далекие годы своей молодости, начинает говорить о войне, и гневно звучит его голос, когда он клеймит новых поджигателей войны.

Человек XX века, беспокойного, стремительно меняющегося мира, человек планеты Земля стал героем сегодняшней литературы социалистических стран, и в частности румынской. Человек этот — герой поэзии и прозы М. Бенюка.

...В уюте и тишине дома, заполненного книгами и цветами, голос Бенюка — голос протеста против опасности, угрожающей человечеству, — звучит сурово и непримиримо.

Но вот хозяин дома ведет нас в свою святая святых — в рабочий кабинет, он же — библиотека, он же — хранилище личного архива. Поэт бережно протягивает нам письма из Советского Союза, любезно разрешив опубликовать некоторые из них — письма Б. Полевого, К. Федина, А. Суркова.

Первое десятилетие победы народной власти в Румынии. Первые годы строительства социализма в Румынии. Первые годы советско-румынского сотрудничества в области экономики, культуры и, конечно, литературы. Живое свидетельство литературного советско-румынского сотрудничества в те годы — теплое письмо — воспоминание о поездке в Румынию прислал поэту в 1955 году Константин Федин.

«Дорогой друг Михай Бенюк,

сердечно благодарю Вас за Вашу книгу рассказов «Сла personală» и особенно за сердечную надпись на ней — единственные, правда, слова, которые я мог прочитать. Оказываются, Вы отлично пишете по-русски!

Мне было очень приятно получить от Вас привет в дни традиционных празднеств румыно-советской дружбы: я с удовольствием вспомнил наши встречи в Бухаресте в эти дни пять лет назад и все, что тогда было пережито и так хорошо волновало.

Передайте от меня поклон всем, кто меня с тех пор помнит. Жму Вашу руку и остаюсь Ваш Конст. Федин».

Сердечное, искреннее расположение, полное взаимопонимание, забота об укреплении сотрудничества — не только советско-румынского, но и международного — вот чем наполнена переписка М. Бенюка с советскими друзьями.

«Москва, 11. IX. 1963. Дорогой друг Михай Бенюк, я очень тронут и признателен Вам за грузинское письмо, которым Вы выражаете свое удовольствие недавним пребыванием в Советском Союзе и общением с большим кругом наших литераторов во время сессии Руководящего Совета Европейского Сообщества в Ленинграде.

Вместе с Вами я разделяю убеждение, что эта встреча хорошо послужила взаимопониманию между писателями тех стран, представители которых участвовали в интересной работе сессии.

Шлю Вам привет, от души желаю доброго здоровья и успехов в литературном творчестве. Искренне Ваш Конст. Федин».

«Дорогие Эмма и Михай! Сердечный вам обоим из Москвы, которая сегодня радуется по случаю установления воздушного космического сообщения по маршруту Москва — Луна. Здорово ведь вышло, правда! Чертовски здорово.

Ну, а мы — Юля и я — все еще полны впечатлений о нашей поездке по Румынии. Нам не удалось попрощаться, и потому шлем вам из Москвы большое и дружеское спасибо за гостеприимство, за внимание, за ласку, за то, что вы... влюбленные в свою новую страну, омоложенную августовской грозой, помогли нам увидеть и почувствовать процессы ее социалистического преобразования.

Мы вернулись домой полные впечатлений, оставив у вас, на дружеской земле, по кусочку своих сердец. Сердечный вам обоим привет, до встреч в Москве. Ваши Ю. Полевая, Б. Полевой. Москва, 14 сентября 1959 г.»

Переписка Михая Бенюка и Бориса Полевого чуть-чуть приоткрывает перед нами домашний мир писателей, их интересы, характер. Сколько доброго юмора, неистребимого жизнелюбия вот в этом, например, письме Бориса Полевого к румынскому другу.

«...Пользуюсь случаем для того, чтобы передать Вам сердечный привет от всех Ваших многочисленных московских грузей, а также привет от меня и моей жены Вашей очаровательной супруге.

Что касается моей бурной общественной деятельности, то прошу Вас по-грузески мне добрых пожеланий в этой области не делать. Лучше в следующем письме пожелайте мне написать что-нибудь путное, а то в литературном плане я уже, кажется, превратился в kota, который мышей не ловит, а только ест колбасу. Ваш Б. Полевой. 20 февраля 1956 г.»

А вот какое теплое поздравление прислал своему румынскому другу Алексей Сурков.

«Эмме и Михаяу Бенюк. Дорогие грузья! Ваши неизменные московские грузья и знакомые сердечно поздравляют вас с новым 1966 годом. Нам очень хочется, чтобы для каждого из вас новый год был более добрым, чем его предшественник. Мы желаем Эмме здоровья и бодрости, а Михаяу — богатого урожая лирики и вам двоим — счастья и радости в жизни.

Горячо вас приветствую и крепко жму руку. Ал. Сурков. Пишу из больницы. Но на новый год наверное сбегу домой. 24/XII—65».

Румынского поэта хорошо знают в нашей стране. Недавно в издательстве «Художественная литература» вышла в свет книга «Избранное» двух больших поэтов «под одной крышей» — Тудора Аргези и Михая Бенюка. Это — не единственная новинка. Из последних румынских изданий у нас отметим отлично составленные сборники прозы Тудора Аргези «Избранное» и Николае Вели «Поздняя встреча», «Стихи» Никиты Стэнеску, романы Михаила Садовяну «Чекан» и Р. Чобану «Сумерки», «Антологию современной румынской поэзии» на грузинском языке и роман К. Петреску «Последняя ночь любви, первая ночь войны» на украинском языке. Вскоре на полках наших библиотек и книжных магазинов появится на русском языке сборник рассказов современного прозаика Фэнуша Нягу, автора романов «Ангел вопиаше» и «Прекрасные безумцы больших городов», и на эстонском — роман Думитру Раду Попеску «Королевская охота». Готовятся к печати и другие издания.

О ЧИ Е Р К И Ж И А Ш И И Х Д Н Е Й

ВЯЧЕСЛАВ ПАЛЬМАН



НЕОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ

1

Зеленотравный, спокойный левый берег реки Клязьмы, той самой, что берет начало под Москвой, здесь, у города Владимира, в среднем течении реки постепенно повышается, и тогда с крутизны взору предстает тихая низменная равнина с бесконечными лесами, заливными лугами, старицами и озерами.

Это Мещера...

Надо же было и такому случиться: в центре России возникла плоская долина без конца и края, неглубоко подстеленная тяжелой глиной, поверх которой — где густо и толсто, даже целыми горками, где так, чуть-чуть — присыпано мытого-перемытого песку, а уж поверх песка постепенно поднялось все живое и зеленое, прямо чудо расчудесное из лесов, лугов, болот, озер, из пашен и мелких деревень — словом, заявила жизнь со своим особенным укладом, своеобразным ликом, на который взглянув разок, уже никогда не забудешь. Такое незаурядное и притягательно красивое.

Мещера — это природно-географическая область в десять или более тысяч квадратных километров, точные границы ее определить не так-то легко. А если приблизительно, то границей на западе служит Москва — мещерские приметы присутствуют в самой столице, это Кузьминки и Измайлово, это Лосиноостровское, а в пригородах — Люберцы с Косинскими озерами, Лыткарино, Раменское и Ногинск. А уж далее в качестве северной границы пойдет Клязьма, тогда как в качестве западной — Москва-река до впадения в Оку. За Коломной уже Оку надо считать пограничной с юга, причем далекою на юг, до Рязани, даже до Шилова, за поворот к Касимову. Восточнее Мещеру ограничивают реки Колпь и низовья Судогды, впадающей опять же в Клязьму, на которой как форпосты по северным пределам низменности возникли старинные Боголюбово, Владимир и новые Собинка, Орехово-Зуево да Павловский Посад.

Необычно приглядна, очаровательна и люба человеку зеленая Мещера.

Уж столько — и вполне заслуженно — писали о ней, столько песен пропели, так многокрасочно и вдохновенно рисовали на полотнах, рассказывали и показывали с экранов, что, право же, затруднительно сказать о ней как-нибудь по-новому, да еще языком документального очерка. Наверное, вместо рассудительной прозы лучше вставить в текст поэтические строки уроженца Мещеры поэта Виктора Васильевича Полторацкого:

Теряясь в кустах чернотала,
От желтых кувшинок пестра,
Всю ночь до рассвета плутала
Туманом повитая Пра...

И вновь из соснового бора,
Русалочьей песней маня,
Зеленая сказка — Мещера
К себе потянула меня.

Особенный мир природы на Мещерской равнине заманчив и всегда неожидан. То вдруг размашистыми волнами побегут в пойме Оки луга с такой травой, как у Белоомута, — до плеч высотой. То встанут сосновые боры храмовой красоты и мощи, как в Солотче, а позади них откроются сизоватые, полные хлюпающей воды, ягодников и комариного звона торфяники с редкими кустами ивы по лесистым пригоркам. Вдруг заблещут низкобережные

озера одно за другим, как у Спас-Клепиков, или свежо зазеленеет березовая роскошь по длинным луговым грядам. А вот и мшара с опасными глубинами, опять острова ягодных кочкарников, широкобокие ивы по берегам и протокам неведомых рек. Тут и голые сухие пески, наметающие остреньикие дюны, целые горы из песка. Всего вперемежку — воды и торфа, лесу темного, полного черничника, и лесу светлого, с запахами грибов и медуницы, с редкими звериными тропами и внезапной глухоманью, все нетронутое чистое и манящее предстает перед человеком, если сойдет он с асфальтовых дорог, пересекающих ныне Мещеру с запада на восток и с севера на юг. Край диковатой красоты, тихой прелести и ярко-зеленого уюта. Край древнего человеческого жилья.

И сегодня в Мещере осталось довольно таинственных мест. Все так же, как тысячулетие назад, тихо и таинственно стоят леса, по-прежнему белесы и малопродуктивны почвы — на речных обрывах видно, как сверху приладилась почерневшая, всего в ладонь шириной, почва над песками. И как в давние времена чудо богаты разнотравьем луга в заливных поймах рек, трава там густа и слитна, а под ней уже что-то близкое к чернозему, совсем забогатевшая илом почва.

Но вот и современное чудо-явление: и там и здесь пристроилась на буграх либо на луговом поречье одна, другая, десятая деревенька — рядок рубленых изб, целиком из дерева. И фундамент с подпольем, и стены, и крыша, а иной раз и труба — из потемневшего от времени, но крепкого, звонко отдающегося на удар дерева. А вокруг еще и сараюшка, хлев, жердевая огородка, внутри которой пахнет обжитым: скотиной, навозом, молоком. Далее стоят яблоньки, вишня, смородина, малина, и тянется долгий огород с такой рослой темной зеленью листа и ботвы, какую и на юге не всегда заметишь. Раздвинь рядки — и взору откроется теплая, легкая, пышно-богатая, черная от гумуса пашня. Откуда?..

Это уже старанье разума человеческого. Рукотворная земля. А шагни за изгородку, к лесной опушке, там все тот же серый подзол меньше ладони толщиной. И тяжелая глина. Несовместимые вроде бы почвы под одним небом, на одном гектаре, а вот они, на глазах, без обмана. И такая коллекция почв на протяжении сотни шагов, что в музее земледелия не увидишь. Тут и огородные черноземы, и серые лесные, и луговые подзолы, и заболоченные, и оторфованные, и настоящие торфяники — каждой форме сопутствует своя растительность — от колокольной высоты сосняка и елей до кустарника, потом до картошки и буйного клевера, до жестких осок на хлюпающей низине посреди осинника. Конечно, всякое живое уют и пищу себе отыскивает. Лес — свое. Болото — тоже свое. Ну, а люди, которые крестьяне, давно сообразили — где и как им удобнее приложить руки, чтобы горе не мыкать, хлеб-овсы да молоко с мясом иметь. Кто как сможет.

Много людей прижилось на Мещере. И жива, меняется она к лучшему только полезным человеческим трудом.

Видать, большая тяга к таким вот местам заставила разноплеменный народ в очень давние времена поселиться в здешней лесной глухомани, отгородиться от мамаев и жить без зависти к богатым селам на благодатном чистом ополье, которое плавными буграми нежится на возвышенном берегу Клязьмы и за городом Владимиром, и на левобережье Оки в южной части Мещеры. Эти соседствующие с Мещерой земли много богаче и удобнее для жизни. Но не всем же там сбиваться в тесноту.

Плодородное от природы ополье потому и зовется ныне, как и встарь, Русью залесской, что славяне-переселенцы с юга, одолев тысячеверстные темные леса по Днепру, Вазузе, Москве, Оке и Клязьме, вдруг увидели сквозь расступившиеся дебри размашистую, до горизонта просторную землю, на которой стояли среди трав лишь редкие дубравы. Вот тогда и зачесались у них руки, соскучившиеся по сохе и топору. И пролегли на ополье первые борозды темной плодovitой земли. И поднялись нивы. А в первые же зимние дни застучали топоры на холмах и как-то очень скоро и дивно встало в этих местах гнездо городов русских, сперва деревянное, а после и каменное, красоты сказочной, сохраненной до наших дней.

Мещерские жители — и первые и пришлые — бывали в этих городах, дивились, но не помышляли перебраться из своих уютных уголков на богатые земли за Клязьмой или Окой. Случалось, что к ним приходили с тех бугров и оставались жить в лесах-низинах. Потому тут и собрался и пообвык очень разный народ — древние мещеры, татарские племена, чудь, славяне. Лес и обильные реки с озерами, охота, скотоводство, благо выпасов и травы вдоволь, — все обещало людям пищу и кров. И земля из-под леса, пусть и слабая, но если с навозом из хлева, то позволяла растить хлеб, а позже и картошку и все другое. В годы, неудачные для хлеба, — такие приходили нередко — мастеровые жители Мещеры уходили по разным русским городам на отхожий промысел. Среди них и сегодня всякого ремесла мастеровых искать не надо — от ложкаря до стеклодува, от хорошего плотника

до удалого красила. Многие избы в мещерских деревнях добротностью и красотой рисуются, их хозяева нанимаются на другой стороне ставить, как понаставили храмов и сел по всей владимирской земле. Да что владимирской! Саму Москву мещерыне ходили приукрашивать, саму Красную площадь камнем мостили.

И не забывали о матушке-земле. Пашню ширили, пахали. В наши дни на Мещере распаханы десятки тысяч гектаров, пусть и на бесконечных клочках среди лесов и болот. Здешние крестьяне по урожаям с деревнями на ополье соревноваться не могут, там запросто берут и по 20 и по 30 центнеров зерна с гектара, но и здесь стараются взять свое. В этой лесной стороне большие умельцы считают удачей любую половину от опольского. Но, случается, и вровень идут, бывает, что обгоняют. Редко, но бывает. И все же справедливости ради скажем, что по осени многие стыдливо почесывают затылок: семь либо восемь центнеров ржи или овса с гектара, меньше вроде и некуда.

Когда за такой урожай упрекнут, мещерские, конечно, на землю покажут — ну какая это земля! Так, видимость, один песок — с сожалением ответят в той же «Заре коммунизма» Судогодского района. И засмущаются, поскольку с такой же самой земли в близком Улыбышеве за минувшее пятилетие наловчились собирать не по семь центнеров, как в «Заре», а более чем вдвое. И за 1982 год, когда в «Заре» собрали восемь с двумя десятками, а в Улыбышеве все 21,7 центнера. Вот тут и подумаешь: одна ли это земля? И только ли ее винить?

Весь Судогодский район, где такие неравные хозяйства, вот уже добрый десяток лет топчется на одном месте, никак больше 9,7 центнера с гектара не соберет. Все спорят, все упрекают один другого, а опыта у хорошего хозяина так и не займут, хотя чего же в этом опыте не понять? Всякая урожайная земля на тощих от природы подзолах — это непременно рукотворная земля, от хозяина зависящая больше, чем от природы.

Так-то оно так. Но как создать и здесь и на других слабых землях России плодородную пашню? Как лучше исполнить главную заповедь человечества — воссоздать вокруг своего жилища красивую и щедрую среду обитания — основу жизни, наконец, надежный фундамент Продовольственной программы СССР?

Проблема эта в наш век научно-технической революции адресуется и ученым, и толковым земледельцам.

Насколько мне известно, наибольшую активность по воссозданию плодородия проявили Аркадий Михайлович Артюшин — один из руководителей Союзсельхозхимии МСХ СССР и академик ВАСХНИЛ Иван Семенович Шатилов. Эти два ученых проделали значительную работу. Шатилову удалось наконец составить записку в Совет Министров РСФСР о почвах России, указать на причины истощения земли в отдельных регионах. Артюшин возбудил в ВАСХНИЛ мысль — образовать Всесоюзный институт органических удобрений. А когда спросили — где, тут же вспомнили о Мещере: где еще природа на ограниченной площади сотворила такую богатую коллекцию почвы, как не на Мещере? Готовое опытное поле! А раз так — быть институту в этом регионе, обязать, значит, владимирскую областную Сельхозхимию всячески помочь новому институту, главное, создать на окружающих его землях плодородные угодья, чтобы институтское опытно-производственное хозяйство сделать эталоном для улучшения разных почв. И помощь пришла. Начальник облсельхозхимии Геннадий Иванович Чуркин не отказал ни в технике, ни в людях.

Так на базе небольшой, делами не приметной опытной станции в поселке Бараки и начали вырисовываться контуры солидного научного центра, который хочется называть коротко и просто Институтом земледелия, тем более что в стране у нас много сельскохозяйственных институтов и ни одного с четким именем — земле-делия!

Вскоре выяснилось, что этим же главным делом поблизости занимается не одно хозяйство, каждое само по себе. И лучше всех землю воссоздадут в совхозе «Ильинский». Туда и поехали научные сотрудники. Познакомиться, договориться о едином плане.

Поехали и мы.

Вот оно — за лесами, за болотами — село Ильино. Совхоз.

2

Сидим с глазу на глаз в большом директорском кабинете, а беседа поначалу никак не клеится. Я задаю вопрос. Директор — такой же короткий ответ. Еще и еще. И все на перо мое посматривает, как оно букочки вырисовывает. Зачем, думает, вырисовывает? И чего из этой беседы получится?

Федоров — крупный мужчина. Лицо у него большое, доброе. Возраст — без малого шесть десятков годков, да тяжелое ранение на фронте Отечественной, да вот это Ильино наложили и на природную доброту морщинистый отпечаток вечной озабоченности. Что-то таится, чего-то недоговаривает. Да, работаем. Да, пески, понимаете ли, а под песками сразу же плотная глина, воду вниз не пропускает, все лето мокрота на поле, а это, знаете, как на картошке плохо сказывается... Да и на ржи тоже. И вздыхает.

Спрашиваю, сколько лет он в Ильине?

— Семь годков.

— А до Ильина?

— В Головине, вот тут, рядом. — И вдруг оживает, откидывается в кресле и перестает терзать в руках карандаш. Не без гордости говорит:

— Там я проработал без малого двадцать три года. Ох, и трудные, но какие же хорошие годы!

Встает и туда-сюда по кабинету. Одно воспоминание о колхозе «Красное знамя» расправило морщины на лице, подмолодило. Видно, воспоминание из разряда приятных.

Я заглянул в свои записи. Вот так Головино! Там все последние годы получали чуть не вдвое больше зерна, чем здесь, в Ильине. Получают и сегодня, уже без Федорова, но нетрудно догадаться, что начало плодородию там положил именно Федоров. Теперь вследствие сказывается. А вот по молоку нынче уже Ильино выше Головина в сводке, молоко зависит от кормов, а корма — это проблема сиюминутная.

Александр Гаврилович опять усаживается, разговор идет без навоящих вопросов.

— В том хозяйстве я полжизни своей оставил. И, скажу вам, не без успеха. Как вспомню, так на душе светлеет, хотя жизнь была и трудной, довольства не было и в помине. Квартирку мы с женой много лет снимали у одной старушки, у тети Поли, в тесноте, конечно. О постройке собственного жилья только мечтали. Но мечтали, потому что не временщиком туда приехал, хотелось навсегда. В середине пятидесятых почти все колхозы на дотациях сидели, денег колхозникам не платили, а трудодень, как говорится, насквозь светился. Но народ держался в ожидании лучшего, за хозяйство горой стоял. Как вечер, так у нас полна контора мужиков. Сидят, покуривают, разговор о том, о сем и, глядишь, обсудили, нашли, где деньги добыть для коровника, для дороги. Между прочим, помещения строили сами, в лесу чурку пилили, сами drankу резали, сами, конечно, крыли. А меня вскорости собрание своим вниманием растрогало: вынесли такое решение — премировать велосипедом. Ты, говорят, Гаврилович, по шести деревням ходишь пешком, вот для ускорения велосипед тебе. Ну, поклонился я и стал велосипедистом. А еще через сезон итоги подвели, доложили, что дело пошло веселей, такое время подоспело. И тут собрание высказалось за мотоцикл для председателя. Тогда мы с женой и вспомнили о давней своей мечте. Мотоцикл я покупать не стал, деньгами получил, и на те деньги дом строить зачали, поскольку никуда из Головина уходить не собирался. А соседи подсобляли.

Федоров рассказывал, поигрывал спичечным коробком и сдержанно улыбался, вспоминая сложные для него годы.

— А что же поля, урожай? — напомнил я, стараясь приблизиться к главной теме и к цели приезда. — Там ведь тоже пески, тоже скудная мещерская почва?

— Как раз с полей мы и начали подымать головинское хозяйство. Все крестьяне видели, что на такой земле ничего путного не возьмешь. Мы на клевера внимание обратили, а тут нам, что ни год, то все больше зерновых подбрасывают. Я в район еду, доказываю: мне корма растить надо, траву да свеклу, чтобы коров разводить, молоко получать и навозу побольше для поля. Природа в Мещере показывает, что все добрые дела с этого начинаются. А уж потом и о зерне можно думать. Понимали меня плохо. Далось району зерно, вынь да выложи, а что там с полями получится, это вроде не наше дело. Я толкую каждому руководителю: повремените годков пять-семь, пока мы клеверами и навозом землю подбреем сделаем, пока скотины побольше разведем, молоком для города откупимся, тоже нужный продукт. Посмотрите на личные огороды, какая там добрая земля! Такую и на колхозных полях надо создать, а для того время, скотина требуется. Многие годы шла эта война с ретивыми.

— Удалось убедить?

— Как вам сказать... Не в полную задумку, но дело делали, хитрили по-крестьянски, хотя зачем же хитрить, если к доброму движемся? Коров в Головине прибавлялось, коровники построили, молока больше, ну и навозу тоже, его весь в поле. И непременно с подстилкой из торфа, я до колхоза на торфопредприятии работал, знал, какой брать и сколько. В головинских деревнях мы и наладили производство торфонавозного компоста, вози-

ли торф в коровники без устали, понимали — от этого наше будущее зависело. Так год за годом, дружка перед дружкой, деревня перед деревней...

— На животе? Вилы и лопата?

— Да, все вручную. Иначе не умели. Самая тяжелая работа. Ведь тысячи тонн... Перекидай-ка их трижды! Я так скажу: кто хочет в Нечерноземье нормальные урожаи получать — начинай со скотоводства, займай три головы на гектар пашни, чтобы за сезон на этот гектар по двадцать, по тридцать тонн компоста, пока земля не потемнеет от гумуса. А если еще люпин сеять для запашки да клевер с люцерной на корм, тогда почва и во все скоро богатой станет. Словом, навались на главную беду, гони на пашню органику, сей бобовые, пески отзывчивы на добро. Без этой тяжелой работы деревни здесь не возродятся. Как уходили мужики на отход, так и дальше будут! Без народа что тогда делать?

Он подумал, вздохнул и поглядел в окно, на поселок. На новый поселок, опять федоровскими трудами созданный для людей уже другого хозяйства. И улыбнулся.

— Нашел я тогда поддержку в районе. Секретарем райкома у нас был Михаил Григорьевич Графский. Мужик!

— Тот самый?

— Ну, который уже годов пятнадцать, если не больше, теперь на ополье, племзаводом имени XVII МЮДа руководит. Герой соцтруда. У него точно такая же позиция была, когда о будущем речь заходила. И мне он всяко помогал. Я его своим учителем почитаю. Много пособил. Потом слышу, Тихон Степанович Сушков, председатель облисполкома, Графского к себе забрал. В заместители. С этого поста он и в племзавод ушел. И какое хозяйство отладил! Любо-дорого!

Об этом хозяйстве я кое-что читал и слышал. Встречал Михаила Григорьевича Графского на совещаниях в Москве. У них с Федоровым и в характерах есть что-то общее. Крестьянские души, без суесловия. Но мне сейчас хотелось, чтобы Федоров говорил о себе, о головинском времени, когда начинался эксперимент с улучшением мещерских песков. Видно, он это понял.

— Да, там мы поле за полем удобряли. Урожай прирастал не сказать чтобы шибко, но к тринадцати центнерам мы уже подобрались. И рожь, и овес такой урожай давали по любой погоде. И молока все больше, иной год первое место в районе занимали. Компосты из коровников шли на поле, как по конвейеру. Коровники мы строили двухрядные, скотина в них стояла хвостами к середине, к широкому проходу. Один скотник с лошадкой управлялся. Он и торф подвезет, подкинет под каждую корову, она его с навозом ногами перебирает, лежит на сухом, от торфа в коровнике дух хороший, воздух чистый. Он и компост успевал вывозить во двор, в штабель, мы ему за каждую тонну хорошо платили, чтобы заинтересовать. Тут понять надобно: фермы не только молоко, но и плодородие для полей. Навоз в крестьянском деле — не последняя продукция. Особенно здесь, на подзолах. Вы Горшкова знавали? Он в «Большевишке» вон какую землю сотворил! На десятилетия!

Тут он выразительно посмотрел на меня: дошло, нет ли? И уверившись, продолжал:

— Двухрядные коровники все же удобнее широких, четырехрядных. Где коровы в четыре ряда, там для уборки навоза уже транспортеры нужны, накопители. Техника. Мороки больше. Но строят больше широкие. Говорят, экономичнее. Для строителей, а не для поля. Вот и здесь, в Ильинском, пришлось, хотя и без моего согласия.

— Как же получилось, Александр Гаврилович: из налаженного хозяйства вы ушли. И куда? В отстающее Ильинское? Давно ли?

— Поболее семи годков назад. Тут я, как говорится, сам себе ножку подставил. А виновата опять же система планирования.

Он в сердцах отбросил спичечный коробок.

— И поныне эта система жива! Называется—от достигнутого. Даешь прирост продукции, скажем, на десять процентов, тебе тут же планируют выше достигнутого еще на десять. Получаешь и это, ну, скажем, погода помогла, а тебе опять выше. Значит, чем ты лучше работаешь, тем на тебя больше груза наваливают. Ладно бы груз, можно перетаскать. Тут связь с заработком: если план выше, значит, людям труднее премию заработать. И нагрузка на землю плотнее. Скажем, чистые пары. У нас их надо иметь по одному полю в каждом севообороте. Пар очищает землю от сорняков, есть куда возить компосты даже летом, чтобы сразу заделывать под вспашку или культивацию. А когда план под завязку, паров уже нет, вся земля под культурами. Как уж там плановики сочетают это с оценкой труда по конечному результату, я не знаю, но такое планирование, ей-богу, не в интересах дела. От него выгадывают только отстающие хозяйства. А хозяй-

ства растущие притормаживаются, люди начинают понимать: вроде невыгодно для них давать больше продукции. Однажды я и высказал все это Евгению Дмитриевичу Юдочеву, секретарю нашего райкома. И сгоряча добавил, что лучше идти работать в отстающее хозяйство, чем руководить передовым, у которого отобрали главный стимул к совершенствованию. Он и запомнил мои слова. В те годы ильинский совхоз уже хромал на обе ноги. В Головине мы хоть и испытывали нехватку кормов из-за высокого плана по зерну и урезали травы, но как-то выкручивались, давали продукции вдвое против «Ильинского». Да, так вот Юдочев и запомнил мои слова. Вскоро опять приехал и говорит: «Мы тебя директором в «Ильинский» переводим. Ты ведь просился...» Что мне ответить? Сказавши «а», говори «б». Словом, прихожу домой и с порога жене: Вера Афанасьевна, перед вами директор ильинского совхоза...

— И все сначала?

— Почти. Здесь жили сегодняшним днем. В будущее не заглядывали. Поля первобытные, песок да подзол, заросшие сорняками. Дорог нет. Стройка? Чтобы гвоздь забить, человека не сыщешь. Местных почти никого не осталось, а люди пришлые, сами понимаете... Все работы летом держались на шефах. Какая это рабста — от и до? Понял, что ничего я тут не сделаю. И осерчал сильно. Написал бумагу в обком самому Михаилу Александровичу Пономареву. На прием поехал. Выложил все, как думал. Вот тогда колесо и завертелось. Только года через два удалось вернуть хозяйство на верный путь: сперва делать пашню, а для этого развести скот, чтобы побольше и молока и навозного компоста.

— Получилось?

— Личный опыт, как вы понимаете, имелся. А вот людей остро не хватало. Уезжали из совхоза: негде жить. Значит, так. Думай о земле и навозе, а квартиры строй прежде всего. За первые четыре года мы построили 80 квартир, за последние два — еще почти столько же. И одновременно строили 6 скотных дворов на 1100 мест, но не таких, как хотелось, а какие всунули. Здесь система накопления навоза получилась сложной: транспортеры в коровниках, вынос во двор, прямо в тележку, отвозка полужидкого навоза к штабелям торфа, на площадке все это переворачивает бульдозер. Качество компоста похуже, потерь побольше. Но и здесь наладились вывозить за сезон до 30 тысяч тонн на все 2187 гектаров пашни. Еще раз понял: создание урожайной земли потребует долгого времени. Вот, запланировали дать на каждый гектар по 100 тонн. Это 220 тысяч, семь лет при нынешних темпах.

— Вы здесь как раз семь лет...

— Первые три-четыре года землей не шибко занимались, скота было мало. Строились. Коровами обзаводились. Вот только-только обогнали по молоку мое старое Головино. А сегодня наши надежды уже связаны с подмогой ученых. Заключили договор на сотрудничество с новым Институтом органических удобрений. Как только его организовали в Бараках, я, кажется, первым из директоров к ним приехал. Теперь у института в Ильинском опорный пункт, постоянно кто-нибудь наезжает. Цель остается прежней: создать на наших сильноподзоленных и маломощных почвах устойчивую, плодородную среду, обогатить гумусом, блюсти плодосмен, иначе говоря, использовать все средства для наращивания гумуса, который сильно подрастерялся.

— Ваши взгляды нашли поддержку?

— Полностью. У нас с институтом теперь план содружества на много лет. Отряд из Сельхозхимии работает по этому плану. Возим торф, делаем компост, всю органику под вспашку. Тридцать тысяч тонн за год! Своими силами разве управитесь? Только общими, заодно с Сельхозхимией. Хотите в поле, посмотрим — как и что?

3

Да, начало разумному хозяйствованию в совхозе заложено. Федоров не новичок в земледелии. Уроженец Мещеры, тридцатилетний опыт работы в деревне. И даже характер, как видно из его действий, — вдумчивый, коллективистский, по-крестьянски осмотрительный, — свидетельствует о его способности вести хозяйство умело, трезво, не слишком увлекаясь непроверенными рекомендациями и скороспелыми решениями со стороны.

Когда он одолел трудный организационный период в «Ильинском», когда поднялись новые дома, а во все сохранившиеся деревни пролегли дороги и понемногу стали возвращаться отовсюду местные и не местные крестьяне, то есть подобрались рабочие и специалисты, на которых можно опереться, вот тогда Александр Гаврилович рез-

ко повернул руководство к главному делу, ради которого живешь и работаешь, — к созданию плодородной земли в Мещере.

Федоров приятно удивился, узнав, что его взгляд на землю как начало всех начал полностью совпал с мыслями ученых из нового института. Здесь можно сказать, что именно такую программу, только не для одного хозяйства в скупой Мещере, а для всего Нечерноземья, для бескрайних пашен от Белого до Черного моря, от Немана и до батушки Амура должны создать ученые из коллектива нового всесоюзного института. Не на пустом месте — на базе всего, что уже открыто, известно, обнародовано — от Докучаева и до работ современных ученых-землеведов, из которых далеко не все считают себя лично ответственными перед обществом за возрождение истаявшего плодородия. А между тем, это и есть забота номер один, поскольку «все зачинает земля, дождевой орошенная влагой...», как писал Лукреций еще на рубеже нашего летосчисления. Все зачинает! Но так ли мы уважительны к этому величайшему чуду природы — к плодородной земле?..

Конечно, Федоров знал, что плодородие начинается от фермы, от колхозного двора, где стоит скотина. Корова, овца, твинья и лошадь не только источник молока, мяса, шерсти, кожи. Скотина живет продуктами земли, потребляет все, что рождено землей, ее плодородием. Живет и сама дает жить земле. Далеко не все, что животное потребляет с зерном, травой, другими продуктами луга и поля, уходит на потребность животного организма. Много чего остается в навозе, и этот остаток, в каком он ни окажется виде, должен целиком вернуться в землю. А мы в суете своей забыли возвращать, хотя знали, что только при полном возврате навоза на пашню не разрывается вековечный круговорот органического вещества в природе — один из главных ее законов, когда ничего не пропадает, а напротив, благодаря энергии солнца и зеленому листу растений, органическая жизнь совершенствуется, прибавляясь и плодородной почвой, и растениями, и всеми плодами поля, луга, сада с огородом, кормящими человечество.

Федоров не понаслышке знал и про кладовые древнего органического вещества, припасенные в Мещере предусмотрительной матерью-природой. Судьба у него сложилась так, что еще молодым нанялся он работать на торфяных карьерах для топлива. Было это в Улыбышеве и в Коврове. Нагляделся там, сколь плотно и глубоко лежат в хлипкой низине торфяные пласты из полуразложившихся растений. Вот тут подзолы и пески, называемые пашней. А вот здесь рядом — органика, которая, если перемешать ее с навозом, делает эти пески родящими. Но молодой техник по торфу добывал тогда черное богатство для других целей, для Шатуры, Владимира, где в десяток высоких труб и до сих пор дымят тепловые электростанции на торфе, сжирают бесценное удобрение тысячами тонн за сутки, превращая его в электрическую энергию и в золу.

Не знал тогда Федоров высказываний великих россиян — Менделеева, Прянишникова, Костычева — о торфе как удобрении, о безумии истреблять его запасы в печах. И лишь много позже, когда своими глазами увидел в Головине, какой урожай вырастает на песках, удобренных торфонавозными компостами, только тогда стал он одним из самых деятельных заступников органики — торфа, соломы, древесных опилок в подстилке — как средства восстановления плодородия на пашне.

Вот почему, побывав в Бараках, где ныне Всесоюзный научно-исследовательский, конструкторский и проектно-технологический институт органических удобрений, который мы решили называть покороче Институтом земледелия, Александр Гаврилович тотчас заговорил о сотрудничестве с директором Петром Дмитриевичем Поповым, после чего и была составлена программа совместных работ по созданию плодородных почв в ильинском совхозе.

— Спокойней на душе, когда такая поддержка, — сказал Александр Гаврилович, когда мы уже пили чай в его простецки обставленном доме. — Ученые рассчитали все до тонкости. Мы знаем, когда, что и как делать. Теперь если и осталось какое недоразумение, то разве с планами. Будем надеяться, что Судогодское РАПО их уточнит.

— Вы о чистых парах?

— Да, программой возрождения пашен чистые пары предусмотрены непременно. Органика больше всего пойдет на пары. Только так мы за десятилетие сможем капитально удобрить все свои две тысячи гектаров малоплодных пашен. Тридцать тысяч тонн органики в год.

— Сил-то хватит?

— С помощью Сельхозхимии — да. Правда, наша районная контора слаба, мало людей и техники. Но район обязан помочь ей. А она — нам. Все в одной упряжке.

До вечера мы еще успели поездить по полям. Желтизна песков била в глаза. Сколько тут работы, если говорить о плодородии!

А вечером того же дня... Надо ж было случиться такому совпадению! Перед сном, по привычке просматривая газеты, я вдруг увидел в передовой статье «Правды» слова «Судогодский район», откуда только что вернулся. Передовая называлась «Во главе хозяйства». Речь шла о деревенских руководителях, «идущих в ногу с требованиями времени».

«К числу таких хозяйств, — читаю дальше, — принадлежит и совхоз «Ильинский» Судогодского района Владимирской области. Шесть лет назад директором сюда пришел Александр Гаврилович Федоров. Положение в совхозе было незавидным, здесь, что называется, не сводили концы с концами. Вместе со специалистами, рядовыми тружениками директор, партийная организация взялись за укрепление материальной базы, наведение порядка на всех участках. С тех пор основные фонды возросли вдвое. Более восьмидесяти семей справили новоселье. Повысились урожайность культур, продуктивность ферм. Из убыточного совхоз стал прибыльным. Сейчас директор, специалисты стремятся развить успех...»

И я вновь порадовался за Федорова, за ильинский совхоз. «Взялись за укрепление материальной базы». Главной и бесценной по своему значению материальной базой в совхозе, конечно же, является пашня, земля. И полные скотиной фермы, с цехами по производству органических удобрений.

Будем считать похвалу «Правды» авансом будущих успехов этого хозяйства. И напомним слова, сказанные А. Н. Радищевым еще в конце XVIII века: нужна «соразмерность нашего скотоводства к земледелию».

...Как видим, иногда и хорошо забытое вдруг зазвучит по-современному. К примеру, те же слова Радищева: «...доселе известно то, что можно, посредством наипаче навоза, сделать землю худую равною хорошей в произведении; но удобрение сие есть временное, а чернозем остается плодороден навсегда. Если кто искусством покажет путь легкий и малоиздержестный к претворению всякой земли в чернозем, то будет толикой же благодетель рода человеческого...»

Сказано два века назад. А мысль злободневна для земледельца и ныне.

4

Вот большая комната института, где расположилась лаборатория баланса гумуса в почвах. Стол и сидящий за столом Александр Иванович Жуков занимают немного места. В этой комнате более к месту массивный «письменный», заставленный если не приборами, то книгами да телефонами, а за столом — солидная фигура седовласого ученого.

Александр Иванович довольно молод, невысок и подвижен. Лицо у него приятное и простое, а взгляд теплый и дружеский. Он в очках, голос у него негромкий, разговор ведет спокойно, слов лишних не разбрасывает. Деловой, собранный ученый, хорошо знающий не только свою специальность, но и смежные науки, и, вероятно, людей, делающих науку. Жуков сегодня в том периоде жизни, который называют расцветом творчества, и успел сделать в своей области немало полезного. Ученое звание у него скромное — кандидат биологических наук. А проблема, которой занимается лаборатория, весьма обширна, она призвана высветить дорогу для других лабораторий института, внести вклад в общую науку о почвах.

— С чего мы начали здесь, в новом институте?— Александр Иванович переспрашивает по привычке, вопрос ему понятен. — Естественно, с обзора всей литературы, с изучения всех трудов по гумусу. Материалов много. И опытных данных и выводов предостаточно. Но белые пятна тоже есть. Обзор всех сведений по гумусу нужен нам для того, чтобы не тратить времени на открытие уже открытого, начать продвижение с той высокой ступеньки, куда добрались ученые до нас.

Сразу, без разминки, вот такой прямой разговор. В глазах Жукова за стеклами очков вспыхивают и уже не гаснут нетерпеливые искорки. Это называется «завелся»...

— Отдадим прежде всего должное Гипроземи, — говорит он. — Есть такой проектный институт. Слышали о его работах?

— Однажды побывал в этом институте, знакомился. Заглядывал в его воронежский филиал. Мне показалось, что труды Гипрозема оценены далеко не в полной мере. Работы его интересны, нужны и достаточно известны специалистам.

— Вот именно. Интересны, известны и полезны. Российское отделение Росземпроект, ВАСХНИЛ давно бьют тревогу, когда речь заходит о почвах. Они установили едва ли не повсеместный по России отрицательный баланс гумуса в почвах.

— Простите, не очень понял...

— В пахотном слое продуктивной земли гумус заметно исчезает, вот в чем дело. Его все меньше и меньше. Это и называется отрицательным балансом. Засим последует снижение урожайности гектара. Этот негативный процесс остановить трудно. Нужны самые большие дозы органических удобрений. Минеральные помогают мало. Ведь гумус не просто источник пищи для растений. Это, если угодно, живая субстанция почвы, в которой и происходит таинство воссоздания плодородия.

— Значит, материал для гумуса — навоз, компосты, сапрпель, пожнивные остатки?

— Да. Все органические формы. Только они способны поддержать постоянство гумуса в наших почвах.

— Это касается и черноземов юга?

— Черноземов юга тоже. Тем более что и там баланс гумуса отрицательный. В частности, по югу Украины. на Кубани и в Ставрополье, где почти сто лет назад фиксировалось в среднем шесть-восемь процентов гумуса, сегодня не более пяти-шести...

— Кто изучал динамику?

— Все тот же Государственный институт проектирования земледелия. У них для сравнения есть картограмма черноземов России, составленная с участием Василия Васильевича Докучаева. Сейчас я покажу вам копию, снятую с докучаевской карты.

Он вытащил из ящика стола папку и осторожно извлек сложенный лист ватмана, аккуратно подклеенный на сгибах. Развернул его во весь стол. На пожелтевшей от времени карте России черным цветом разных оттенков выделялись «непревзойденные русские черноземы». Они широкой полосой шли от Днестра и Одессы на северо-восток, увеличивались по площади в районе Волги, дотягивались на севере почти до Тулы и Рязани, продвигались к Ульяновску (на карте — Симбирску), все так же густо темнели у реки Белой, в районе Белебея, Уфы, Бузулука, несколько светлели в степях Зауралья, на нынешней целине. Интенсивный черный цвет окрашивал районы Самары, Пензы, Воронежа, Саратова, Тамбова. Когда-то здесь в почвах было более десяти процентов гумуса. Самые благородные черноземы на земном шаре! Краска чуть бледнела от Кишинева к Харькову, Ставрополю, Оренбургу и на Кубани, здесь гумуса семь, местами десять-двенадцать процентов. Вот оно, главное богатство страны, занимающее по обе стороны Урала площадь что-то около семи-десяти миллионов гектаров! Российская житница.

Вместе с Жуковым мы рассматриваем этот документ 1886 года, составленный еще учителем Докучаева профессором Чеславским и уточненный самим Василием Васильевичем в 1901 году. А думаем при этом, кажется, об одном: что с черноземами сегодня, сто лет спустя? Без слов гляжу на Жукова. И он понимает.

— Перемены, как я уже сказал, к худшему. За столетие потери гумуса составляют до трети от изначального. Главный специалист Гипрозема Аркадий Александрович Жиров считает, что в районе Поволжья утрачено от одного до полутора процентов, в районах Северного Кавказа — до одного процента, в центре России — несколько больше.

— Почему это происходит?

— Если не считать водной и ветровой эрозии, главная причина — это, конечно, многолетняя и не всегда умелая эксплуатация земли, безвозвратный вынос органики земли с урожаями. Дело в том, что при зерновых и пропашных культурах, по сути дела, взамен вывезенного урожая мы ничего почве не даем. Пожнивные остатки ничтожны, кроме того, их часто сжигают на месте. Даже солому — этот ценнейший продукт. Варварство. А в южных областях навоз вывозят в поле редко и мало. У земледельцев сложился особенный психологический настрой: черноземам навоз вроде бы ни к чему. Им в степях топили хаты. Кизяк знаете? Использовали на постройки. Саман. В лучшем случае его вывозили на свои огороды. Кстати, в огородных землях по стране и сегодня гумуса значительно больше: семь-восемь процентов. Отсюда и устойчиво высокие урожаи на приусадебных хозяйствах.

Он сидел и поглядывал на старую докучаевскую картограмму. Потом, не отводя глаз от карты, сказал:

— Если говорить о нашем Нечерноземье, то здесь старопашотные почвы в среднем содержат от 0,2 до 1,5 процента гумуса. Кое-где запасы его как бы стабилизировались на этом крайне низком уровне. На самом низком! Отсюда и невысокое плодородие.

— А причины стабилизации?

— Буферность почв. Неприятие живым смерти, исчезновения. Кроме того, поддерж-

ка с помощью многолетних трав — клевера и люцерны, всех других трав — сеяных и естественных, даже сорняков. Травы оставляют на гектаре какое-то количество корней, пожнивных остатков, чем слегка компенсируют расход гумуса.

— Значит, прав Вильямс? Прав Мальцев?..

— Травопольная система с одним-двумя полями многолетних трав в семипольном севообороте спасает слабые подзолы от полной деградации. Это истина, против которой не возразит ни один думающий биолог. Но мы и поныне ущемляем значение трав, сеем их не в полях севооборота, а на выводных клиньях, где люцерна сидит на одном месте по четыре-пяти лет. Иначе говоря, превращаем травы из лучших лекарей подзолистых земель в корма, только в корма. Травы в севооборотах обязательны! Как и удобрение торфо-навозными компостами, навозом.

— И минеральными?..

— Да.— Жуков внимательно посмотрел на меня поверх очков.— Старая истина: навоз и травы — восстановители гумуса, хранители живого вещества земли. А минеральные — пища для растений. Для сегодняшнего урожая. По навозному удобрению, по пласту трав действие минеральных удобрений удваивается, об этом известно каждому агроному.

Александр Иванович тоже агроном. Он учился в Тимирязевской академии. Ему посчастливилось слушать лекции таких последователей знаменитого Прянишникова, как профессор Мария Николаевна Першина, как Александр Васильевич Петербургский — знаток русского земледелия, агрохимии почв. Все, что Жуков говорил сейчас, было продолжением мысли зачинателей советской школы почвоведения, которая своими корнями уходила к Докучаеву.

— Особо резкое снижение гумуса в почвах,— сказал далее Александр Иванович,— мы отметили в шестидесятые годы. Есть районы, где количество его упало до критически низкого, и почвы перестали быть плодородными. Не почвы — грунты. Вспомните массовую распашку трав в те годы. Насыщение севооборотов зерном до шестидесяти процентов от площади, отсутствие чистых паров, крен только на минеральные удобрения, забвение навозного... Вот почему почвы, прежде всего слабые дерново-подзолистые (а их у нас больше, чем черноземов), подошли к критической черте. Это особенно заметно вот здесь, на мещерской стороне. Бедные от природы почвы просто обнищали. Пашни только по названию.

— Вы проверяли гумус в хозяйствах вашего Судогодского района?

— Владимирский филиал проектного института по землеустройству (Гипрозем) не один раз делал здесь анализы почв. С 1957 по 1973—1975 годы содержание гумуса по области снизилось на 0,3 процента от веса почвы. На каждом гектаре гумуса стало много меньше. За 16—18 лет утрачена четвертая его часть. Для восполнения таких потерь требуется внести по 130 тонн на гектар хорошего навоза. В хозяйствах Судогодского района надо внести четыре миллиона тонн, что за короткий срок практически невыполнимо.

— Куда проще оказалось довести земли до полного истощения!

Александр Иванович дипломатично промолчал. Потом отыскал сводку и сказал:

— Так вот, если по Судогде... на десяти тысячах гектаров, то есть на трети пашни, содержание гумуса менее одного процента, из них на 1100 гектарах — меньше полпроцента. Эта площадь, в сущности, безгумусна и бесплодна. Конкретно в таких вот хозяйствах, как «Заря коммунизма», «Родина», «Рассвет», «Восход», совхоз «Судогодский». Чтобы только поддержать живое вещество почвы, району нужно вносить ежегодно хотя бы по десять тонн торфо-навоза на гектар. А чтобы сделать их вновь плодородными — не меньше, чем по 16,5 тонны на гектар каждый год.

— Что еще могут сделать агрономы для воссоздания почв?

— Ввести севообороты с 40—50 процентами клевера и люцерны (по известкованию). Такие севообороты экономически наиболее пригодны в хозяйствах молочного направления. Меньше обработок, больше кормов, лучшее использование минеральных удобрений. Но при этом доля зерновых уменьшается. А что иначе делать, если почвы уже на черте разорения?

Вот она, фактическая сторона дела, преданная гласности учеными! Почвы, доведенные до крайности. Пока это касается нескольких районов владимирской Мещеры: Судогодского, части Гусь-Хрустального, Селивановского, Меленковского. И части рязанской Мещеры — тоже. И некоторых областей Нечерноземья, где хозяйствовали на усладу сегодняшней сводки. Можно, конечно, без конца суетиться, приказывать, грозить, но от всего этого земля не станет лучше. Благие порывы повиснут в воздухе, если не будет сделано главное: круглогодичное производство компостов и полная вывозка подстильного навоза на чужьи живые земли. Как это делает сегодня Федоров в «Ильинском».

Кстати, зачем тому же Федорову занимать под зерновые 1100 гектаров своей тощей земли, как намечено районным планом, если колхоз план продажи зерна может выполнить и с десятой части уже удобренного, мелиорированного поля, а все остальное пустить под травы? Под лечение.

Есть над чем подумать Судогодскому РАПО, областным и другим плановикам, если прикинуть возможности Продовольственной программы хотя бы на два пятилетия вперед...

Тем более что в той же Владимирской области есть примеры долголетнего и умелого хозяйствования на земле с заглядом в будущее.

5

Встретил Михаил Григорьевич настороженно: все-таки новый для него человек. Лишь когда по разговору понял, что гостя привело сюда не любопытство, а искреннее желание познакомиться с хозяйством и сравнить с другими, подобрел, поерзал на стуле, поудобней уселся, и пошла-поехала у нас беседа, изредка прерываемая секретарем с бумагами да посетителями по срочному делу.

Потом, глянув на часы, простежки сердито пробурчал:

— А чего это мы в четырех стенах уселись? Слова они и есть слова. Поехали в поле. И мне ладно. И вам пошире можно глянуть. Не впервой на землю смотрите, а?

— Да уж, насмотрелся...

— Ну, у нас, конечно, не Кубань, о которой вы тут поминали. О северном нашем крае кто же это, дай бог памяти, писал?.. Да опять же ваш брат-писатель Мельников-Печерский. Вспомню по памяти: «Земля холодная, неродимая, запашку заводить нет расчету...» А мы вот завели распашку, и вышло, что есть расчет.

Машина стояла под окнами, на площади. Хорошая площадь у совхоза, чистая, в красивом обрамлении из трехэтажных кирпичных домов, с зеленью и цветами.

Коренастый и полный Михаил Григорьевич Графский, директор совхоза, шел грузно, широко расставляя ноги и по-хозяйски осматриваясь по сторонам. На ходу отдал два-три указания, пригладил седой волос, вскинутый горячим ветром, тяжело уселся, так что машина вздрогнула и пресела.

— Давай,— бросил шоферу.— В поле, так чтобы...— И нарисовал короткой и еще сильной рукой окружность перед собой.

На скорости вылетели к повороту и по Суздальскому шоссе повернули к городу. Вот он, град Володимир, как на ладони. Многоэтажки новых кварталов белеют в четырех-пяти километрах, красиво смотрятся с шоссе, прорезавшего уже пожелтевшие поля. Через несколько минут шофер притормозил, и мы вильнули сквозь лесополосу направо, в проселок с пшеницей по сторонам, с хорошей, уже подсыхающей пшеницей.

— Похожа на «мироновскую»,— заметил я.

— Она и есть,— отозвался директор.— «Юбилейная». Ездили в Мироновку еще в тот год, как прошел слух об этом сорте. Элиту привезли и размножили.

И оглянулся с хитренькой улыбкой.

Поля хозяйства пологобурные почти от самого города, от шоссе Москва—Горький, уходили на север и восток. Вот еще одно поле подпевающей пшеницы, кое-где уже склоненной от тяжести своего колоса, от густоты стебельной. Потом межа, а далее пошла силосная кукуруза такого темно-зеленого цвета, что и сомнения быть не могло: съта, все для нее в этой земле есть!

Спрашиваю:

— Земли ваши на гумус проверяли?

— На все на свете проверяли,— прогудел в ответ Графский.— Гумуса три с небольшим процента. Для серых почв это в меру. Или мало?

— Хорошо. А вот на той стороне, за Клязьмой, там худо. До половины процента гумуса, только всего. Отощала земля.

— Знаю,— сказал он и повернулся, сколько мог, назад.— Я ведь в тех краях работал. Председателем колхоза с двадцать девятого года. Потом секретарем райкома.

— Федоров мне говорил. Вы помните его?

— Как же! Крестник мой. Да, там с землей и тогда уже неладно было. Не хотят заниматься пашней. Суетятся, речи говорят, телефоны уже с утра горячие от говорильни. И все о текучке. А про землю забыли. Она, скажу вам, до войны там все же получше была, чем сегодня, потому что скотины много больше держали. И навоз всю зиму в поле таскали. Лошадьми, конечно. Ну и луга были. С них начинаются фермы, в тех краях лугами де-

ревни не обижены, они справно кормили скотину. А скотина поля кормила. Вот и сводили концы с концами. Это я так, по-мужички рассуждаю Обидно, понимаете ли, за эту землю. Приезжают ко мне, ездят, смотрят, слушают, как я им вдалбливаю. Да, хорошо. Да, вот вы с навозом. У вас корма. А вернутся домой, телефон уже звонит, надрывается: почему недодали вчера два бидона молока? Почему в сводке по сему семи процентов недостает? И пошла новая суета, из района крики, от председателя крики, на лугу крики... Сколь энергии на все эти взаимные упреки уходит, ужас! А земля не разговоров ждет—дела. Вот вы про гумус заговорили. Он у нас за последние десять лет на один процент поднялся. Есть поля, где уже до четырех процентов. «Мироновская» приехала к нам из-под Киева, там извечно земля сытая, того гумуса, должно быть, тоже процента четыре, а то и больше. Ну, приехала эта пшеница сюда, посеяли. Она корешки пустила — и рада. Вроде такая же земля, как в родимой стороне. И пошла расти, как дома. Поначалу 39 с гектара выдала, а потом и 43 и 46, до 50 центнеров дает. И в этом году, пожалуй, около того будет.

Поле кукурузы оборвалось, и синим небушком глянули с межи васильки. А где они, там, конечно, рожь, вечные друзья-приятели. Я не удержался, поделился не новой уже новостью:

— В Башкирии хороший сорт вывели, «чулпан» называется.

— А это и есть «чулпан». — И Графский тронул шофера. Машина стала, и мы вышли.

Ржаное поле ни одним колоском не шевелилось в этот безветренный и жаркий день. «Чулпан» стоял невысокий, но какой-то очень слитный, мощный, гордый собою, с колосом тяжелым и плотным. Не стоял, красовался. Когда совхоз успел подцепить и размножить его?..

— А мы так, — Михаил Григорьевич угадал мою мысль. — Нина Николаевна Клевцова, наш главный агроном, все газеты-журналы просматривает, во все места, куда надо, звонит, потом докладывает: вот «чулпан» появился, вот «заря» или там «восход-2». Ну, если молва пошла, мы снаряжаем человека, и он привозит. Есть у нас и «восход-2», и кормовая рожь для весеннего выпаса. И горох, который не осыпается. И травы из Института имени Вильямса, там директором наш, владимирский, теперь уже член-корреспондент ВАСХНИЛ Митрофан Андреевич Смурогин. Может, знаете? Мужик отзывчивый. Кстати, на нашей земле находится и Госсортоучасток, который новые сорта проверяет. А мы их размножаем.

Земля совхоза бескрайна и величава той красотой, что могут создавать русские крестьяне. Желтые нивы, по-южному богатые, ярко-зеленые квадраты кукурузы и картофеля, которого собирают здесь полной мерой, разливы красного клевера, белой гречки (тоже нового сорта), возле которой старый погост, и тут же под деревьями пасека — смотри не насмотришься! Пригорки, полные солнца, низины, приспособленные для пользы и красоты: где было кочковатое болото — там обработанная неудобь засеяна овсяницей и костром, получилось отличное пастбище, по нему костромские — палевые — коровы разбрелись, как на картинке. Другие низины, более глубокие, еще углублены, перегорожены плотинами, и за ними разлились огромные пруды, иные в 10—12 метров глубиной. На водоразделах поднялись рощи, опять же рукотворные. И сады, сады...

Шесть деревень, некогда стылых, неприкаянных, сегодня стоят среди бугров в густой зелени, при воде, в красоте. И сами тоже приукрасились. Одна из деревень—Овчухи—удлинилась недавно еще на десять двухквартирных домов, готовых под заселение. Ждут новых хозяев, а пока дорожники кладут на улице асфальт, колышками намечают ограды для палисадов. За сараями, за подворьем—пруд, отрада ребятишек в такие вот дни. И бездонный резервуар для поливных установок на той стороне.

Солнце клонится за полдень. Все более жарко. Ветерок через открытые стекла машины не остужает лица. Михаил Григорьевич утирается большим платком, время от времени берется за рацию: «Первый, первый, ответьте третьему!» «Первый слушает...» И диктует диспетчеру напоминание о чем-то срочном.

Вот и животноводческий городок, куда мы непременно хотели приехать и приехали. Ряд крепких скотных дворов, двух- и четырехрядных. Отдельное здание — молочный блок с холодильником. За дворами — сухие выгульные площадки, зеленые подходы, асфальт перед воротами.

— Где навоз? — спрашиваю Графского.

— В хранилище. — И взмах руки куда-то в низину. — И вот тут, на выгульных дворах, уже перемешан с торфом. Готовый компост.

С навозом здесь обходятся, как с очень полезным созданием природы.

— Торф — вот сегодня наше спасение и наша надежда, — говорит директор. — Мы подвозим за сезон до 20 тысяч тонн торфяной крошки влажностью от 25 до 50 процентов. Это очень важно, какая у торфа влажность. Меньше нормы — торф пылит, и людям, и коровам неудобство. Больше 50 процентов — создает грязь, снова неудобство. Что мы делаем с ним? На этом комплексе бригада — девять рабочих, у них трактор с тележкой или машина. Перед началом стойлового периода, а потом регулярно они заезжают в проход, лопатами сбрасывают в каждое стойло 40—60 килограммов торфа, коровам сухо, тепло, грязи нет. Оплата высокая, потому что труд нелегкий, ручной. А дальше вот что. Скотники по мере надобности сгребают из-под задних ног у коров перемешанный с торфом навоз к транспортеру, торфяники подкидывают с тележки свежий, чтобы в стойле всегда было мягко и сухо. А готовый компост транспортер выносит наружу, сразу в тележку. Бурты складываем на площадке хранения большие, до тысячи тонн. Рабочие получают оплату за каждую тонну компоста. По обмеру бурта, перед вывозкой. Летом торф возим и на летние стойки скотины, оттуда выгребаем компосты бульдозером. Во что обходится удобрение? Примерно 5 рублей 60 копеек за тонну. Ведает всем хозяйством учетчик. За стойловый период одна корова дает около 13 тонн хорошего компоста.

— Не грязно в коровниках?

— Говорю же, торф — спасение! Ни грязи, ни запаха. Жижка вся впитывается, воздух чистый. Простуда исключается. А добра-то сколько выходит! Ведь мы вывозим и запахиваем в среднем за год по 20—25 тонн на гектар, да не простого торфонавоза, а с добавкой калийной соли и фосфоритной муки. Как-то сделали анализ в Институте торфа: одна тонна нашего компоста содержит семь кило азота, шесть калия и три кило фосфора. Значит, кроме живого гумуса для поддержания почвы, гектарная норма компоста сама по себе достаточна для создания урожая в 35—40 центнеров зерна с гектара. Вот такая научная раскладка.

Вздохнул после длинной тирады и смотрит выжидающе, с некоторым удовлетворением.

— Дело хорошее, Михаил Григорьевич. И для земли и для урожая. Вас можно в пример ставить. Но вот какой вопрос. Все на животе?..

— Да, добрая половина ручного труда. А как иначе?

И вдруг свирепеет:

— В наши коровники машину для уборки не загонишь. Когда строили, о навозе не думали. Один транспортер — лишь бы вытолкнуть вонючую жижку за стенку, а что там будет — это проектировщиков не интересовало. На комплексах, я видел, еще хуже, ведь там удумали смывать навоз водой. Утопают в морях навозной жижи. Какой урон пашне! И какая отравка для природы!

И вот цифры. По сведениям ЦСУ в стране сегодня вносят на гектар земли только 3—4 тонны органики за год. Аптекарская доза, горсточка на квадратный метр. Это по сводкам. А фактически еще меньше, недаром же в Мещере, в смешливом разговоре с трактористами, занятыми перевозкой навоза, я услышал слова: «зарплата» и «зряплата». Последнее касалось бесконтрольных ездов с органикой или без... Лишь бы катать тележки. А между тем фактическое стадо домашних животных в стране дает не менее 8—9 тонн подстильного навоза на каждый из 227 миллионов гектаров пашни! Куда, повторим, девается ценнейшее удобрение?..

Как же оценить по высшему баллу простую и, в общем-то, всем доступную технологию совхоза имени XVII МЮДа по накоплению и внесению органики! Как не похвалить за лечение и обогащение земли! Дорого? Дорого, да мило. Торф они возят за 70 километров из Второвского предприятия. Одна перевозка обходится в 2 рубля 60 копеек за тонну, и сам торф тоже денег стоит. Но эта же одна тонна, обогащенная навозом, дает прибавку урожая в один центнер зерна, то есть продукта стоимостью в 13—15 рублей, да столько же на другой и на третий год. Кроме того, создает бесценный гумус в количестве 50—60 килограммов на гектаре, то есть прибавляет плодородие на будущее. Вот и спросим: чего приbedняться-то в наиглавнейшем деле сохранения плодородных пашен?

Поймут ли эту простую истину руководители тех районов и хозяйств, где плодородие земли придвинулось к нулевой отметке? «Истощенная почва — большая почва, предтеча голода», — пишет академик И. С. Рабочей в своей книге (М. «Знание». 1983). Да, это опасность. И хозяева земли всех рангов, руководители, несут полную ответственность за почву — главную энергетическую базу сельского хозяйства, материальную основу Продовольственной программы СССР. Было бы очень уместно в ежегодный отчет

колхоза, совхоза. района вносить цифры о состоянии плодородия почв. И оценивать руководителей не только по нынешнему урожаю.

Об опыте директора М. Г. Графского, главного агронома Н. Н. Клевцовой, агронома А. И. Цветковой, главного агронома-плодовода В. П. Ягунова, главного зоотехника К. В. Шмакова и главного инженера Н. В. Желтова можно писать много и с похвалой. В совхозе прекрасные поля и луга. Сады с ягодниками при урожае в 100 центнеров плодов и ягод с гектара. Это очевидная заслуга разумно действующего коллектива, в основе которой — забота о земле и органическом удобрении. Здесь создали стадо в 4200 голов крупного рогатого скота, средний надой от коровы — четыре тонны молока, а основа такого благополучия в поле и на фермах — корма, выращенные на плодородных землях. Здесь сохранено обязательное условие земледелия: единство поля и скотины.

Прибавим к этому давно испытанную систему земледелия — самую подходящую для Нечерноземья: семипольные севообороты с полем чистого пара (куда и вывозят львиную долю органики, чтобы сразу заделывать ее под плуг), с двумя полями клевера и люцерны, пожнивными остатками которых дают гектару еще 1,0—1,1 тонны гумуса. То же на будущее, чтобы земля не скудела.

Таково современное хозяйство, не чуждое науке.

Мы едем дальше.

— Прикинул сейчас в уме,— Михаил Григорьевич повернулся на сиденье.— За четверть века на свои поля мы внесли кругленькую дозу органики: около миллиона тонн...

Кто сегодня во Владимирской области — и в стране! — может назвать подобную «кругленькую» цифру?

Выступая в 1982 году в Харькове на совещании по повышению плодородия почв, член Политбюро ЦК КПСС М. С. Горбачев сказал: «Среди многих проблем, которые необходимо решать в одиннадцатой пятилетке и в целом за текущее десятилетие, на первое место выдвинулось обеспечение устойчивости в развитии земледелия, повышение его продуктивности. В решении этой задачи первостепенное значение имеет продуманная и целенаправленная работа с землей, увеличение плодородия почв. Только на этом пути можно надежно обеспечивать неуклонный рост производства всех видов сельскохозяйственной продукции, повышать ее качество».

В Суздальском хозяйстве эту программу разработали много лет назад. Так что близко от Института земледелия действовал еще один опорный пункт. Хороший опорный пункт!

6

С директором Всесоюзного научно-исследовательского, конструкторского и проектно-технологического института органических удобрений Петром Дмитриевичем Поповым мы встретились в ВАСХНИЛ на заседании бюро отделения по земледелию и удобрениям. На первом директорском отчете.

Тут надо заметить, что институт в Судогодском районе Владимирской области молодой, ему всего три года. Еще не закончился подбор кадров, еще строилось жилье для сотрудников. Много потребовалось сил, чтобы на клочках бывшей опытной станции создать современное опытное хозяйство. Проблем хоть отбавляй, тем более что институт не в городе, а на отшибе, куда едут далеко не все, кому предлагают. Первыми прижились специалисты, для которых увлечение делом важнее всего.

Ну, а лаборатории института с ходу начали работать, подобрались деловые научные сотрудники. И, может быть, поэтому первый доклад Попова в ВАСХНИЛ, судя по прениям, получил добрую оценку. Путь исследований выбран умело — вот что звучало в этих выступлениях.

После доклада раскрасневшийся, несколько взвинченный Петр Дмитриевич Попов сел рядом со мной и после нескольких минут молчания тихонько спросил:

— Как по-вашему?

— По-моему, начало хорошее.

Кто-то наклонился к Полову сзади, прошептал: «Вы — молодцом!». Он глубоко вздохнул и раскрыл на коленях папку с бумагами. А когда президиум перешел к обсуждению других проблем, Попов вдруг протянул мне фотокопию небольшой таблички и сказал:

— Познакомьтесь. Одна из первых работ института. Да, можно оставить. Тут кое-что новое...

Больше я уже не слышал, что говорили в зале. В таблице хотелось разобраться как можно лучше.

Тогда же подумалось, что вот эти строчки с цифрами могут гораздо решительней воздействовать на руководителей сельскими делами в районах и хозяйствах (пока одной Владимирской области), чем некоторые толстые учебники или однотипные призывы, даже разгромные выступления с трибуны, произнесенные в адрес нерадивых земледельцев. Таблица, скажем так, была точно в цель.

В ней рядышком выстроились факты, от которых не увернешься, не открестись. Таблица бесстрастно оценивала труд районных руководителей, многолетний их труд на земле и с землей; она выставляла «четверки» и «двойки» совершенно нелицеприятно, на основе одного только сопоставления урожаев с анализами почвы. И тем самым оценивала практическую деятельность земледельцев всех рангов.

Всего-то шестнадцать строк, по числу районов в области, всего десяток цифр для каждого района, а перед нами полная характеристика деятельности на земле, с землей за долгие годы. Без прикрас и недомолвок. Как есть.

Не будем приводить здесь всю таблицу. Перескажем цифры словами.

Называется она так: «Эффективность использования почвенного плодородия по районам Владимирской области». Рядом, одна за другой, идут цифры — картина земель и урожайности для каждого района. Сначала цифра, обозначающая балл почвы, потом урожайность зерна с гектара за десятую пятилетку и за 1982 год, полученные килограммы на один почвенный балл, недобор или прирост в сравнении со среднеобластной, и в конце — занимаемое районом место по качеству пашни и по эффективности использования этой пашни.

Объясним, что балл почвы — это научно обоснованная оценка или «сравнительная характеристика качества земельных угодий на основании почвенных исследований». Долгожданная экономическая оценка пахотной земли, необходимая для введения земельного кадастра, мелиорации и т. д. Стопроцентный балл по плодородию и возможному урожаю принадлежит неизработанному южному чернозему — эталону.

Фактический урожай зерна с гектара за несколько лет и урожайность, поделенная на почвенные баллы, позволяют оценить мастерство земледельцев при использовании нынешнего состояния почв, а еще две цифры — недобор или прирост зерна (в центнерах на один га) по сравнению со среднеобластным показывает, улучшается ли почва и методы хозяйствования или район топчется на месте. Или катится к бесплодию. А занимаемое место в таблице — это окончательная оценка труда земледельцев района. Очень точная.

Вот две первые строчки. В Юрьев-Польском районе — самые лучшие почвы на Владимирщине, они оцениваются в 75 баллов. Но прирост урожайности ниже, чем в среднем по области (минус 2,2 центнера зерна с гектара), и в числе всех шестнадцати этот район занимает тринадцатое место. На втором месте по качеству почв — 71 балл — Суздальский район. А по приросту урожая в 7 центнеров с гектара за пятилетие он опередил всех, по эффективности — на первом месте в области.

Вот и материал к размышлению, к оценке деятельности руководителей. Юрьев-Польский владеет хорошими пашнями, у него серые плодородные земли с достаточно высоким содержанием гумуса, азота, усвояемого фосфора и калия. А использование их — увы! — не очень умелое, коль урожайность не приросла, а с 1976 года даже снизилась. В чем дело? Уж не разучились ли там, в центре ополья, работать с землей и на земле?..

В районе, конечно, знают, где «зарыта собака». Главная причина неудач — неразумно составленные севообороты. Агрономически необоснованные планы. Раз «везешь», вот тебе побольше зерновых! Вероятно, ссызывается и неумелая обработка почв, и выбор времени сева, затянута уборка, потери, засоренность, не лучшие сорта, да мало ли причин для худых результатов при хорошей земле!

О Судогодском районе мы уже знаем. Там со своими почвами докатились, как говорится, до нуля и стабилизировались на этом уровне. Сказать, что природа обошлась с Судогодой круто? Однако рядом Гусь-Хрустальный почвы у него еще хуже, а вот сумели использовать их лучше: занимают шестое место в области.

Вязниковский и Петушинский районы со своими плохими почвами, кажется, на подьеме, эффективность плодородия у них с плюсовым знаком. А в Александрове и Селиванове перспективы тоже не радужные. Урожаи не вверх идут, а падают. Падают!

Похоже, коллектив ученых института органики, только-только начавший работать во Владимирской области, уже сделал первое доброе дело: открыл глаза агрономам, руково-

дителям всех рангов на истинное положение и перспективы по исполнению Продовольственной программы СССР в этой области.

Спрашиваю у руководителя лаборатории по гумусу Александра Ивановича Жукова:

— Как вы подошли к составлению своих убедительных таблиц?

Он минуту думает, поправляет очки.

— Помню, Петр Дмитриевич Попов высказал мысль о необходимости знать реальную картину состояния наших почв. Для начала — в одной области. Я был близко связан с владимирским филиалом Гипрозема. Там работают толковые почвоведы, такие, как Аркадий Александрович Жиров, Гай Яковлевич Блаер, Алексей Иванович Крылатов. Они уже выступали со статьями в журнале «Земледелие», писали об оценке земли в баллах. Я тогда подумал: вот она, основа для такой работы. Что касается гумуса, тут потрудней. Пришлось собирать данные отовсюду, где определяют гумус. На моем столе побывало в общей сложности более двухсот источников, прежде чем удалось составить таблицу для районов области.

— Теперь таблицы для других областей?

— Вероятно. Но дальше пойдет легче. Опыт есть.

Сам Попов говорит об этом труде лаконичнее:

— Наука всегда выигрывает, когда подходит ближе к производству. Старая истина. Наши таблицы — одна из форм прямой связи с хозяйствами: указка на путь в будущее. Теперь пробуем разработать убедительные данные о роли других мелиорантов в улучшении почв.

— Имеете в виду торф?

— Значение торфа хорошо показал Михаил Григорьевич Графский. Суздальский район, где его хозяйство, стоит в таблице эффективности первым по области.

Практическая академия по наращиванию гумуса в пашнях сегодня — это совхоз имени XVII МЮДа. В Московской области — это Ленинский и Домодедовский районы, отдельные районы в Белоруссии, в Ленинградской области. Без торфа сегодня не мыслится полное использование навоза в Нечерноземье. А кое-кто торфонавозный компост нынче уничижительно называет «хвосты». Словечко это особенно люимо в среде проектантов, работающих над комплексами. Подумайте только: «хвосты»!

Михаил Николаевич Новиков также заведует в институте лабораторией. Его более всего занимает другая проблема. В стране сегодня создана сеть крупных птицефабрик, около 1500. Они дают много яиц и птичьего мяса. А вот помет на фабриках (как и навоз в комплексах) проектантами забыт, используется он плохо, кто как сумеет.

Мы сидим друг против друга. Михаил Николаевич выглядит утомленным, кажется несколько старше своих лет. Отвечает на мои вопросы не сразу, прежде устремит взгляд в одну точку, задумается. Лишних слов не расточает. Таких людей называют обязательными. Они не подводят, на их эрудиции держатся коллективы. Интересы Новикова, как выяснилось дальше, намного шире порученной ему темы.

— Птичьего помета фабрики дают более 40 миллионов тонн ежегодно, — отвечает он на первый вопрос. — В переводе на обычный навоз — это 160 миллионов тонн. Удобрение для восьми миллионов гектаров пашни. Помет смешивается с опилками, резаной соломой, торфом. На некоторых фабриках (близ городов) его сушат и вносят как любое сыпучее удобрение. Есть, конечно, и нерешенные проблемы, но птицеводы с помощью ученых пытаются их снять. Другое дело — о подстилке вообще...

— О торфе?

— Да. Ведь торф сам по себе — бесценный дар природы. Его крупные образования — болота — являются регуляторами почвенной влаги, они аккумулируют энергию солнца, они — источники здоровья природы. Торф в Нечерноземье — составная часть многих ландшафтов, он необходим, как река, лес, озеро. И этот почти не пополняемый дар природы мы сжигаем в топках электростанций, все больше берем на подстилку. Я понимаю, положение обязывает. Но давайте вспомним былое: ведь совсем недавно в деревнях обходились без торфа. А хороший подстилочный навоз был.

— Солома была...

— Совершенно точно. Меньше ее не стало. Больше стало! Но частью она употребляется на корм скотине, когда нет других грубых. Часть остается до весны на полях слежавшейся, полупрелой, мокрой, в осевших скирдах! И как только появляется молодая трава, солому повсюду сжигают. Тысячи дымных костров — крематориев бесхозяйственности! А солома во многих районах должна идти на подстилку, уменьшить затраты цен-

ного торфа. Вообще-то с соломой никаких сложностей. Только заскирдовать не в поле, а у ферм — всю, до последнего пучка! При нужде — пустить на корм. Нужды нет — на подстилку. Сколько мы получаем зерна за сезон, если округленно? Чуть больше 200 миллионов тонн. Ну, так вот, соломы значительно больше — 250—300 миллионов тонн. Отличная подстилка!

— Хорошо, да мало...

— Коль скоро мы ведем разговор о лечении пашни, не надо забывать и органику, которую можно создавать за один сезон тут же, на больном поле. Я имею в виду посев и запашку на песках сидератов, люпина главным образом. Он всюду хорошо растет, дает 200—400 тонн зеленой массы — органики — на гектаре. И запахивается. Чудесное лекарство для истощенных, безгумусных пашен!

— В чем же дело? Люпин так люпин. Какое препятствие?

— Дело опять в севооборотах. Они исключают площади для сидератов. Зерно и зерно. Даже в молочной Мещере. Вот где работы плановикам! Наше дело — настаивать, убеждать, добиваться перемен к лучшему. Кстати, для этого не обязательно иметь ученую степень. Только здравый смысл.

Новиков некоторое время как-то очень выразительно, не отрываясь, смотрит мне в глаза. Да, здравый смысл. Земледельцу без этого нельзя.

Человек в расцвете творческих сил, крепкий здоровьем, образованный, достаточно сдержанный в отношениях с другими людьми, директор института Попов словно бы наполнен жадной деятельностью, не имеющей границ. Разумеется, в своей науке — в земледелии.

В облике, характере, суждениях Петра Дмитриевича проглядывает агроном. Он тяготеет не к теории и к гипотезам, а к опытам, практическому образу действий. И уважает людей не сладкоречивых, а думающих и работающих, в труде которых творческая жилка. Наверное, всякий труд несет в себе творческий заряд. И если человек почувствовал вкус к труду, попал в поле такого заряда, то ему непременно улыбнется удача.

Так или примерно так рассуждает Попов, когда разговор идет об институте и о его коллективе. Так мыслится и работа коллектива — в расчете на творческий труд, на опыт и практику научных сотрудников, на дела в опорных хозяйствах поблизости от института.

Черты характера складывались у Попова под влиянием крупных событий в отечественном сельском хозяйстве.

Двадцатилетний, еще «зеленый» агроном поехал вместе с первооткрывателями на целину. Работы там только-только разворачивались. Он оказался в степном казахстанском совхозе. Просторы такого масштаба, что нетрудно заблудиться. И через час по приезде — приказ директора: «Давай выбирай землю для пахоты. Тракторы ждут».

Предположения об изысканиях, шурфах, о почвенных анализах в лаборатории, о почвенной карте мгновенно исчезли. Давай выбирай! Чему-то учили тебя? Вот и выкладывайся!

Он оседлал коня, поехал, всматриваясь в синеватую даль, куда директор протянул указующий перст. Определять границы распашки. Как?.. Степь, невысокие холмы, уже тронутый жаром лета зеленый покров. И внезапная спасительная мысль: трава подскажет, где лучше почвы под распашку.

Она подсказала. Молодой агроном довольно отчетливо увидел сперва непонятную разницу в травяном покрове на обширной, как космодром, равнине от одного холма до другого, который на горизонте; судя по видам разнотравья, перед ним лежала очень давно паханная земля, многолетняя залежь. За ее границами стояли извечные степные травы. Они определяли образ нетронутой степи. Если люди уже пахали, они-то знали, что выбирать...

Попов отбил центральную ось будущего пахотного массива, проехал его вдоль и поперек, а наутро трактора уже прочертили первую борозду.

Что делал агроном зимой? Он обнаружил залежи перегноя на давней стоянке овец со следами кошары. И распорядился... возить перегной в степь, которую предстояло подымать весной. Наверное, это был первый случай удобрения почв на целине в годы ее освоения.

Потом была служба в армии, университет, работа в агрохимцентре на Кубани, в «коридоре ветров», опыты с внесением перегноя и минеральных удобрений — год за годом. Там в засушливые годы органика позволяла получать неизменно хорошие урожаи.

Среди многочисленных опытов проводились и такие, что давали ответ на вопрос о пользе поверхностных подкормок озимой пшеницы. Прием этот — рассев удобрений до зе-

ленным уже полям — существовал не один год, был обязательным в агроправилах. А в опытах Попова... не давал ни малейшей прибавки урожая. И год, и два, и три.

Размышляя над экспериментом, он пришел к выводу, что прием ошибочный, зря расходуется туки и гоняют самолеты в этой жаркой, засушливой зоне, где весной и летом дожди редки, а корневая система пшеницы уходит, вслед за оттаиванием почвы, в глубинные ее слои и потому не может использовать пищу, рассеянную по поверхности земли.

Попов опубликовал свои цифры и выводы. И сразу нажил себе недругов. На него обрушились другие ученые: зачеркивает полезный агроприем. С ним разговаривали облеченные властью руководители. При разговоре постоянно употреблялась расхожая фраза: как молодой специалист позволил себе поставить под сомнение летнюю подкормку, утвержденную учеными на Кубани и на юге России?

А Петр Дмитриевич пододвигал собеседникам колонки цифр и сдержанно говорил: — Факты можно опровергнуть только фактами. Опыт — основа любого научного метода. Я готов еще и еще проверить свои выводы. Но уже сегодня убежден в бессмысленности рассевать минералку в аридных зонах, где весной и летом почти нет дождей. Полезная в других, более влажных регионах, здесь поверхностная подкормка бесполезна.

Однако спор не утихал. И тогда Попов опубликовал в журнале «Земледелие» убедительную статью. Через тот же журнал получил отповедь ученых из Донского НИИ сельского хозяйства. Петр Дмитриевич написал вторую статью. Его опыты повторили в разных зонах страны. А потом журнал «Земледелие» напечатал статьи ученых из трех различных институтов, из Алма-Аты, из Степанакертской агрохимлаборатории. Единоголосное подтверждение выводов кубанского агрохимика!

Несколько лет Попов проработал в Министерстве сельского хозяйства РСФСР, а когда ВАСХНИЛ и Министерство сельского хозяйства СССР стали подыскивать специалиста на пост директора нового института, то его кандидатура оказалась наиболее подходящей.

Еще во время работы в Министерстве сельского хозяйства Попов собирал сведения о положении почв по стране, изучал динамику гумуса. И вместе с коллегами вынашивал мысли о способах восстановления почвенного богатства...

— Да, неуклонное падение, — повторяет он. — За 50—100 лет в Нечерноземье утрачена половина запасов гумуса. А ведь его и без этих потерь в почвах было крайне мало. Согласиться с бесплодием наших дерново-подзолистых пашен? А на что тогда рассчитывать? Говорить о росте урожайности — это прежде всего пополнять гумус в пахотном слое, раскислять подзолы. Вспомним В. Р. Вильямса, написавшего полвека назад: «С какой бы стороны мы ни рассматривали почву, всюду сейчас же всплывает вопрос об органическом веществе почвы, как главном факторе, определяющем весь ее характер, все ее свойства». Вильямс еще в тридцатые годы бил тревогу. Только в навозном удобрении он видел способность «оживить» в почве замирающие в ней биологические процессы, убеждал насытить почву микроорганизмами, сделать ее живой!

— Надо так понимать, что гумус в почве — фундамент Продовольственной программы.

— Несомненно! Почва без гумуса инертна. На ней можно сеять хлеб и все другое, обрабатывать ее и удобрять минералкой, и она даст, конечно, какой-то урожай, но на большее рассчитывать нечего. Элементы минерального питания растений будут обращены в урожай едва ли наполовину. Вторая половина уйдет с почвенной водой в реки-озера, особенно на переувлажненных почвах. А их у нас 20 миллионов гектаров. Еще больше песчаных, где промывание выше. Создавать минеральные туки и соли для того, чтобы загрязнять ими природу, — безумное дело. Словом, не обогатив почвы органическим веществом — средой для создания гумуса, — нельзя широко применять и минеральные удобрения. Горько об этом говорить, но это так!

Почвоведы знают эту зависимость, а вот многие земледельцы, как я понимаю, еще не поняли, сколь велика надвигающаяся опасность. Хотя такой популярный журнал, как «Сельское хозяйство России», в номере первом за 1983 год сообщал: «Нельзя не замечать, что в Нечерноземье и в других зонах РСФСР запасы гумуса из года в год, из десятилетия в десятилетие сокращаются...»¹

¹ Представители нашей сравнительно молодой научной отрасли — космического земледелия — тоже бьют тревогу по поводу гумуса. Служба экологического контроля из космоса зафиксировала, по словам автора статьи в «Известиях» (8.02.84), доктора географических наук Б. Виноградова, что «повсеместно в степной и лесостепной зонах на полях за земледельческий период утрачено около 25 процентов гумуса... А если в почве мало гумуса, то большая часть удобрений не удерживается почвой, «проваливается» до грунтовых вод и смыывается, загрязняя водоемы».

Попов молчит, сосредоточенно уставившись в окно. Потом говорит:

— Таково положение с плодородием почвы. Фактов бесплодия уже предостаточно. Их дают такие авторитетные учреждения, как Почвенный институт, Всесоюзный институт удобрений и агропочвоведения, Центральный институт агрохимического обслуживания, факультет почвоведения МГУ, опытные станции. Негативный процесс истощения почв уже давно известен ученым.

...Естествоиспытатель Феофраст за три века до нашей эры писал, что пшеница «по натуре своей горячее растение» и требует навоза. Катон Старший тогда же рекомендовал унавоживание и сидерацию, то есть выращивание и запашку в поле вики, бобов, люпина (кстати, любимого растения Древнего Рима). В России уже в XV веке в ходу были слова «навоз», «назем», «гной», имелась повинность: «навоз на поля возити». В «Домострое» (XVI век) имеются строки о том, «как гряды копати весне и навоз класти, а навоз зиме запасати». А вот слова А. Н. Радищева: «...земля огородная и конопляники лучше всех; ибо навозится чаще других... Всех хуже почитают пашни отдаленные, на которые навоза не кладут никогда по причине их отдаленности».

Ну, прямо в сегодняшний день заглянул!

В работах Д. И. Менделеева записано: «Содержание перегноя в почве имеет обыкновенно связь с ее производительностью... Громадные площади черноземных почв России составляют неоценимое богатство нашей страны». В. В. Докучаев развил эту мысль, создав науку почвоведение. Институт органических удобрений напрямую связан с этой наукой.

Я спросил у Попова:

— Задачи института значительны и трудны. Среди них, как я понимаю, и психологическая: вернуть уважение к навозу как удобрению номер один. И, конечно, изучить лучшие примеры использования навоза, создавать проекты таких скотных дворов, где не пропало бы ни грамма главной пищи земли. Тут и способы утилизации, внесения. Тут и механизация работ с навозом. Но прежде всего вопрос: соразмерно ли наше скотоводство земледелию сегодня?

— Общественное стадо домашних животных в стране дает более миллиарда тонн навоза за год. Это четыре тонны на каждый гектар пашни.

— Мало! Мне говорили о восьми тоннах.

— Подождите... Чтобы не потерять ни одного килограмма навоза и невозможной жижи, нужно привезти на фермы полмиллиарда тонн подстилки — торфа, соломы, опилок. Тоже органика. Тогда мы будем иметь уже шесть-семь тонн удобрений для каждого гектара. Добавим птичий помет со всех птицефабрик — около двухсот миллионов тонн в переводе на навоз. Еще городские компосты, стоки. Так вот и создается эта самая «соразмерность» — восемь-десять тонн органики на гектар. И так, органики для воссоздания гумуса нам не занимать. Но дело в том, что далеко не все органические удобрения попадают в пашню. И мы беднеем, гумус исчезает, особенно быстро в средней и северной частях России.

— Как случилось, что земледельцы отвернулись от органических удобрений, заведомо зная их роль в создании плодородия почв?

— Трудоемкая и неприятная работа... Тут и чрезмерное увлечение более современными формами пищи растений — минеральными удобрениями. И некий сдвиг в мышлении земледельцев — использовать для урожаев не то, что лучше для земли, а то, что легче и проще. Значит, минеральные удобрения. Ну, и веяние из городов, оно явилось вместе с проектантами, создавшими непригодные для использования навоза комплексы и фермы, на которых нет никаких сооружений по производству органических удобрений, их хранению. Для ручной работы с навозом людей, конечно, не хватает. И вот результат: мы не вывозим и половины получаемого навоза, обворовываем собственные пашни и себя. Ценнейшее удобрение идет в озера, реки, загрязняет среду обитания. Бесценное-хорошее превращается во... вредное-плохое. Парадокс!

— А что может институт?

— Рекомендации института, которые идут во все инстанции, во все хозяйства, в прессу, таковы: нужны специальные цеха и площадки для производства компостов рядом со скотными дворами. И механизмы для уменьшения ручного труда в этих цехах и на площадках хранения. Все новые фермы строить с учетом производства компостов, их механического удаления, хранения, погрузки. Поэтому институт и назван проектно-технологическим. Вторая задача. Два отдела разрабатывают схемы расширенного воспроизводства почвенного плодородия. Цель их — прирост урожаев и одновременная прибавка гумуса в пахотном слое.

Еще одна возможность для воспроизводства гумуса — пожнивные остатки, корневая система растений — все, что остается в поле. На гектаре многолетних трав при хорошем урожае остается столько органики, сколько мы вносим с десятью тоннами навоза. А это — почти тонна гумуса! Вот путь для восстановления нарушенного круговорота веществ при интенсивном земледелии!

7

В последние годы при каждой поездке в колхозы и совхозы я, прежде чем встретиться с председателем или агрономом хозяйства, стараюсь побывать на скотных дворах. И если вижу у фермы разливанное море жидкого навоза или горы слежавшегося, поросшего жирной лебедой, у меня, честно говоря, пропадает всякая охота для разговора с местными руководителями. О чем говорить, если их бесхозяйственность, их биологическая неграмотность — вся перед глазами? Совершенно ясно, что такие люди не заботятся о своей земле, у них сложился определенный психологический настрой: лишь бы правдами и неправдами «вытянуть» план этого года. Бесшабашные или бесконечно уставшие люди. Писать о них путное — рука не подымается.

Поразительно, что такие хозяйственники уже не ощущают за собой никакой вины! Это касается и тех районных, областных руководителей, которые ограничили свою роль только сиюминутными трудами: продажей зерна, молока, откормом скотины и еще чем угодно, но только не судьбой своей земли, откуда и молоко, и мясо, и хлеб насущный — и сегодня, и завтра, и на далекие времена. Что им земля? Какая есть, на такой и работаем. Удобрения? Да они чуть не по тонне минералки высыпают на каждый гектар! Куда больше?..

Работа по принципу «бери от земли, что можешь» никак не вписывается в задачи Продовольственной программы, где речь идет о создании материальной базы производства, то есть в первую очередь о земле, ее плодородии.

Мы уже говорили о фактической оценке пашен по районам Владимирской области. Подобную таблицу Институт органики составил и по хозяйствам Судогодского района. Неудобно, совсем худо смотрится она! По всем 12 хозяйствам балл почвенного плодородия не превышает цифры 41. Почвы на грани полного истощения.

Прав Петр Дмитриевич Попов, когда заводит разговор о крайне неразумном образе мышления. Земледелец не может не смотреть вперед. Вспомним слова статьи 12 Конституции СССР: «Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать ее плодородие».

Эффективно. Бережно. В племзаводе имени XVII МЮДа так и поступают. В Судогодском, Меленковском, Селивановском районах совсем иначе.

Что в такой обстановке может институт? Конечно, прежде всего, бить в колокола громкого боя, обнародовать фактическое положение с пашенной землей. Руководители всех районов и хозяйств должны знать, какой землей они начали владеть, когда стали руководителями. И какую землю они оставляют будущим поколениям...

Инженер Александр Андреевич Егоров очень естественно, с шуткой вдруг спрашивает меня о литературных новинках и что из прочитанного недавно особенно понравилось. Отвечаю без всякой натяжки:

— «Городской пейзаж» Семенова. Светлая, нравственная проза. А какие книги вам по душе?

Улыбчивый, полный жизнелюбия Егоров отвечает:

— Мало читаю, каюсь. А вот о вкусах... Люблю красивую, умную машину.

— Автомобиль? — Я знаю, что у главного инженера института свои «Жигули».

— Нет, не автомобиль. А вот, скажем, маневренный погрузчик. Производительный АРУП, который разбрасывает навоз в поле. Минский тягач-богатырь. Комбайн для уборки картофеля. Любой современный механизм. Вокруг него я могу кружить часами. Еще лучше — работать и понимать его.

— Полюбуетесь — а дальше?

— Дальше думаю, нельзя ли какие узлы перенять для наших ферм и комплексов, облегчить труд скотников у того же Федорова или Графского, в других хозяйствах, где вилы и лопата все еще главное орудие труда с навозом. Это я к тому, что на животях миллионы тонн органики сегодня нам не перетаскать. Масштабы велики, людей мало.

— Машины есть, хоть и не мудрые. Или дума о других?

— Да, о новых. Трактор внутри фермы — это не подарок животным: распахнутые ворота, дым, гарь, грохот. Тихие кормовые транспортеры, электродвигатели на подаче

подстилки, на удалении навоза без лопат и мускульных усилий — вот что надо каждой ферме. Бетонированные площадки для компостирования за стеной фермы. Мы пробуем вмонтировать механизмы в уже работающие скотные дворы, но они созданы людьми, не обременившими себя оригинальностью мысли. Безграмотное проектирование. И трудно что-нибудь изменить: бетонные громадины.

Егоров вдруг теряет первоначальный спокойный тон. Не до шуток. Эта цель — освободить людей от тяжелого труда на фермах — есть и его служебная задача. Еще не выполненная задача. Даже на фермах самого института. Здесь прежде всего нужны умные механизмы, сперва для опробования, потом для демонстрации. Чтобы люди могли приезжать в институт за опытом.

— Ну, а ближайшие ваши цели?

— Принципиально новый подход к удалению навоза и подаче подстилки. Увы! Нет подходящего аналога! Надо придумывать. Директор меня не понукает, но иногда смотрит с таким ожиданием, что я сбегаю. Впрочем, кое-что мы начали на своих фермах. Приезжайте через год, надеюсь, эксперимент окажется удачным. Я ведь человек везучий.

И тут снова улыбается.

Кандидат сельхознаук Хохлов, как и многие научные сотрудники института, — тимирязевец. Не без гордости говорит:

— Моими учителями были Александр Васильевич Петербургский и Всеволод Маврикийевич Клечковский, на всю жизнь преданные почве, изучению ее особенностей. До института я работал здесь, на опытной станции. Остался без раздумий. И продолжаю свою тему.

— Если не секрет...

— Тема? Использование торфа. Изучение сапропелей, бытовых отходов для поля. В нашей стране большие разведанные запасы торфа и сапропеля. Для нас, владимирцев, самое интересное, конечно, Мещера со своими болотами. Это, в сущности, торфяной центр Нечерноземья. Отсюда и важнейшая задача института: создать здесь наилучшую модель использования торфа. Катать его из болота напрямую в поле, как теперь делают в иных местах... — Тут Виктор Иванович возмущенно поднялся. — Академик Кулаковская давно предупреждает нас всех, что чистый торф дает прирост урожая только при дозе в 200 и более тонн на гектар. Представляете: сто машин на гектар! Какая уж тут рентабельность...

— И неразумно, должно быть?

— Разумеется! Так мы очень скоро и без особой пользы для своих почв растратим все торфяные богатства. За две или три пятилетки. Торф должен идти только на подстилку: одна тонна на две-три тонны навоза. Такой компост обогащает пашню. Но вообще-то торфа в Европейской части СССР не так уж и много. Мещера, Кострома, Калинин... К сожалению, торф до сих пор сжигают в топках ТЭЦ. Шатура, Егорьевск и Владимир берут 5—6 миллионов тонн за год. Очень неразумно, в ущерб будущему сельского хозяйства Нечерноземья. Дорогое удовольствие, тем более что можно эти ТЭЦ перевести на газ.

— Вы подсчитывали количество торфа на подстилку, для компостов по всей стране?

— Много. До 400 миллионов тонн в год. С влажностью не выше 40—50 процентов, лучше верховой. Перевозка по экономическим соображениям допустима не более чем на 60—80 километров.

— Сапрпель не выгодней?

— Одно не заменяет другое. Сапрпель очень богатое органическое удобрение. Это особенный водный гумус, полуразложившаяся флора и фауна озер вместе со снесенными с прибрежий илстыми частицами почвы. Сапрпель в озерах страны — около 100 миллиардов тонн, представляете? А используем пока примерно 0,4 миллиона тонн в год.

— Трудоемкость добычи?

— И приготовления, конечно. Сапрпель надо брать из-под воды и с водой. Технология разработана: отсасывание со дна озер земснарядами. Жидкую массу надо подсушивать. Ее заливают в приготовленные на склоне чеки, раствор осветляется, вода сходит, осадок подсыхает и его скатывают в валки. Все остальное зависит от транспорта. Вот Нерское озеро. В нем поверху два-три метра воды, а далее 12—15 метров сапрпеля, 250 миллионов кубометров! Так скажем: вода в этом озере слишком жидкая, чтобы ее пахать, но слишком густая, чтобы пить... Не единственное в стране угасающее озеро. Неро надо освободить от сапрпеля, вычистить, если хотим сохранить уникальный водоем с чудом ростовского кремля на берегу. Так что использование сапрпеля — двойная необходимость: пашне — нейтральное по кислотности удобрение с 2—3 процентами азота, озеру — чистая

вода. Нерский сапрпель удобнее всего вносить на низину по берегам озера, возродить плодородные поля для огородов, для знаменитого ростовского лука.

И тут мы вспоминаем, что в Нечерноземье среди сотен мелиоративных отрядов Мелиоводстроя нет ни одного, который бы специализировался по добыче и внесению сапрпеля на удобрение. А такой опыт нужен!..

Как и все сотрудники института, Виктор Иванович связывает свои задачи с быстрым становлением на ноги опытно-производственного хозяйства, на полях которого можно развернуть широкие опыты с сапрпелем, торфом и компостами. Что все эти виды органики полезны на Мещере, никто не сомневается. Но как добиться удешевления технологии, как привить вкус к органике в хозяйствах? Тут много работы.

И не только в лабораториях. На полях самого института тоже.

8

Для крупного опытно-производственного институтского хозяйства только и нужен такой руководитель, как Виктор Иванович Королев.

Ладный, с порывистыми движениями, энергичным лицом, с постоянной нацеленностью на дело, с быстрым смысленным взглядом, он не может спокойно усидеть на месте и десяти минут, он держит в голове все нити хозяйствования и потому всегда озабочен. Черты сельского специалиста с беспокойной душой так и бросаются в глаза.

На владимирской земле он не новичок. Правда, до института работал в ополье, где земли получше. Теперь оказался в хозяйстве с тощими землями, к тому же разбросанными почти на тридцать километров, где с десяток полупустых деревень.

Из этой мозаики Королеву нужно создать образцовое хозяйство, давать без скидки на раскачку зерно, картофель, молоко и корма — строго по плану производства и продажи. И одновременно обеспечить лабораториям опытные полигоны, чтобы ученые могли испытывать на них влияние разных органических удобрений, изучать динамику пищи для растений, гумуса, пользу разных видов сапрпеля.

Обо всем этом Королев говорит быстро, эмоционально и очень серьезно, как говорят о деле продуманном, решенном. Он видит все трудности на пути к цели. Первоочередная цель — как можно скорей иметь устойчивое почвенное плодородие и современные фермы — фабрики для получения компостов. Помех предостаточно. Тощие пашни. Мало клеверов. Камни на полях, от них полумка машин, низкая производительность. А как убересть эти камни? Сотни людей... А где они? Тут Виктор Иванович глубоко вздыхает. Люди нужны и на машины, большая сложность найти, воспитать, сделать из новичка мастера своего дела. Откуда приходит сегодня народ? Больше всего из Меленков, есть в области такой «дальний» угол. Правда, это уже не крестьяне, но все еще с крестьянской душой. Если они осядут на здешней земле основательно, то наследственная любовь прорежется. Тогда будут и мастера земледелия и механизаторы. Пока же в ОПХ тон задают десятки три своих мастеров, которые перешли из опытной станции, да столько же рабочих на фермах. Ох, эти фермы!.. Их надо строить, перестраивать, есть такие, словно из каменного века пришли. Что сказать о полях? Пока около одного процента гумуса в среднем.

При всех недостатках в институтском ОПХ кое-что уже сделали. По эффективности использования плодородия ОПХ в районе уже на первом-втором месте, тогда как по качеству почв — на четвертом. Название «опытное поле» само по себе обязывает иметь почвы высокого балла. Королев хочет завести в каждом севообороте поле чистого пара, куда можно все лето возить органику, очищать от сорняков землю. Пока что на их земле неоправданно много зерновых культур. А зачем Мещере сеять много зерна, тут наиболее выгодны хозяйства молочного направления, а в пригородных зонах — с картофелем и овощами. Именно о таких разумных системах земледелия и говорится в Продовольственной программе СССР. Больше чистых паров и клевера с люцерной. Тогда ускорится процесс воссоздания плодородия почвы и почвы наберут высокий балл за пять-десять лет, а урожайность станет возрастать через два-три года.

Примерно так рассуждает агроном Королев. У него за плечами долгая практика, он способен мыслить зрело. Но слушают ли его на совещаниях в Судогде? Во Владимире?

— Ну что, Петр Дмитриевич? — спрашиваю директора при последней встрече. — Полный блокнот записей. И все проблемы, проблемы... Чему отдать предпочтение?

Он смотрит в сторону и вздыхает.

— Надо решать все проблемы. Но вот главное... Не представляю себе земледельца без умения заглядывать в будущее. Я имею в виду будущее природной среды, сельского хозяйства, где человек живет и откуда черпает пищу и сырье для производства всего необходимого. У земледельца, крестьянина, огляд широкий. Он видит настоящее и сравнивает его с прошлым. Он мысленно проникает в будущее и с этих позиций оценивает свою работу сегодня. Отсюда и совершенствование жизни всеми способами, которыми располагает. Кстати, наши пятилетние планы и Продовольственная программа СССР — тоже взгляд в будущее, уже обозначенный проблемами и границами. Не так ли? И вот при всем при этом я все чаще встречаю людей на земле без перспективного мышления. Не могу понять стереотипа, заметного не только в деревне, этакого безразличного к самому существованию, чему все мы обязаны жизнью. Стереотип личности, живущей только сегодняшним днем.

Как случилось, что кормящие пашни в самой что ни на есть срединной России сделались сегодня хуже, чем были сто лет назад? Не потому ли, что во имя узко понятых целей сегодняшнего дня заботы о будущем отступили на второй план? Я понимаю: нехватка людей, техники, нагромождение несогласованных действий... Но в основе всех недостатков опять этот стереотип мышления. Лишь бы сегодня порядок! А что же пашня? Пусть ее лечит тот, кто придет после меня? Почвы истощены не только в Мещере... Таких почв, как теперь выясняется, довольно много в старых русских областях — Ивановской, Костромской, Ярославской, Кировской, Калининской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Рязанской, Тульской, Орловской. Это трудно поправимое явление произошло в течении одного-двух поколений, на наших глазах. И продолжается, что уж вовсе недопустимо! Кто сегодня занялся лечением почв? Пока единичные, передовые хозяйства. Все другие возлагают надежды на... На что?

И смотрит в глаза.

— На государство, — отвечаю сразу.

— Вот-вот. Это точно. Да, государство давно и настойчиво способствует созданию хороших почв. Мелиорация идет по всей стране. Выросла огромная удобрительная промышленность, создана Сельхозхимия, бесчисленны заводы сельхозмашин, в деревнях много специалистов. И все-таки равнодушие к здоровью земли осталось, дает себя знать.

С сельских руководителей и специалистов никто до сих пор не спрашивает за то, что плодородие полей пошло на убыль. Оценка деятельности — только по исполнению годового плана! Неважно, что остается на завтра. И нам опять приходится напоминать, что количество гумуса в пашне — показатель уровня плодородия, это основной энергоресурс общества, будущее человечества, каждого из нас. История свидетельствует, что цивилизации всегда возникали там, где имела плодородная земля и нетронутые леса. И нередко исчезали, если природное плодородие оказывалось на грани истощения. Но в древности такое тяжкое истощение возникало по незнанию, по неведению того, что творят. Сегодня наука следит за динамикой плодородия. Неведения нет. Зато есть опасная беззаботность.

И вот что любопытно. Рядом с областями, где дела обстоят неблагоприятно, есть области, целые республики, где почвы ныне более плодородны, чем были вчера. Белоруссия, например, на пути к расширенному воспроизводству почвенного плодородия. Литва, Латвия, Эстония сохраняют органическое вещество пашни на уровне трех-четырех процентов по гумусу. А у нас, в центре России, даже в ряде некогда благополучных черноземных областей динамика гумуса отрицательная. За это никто не несет ответственности. Продолжается работа на износ пашни: севообороты не соблюдаются, чистых паров все-прежнему мало, планы по внесению органики из года в год не выполняются, многолетние травы урезаны до минимума.

Свою ответственность за сохранность качества почв в стране коллектив нашего Молодого института понимает. Первые шаги мы сделали. Намечено обнародовать вместе с Гипроземом и Почвенным институтом ВАСХНИЛ таблицы сравнительного плодородия — сперва для районов Нечерноземья, а потом и для всех областей страны. Пусть никто не штыговорится незнанием своих почв! Дело стонется, когда каждый руководитель хозяйства, района и области будет иметь перед собой картограмму полей и таблицу сравнительного плодородия. Вчера, сегодня, завтра.

Почва была и останется у нас главнейшим энергетическим ресурсом, основой всеобщего благополучия. Мы работаем на пользу ее здоровья. На благо дня сегодняшнего и будущего, в которое нельзя не верить нам, соотечественникам Василия Васильевича Докучаева и Дмитрия Николаевича Прянишникова...

Перед отъездом из Владимирской области, близко к полудню, отправился в Боголюбово, чтобы из этого замка, построенного Андреем Боголюбским, пройти пешком за железную дорогу, на низину, на луга, широко — до самого горизонта — раскинувшиеся в пойме Клязьмы и Нерли, у речных ворот древнего Владимира. Едва я вышел из леса за железной дорогой, как увидел в отдалении на лугу великое чудо XII века — белокаменную церковь Покрова на Нерли...

Сияло солнце, стоял горячий день. На лугах ходили косилки, пресс-подборщики, грузовые машины. Много машин, мало людей — верный признак современного труда. Но косилки в стороне, а впереди, куда ни глянь, все еще стояла трава — чуть не по пояс; было тихо, жарко, над клеверами гудели шмели.

Я неторопливо шел по узкой тропе, вдыхал ароматы трав и радовался древней земле, поднявшей над собой такую густую и высокую траву. Сколько же лет она возвращает здесь зеленое богатство? Почти тысячу только на нашей памяти! Белый клеверок, костер, ежа, медуница, геранька, тмин, колокольчик, лядвенец, розовый и красный клевер, горошек, донник, мятлик — все вместе и порознь — эти травы дышали ароматом и чистотой, очаровывали и заставляли думать о силе и вечном материнстве земли.

Вряд ли этот луг подсевали и удобряли. Он жил своей жизнью. Весной его заливала Клязьма и на лугу оставался кормящий наилот. Росли травы. Люди косили их, увозили, но живые корни и семена вновь подымали тысячи стеблей на каждом метре.

Все может мыслящий человек на земле! И вот такой луг сохранить. И пески превратить в огороды, а подзолы — в плодородные поля, какие я видел в Гусь-Хрустальном и в Головине. Было бы только желание не свернуть с безошибочной дороги.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. Ф. ШУБКИН



БУДНИ СЛОВЕСНИКА

Почему-то принято считать, будто мемуары и дневники представляют интерес лишь в том случае, если они принадлежат перу людей необычных, даже исключительных и повествуют нам о событиях исторических.

Но исключительные личности в исключительных обстоятельствах — это ведь далеко не вся история, и очень жаль, что мы не ценим, не ищем, а найдя, не публикуем свидетельства людей рядовых.

Ведь как было бы интересно прочесть нынче, скажем, записки крестьянина времен отмены крепостного права в России, или рабочего какой-то мануфактуры конца прошлого века, либо рядового чиновника губернской управы перед началом первой мировой войны — вот где заговорила бы даже и не история, а само время с его приметами, с его собственным стилем и мышлением.

Из таких свидетельств мы без посредников узнали бы многое о прошлом, а значит, и о самих себе нынешних, ведь познание современности, наверное, невозможно без последовательного сравнения ее с прошлым. Может быть даже, что без таких сравнений личность современника замкнется только на себе и на своем сегодняшнем существовании, станет гораздо менее значительной, менее интересной для других и для самой себя...

Так вот, несомненный интерес представляют, мне кажется, дневниковые записки учителя словесности барнаульской женской гимназии Николая Феоктистовича Шубкина, которые он вел в 1911—1915 годах.

Мы получим общее представление о том, чем было это учебное заведение — женская гимназия, кое-что узнаем о провинциальных нравах той поры и, конечно, о самом авторе — человеке, безусловно преданном своему делу и, как говорилось в свое время, безусловно порядочном. Даже и само слово «порядочность» тоже явится в том смысле, как его когда-то понимали.

Возможно, что я несколько пристрастен, рекомендуя эти записки читателю? — спрашиваю я самого себя. Но нет, пристрастие, если оно и существует, все равно кажется мне вполне оправданным.

А дело в том, что я немного знал Шубкина.

Мне известно, что с приходом советской власти он был выбран заведующим Барнаульским городским отделом народного образования (тогда это была выборная должность), что затем он преподавал в 1-й городской совшколе. Жена Шубкина, Валентина Андреевна, была моей учительницей русского языка в 22-й совшколе, где я кончил семь классов (тогда говорили не классы, а группы), а затем поступил в сельскохозяйственный техникум.

Я никогда не думал об этом раньше, но теперь, когда я прочитал эти записки, я понял, что помню, кажется, не только Н. Ф. и В. А. Шубкиных, но и вообще ту учи-

Николай Феоктистович Шубкин родился в 1880 году в семье землемера-самоучки, выходца из алтайских горнорабочих. Его отец лишь по реформе 1861 года освободился от крепостной зависимости, но сделал все, чтобы выучить сына. Получив высшее образование в Петербурге, Н. Шубкин возвратился на родину и свыше тридцати лет преподавал литературу в гимназиях и школах Барнаула. Долгие годы Н. Шубкин вел «Дневник». Он делал эти записки только для себя, никогда не говорил о них и не предназначал для печати.

Публикация и примечания В. Н. Шубкина.

тельскую среду, которая трудилась на ниве народного просвещения еще до революции, затем прошла и через революцию и через гражданскую войну, приняла советскую власть без колебаний и вот заканчивала свой путь где-то в 20—30-х годах.

Конечно, помню...

Был у нас географ Порфирий Алексеевич Казанцев, человек, увлеченный эсперанто, поэт, в прошлом еще и редактор одной из местных газет. Свои уроки он вел просто, легко, показывал нам сотни открыток с пейзажами, которые он получал от коллег-эсперантистов со всего света. У нас география была как бы и не в счет; на уроках — смех, шутки, «неудовлетворительно» наш Порфиша никогда и никому не ставил.

Развлечения, а не уроки и не предмет.

Но вот что потом выяснилось: что географию-то мы любим. Я, к примеру, после техникума долго выбирал, куда пойти учиться дальше — на гидромелиоративный факультет Омского сельхозинститута или на географический Томского университета. Выбрал Омск, но, окончив только семь классов, уже будучи студентом, я преподавал географию на вечернем рабфаке за девятый класс, причем вел уроки без особой к ним подготовки — оказывается, я неплохо знал предмет. Тут-то я и вспомнил Порфишу не раз и всегда добрым словом.

В техникуме у нас вел ботанику Виктор Иванович Верецагин, в прошлом преподаватель реального училища. Верецагин был настоящим и крупным ученым, беззаветно преданным своей науке, он, кажется, и женился-то только около шестидесяти, а до этого ему было некогда: зимой — преподавание, летом — экспедиции.

Свой предмет он вел очень дельно, сухо, с ученикам неспособным относился с заметным презрением, весь его облик и манера поведения, занятия, которые он проводил почти что шепотом, — все это внушало к нему такую почтительность, чуть ли не благоговение, при которых получить у него «неуд» значило нанести самому себе душевную рану.

Помню я двух химиков — Ефима Ефимовича (Ехим Ехимович) Бекаревича и Валентина Петровича (Вальпет) Лебедева, математика Шастина, физика Лучшева (Шебойный — у него немного погрязла голова), который был, кажется, сыном того самого городского головы, о котором не без симпатии упоминает автор «Дневника», помню учительскую семью Петропавловских и нашу милую, но очень требовательную В. А. Шубкину. Да, это все была интересная учительская среда, по большей части интеллигенты первого поколения, сами вышедшие из низов, правда, были и интеллигенты потомственные, различное происхождение их ничуть не разъединяло, а соединяло — общие взгляды на жизнь и призвание соединяли их; все это были бесребренники, люди, которые, избрав однажды подвижнический путь учительства, готовы были всегда и при любых условиях отдавать этому делу все свои силы.

Они учили еще в то время, когда обучение было делом не обязательным, а избранным, для многих детей оно было подвигом в силу материальных условий их жизни и других обстоятельств, подвигом оно было и для учителей — такая уж взаимосвязь, такая общая участь.

Дальше...

Приходилось мне несколько раз бывать и в доме Шубкиных — крохотный такой домишко из пережженного пестрого кирпича на улице Никитинской (бывшей Бийской). В 1914 и особенно 1917 годах в Барнауле были грандиозные пожары, и вот, разбирая так называемые погорелки, местные жители и строили из остатков свои жилища.

После тех углов и крохотных комнатюшек, в которых ютилась наша семья, двух, а может быть, даже и трехкомнатный дом этот казался мне чем-то непостижимо роскошным. На самом же деле и это тоже была почти что бедность — ничего, кроме предметов самых необходимых, топором рубленных столов, стульев, книжных полок и кроватей.

Так же жили и другие мои учителя — маленькая комната в большой коммунальной квартире, и если печь отапливается «от себя», а не от соседа — это прекрасно!..

А еще мне хотелось бы сказать несколько слов о городе Барнауле той поры, а также времен несколько более отдаленных.

Конечно, захолустье, но ведь и захолустье захолустьем рознь. Уже тот факт, что в небольшом уездном городке были две женских, одна мужская гимназии и одно реальное училище, говорит о многом. В соседних уездах — ни в одном — не было и этого.

И тут сказывалась история города: в свое время он был центром крупнейшего Горного округа со многими рудниками, принадлежавшими лично императору российскому, или, как тогда говорили, кабинету, удельному ведомству. И земли и леса в обширном этом уезде, по площади почти что равном Франции, тоже были кабинетскими, поэтому Барнаул имел особый статус, далеко не во всем подчиняясь администрации губернского Томска. По линии удельной он сносился непосредственно с Петербургом.

Это наложило свой отпечаток и на культурный облик города — он имел обширные частные и народные библиотеки, прекрасный музей, здесь появилась первая в Западной Сибири метеорологическая станция, существовало множество обществ — любителей словесности и фольклора, экономическое и содействия переселенцам, краеведческое, которое занималось главным образом изучением не только русского, но и монгольского Алтая, — все экспедиции, туда направлявшиеся, были связаны с местными исследователями; здесь выходило несколько газет и печатались книги — поэтические сборники нашего Порфиши и его же учебник географии тоже издавались в Барнауле.

Долгие годы существовало в городе механическое училище, нечто подобное техникуму, оно было открыто еще Демидовым как горно-механическое, а при советской власти на его базе организовали сельскохозяйственный техникум.

Не оставался Барнаул в стороне и от технического прогресса, отнюдь, именно здесь была сконструирована Ползуновым первая в мире паровая машина, на Змеиногорском руднике выдающиеся мастера отец и сын Фроловы построили крупнейший в мире гидравлический подъемник и одну из первых железных дорог на конной тяге.

Этот перечень технических достижений я мог бы продолжать и продолжать — и в области горного дела, и в области дубления кож, и в других отраслях местной промышленности, но дело не в том — я только хотел несколькими деталями дополнить тот общий фон, на котором столь убедительно, правдиво и с присущей ему скромностью Николай Феоктистович Шубкин пишет о себе, точнее о своей учительской деятельности, о том пути, на котором существовало в то время так много препятствий.

Думаю, что эти записки, из которых возникает благородный образ народного Учителя, найдут и своего читателя, и своего ценителя — особенно сейчас, в дни, когда, выполняя решения апрельского Пленума (1984) ЦК КПСС, воплощается в жизнь форма советской школы.

Сергей ЗАЛЫГИН.

Я

уже пятый год педагогом. Немало тяжелых минут пришлось мне пережить в связи с этой деятельностью. Но все-таки я люблю это дело. Люблю свой предмет — словесность и желал бы быть хорошим учителем, полезным для своих учениц.

Пусть же дневник помогает мне разобраться в моей работе, пусть копит он крупницы опыта, которые часто затериваются и забываются без всякого следа.

1911 год

30 сентября

С прошлого года я ввел обычай вывешивать в старших классах портреты писателей, преимущественно тех, которых проходим в этом классе. Висел тогда в нескольких классах и портрет Л. Толстого. Но ныне директор вывешивать портрет запретил даже и в VIII классе, где проходится Толстой. Лично директор против Толстого ничего не имеет, но боится, чтобы не вышло какой истории, так как ждет ныне ревизора из округа. Как это ни нелепо по существу дела, но при наших порядках все возможно.

Программа, по которой я занимаюсь по словесности, несколько отличается от обычных программ. В VI классе, например, все 2-е полугодие я посвящаю изучению иностранной литературы (эпоха Возрождения и Шекспир, эпоха абсолютизма и Мольер, эпоха «бури и натиска» и Шиллер, эпоха реакции и «мировой скорби» и Байрон); а в VIII последние два года проходил Герцена, Л. Толстого, Некрасова, Гл. Успенского и Чехова, причем обращал внимание на эволюцию народничества и на связь художественных произведений с общественной жизнью. В прошлом году мои программы хотя и были утверждены в округе, но пришли с карандашной пометкой окружного инспектора о несогласии их с учебными планами министерства, причем были подчеркнуты Шиллер и Байрон в VI классе, а в VIII классе все из-

бранные мной писатели, особенно же Успенский и Чехов. Ввиду этого ныне должен «подчистить» свои программы. Но и в VI классе я только указал на связь иностранных писателей с историей русской литературы, а в программе VIII класса вынужден был оставить только Герцена, Л. Толстого и Некрасова, упомянув, что они имеются в новых программах мужских учебных заведений и в учебнике Сиповского; Успенского же и Чехова пришлось выпустить, хотя надеюсь, что все-таки их можно будет пройти.

5 октября

Сегодня в местной газете напечатано открытое письмо учителя здешней частной гимназии к начальнице ее Б—вой. Это был молодой, полный энергии, живой и талантливый учитель, завоевавший симпатии своих учениц умным преподаванием и простым товарищеским отношением к ним. Враг всякой рутины, он стремился оживить всю гимназию, ратовал за новые приемы обучения, заботился о поднятии общего развития учениц и энергично боролся против той формалистики, которая уже свила себе здесь гнездо. Понятно, что это вызвало сильное недовольство всех педагогов в футляре с начальницей во главе. Последняя, желая избавиться от беспокойного сотрудника, начала интриговать против него и для большего веса постаралась перевести дело в другую плоскость, распуская инсинуации о слишком близком отношении его к ученицам. Смотря сквозь пальцы на поведение своих учениц вообще, здесь она не побрезговала шпионством, посылая учениц же следить, с кем гуляет по вечерам их учитель и т. п. В результате — устный донос попечителю нынешней весной. А осенью А., приехавший из деревни, неожиданно узнал о своем переводе в О-скую мужскую гимназию. Но он там не стал служить, а, уехав в столицу, прислал отсюда напечатанное сегодня открытое письмо, где он обвиняет начальницу в клевете и требует для своей реабилитации суда, призывает начальницу к открытому подтверждению возведенных на него обвинений и сообщает, что он обратился с просьбой о расследовании также и в министерство. Да, негрудно съесть нашего брата, а потом оправдывайся!

17 октября

Сегодня знаменательный день — день годовщины октябрьского манифеста о свободах. Много уже воды утекло с тех пор, а мы еще дальше от всяких свобод, чем до 17 октября.

Я помню молодежь, которая училась у меня в первый год моей службы. Гроза унеслась уже тогда, но море русской жизни еще не успокоилось. И молодежь жила отзвуками недавней бури. Она много ждала, интересовалась жизнью общественной и политической, стремилась к самостоятельности. У нее были различные кружки, издавались ученические журналы. Даже в сфере чисто научной, далекой от политики, интересы были более серьезные. Восьмиклассницы, например, тогда по собственной инициативе выписывали педагогический журнал «Свободное воспитание», организовали педагогический кружок. Главным их учителем была сама жизнь. Она задавала их молодым умам целый ряд вопросов и она же предлагала на них различные ответы. Педагогам приходилось только поспевать за запросами учеников, чутко воспринимавших все живое. Но заря новой жизни угасала; жизнь потускнела и перестала расшевеливать молодые мозги. Прежние ученики кончили. На смену им шли новые поколения, не получавшие уже ни от жизни, ни от семьи никаких живых импульсов. И эти новые поколения учащихся не несли с собой в школу живых интересов ни к общественной жизни, ни к знанию вообще. Вместо ученика, протестующего против отметок и наград, пошел ученик, жаждущий лишнего балла. Работа педагогов в футляре стала теперь легче; но зато работа учителей, желающих влить в учеников живое содержание, стала гораздо труднее. При вялости современной русской жизни педагогу самому приходится расшевеливать учеников, и трудно подвигается эта работа, когда все кругом идет против нее.

На днях пришлось мне говорить на эту тему с коллегой из реального училища, который состоит там библиотекарем. Ему как библиотекарю особенно бросается в глаза разница между чтением учеников года четыре назад и теперь. Тогда нарасхват брали серьезные книги, и библиотека не успевала удовлетворить этот спрос. Теперь книги, выписанные в те годы, спокойно стоят на полках, а ученики, отказываясь от всякого серьезного чтения, с жадностью хватаются за разные приключения и невероятные путешествия.

28 октября

Вечером проверял работы своих словесниц, и проверял на этот раз с удовольствием. Темы были довольно серьезные: «Славянофильство и западничество 40-х годов» и «Взгляд Герцена на Россию и ее судьбу» (на выбор). Большинство учениц отнеслись к делу добросовестно, и мне приятно было читать их работы. Оригинального, правда, здесь ничего не оказалось, но видно, что они усвоили данный материал и относятся к нему сознательно. Приятно сознавать, что это те самые девчонки, которые четыре года назад переходили ко мне в V класс и писали на экзамене только диктовку. И вот они уже в состоянии разбираться во взглядах Герцена, оценивать такие явления, как западничество, славянофильство, народничество. Наблюдение за духовным ростом учащихся и сознание, что здесь есть хоть капля и моего труда,— одна из лучших сторон педагогической деятельности, которая искупает многие темные стороны ее.

8 ноября

На днях был на очередном заседании в обществе вспомоществования учащимся в среднеучебных заведениях. Средств у общества немного, а бедноты среди учащихся сколько угодно. За одно только первое полугодие надо вносить за учение больше 1000 рублей. А кроме того, необходимы и одежда и обувь, а некоторым и ежемесячные пособия. Недавно случайно узнали, например, в каком положении находится одна из наших учениц (шестиклассница А—ва). Она дочь бедного крестьянина, который не в силах ее содержать. И вот девушка за квартиру и хлеб поступила в кухарки в семью столяра. По утрам она встает в половине шестого, доит коров, стряпает хлеба, угощает ребят и потом идет в гимназию; а после уроков опять хозяйничает, не брезгуя никакой черной работой и не получая за это даже жалованья.

1 декабря

...Сегодня опять читали новый циркуляр о предложениях синода по поводу внедрения среди учащихся религиозного духа. И чего тут только нет! И обязательное посещение богослужения, и чтение Евангелия на молитве, и присутствие на ней преподавателей, и внеклассные собеседования на религиозные темы. Целый ряд уже испытанных мер, которые, как известно (конечно, и синоду), создают из семинаристов наиболее яростных атеистов. Хорошо еще, что у нас в совете не нашлось ни одного сторонника этих мер, и все обсуждение циркуляра сводилось к тому, нельзя ли как-нибудь обойти его.

8 декабря

Вчера вечером были у меня в гостях две бывшие ученицы первого моего выпуска. Об этом выпуске и особенно о той компании, к которой принадлежали эти две ученицы, у меня останется навсегда самое теплое воспоминание. Умные, развитые девушки, сознательно пережившие минувшие бурные годы, они в VIII классе были людьми с определенными убеждениями, которые умели отстаивать и в разговорах и даже в своих гимназических сочинениях. Но главное, что отличало лучшую часть этого выпуска, это жажда живого дела. Не к диплому и даже не к высшему образованию стремились они, а к живой работе на пользу народа, хотя бы и с тяжелыми жертвами лично для себя. И они уже в VIII классе жадно искали путей для служения народу. Они занимались в воскресной школе, выписывали педагогический журнал, организовали педагогический кружок, где читали и обсуждали рефераты о воспитании. Был проект организовать свободную школу в деревне, где они стали бы по очереди заниматься с крестьянскими ребятами; одна из них даже уехала туда, но наткнулась на сопротивление священника и местных властей. Часть группировалась около одного рабочего кружка, и одна восьмиклассница (девица необыкновенно развитая, с философским складом ума) усердно училась сапожному ремеслу. Весной они устроили при Народном доме детский сад и привлекли туда массу ребятшек, которых пытались учить и воспитывать на началах свободы и самостоятельности.

По окончании курса они остались верными себе. Особенно та самая В., которая наиболее выделялась из них, хотя была всех моложе (она окончила VIII класс шестнадцати лет). Потом поступила она, несмотря на свою золотую медаль, простой швейей в швейную мастерскую, а осенью уехала в Москву, где пыталась устроиться на какую-то фабрику; но этим подорвала свое и без того слабое здоровье. Однако и потом, прожив зиму на Кавказе и немного поправившись, она опять едет в Т. и энергично работает там над организацией детской колонии, пока болезнь снова не прерывает ее деятельность. И вот вчера эта В. вместе со своей подругой снова побывала

у меня. Много рассказали они о своей жизни за это время (с одной из них я не виделся четыре года). Немало тяжелого пришлось им перенести. Но их любовь к живому делу не угасла. По крайней мере лучшие воспоминания их — это воспоминания о той детской колонии, где они вместе работали. Потом они работали на полях как крестьяне; а потом учили собранных в колонии бедных ребят. И мне из их рассказа запомнилась яркая картина, проникнутая горячей любовью к детям, — картина летней ночи, когда руководительницы вместе с детьми сидят у костра, среди высоких черных сосен, и ночная тишина прерывается то пением одной из руководительниц, то звонкими детскими голосами.

1912 год

18 февраля

Ныне в VI классе я сделал опыт: задавать наизусть не определенное стихотворение, а указывать только автора. Учили так, например, Никитина, теперь Надсона. И мне кажется, дело идет лучше. Ученицы учат то, что каждой больше по вкусу; выбирая стихотворение, должны почитать, сравнить их, да и при ответе в классе ученицам интереснее слушать разное, чем одно и то же, и знакомство с автором получается более разностороннее.

22 марта

Исправление первой же из попавшихся мне работ тянулось целых три дня. Это было сочинение V класса на тему «Какая из прочитанных в нынешнем году книг мне более понравилась и почему?» Вначале (согласно моему указанию) ученицы поместили списки книг, прочитанных каждой из них в этом году; потом говорили о наиболее понравившейся книге и поясняли вкратце, чем она им нравится. Такие темы я даю в V классе уже второй год подряд с целью ознакомиться с внеклассным чтением моих новых учениц (я начинаю заниматься с V классом) и с их литературными вкусами. Поэтому теперь пришлось не только проверять каждую работу и исправлять предыдущие, но и делать статистические вычисления о читаемых в V классе авторах и отношении к ним учениц. Дело, конечно, в общем, интересное, но зато отняло много времени. А там еще шесть непроверенных работ, над которыми вместо отдыха придется сидеть на праздниках. И опять нет времени заняться чем-нибудь посторонним, что могло бы хоть несколько развлечь, освежить. Даже «Хаджи-Мурат», недавно начатый мной, так и остановился, не сдвигаясь все с одной и той же страницы.

28 апреля

Весь город говорит теперь о грандиозном скандале, героем которого оказался председатель попечительского совета нашей гимназии, старый купец. Двое шантажистов заманили его в притон и там симулировали изнасилование им одной девицы в коричневом форменном платье, которую ему выдали за гимназистку. Старик, боясь скандала, долго откупался от них крупными подачками. Но наконец не выдержал и подал в суд. Шантажисты теперь в тюрьме, но зато дело получило огласку, и имя попечителя гимназии, который не прочь был изнасиловать гимназистку, пошло трепаться в газетах. После этого ему, разумеется, ничего не оставалось как отказаться от председательского места и выйти из попечительского совета. Конечно, среди купцов, как и среди других сословий, есть всякие люди, но то положение, которое занимал этот господин в гимназии, и сделало дело сенсационным. Причина же, создающая возможность таких явлений, по-моему, в том, что женским гимназиям приходится жить только на частные средства, казна со своей стороны совсем не считается с ними, а потому им и приходится выискивать разных толстосумов и заманивать их различными средствами в число меценатов. Считаться с их нравственными качествами тут уж не приходится. Важен только золотой мешок, да большая или меньшая тароватость его хозяина. И вот тысячи женских гимназий, имеющие не менее важное государственное значение, чем и мужские учебные заведения, оказываются в материальной зависимости не от государства и не от общества, а от случайных благодетелей.

Понятно, что эти золотые мешки раскошеляются недаром: им нужен почет и уважение. И вот у нас в гимназии устраивается, например, церковь имени того самого купца, который теперь так оскандалился; его именины (как престольный праздник) — у нас табельный день; к нему даже посылали раньше депутации гимназисток, которые должны были прославлять его как своего благодетеля и подносить в подарок разные изящные рукоделия...

Когда же будет положен предел этой ненормальности? Когда женские гимназии перестанут находиться в унижительной зависимости от меценатов-толстосумов? Когда они будут признаны такими же государственными учреждениями, как и мужские школы?

14 мая

Приехали попечитель и окружной инспектор. Наше начальство встречало его на пароходе — так уж полагается. Но, говорят, сбежали туда «петушком» и коллеги по реальному училищу, чего от них уже вовсе не требовалось. Рассказывают даже, что чуть не первым явился один из них, всегда на **словах** восстающий против лаячества.

15 мая

Завтра жду на экзамен начальство. А это не очень приятно, во-первых, оттого, что дрожат мои специалистки, которые вообще не блещут своими знаниями, особенно в области грамматики, а во-вторых, потому, что в проходимом мною курсе литературы за VIII класс (Герцен, Л. Толстой, Некрасов) есть такие щекотливые места, которые могут прийти не очень по вкусу нашему начальству, которое в области обучения и воспитания придерживается старинки, а в области политики принадлежит к самому черному лагерю.

16 мая

С утра в VIII классе был экзамен по трем специальностям: история, география и словесность. Во время спрашивания истории и явились на экзамен «их превосходительства»: один длинный и сухой старик во фраке со звездами, с римским носом и козлиной бородкой, другой толстенный, маленький, с хитрой физиономией мелкого купчика, в синем сюртуке и грязной сорочке — настоящие Дон Кихот и Санчо Панса. Попечитель сидел молча, едва ли что слыша и понимая по старости лет, и только время от времени, как бы проснувшись, гудел своим диким голосом глухого: довольно, довольно! Инспектор же вел себя как настоящий сыщик, поставивший себе целью уловить «дух» преподавания. Найти преподавание «крамольным» было, разумеется, нетрудно, так как XIX век, который проходит у нас в VIII классе, содержит сколько угодно рискованного материала: то революция, то реакция, то социализм. И осуждать этот материал с точки зрения «Союза русского народа» можно только при полном невежестве и игнорировании исторических фактов. Будь наш инспектор с образованием хотя бы историко-филологического факультета, он — при всем черносотенстве в области современной жизни — смог бы еще это до некоторой степени понять. Но тут человек, даже не нюхавший высшей школы. И вполне понятно поэтому, насколько он компетентен в деле преподавания истории. Во всеобщую историю он не стал и вмешиваться. Но в области русской истории решил тряхнуть своими знаниями. Так, при рассказе о николаевском царствовании и упоминании о его реакционном характере он начал наводить ученицу на мысль, что Россия благодаря разным мертворожденным комиссиям подвигалась вперед и, следовательно, царствование вовсе не было реакционным...

18 мая

Одной из причин приезда окружного начальства оказалось поведение нашей начальницы. О ней давно уже ходили крайне скандальные слухи, которые теперь подтверждаются. Говорят, например, что она гуляла с цирковым борцом, говорят о каких-то ночных посетителях ее квартиры и даже о том, что она сама была захвачена в доме свиданий. Теперь по поводу этих слухов попечитель допрашивал директора, некоторых из педагогов и самое начальницу. Она же, думая, что эти разоблачения исходят из нашей среды, стала говорить о пристрастном отношении к ней педагогического персонала, о том, что ее бойкотируют и т. п. Это послужило поводом к новым допросам педагогов (устным и письменным) о причинах нашей ссоры с начальницей, о разных столкновениях с ней и т. п.

Начальница же, по-видимому, не унывает. Вскоре после отъезда попечителя она накричала на нашего математика, не пришедшего сразу на ее зов, и заявила, что теперь о каждой проступке преподавателя она будет доносить попечителю. Понятно, что после всего этого отношения между ней и нами не могут быть хорошими. Коренная же причина этой ненормальности, далеко не редкой в женских гимназиях, в том, что пост начальницы замещается по выбору попечительского совета, то есть органа, совершенно не компетентного в педагогических вопросах, причем при избрании и при утверждении начальницы руководствуются главным образом ее общественным

положением и связями; и в результате во главе большинства гимназий стоят различные гранд-дамы или чиновники в юбках, сами прошедшие только курс среднеучебных заведений и нередко с моральным цензом даже ниже среднего.

26 мая

Подводя итоги оконченному теперь учебному году, я вижу, как далеко я стою от того идеала учителя-друга, который я хотел бы осуществить. Правда, мне кажется, что я ныне значительно меньше прибегаю к репрессивным мерам, чем в прошлом году (тогда у меня, например, не раз записывались в журнал даже восьмиклассницы, ныне же таких записей совсем не было). Но нервность и раздражительность моего характера нередко давали о себе знать. Всего меньше проявлялось это в VI и VII классах, с которыми, по-моему, вообще заниматься легче; в V же классе, где мы еще не привыкли друг к другу, ладить гораздо труднее. Нелегко поддерживать хорошие отношения и в то же время добиваться знания и работы и в VIII классе..

17 августа

Читал в «Журнале Министерства народного просвещения» новую программу русского языка для среднеучебных заведений. Есть тут и нечто от новых веяний в педагогике — о сокращении проверочных диктовок, о пользе внеклассных бесед, о необходимости освещать литературные произведения в связи с жизнью эпохи и т. п. Но эти новые веяния отчасти и раньше проникали в школу вопреки министерским программам, а отчасти трудно осуществимы (хотя бы внеклассные беседы, возлагаемые на тех же заваленных письменными работами словесников). Но зато немало в этой программе и прямо антипедагогического. Взять хотя бы новый курс IV класса, куда хотят впихнуть славянский язык, и языкознание, и диалектологию, и теорию словесности. Только господа из канцелярии, никогда практически не занимавшиеся, могли додуматься до этого. Учителям же, которые на практике знают, как трудно даются детям этого возраста обобщения (хотя бы по грамматике или теории словесности), при виде этой нелепой программы остается только руками развести. Я лично думаю на основании опыта, что ее нелегко пройти даже и в VIII классе. Интересны в программе и следы современных политических веяний. Взять хотя бы бесследное исчезновение Герцена, который был введен при Шварце¹ (даже при Шварце!) в реальные училища, или такое же исключение Радищева, который проходил раньше... При таких (часто тенденциозных) купюрах целых писателей и направлений разве может идти речь об историзме? И авторы этой программы, не упоминаящие ни о западничестве, ни о славянофильстве, ни о народничестве, мечтают «ввести учащихся в круг таких идей и настроений, которые живы в наши дни». Почему же тогда не продолжить историю словесности и дальше 60-х годов, введя хотя бы для ознакомления с 70-ми годами «Новь» Тургенева и «Кому на Руси...» Некрасова, а для ознакомления с 80-ми годами Чехова, с 90-ми — Вересаева? И с такой охолощенной историей литературы собираются приучить учащихся «спокойно разбираться не только в явлениях литературного характера, но и в явлениях самой жизни, прошлой и настоящей»!

22 августа

Директор мужской гимназии назначен к нам в председатели педагогического совета. Теперь, пожалуй, и у нас все пойдет по-новому. В руках его очень большая власть, а придаться всегда есть к чему. Взять хотя бы либеральные газеты, выписываемые нами в учительскую: всегда можно прицепиться и к программе и к освещению при преподавании гуманитарных наук.

24 августа

Новый председатель все более проявляет себя. Сегодня беседовал с историчкой по поводу ее роли и многое нашел неподходящим, например общие рассуждения о причинах войны 1812 года, то есть о Французской революции и ее последствиях и о состоянии тогдашней России. И, наоборот, то, что историчка хотела выпустить как маловажное (например, подробности о движении войск и о сражениях), признал наиболее важным. Справился об учебнике истории и при упоминании о Виноградове сказал, что это нехороший учебник и что теперь его изгоняют.

¹ Шварц А. Н. — министр народного просвещения в России в 1908—1910 годах. Провел ряд реакционных мероприятий: фактическую отмену университетской автономии, установленную в 1905 году, запрещение приема женщин-вольнослушательниц в высшую школу и т. п.

Наводил потом справки о том, есть ли у учителей женских гимназий форменные сюртуки. А вечером сторож носил уже повестку, обязывающую всех учителей и учительниц явиться завтра к обедне и всенощной, а послезавтра к обедне и юбилейному акту, причем указано, что все должны быть в парадной форме.

Раньше у нас этого не бывало, и мы утешали себя тем, что хотя и обделены многим сравнительно с мужскими учебными заведениями, но зато и формализма у нас меньше. Теперь и эта иллюзия разрушается. Ничего не давая на женское образование (нельзя же считать те 2500 рублей в год на все, которые наша казенная гимназия получает от казны), министерство предъявляет к педагогическому персоналу те же требования.

Во время первых уроков я обыкновенно диктую ученицам списки книг, рекомендуемых им в этот год для внеклассного чтения, иногда попутно даю краткие характеристики этих книг и знакоюсь со степенью начитанности класса. Начитанность девиц все больше и больше падает. Нынешнему VII классу уже почти незнакомы такие писатели, как Горький и Л. Андреев, Ибсен, Гауптман.

13 сентября

Новый директор, оказывается, вполне во вкусе Кассо². Требуя соблюдения формы от учителей, он настаивает, чтобы даже в классе ходили в сюртуках, а когда один учитель возразил ему, что существовал циркуляр, разрешающий ходить в ту-журках, директор ответил: «Этот циркуляр был издан в революционное время».

15 сентября

Одной из классных дам при выходе замуж бывшей начальницей запрещено было иметь детей под угрозой увольнения со службы, и бедная дамочка прибегала ко всевозможным средствам, чтобы не проштрафиться. Теперь же, пользуясь сменой нашего «кабинета», она не вытерпела и обратилась к новому директору с вопросом, может ли она иметь детей. Директор, как и следовало ожидать от такого формалиста, ответил, что он справится в циркулярах. Не знаю, чему здесь больше удивляться: произволу ли начальствующих или безгласию подчиненных.

3 октября

Начальницей утверждена одна из наших учительниц, особа опытная и с высшим образованием. Это недурно. Переменился и председатель педагогического совета. Вместо директора мужского учебного заведения к нам послан специальный председатель, который будет в то же время и учителем французского языка. Это еще молодой человек, по образованию ориенталист, прослуживший, как он говорит, три года учителем русского языка в женской гимназии. Что из него получится, пока неизвестно. Но, судя по тому, что он одет не совсем по форме, можно по крайней мере думать, что в этом отношении он не будет так придирчив, как его предшественник.

17 октября

«У всякого барона фантазия своя». Новый председатель, не обращающий внимания на форму (что было козьком его предшественника), в других отношениях проявляет себя не меньшим формалистом. Ученицы VII класса по примеру прежних лет решили устроить спектакль и вечер. Прежде такие вопросы всегда (и во всех здешних учебных заведениях) решались на месте — директором или начальницей, иногда педагогическим советом. Новый же председатель нашел, что по какому-то циркуляру этот вопрос должен восходить на разрешение учебного округа. От учениц теперь требуют подробной программы, текста пьесы и т. д., с тем чтобы все это послать в губернский город, за 400 верст. Неужели же десятки педагогов во главе с начальством заведения не в состоянии удовлетворительно решить даже такой вопрос?

Вечером был педагогический совет — первый при новых председателе и начальнице. Председатель начал с чтения правил, определяющих вопросы, подлежащие ведению педагогического совета. А потом начал докладывать целый ряд тем, которые ведению педагогического совета как раз не подлежат. По инициативе новой начальницы решили ввести целый ряд правил, регламентирующих поведение гимназисток. Но, стремясь их несколько подтянуть после режима прежней начальницы, явно переборщили в своем рвении. Вместо самых модных и пышных причесок, которые

² Кассо Л. А. — министр народного просвещения Российской империи в 1910—1914 годах, сменивший на этом посту А. Шварца. Кассо применял репрессии к революционному студенчеству, к профессуре и учителям.

носят гимназистки теперь, решено ввести употребление только кос и запрещены (не смотря на мои возражения) даже самые скромные прически. Разрешено по вечерам ходить одним только до 8 часов (это еще ничего), а некоторые высказывались даже за 7 часов. Строго запрещено прогуливаться на улице в большую перемену, хотя, по-моему, предосудительного тут ровно ничего нет и даже наоборот — пребывание на воздухе гораздо гигиеничнее, чем в пыльном зале. Председатель особенно строго высказывался против прогулок с реалистами. А некоторые из классных дам ратовали за то, чтобы запретить ходить по главной улице города. Я возражал, что на других скорее можно нарваться на какое-нибудь неприличие, да и где же тогда, действительно, гулять, когда на других улицах осенью грязь, а зимой сугробы снега и нет достаточного освещения. Эта крайность все-таки не была принята. В заключение председатель сказал, что, установив правила для гимназисток, мы и сами должны в этом отношении подавать им пример, и велел учительницам ходить в синих платьях, а учителям в форменных тужурках, хотя желательно было бы и в сюртуках.

7 ноября

У словесниц баллы вышли не очень блестящие (ни одной пятерки, а у большинства тройки). Но отношения у нас все-таки вполне хорошие. И сами словесницы, несмотря на свою лень, славный народ; да и те рефераты, которые прошли уже у них и порадовали мое сердце, поднимают их в моих глазах.

Сегодня, в годовщину смерти Толстого, я как раз кончал на уроке словесности его биографию и нарочно сделал еще один лишний урок, чтобы поговорить о нем. Излагая последний период жизни Толстого и его учение, я говорил, правда, неважно. Но, закончив биографию, прочел письмо Толстого к Александру III, а потом одну статью по поводу смерти писателя. Эта статья так сильно подействовала на девиц, что, когда я кончил, они сидели все как онемевшие, видимо, глубоко взволнованные.

10 ноября

Опять новая выходка со стороны председателя! Явившись в учительскую, он обычным, не допускающим возражений тоном заявил: «По распоряжению начальства здесь не должно быть газет и журналов «Русские ведомости», «Русское слово», «Речь», «Сатирикон» и других!» Отпалил, повернулся и ушел. Когда же я пошел объясняться с ним, от какого начальства исходит это распоряжение, то никаких определенных объяснений он не дал, однако все-таки можно было понять, что распоряжение идет из округа. Тогда выходит, что или он сам, или его предшественник Н—в донес туда о том, что мы выписываем. Разговор со мной председатель вел самым недопустимым тоном и даже повернувшись спиной. А когда я попросил дать по крайней мере время для перемены адреса, он заявил, что уже приказал сторожам не принимать этих газет от почтальона и отсылать их обратно на почту.

Все эти выходки председателя так нервничают педагогов, что, например, начальница сегодня даже расплакалась в учительской.

23 ноября

Каждый день гимназию ждет какая-нибудь неприятность со стороны председателя. Сегодня он был на моем уроке в VII классе. Все время что-то писал и иногда иронически улыбался. Вероятно, готовит материал для доноса. При желании придраться есть к чему. Отвечали как раз о Лермонтове, и, сопоставив его с Байроном, одна девица говорила о связи байронизма с Великой французской революцией и о влиянии на Лермонтова наступившей после восстания декабристов реакции. Все это фактически, конечно, верно. Во всяком университетском курсе и во всяком учебном пособии научного характера можно это найти. Но у нас все может быть сочтено криминалом. Недаром же, например, наш окружной инспектор всегда подчеркивает, что николаевское царствование не было реакционным. Кому же должны следовать преподаватели: научным трудам и своим университетским профессорам или фантазиям окружного инспектора, который не получил даже высшего образования? И как при преподавании таких предметов, как история и словесность, избежать «крамольного» элемента, когда писатели-классики почти сплошь «неблагонадежные»? Классиков же в пуришкевичском духе, которыми можно бы их заменить, еще не существует.

Не найдется также и ни одного ученого труда, освещающего историю или литературу с точки зрения наших «охранителей», потому что и история и литература есть картина постепенной эволюции и прогресса человечества. И воочию видя в этом зеркале, как живое побеждает мертвое, как может истолковать это объективный ученый в смысле диаметрально противоположном?

25 ноября

...Требовательность здешнего округа в отношении «благонадежности» доходит прямо до нелепого. Одна девица, только что окончившая Бестужевские курсы, подала прошение об определении ее учительницей в гимназию. Окружное начальство, несмотря на то, что кандидатка прямо с курсов, потребовало от петербургской полиции свидетельство о благонадежности. Оттуда дали справку, что в 1904 году ее уволили с курсов за участие в одной студенческой истории. И этого было достаточно, чтобы попечитель отказался ее утверждать, хотя в 1905 году она уже получила свидетельство о благонадежности, снова была принята на курсы и без всяких осложнений проучилась там несколько лет. Со времени ее увольнения столько уже переменялось в России, была амнистия и политическим преступникам, многие, отбыв наказание по суду, успели уже устроиться на государственной службе. А девица, ни разу не привлекавшаяся к суду, ни в чем политическом не замешанная, без всякого суда и следствия ограничивается в своих законных правах. После этого она подала прошение в Петербургский учебный округ и там была принята на должность учительницы в самом Петербурге. Для службы в столице потребовалось меньше, чем для нашего провинциального захолустья, где безраздельно царят *plus royaistes que le roi même*³.

26 ноября

Эпидемия самоубийств, широкой волной разлившаяся по России, докатилась и до нас. Третьего дня вечером отравилась ученица VI класса И—на. Это была бледная, но довольно миловидная девушка, проучившаяся у нас два года. Училась она средне. В гимназии ничем особенным себя не проявила. А ныне, оставшись на повторный курс, как-то вовсе отстранилась от гимназической учебы. Сидя на самой дальней парте, она обыкновенно занималась своим делом, любила поболтать с соседками, но по отношению к преподавателям была всегда корректна. В нынешний год (ей только что исполнилось 16 лет) она выглядела более оживленной и расцветающей. Но увы! Не успевши расцвести, уже погибла, и погибла так трагически. Причиной, говорят, послужила неудачная любовь к одному молодому человеку. Школа к этому непосредственного отношения не имела. Иначе для нас — педагогов — этот случай был бы еще трагичнее. Но как осторожно, действительно, надо подходить к этим хрупким созданиям. Ведь не только любовь, но и школьные неудачи могут также потрясти их. А что потом сделаешь, когда совершится неисправимое?

27 ноября

Проверял сочинения шестиклассниц, поданные еще 19 ноября, и в числе их нашел работу несчастной И—ной. Я не успел еще и проверить эти сочинения, а ее уже нет среди живых. И как странно мне было читать эту наивную ученическую работу, автор которой уже покоится под застывшей землей. Тема была «Корень учения горек, но плоды его сладки», и, рассуждая о пользе образования, И—на обмолвилась фразой: «Для образованного человека жизнь становится более привлекательной», не ожидая еще, что не пройдет и пяти дней, как она сама покончит счеты с жизнью. Хорошо еще хотя то, что у нее нет озлобленного чувства против школы. «Теперь нет зубрежки, — пишет она, — оно заменено простым запоминанием и личным пониманием различных предметов. Учеников за неприготовленные уроки не изыщают».

Но немало пришлось мне встретить в этих сочинениях и горьких истин насчет современной школы. Одна шестиклассница, например, пишет: «Хотя сейчас у нас розог нет в употреблении и учителя уже не невежественные, а все почти с высшим образованием, но учиться не лучше, так как отношение учителей к учащимся не сильно изменилось. Учитель продолжает драть ученика за невыученный урок, только в более мягкой форме, то есть он ставит ему единицы и двойки, не думая о том, что иногда ученик при всем своем желании не может учиться по домашним обстоятельствам или чаще потому, что ученье не может его заинтересовать, в чем он не виноват, так как всякий учитель обязан заинтересовать ученика; если же он не умеет этого сделать, он не имеет права быть учителем». Другая ученица идет дальше: «Нелегко учиться и тогда, когда за преподавание берутся люди, неспособные к этому труду; много страданий они приносят учащимся, которые иногда из-за них теряют веру в будущее». Многие отмечают трудность учения для неспособных и малообеспеченных, с чем учителя обычно не считаются.

³ Большие роялисты, чем сам король (франц.).

28 декабря

Уже середина вакаций. Хорошо некоторое время пожить без поправки тетрадей. Приятно обойтись и без ежедневного созерцания нашего председателя. Но предыдущая работа сказывается и теперь. Я все время чувствую недомогание. Придется, видно, похворать в свободное время, а потом — для восстановления сил — опять приняться за старую работу. А она способна скоро исчерпать мои силы. Да и не только мои. На днях я познакомился с новым словесником из реального училища. Он уже 10 лет на службе. И за это время каторжная работа над тетрадями успела превратить его почти в инвалида, несмотря на то, что он (по его собственному признанию) смолоду отличался цветущим здоровьем и был благодаря гимнастике прекрасно развит физически. А тут министерство, выпустившее недавно циркуляр насчет поднятия грамотности, стремится взвалить на учителей русского языка еще побольше работы, не заботясь о том, чтобы создать более нормальные условия для их труда. А что современные условия нашей службы крайне тяжелы, с этим согласится всякий, испытавший их на себе и относящийся к деду добросовестно.

1913 год

7 января

Началось учение. Но не с новой энергией после отдыха приступил я к нему, а с чувством какой-то и физической и духовной подавленности. Отдохнуть как следует не успел. А тут еще целый ряд неприятных известий. Б—ский, оказывается, представил о всех нас (кроме своих фавориток и тех, кто с ним не имел никаких столкновений) в округ самые нелестные характеристики. Главный пункт, как и следовало ожидать, — обвинение в политической неблагонадежности. Особенно достается начальнице гимназии и четырем преподавателям старших классов, которые чаще стеснялись с ним, отстаивая свои права, и потому причислены им к левым. В подтверждение этого обвинения относительно меня он представил в округ списки неблагонадежных (по его мнению) книг, находящихся в гимназической библиотеке, а также список книг, которые читают гимназистки. Выживший из ума попечитель округа особенно ужаснулся, увидев в числе этих книг сочинения Герцена, и не какие-нибудь публицистические статьи, а безобидный роман «Кто виноват?», вышедший еще при николаевской цензуре 40-х годов. «Это на казенный-то счет в казенной гимназии „Кто виноват?“», — возмущался старик, не зная, очевидно, ни самого романа, ни того, что он включен в гимназическую программу еще при Шварце, ни того, наконец, что я ежегодно включаю его в свою программу VIII класса, которую он сам ежегодно утверждает.

18 февраля

Сегодня, увидевшись с Б—ским, библиотекарша К—ва попросила у него объяснений, на каком основании он спрашивает, принимала ли она меры к изъятию из библиотеки книг, когда сам раньше подобного ей не поручал, хотя состав книг был ему известен (каталоги он брал еще в начале года). Б—ский не удостоил ее никакими объяснениями и только иронически улыбался.

Третьего дня, оказывается, произведя обыск и выемку из библиотеки, он даже составил об этом протокол, который и подписали присутствующие при этом председатель педагогического совета, классная дама В—ва и... швейцар. Начальницу же гимназии даже не известили о происшедшем, хотя она тоже была на месте. Теперь ключ от шкафов у Б—ского, а от двери самой библиотеки — у начальницы. Сегодня Б—ский потребовал отдать ему этот ключ; но начальница вызвала председателя попечительского совета (как заведующего имуществом гимназии) и предложила Б—скому войти в библиотеку вместе с ними и библиотекаршей. Туда же забралась и его «сотрудница» В—ва. Тогда Б—ский предложил начальнице, библиотекарше и председателю попечительского совета удалиться и оставить их в библиотеке вдвоем с В—вой. Те категорически отказались, опасаясь (и вполне основательно), что Б—ский и В—ва намереваются что-нибудь подбросить в библиотеку как настоящие провокаторы. Б—ский и В—ва в свою очередь не согласились «работать» в присутствии «посторонних» и демонстративно удалились, а начальница заперла дверь на замок. Таким образом теперь не только перестал функционировать педагогический совет, но закрыта и библиотека — ученицы сидят без книг.

21 февраля

Вот наконец и юбилейный акт⁴. Полный зал гимназисток в белых фартуках. В первом ряду педагоги и гости: члены попечительского совета и родительского комитета (последних пригласила начальница, несмотря на нежелание председателя). На эстраде за попитром надменная фигура Б—ского. Форменный сюртук, белый жилет и закинутое кверху бритое лицо с презрительной миной. Ни поклона, ни приветствия собравшимся.

Начинается речь. Но о чем она? Об опере Глинки «Жизнь за царя». Через несколько фраз он повелительным жестом обращается к хору — те должны были запеть: «В бурю, в грозу». Но хор зазевался. Б—ский гримасничает, как настоящий невзрастеник: пожимает плечами, разводит руками, одним словом, перед всей честной публикой показывает себя как человека, совершенно не умеющего владеть собой. После пения он говорит о начале династии Романовых. Опять цитирует свой любимый источник — либретто «Жизни за царя», которого ученицы, ни разу не видавшие оперы, совершенно не знают, а потому его цитаты остаются непонятными.

Дальше — обзор следующих царствований, но обзор очень поверхностный. Особенно подробно останавливается он только на реакционных царствованиях Николая I и Александра III...

Вся эта история оставила неприятный осадок.

7 марта

Всего лучше я ныне чувствую себя среди восьмиклассниц. Жаль только, что приходится строго ограничиваться официальными рамками: прохождение программы и спрашивание. Нельзя теперь, как раньше, почитать в классе какие-нибудь педагогические статьи, хотя бы из «Свободного воспитания». А между тем через несколько месяцев некоторым из учениц придется уже самим выступать в роли педагогов. Хорошо бы почитать также педагогические статьи Толстого (о яснополянской школе) или воспоминания Водовозовой об Ушинском. Но как тут будешь читать, когда на каждый урок может заявиться Б—ский, который только и ждет случая, как бы уловить меня. Лишь в те дни, когда его нет в гимназии, можешь вздохнуть свободнее и даже приходить из класса не таким утомленным. Сегодня, к счастью, его опять не было, и я на словесности в VIII классе вместо всем надоевшего спрашивания читал ученицам «Записки кн. Волконской» (так как теперь мы приступаем к «Русским женщинам» Некрасова). Бесхитростный рассказ этой чудной женщины о своей необычайной судьбе и об участии декабристов, видимо, захватил моих словесниц. Не нужно было никаких замечаний. Ни шуму, ни разговоров не было. Серьезные, с глазами, полными внимания, слушали они то, что я читал.

Только ради таких уроков и можно еще служить в нашей школе. Но как редко возможны они и как трудно отстоять их в современной школе под бесцеремонным натиском казенщины и бюрократизма.

11 марта

Есть слух, что в наш город едет ревизор из округа. Теперь со дня на день ждем его все.

12 марта

Приехал на ревизию окружной инспектор. Был сегодня в конце уроков и у нас в гимназии и попал как раз ко мне на конференцию. Это мужчина средних лет, инженер по образованию, еще первый год состоящий на этой должности и, видимо, не успевший проникнуться бюрократизмом нашего ведомства. На конференции он старался ободрить учениц, побуждая их принять участие в прениях, а по окончании конференции даже поблагодарил их.

Когда же остались с ним только мы, педагоги, он говорил, что ученицы какие-то робкие, видимо, стесняются высказывать свои мнения и отстаивать их. Я не мог удержаться и заметил, что наш председатель (который тут не присутствовал) на первой же конференции так оборвал ученицу, начавшую говорить, что они теперь уже не смогут сделать этого. Своим выпадом я, видимо, поставил в неловкое положение ревизора, и он как бы в защиту Б—ского стал говорить, что при возражениях необходимо соблюдать границы и что надо различать объяснение и дерзость. Говорил также, что к практикантам надо бы относиться понисходительней, а мы судим их «крутенько». Ученицы же, по его впечатлению, весьма скромные, совсем не такие, какими

⁴ По поводу 300-летия царствования дома Романовых.

можно бы их вообразить на основании некоторых сведений. (Это уж был очевидный намек на доносы Б—ского.)

13 марта

Ревизор ходит по урокам. Был и на французском языке у Б—ского. Урок, говорят, был прямо позорный. Ученицы списывали французские фразы с книги на доску, потом разбирали их по-русски и переводили, причем сам Б—ский, например, говорил, что надо сказать не «у подножья пальмы», а «у подошвы пальмы». Потом началось объяснение нового. Б—ский говорил (конечно, не по-французски) о наклонениях, называл их все русскими именами и объяснял, почему одно из них называется изъяснительным, другое — повелительным и т. п. Какое это имеет отношение к французскому языку — бог ведает. Когда же после занятий начальница сказала, что на уроке французского языка речи совсем не было слышно ни со стороны учителя, ни со стороны учениц, Б—ский отрезал, что это по министерской программе и не требуется.

15 марта

Сегодня ревизор был у меня в VII классе на словесности и в VIII классе на педагогике. Уроки сошли недурно. В VIII классе я предложил ревизору самому спрашивать, и он задавал много вопросов. По окончании же того и другого урока он благодарил учениц и в разговоре со мной хвалил их. Но говорил все-таки мне, что надо обратить внимание на грамотность, хотя сам письменные работы и не смотрел — значит, это уже Б—ский успел ему что-нибудь напечатать или даже по обыкновению до-нес в округ.

20 марта

Сегодня утром один знакомый принес мне номер «Русского знамени», где оказался донос на наш персонал, и на меня в частности. Статья названа «Язвы Н-ской женской гимназии», с подзаголовком «К сведению г. министра народного просвещения». Главное внимание уделено мне. Я называюсь прямо по имени и фамилии, характеризуюсь как крайне левый и притом как учитель, который старается сделать учениц «сознательными» и таким «сознательным» ставит незаслуженно хорошие баллы, тех же, кто не поддается его влиянию, преследует двойками. В пример этого приводится П—на, которой я ставлю двойки будто бы за то, что она ходит в церковь и поет на клиросе. «А когда стал заниматься с ней бесплатно новый начальник гимназии Б—ский, стало еще хуже», так как я стал ставить ей единицы. Вообще в этой статье, написанной весьма безграмотно и наполненной грубой руганью («мразь», «про-вокатор» и т. п.), весь наш персонал изображается как неблагонадежный. «Один только предан правительству и русский человек — это новый председатель педагогического совета Б—ский, да еще В—ва ничего».

Статья эта сначала прямо ошеломила меня своей бесцеремонной ложью и грубым тоном. Притом ведь и последствия могут быть очень плачевные. К голосу такого органа наше министерство весьма чутко, а тут возводятся такие обвинения, которые могут даже и жандармерию всполошить. Потом, несколько успокоившись, я понял, откуда все это исходит. Это без сомнения дело рук Б—ского. Может быть, писал и не он сам, но писано все с его слов. После того, как он узнал, что «за его сочинение» я поставил двойку, он стал расспрашивать меня об одном благотворительном обществе, где я состою секретарем. Я еще удивился тогда этому. Но теперь все понятно. В корреспонденции «Русского знамени» это общество спутано с другим, относительного которого было ныне какое-то жандармское дознание, и написано, что я секретарствую в этом именно обществе. Ввиду того, что в статье сколько угодно ложных инсинуаций, есть материал для судебного преследования газеты. Прочувствуй «Русское знамя» следовало бы, но все это сопряжено с хлопотами, расходами, да не вполне удобно и судиться, когда придется выяснять чисто педагогические вопросы, вызывать свидетелями учениц, родителей, учителей. А с другой стороны, неудобно и замалчивать это дело, так как местные «союзники»⁵, поднятые на ноги Б—ским, усердно распространяют эту статью, известную теперь уже и ученицам.

21 марта

Рассказал о статье ревизору, который отнесся ко мне сочувственно. Он вместе с Б—ским производит теперь осмотр библиотеки и все книги, которые Б—ский находит подозрительными, откладывает и переписывает. Б—ский, воочию проявляя свою

⁵ Имеются в виду члены черносотенной организации «Союз русского народа».

начитанность, включает в разряд таких книг и «Сигнал» Гаршина, и «Невский проспект» Гоголя, и «Историю русской интеллигенции» Овсянко-Куликовского, и «Что такое обломовщина?» Добролюбова. Но оказались в библиотеке и книги Каутского, Маркса, Энгельса. Правда, они были выписаны еще в 1906 году, когда и округ смотрел на это сквозь пальцы. Мы же, теперешние педагоги, даже не знали о существовании их в нашей библиотеке, и ученицы их, разумеется, не читали. Но для Б—ского это хороший козырь.

26 марта

Весь вечер сидел у ревизора. Он читал мне пространный донос на меня Б—ского, а я делал заметки, чтобы писать потом объяснения. И чего тут только нет! И мое неумение разбираться в пробных уроках («с больной головы на здоровую»), и игнорирование баллов председателя (когда при двух пятерках и его четверке ставили пять), и все другие столкновения с ним, изложенные или фактически неправильно, или с особенным освещением. Меня он рисует как человека левых убеждений, но в то же время «умного, смелого, изворотливого», который мягок в обращении, но упрям («закоренелый какой-то: только поблденет, но сделает по-своему»), а потому особенно вреден и опасен. Но вместо фактов почти все инсинуации: то говорится, что я все время только Герцена изучаю (а сам в VIII классе ни на одном уроке не был), а Крылова и Григоровича не прохожу и на церковную (древнюю) литературу обращаю мало внимания; то вдруг заявляется, что мои лучшие ученицы похожи на социал-демократок (чем, спрашивается?). В вину мне ставится также и то, что у меня с ученицами VIII класса «товарищеские отношения», что я с ними «запанобрата», заступаюсь за них. «Остается только на него юбку надеть», — развязно комментирует Б—ский. Вообще тон самый разухабистый, так что даже округ принужден был сделать ему на это замечание. Излагаются и наблюдения Б—ского за моим уроком в VII классе (единственный урок, на котором он был!). Но что это за наблюдения! Сыщицкое ухо Б—ского уловило только «неблагонадежность», например, в словах «царь познания и свободы», «восстал против бога» и т. п., что, разумеется, относилось к лермонтовскому Демону; упоминание о Великой французской революции и восстании декабристов тоже отмечено им с соответствующими комментариями. Чисто литературная же часть урока оказалась для него совершенно непонятной. Например, по поводу интересных параллелей между творчеством Байрона и Лермонтова, между лермонтовским Демоном и байроновским Люцифером у Б—ского только одно ироническое замечание: «Какая-то лекция о чертах!» И это еще человек, которому тоже приходилось преподавать литературу!.. Что касается направления, меня могут подвести списки книг, читавшиеся по моей рекомендации. Вообще же доносы Б—ского — нечто невероятное по своей мелочности, бестолковости и грубому, бульгарному тону.

27 марта

Несколько дней тому назад ревизор внезапно зашел на урок к Б—скому в VII класс и попросил у него французскую книжку, по которой тот следил за переводом учениц. И что же оказалось? Над французскими словами у Б—ского были написаны русские! Это воочию показало ревизору, что за учитель Б—ский, и он с тех пор вот уже несколько дней не показывается в гимназии. Не от страха, конечно, а просто чтобы не обнаружить еще раз своих познаний по «специальности». Личность его теперь, кажется, достаточно выяснилась уже и для окружного начальства.

Но еще вопрос, чья возьмет. Невежество и глупость не такие преступления, как «неблагонадежность», в которой он старается нас обвинить. И на почве оскорбленного самолюбия этого упоенного властью самодура ведется теперь большая игра против нас. Пушены в ход и официальные доносы, и газетные инсинуации, и хлопоты «союзников». Сегодня, например, один из них, раз уже бывший у ревизора, снова выпросил аудиенцию, чтобы, со слов самого Б—ского, еще раз возвести на нас разные обвинения. Приходится серьезно подумывать о перемене службы. В современной школе для меня места, видимо, нет. Правда, неблагодарная работа над тетрадами мне уже надоела. Но педагогическая деятельность мне все-таки по душе, и было бы жаль совсем бросить ее. Тем более что дела с ученицами теперь как раз идут хорошо. В VIII классе начали проходить Достоевского, с каким напряженным вниманием слушали мои словесницы и вольнослушательницы, когда я читал им сегодня статью Мережковского. Какой это все-таки славный народ! Такой отзывчивости и чуткости ко всему живому, хорошему не встретишь среди нас, людей взрослых.

1 апреля

Сегодня ревизор ходил по классам и давал темы для классных работ, львиная доля пала, конечно, опять на меня. Теперь, кроме обычных сочинений, которых и так скопилось множество, придется проверять еще добавочные работы, притом проверять с особой тщательностью.

Б—ский, чувствуя, что почва под ним колеблется, окончательно решил отыгаться на политике: вчера местный отдел «Союза русского народа» избрал его товарищем председателя, то есть в подручные к одному старому фельдшеру, выгнанному со службы за взятки. Честь, конечно, невелика, но поддержка подобных элементов, наклеивших на себя ярлыки патриотизма, по нынешним временам много значит. Теперь вся дрянь, объединившаяся в местный отдел «Союза русского народа», будет бороться против нас. А перед средствами эти господа не остановятся..

22 апреля

За время пребывания здесь ревизора мы успели ознакомиться с личностью Б—ского еще больше, чем раньше. Это форменный провокатор. Не ограничиваясь своими доносами начальству, Б—ский, оказывается, усиленно занимался и «литературой». Недавно обнаружилось, что в черносотенной газете «Стрела» помещено целых 14 корреспонденций про нашу гимназию. Все это, без сомнения, плоды вдохновения нашего милейшего председателя. И слог его и фразы такие, что могли быть известны только ему. Все мы величаемся «поганками под красным соусом», причем каждому из нас уделена особая корреспонденция под заглавием «Поганка — такой-то», где мы фигурируем с полными именами и фамилиями. И чего только тут нет!

7 мая

Был первый у меня устный экзамен — педагогика в VIII классе. Сидел на экзамене и «мой друг» Б—ский, но сидел молча, не задавая ни одного вопроса. Сдавали ученицы хорошо, даже лучше, чем в прошлом году. Из 29 учениц ни у одной не вышло в среднем даже тройки, а все четверки и пятерки.

7 июня

Вот и официальное окончание учебного года, проведенного нами в таком нервном состоянии. А дальше, возможно, будет и еще хуже. В такую уж полосу попала наша русская школа! Новые штаты не коснулись нас, забытых педагогов женских гимназий, но новые веяния, разрушающие в школе все живое, достались нам в такой дозе, какая встречается далеко не в каждой гимназии. Находясь под командой Б—ского, мы воочию испытали на себе справедливость слов одного из думских депутатов в его последней речи: «Водворяется царство не государственных людей, а фаворитов правительства новой формации, политика лести в одну сторону и озорства в другую, политика невежества, которое принимают за свежест, бесшабашность, которую принимают за силу. Начинается время тех новых людей, на которых старые серьезные люди смотрят с изумлением... Для того чтобы идти вместе с властью, мало быть человеком порядка, мало любить величие России — нужно быть лакеем в душе!»

4 августа

Снова пролетело лето, давшее возможность несколько отвлечься от обыденной учительской жизни и отдохнуть. Но и тут, среди чудной горной природы, гимназия не давала забыть о себе. Так сильно расшатал нервы предыдущий учебный год, что и летом почти каждую ночь я видел кошмарные сны, где фигурировали и педагоги, и ученицы, и пресловутый Б—ский.

Теперь наконец выясняются некоторые результаты ревизии. Б—ский и его шайка, несмотря на поддержку местных «союзников» и столичной черносотенной прессы, оказались невыносимыми даже для такого заядлого реакционера, как наш попечитель. И клубок взаимных жалоб и разоблачений стал распутываться пока в нашу сторону. Уволена уже ставленница Б—ского — классная дама В—ва, испортившая мне за время службы немало крови. Другая фаворитка Б—ского — учительница приговорительных классов Ч—ва осталась за штатом. А самому Б—скому давно бы следовало уже быть на скамье подсудимых (если не в сумасшедшем доме). Но окружное начальство не смеет расправиться с ним, ссылаясь на то, что у него сильные связи. Ему предложено, правда, подать прошение об отставке как лицу, «недостойному занимать такой высокий пост». Но вместе с тем окружное начальство дало о нем хорошие отзывы в другие учебные округа, сознательно вводя в заблуждение своих коллег. Таким образом, карьера этого параноика далеко еще не окончена. И если со скверным отзывом из предыдущего места службы (откуда его уволили) он попал к нам на высший

пост, то теперь с хорошим отзывом от нашего попечителя он сможет подняться еще выше. И, поддерживая его ради какой-то протезирующей ему персоны, никто не подумает, как отзывается его деятельность на педагогах и ученицах. А ведь это все живые люди, созданные вовсе не для таких рискованных экспериментов!

2 октября

Вчера с вечера я действительно пересидел и потом долго не мог уснуть, а сегодня встал с большой головой. В гимназии встретился с новым председателем. Вопреки ожиданиям Ф—в оказался не карьеристом, а скорее неудачником. Он с высшим образованием (из духовной академии), был уже 8 лет председателем в одной женской гимназии, преподавал там словесность и педагогику, но дальше продвигаться не мог и потерял даже прежнее место из-за несчастной слабости к спиртным напиткам. Человек же он, по-видимому, вполне порядочный. Нас, отвыкших при Б—ском от человеческого обращения, он сразу привлек на свою сторону. Было приятно, что наши мрачные предчувствия не оправдались. Поэтому и я сразу воспринял духом и провел свой первый урок в V классе весьма оживленно. К концу, однако, головная боль дала себя знать, и я уже с трудом вел пятый урок в VIII классе, а восьмиклассницы, как назло, отвечали скверно.

11 ноября

Придя сегодня на уроки в гимназию, узнал опять неожиданную новость: председатель Ф—в телеграммою попечителя уволен от должности и на его место назначен директор мужской гимназии Ш—ко. Поводом к увольнению, очевидно, послужил донос какого-нибудь «доброжелателя». Но Б—ского, несмотря на все его «художества», держали целый год, дали летнее жалованье и уволили только по прошению. С Ф—вым расправились весьма круто, не дав ему дослужить даже второго месяца. Вот что значит не играть в политику и не якшаться с «союзниками»! Притом, назначая Ф—ва, попечитель уже знал, что он пьет. Кто же виноват, что и у нас он не сдержался? А теперь ему не на что выехать, и мы — его бывшие подчиненные — делаем сегодня в его пользу подписку.

12 ноября

Сегодня в гимназию явился ненадолго новый председатель Ш—ко. Это еще молодой человек, по-видимому, очень ловкий и дипломатичный, благодаря чему через шесть лет службы оказался уже на посту директора. Не будучи ретроградом по убеждениям (да и какой же умный человек может искренне исповедовать такие взгляды), он в то же время прежде всего исправный чиновник, желающий быть на лучшем счету у начальства, а потому готовый энергично проводить в жизнь все его предназначения. В то же время он настолько умен, что не желает восстанавливать против себя и общество. Например, при выборах в родительский комитет он сказал речь, которая сочувственно комментировалась местной либеральной прессой; но довольны остались ею и сторонники «ежовых рукавиц». Как отзовется его политика на нас, грешных, поживем — увидим.

18 ноября

Сегодня начальница получила письмо от одной из учениц VIII класса, которое я привожу как характерный документ, ярко говорящий о том, в каких условиях приходится жить и работать некоторым из наших гимназисток: «...Я долго не решалась Вам писать, но наконец не стало сил дольше терпеть. З. И., я опять обращаюсь к Вам с большой просьбой. Помогите мне, прошу Вас. Не могу я жить дома. Я Вам расскажу — почему. Живем мы теперь в маленькой квартире, мне совершенно негде заниматься. Как Вы сами знаете, я хочу заниматься. Прихожу домой часов в 7 вечера усталая и голодная, а тут крики, шум, негде учить уроки: у нас ведь, кроме меня, шесть человек... Так вот в чем заключается моя просьба: не устроите ли Вы так, чтобы мне выдавали пособие от общества вспомоществования, хотя бы столько, чтобы заплатить за комнату. Я бы тогда ушла от наших. А на одежду и стол я, может быть, и смогу заработать... Так, пожалуйста, не оставьте моей просьбы без внимания. Мне и самой больно и тяжело попрошайничать. Ведь если будет так продолжаться, то я не знаю, что со мной будет. Пожалуй, придет такой момент, что дальше и идти будет некуда... Вам, может быть, странным покажется, что я Вам пишу письмо, но поверьте мне, З. И., я не могу Вам сказать лично: так мне тяжело говорить об этом. Хоть и плакать, так уж пусть никто не видит... У меня только одна мысль, чтобы Вы поняли хоть немного мое горе. Лучше буду голодать, но пропускать уроков не могу».

30 ноября

Недавно пришло известие, что одна из моих бывших учениц, Л—ая, учившаяся второй год в Питере, покончила с собой. Это была на редкость одаренная девушка. Умная, начитанная, развитая и сверх того с музыкальным талантом. И вдруг такая ранняя и трагическая смерть. Да притом еще на романтической почве. Сколько, по-видимому, было у нее данных, помимо любви; и все-таки она, едва достигнув 20 лет, ушла из жизни. Не яркий ли это пример той душевной пустоты и той болезненной надломленности, которые создает наше безвременье. И как жаль, когда жертвой этих условий делаются такие богато одаренные натуры.

3 декабря

По предложению нового председателя я составил темы для рефератов и после его одобрения предложил их ученицам. Темы приходилось выбирать, руководствуясь и сравнительной интересностью их и в то же время обходя всякие щекотливые вопросы, которые могли бы возникнуть при составлении реферата или его обсуждения. В VII классе я дал такие темы: 1) Театр и кинематограф; 2) Действительно ли были лишними людьми «лишние люди» в русской литературе середины XIX века? А в VIII классе три темы по словесности: 1) Идея романа «Анна Каренина»; 2) Мария Болконская и Наташа Ростова; 3) Базаров и Молотов как новые типы 60-х годов. И две по педагогике: 1) Сон и сновидения, 2) Воспитание и обучение в дореформенной русской школе по «Очеркам бурсь» Помяловского.

Ученицы, в общем, охотно взялись за эти темы. Но на следующем уроке предложили мне вопрос: не лучше ли было бы писать рефераты на современные темы? А когда я спросил, какие же это современные вопросы, или, как одна выразилась, «злоба дня», уж не вопросы ли политические, ученицы с пренебрежением отмахнулись от политики и пояснили, что их, например, занимают теперь вопросы о смысле жизни, о самоубийствах. Я предложил было им почитать «Исповедь» Толстого, который тоже мучился этим вопросом. Но это их не удовлетворило, так как сторонников его решения проблемы в классе, видимо, не нашлось. И мне, к стыду своему, пришлось замолчать, заявив только, что обсуждать такие вопросы в рефератах не придется. Говорю «к стыду своему», потому что ученицы, конечно, были тысячу раз правы. Разве не первый долг нас, взрослых людей и профессиональных наставников, помочь разобраться мятущейся молодежи в этих больших вопросах? И не подносим ли мы им, в сущности, камень вместо хлеба со своими рефератами, при составлении которых следишь пуще всего за тем, чтобы они не затронули чего-нибудь острого, современного?

28 декабря

Новый председатель, который вначале показался довольно порядочным, постепенно начинает выявлять себя с довольно несимпатичных сторон. Увидав, например, что шестиклассницы в начале урока окружили меня на кафедре (они показывали мне свои тетрадки с сочинениями и просили кое-каких разъяснений относительно моих поправок), Ш—ко потом выразил мне по этому поводу неудовольствие. «В других гимназиях начальница не позволила бы такого», — заметил он. Вообще у него отношения к ученицам и даже педагогическому персоналу какие-то чересчур уж подозрительные, чуждые веры в человека. На этой почве вырастает целая система «предупреждения и пресечения», основанная на сыске. К сыску за ученицами и их поведением председатель старается привлечь весь педагогический персонал. Но, с другой стороны, он не стеснялся говорить и о наблюдении за частной жизнью учителей, что он берет уже на собственную ответственность.

1914 год

8 января

Положение современного педагога, поставленного между либеральным обществом, с одной стороны, и начальством, опирающимся на черносотенное меньшинство, нередко вырабатывает из учителей двуличных политиканов. Почти каждый неглупый педагог, желающий сделать карьеру, принужден вести двойную игру, угождая и обществу и начальству. И какие некрасивые истории разыгрываются на этой почве!

15 января

Вчера проверял первый представленный мне реферат об «Очерках бурсь». Охарактеризовав дореформенную русскую школу, референтка в заключение говорит, что и в современной школе немало еще пережитков бурсь и что, может быть, грядущим поколениям эта школа будет казаться такой же несовершенной, какой кажется нам

дореформенная бурса. Мысли эти представляют, конечно, азбучную истину; но, принимая во внимание наши порядки, я не решился пропустить их на свой страх и риск и обратился сегодня за разъяснением этого вопроса к председателю. Тот остался, видимо, недоволен этим местом, назвал утверждение референтки голословным и посоветовал мне предложить ей или совсем выпустить его, или представить доказательства, в чем она видит пережитки бурсы в современной школе. В последнем случае я должен выступить с апологией современной русской школы.

Сам председатель, по-видимому, не допускает и мысли, что наша школа нуждается в коренных реформах. Единственное больное место в ней, по словам Ш—ко, это то, что в нее допускаются учащиеся из некультурных семей («кухаркины дети»), которые не способны к культуре и понижают общий уровень школы. Это его любимый конек, на котором он не прочь выступить даже и перед учащимися, не считаясь с тем, что определенная их часть как раз и принадлежит к этим самым «кухаркиным детям», из среды которых выходит столько дельных и серьезных культурных работников и хороших учеников.

Считаясь с мнением председателя, пришлось указать референтке Ч—вой на неуместность ее заключительных замечаний. Ч—ва же твердо стояла на своем, что современная русская школа, в сущности, та же бурса, и на мое предложение доказать это сказала, что она может сколько угодно об этом написать, упомянув при этом о массе излишнего материала, который приходится заучивать, о формальном отношении к делу педагогов, об их мелочности, придирчивости и т. п. Я же со своей стороны посоветовал ей лучше совсем не касаться этого щекотливого вопроса. Хотя разве она не права? Правда, теперь, конечно, нет порки и т. п. Но еще вопрос, что больнее бьет: розги ли по закаленному телу бурсака или наши педагогические приемы по нервным натурам теперешних учащихся. По крайней мере, школьных самоубийств теперь значительно больше, чем во времена бурсы. Все это воочию видят учащиеся; не видят только того, под каким гнетом живем и мы, их «истязатели», современные педагоги.

27 января

Обыкновенно принято изображать в самом жалком виде положение народного учителя. Материальное положение его действительно незавидно, но и положение нас, учителей женских гимназий, принимая во внимание больший образовательный ценз, немногим лучше их. Что же касается условий работы, то в этом отношении положение народного учителя несравненно лучше, чем положение учителя средней школы.

Правда, и деятельность народного учителя опутана разными циркулярами. Но не в них дело. Важно то, что за десятками, а то и сотнями народных школ стоит только одно лицо — инспектор, который бывает в школе всего раз-два в год, а то и того реже. За плечами народного учителя таким образом не стоит неотступно «некто в синем», и в своих ежедневных занятиях с детьми он не связан с мелочным вмешательством начальства. Он до некоторой степени сам хозяин своего дела.

Совсем иное у нас. Здесь в каждой школе есть своя власть с большими полномочиями. И эта власть в лице директора или председателя, как у нас, держит всю вверенную ему школу в своем кулаке. Всего хуже, когда начальник окажется специалистом по твоему предмету. А именно таков наш нынешний председатель Ш—ко, преподававший раньше словесность. Как из рога изобилия сыплются теперь разные указания, замечания, реформы и прочие мероприятия — и все на мою шею! Оттого ли, что он интересуется постановкой словесности, или оттого, что хочет подсадить меня за то, что я по его приглашению не пошел встречать к нему Новый год, но только он то и дело стал внезапно являться ко мне на уроки словесности. Правда, ничем предосудительным я на них не занимаюсь. Но в то же время я не намерен пускать пыль в глаза опрашиваемым лучшим учениц и т. п. Это обычные рабочие уроки. И, как назло, Ш—ко вот уже по два раза попадает в VII класс тогда, когда я спрашиваю слабых учениц. Те, разумеется, «плетут». И в результате сегодня председатель с неудовольствием заметил мне, что мои ученицы очень неразвиты (в прошлом «Русское знамя» как раз, наоборот, обвиняло меня в стремлении развивать учениц). Единственная панацея от этого, по мнению председателя, это введенные им рефераты, в которых на самом деле будут участвовать, конечно, только сливки гимназии. Но главный конек нынешнего председателя — декламация стихотворений (он сам недавно издал сборник стихотворений для заучивания наизусть и теперь все время носит с ним). Сегодня, например, он выразил свое неудовольствие, что я в его присутст-

вии не спросил ни одного стихотворения (шло изложение жизни одного из персонажей и составлялась его характеристика, стихотворения только нарушили бы ход работы и отняли время). На будущее мне в его присутствии придется обязательно требовать у каждой ученицы декламации какого-нибудь стихотворения. Это займет минимум треть каждого урока, если даже только выслушивать их, чего, конечно, недостаточно.

А между тем дай бог и без этих затей еле-еле кончить программу. И так уже приходится спешить, вызывая недовольство учениц и проходя некоторые произведения (например, «Ревизора») слишком бегло. Но этим дело не ограничилось. В VIII классе, где стихотворений наизусть не учили, теперь по требованию председателя придется заняться исключительно этим делом: учить, декламировать, повторять, потому что он велел, чтобы в каждом экзаменационном билете (весной) было вставлено по стихотворению. Опять, значит, в угоду его фантазиям придется нарушать весь ход занятий. Скомкать или бросить совсем романы Л. Толстого и Достоевского и заняться заучиванием и повторением раньше заученных стихов.

Говорю «стишков», а не «стихов», потому что здесь тоже придется сделать своеобразный выбор. О том, что раньше мы проходили в VI классе «Размышления у парадного подъезда», «Песню Еремюшки», я не смею теперь и заикнуться. И даже когда я упомянул о стихотворении «Смерть поэта», Ш—ко с неудовольствием спросил: «Неужели проходили и последние строки? Ведь их можно отнести и к нашим современникам!» Пришлось успокаивать его, что освещение этому давалось чисто историческое, без всякого сооставления с современностью. Во всяком случае, приходится все это «мотать на ус». Но сам режиссер остается в стороне, а расхлебывать кашу приходится нам — слепым исполнителям чужой воли.

24 февраля

Вчера было воскресенье, но весь день ушел нарасхват. Сначала, в час дня, было назначено свидание с VII классом. Ученицы пригласили меня сниматься, и я согласился. В четыре часа начался реферат в гимназии. Одна из моих словесниц, поэтесса Т—ва, читала о Наташе Ростово́й и Марии Болконской. Реферат был составлен очень живо, художественно и прочитан с чувством. После его окончания я сделал перерыв и начались прения. На этот раз из начальства никого не было. Были только я и две классные дамы. Поэтому ученицы чувствовали себя вполне свободно, не стеснялись высказываться, и прения получились очень оживленные, хотя судя по теме и трудно было это предполагать. Подымались тут иногда и более жизненные вопросы. Референтка, например, упрекала Наташу, что она, погрузившись в семейную жизнь, забыла об общественной. Другая же восьмиклассница возражала ей, что она может быть и матерью, или общественной деятельницей, совмещать же это невозможно. После оживленного спора обе наконец согласились, что женщина-мать должна быть не активной деятельницей, но должна быть в курсе общественной жизни, чтобы суметь подготовить к ней своих детей как будущих граждан. В заключительном резюме я, согласившись, что есть в реферате и недочеты, напомнил о крупных его достоинствах и предложил поблагодарить референтку. Молодая публика поддержала меня дружными аплодисментами, а подруги Т—вой сделали даже попытку покачать ее. По окончании реферата одна восьмиклассница (из семьи моих хороших знакомых) пригласила меня к себе. Там же были и референтка и еще около десятка восьмиклассниц. Так я и окончил этот день в кругу своих учениц.

23 марта

Хотя сегодня и предпраздничный день, но я все-таки почти все время с ученицами. Сначала, с часу дня, был на утре в музыкальной школе, где выступали по большей части наши же гимназистки, обучающиеся музыке. А потом, с четырех часов дня, у нас в гимназии начался реферат. Читала восьмиклассница Л—ва на тему «Сон и сновидения». Реферат, составленный на основе целого ряда ученых трудов по психологии, был очень дельный, но, пожалуй, слишком научный для большинства присутствующих. Официальная оппонентка была только она, да и та ограничилась одним незначительным замечанием, заявив, что реферат опирается на очень солидные авторитеты и спорить с Л—вой значило бы выступить против этих авторитетов. Можно было ожидать, что возражений действительно не последует, тем более что с психологией знаком один только VIII класс. Но дело этим не ограничилось, и реферат все-таки сыграл свою роль. Я предложил присутствующим, если им нечего возражать, дополнить реферат сообщением о каких-нибудь своих наиболее интересных снах, в

которых мы и попытаемся общими силами разобраться. Сначала, по предложению нескольких учениц подвергла разбору некоторые литературные сны («Клара Милич», «Анна Каренина», «Портрет» и другие). А потом ученицы наперебой начали рассказывать свои сны. Все больше или сны странные, или сны, носящие характер «вещих».

После каждого такого сообщения я предоставлял слово докладчице, и она со своей стороны старалась проанализировать этот сон с научной точки зрения, указать его причины, объяснить его странный характер и т. п. В случае неполноты этих объяснений или затруднений А—вой выступал я и старался объяснить то, что следовало. Как бы то ни было, ученицы приняли довольно живое участие в обсуждении затронутой рефератом темы. Многие из них, не высказываясь публично, толковали на эту тему друг с другом частным образом, отчего сегодня на собрании было шумно, и мне то и дело приходилось прибегать к звонку и останавливать молодую публику.

25 августа

Давно бы пора уже заниматься, но ныне мы еще гуляем. Ввиду войны помещению гимназии было занято мобилизованными запасными, а теперь после них пришлось производить основательный ремонт. Поэтому занятия отсрочены до 1 сентября.

Пока провели (в другом здании) только переэкзаменовки и приемные экзамены. У меня по словесности в V и VI классах держало немало. Но почти все сдали удовлетворительно. Провалились только двое: безграмотная шестиклассница А—ва да пятиклассница П—ва, которая и на устном и на письменном экзаменах получила двойки.

Свободного времени теперь достаточно. Полезно бы использовать его для подготовки к занятиям, но нет подходящего настроения. Дело в следующем. При возвращении моем в город председатель предложил мне место в мужской гимназии, так как его кандидата, которого он хотел выписать из института, взяли на военную службу. Хотя обратиться ко мне заставила, таким образом, только нужда, я, однако, на предложение согласился, имея в виду сверх уроков в мужской гимназии (III—V классы) оставить пока за собой шесть уроков в VIII классе женской гимназии (словесность и педагогика). Ш—ко сделал представление в округ уже около трех недель назад, но до сих пор ни ответа, ни привета.

21 сентября

Свои занятия в мужской и женской гимназиях я начал, поправившись после болезни, с 15 сентября. Первые впечатления от моих новых учеников довольно благоприятные. Правда, пришлось уже поставить две двойки, приходилось не раз останавливать их за разговоры и шалости, но в общем все это идет мирно, не нарушая наших добрых отношений. С дисциплиной в IV и V классах обстоит вполне хорошо (особенно в V классе, где курс интереснее и народ более взрослый); в III классе, где учатся еще совсем дети и где 48 человек, справляться труднее, особенно на малоинтересных уроках грамматики. Но все-таки и здесь, кроме естественных проявлений детской живости, ничего не замечается. В V классе, где начинается история словесности, занимаюсь с интересом. В III же (синтаксис) и в IV классах (славянская грамота) курс довольно скучный, несколько оживляет дело только чтение стихотворений. Но общий дух в мужской гимназии совсем иной, чем в женской. На этот счет мы часто обмениваемся теперь своими впечатлениями с новым словесником из женской гимназии, который раньше служил в мужской.

Теперь как мужская гимназия для меня, так и женская для него являются новыми. И результаты наших наблюдений и сравнений сходятся. В женской гимназии (по крайней мере, нашей) более простые отношения с ученицами и между собой, в мужской же больше формализма, педантизма. Педагоги там выглядят более чиновниками, «человеками в фуляре», чем в женской гимназии. Там никаких разговоров, кроме служебных, не услышишь.

26 октября

Целый месяц не брался за свой дневник: не до того было. К занятиям в женской и мужской гимназиях, отнимающим благодаря письменным работам немало времени, прибавилась новая работа: по представлению учредительницы частной женской прогимназии я назначен там председателем педагогического совета. Должность эта пока не оплачивается, так как бюджет прогимназии очень скромный, да и попечительский совет, от которого зависит установить то или иное вознаграждение, еще не сформирован (о каждом члене наводятся справки в отношении благонадежности, и когда это кончится — бог весть). Но дел с новой должностью прибавилось порядоч-

но. Правда, на уроки туда я еще не ходил, но и одной канцелярской работы (переписка с округом) достаточно.

Теперь мой обычный порядок дня такой. С утра отправляюсь в школу, где мои восьмиклассницы дают пробные уроки. Потом бегу в мужскую гимназию, где даю два урока, в большую перемену иду в женскую гимназию и последние два урока даю в VIII классе. А возвращаясь с уроков домой, захожу в прогимназию. Наиболее приятной частью моей работы является руководство пробными уроками. Отрадно наблюдать, как эти девушки, которые постепенно развивались на моих глазах и отчасти под моим руководством, уже на пороге самостоятельной жизни делают первые шаги, руководя целым классом и приобщая к начаткам человеческой культуры новые поколения. Но с прошлого года по воле «благопечительного» начальства эти пробные уроки поставлены в ненормальные условия. С закрытием подготовительных классов при гимназии мы принуждены теперь незваными гостями скитаться по разным школам. На ходьбу в школу непроизводительно тратится время и учениц и преподавателей, которые из-за этого принуждены опаздывать на свои уроки или уходить с пробного урока до его окончания. Приходится выбирать школу для пробных уроков, руководствуясь только ее близостью к гимназии, причем подбор учительниц там оказывается далеко не всегда образцовым. Да и сами помещения из-за отсутствия собственных зданий иногда переполнены, особенно ныне, когда часть школ занята для военных нужд. Начали мои восьмиклассницы ходить в одну ближайшую школу, ходили с полмесяца, привыкли к детям, и вдруг перед началом пробных уроков школу переместили на окраину города, и пробные уроки пришлось начинать в другом месте, с незнакомым классом.

1915 год

7 января

Каникулы живо промелькнули, и сегодня мы снова оказались по классам. После каникул учащихся нелегко раскатать, а особенно сегодня, когда многие до двух ночи веселились на вечере реального училища. Поэтому я не стал спрашивать учащихся. В III классе мужской гимназии объяснял новое правило, в V рассказывал о частушках. В VIII классе женской гимназии сначала читал вслух полученные восьмиклассницами с войны благодарности за подарки.

18 января

Единственным моим утешением является VIII класс. С ними я провожу первый пробный урок в школе, к ним же, как на отдых, иду на последние уроки, отбыв очередь в мужской гимназии. Теперь мои восьмиклассницы заняты подготовкой своего вечера в пользу раненых. Хлопот у них с этим вечером много: организаторская работа, подготовка к сценкам, к живым картинам, к декламации, к музыке, к пению, к характерным танцам.

Сегодня был на первой репетиции этого вечера, ведшейся под руководством одного артиста-любителя. Эта подготовка к ученическим вечерам едва ли не интереснее самих вечеров. Война положила на эти вечера яркий отпечаток. Цель их теперь не просто веселье, а помощь жертвам войны; содержание соответственно этому чисто идейное. Тут и монолог Минина, и Орлеанская Дева, и песни брюссельских кружевниц, и живые картины на темы войны. От тех пошловатых водевильчиков, какие ставились иногда на ученических вечерах два-три года назад («Счастье только в мужчине» и т. п.), не осталось и следа.

8 февраля

В министерстве, кажется, повеяло новым духом, а до нас в лице попечителя фон Г—мана (ставленника барона Таубе) только теперь докатилась в полном объеме старая волна «кассовского» режима. По предписанию попечителя местный комитет начальников среднеучебных заведений организовал чисто полицейский внешкольный надзор. Учащиеся могут быть на улице до 7 часов вечера, а после этого начинается «ловля», предъявление билетов-паспортов, удостоверений личности и т. п. Желающие из педагогов могут заниматься «ловлей» каждый день, но обязаны к этому классные наставники и классные дамы. Эти лица участвуют и в облавах, которые время от времени устраиваются по распоряжению председателя комитета. В назначенный председателем день от него летят в запечатанных конвертах предписания лицам надзора: быть во столько-то часов между такими-то улицами. И вот несчастные педагоги рассыпаются по всему городу, чтобы «тащить и не пущать», а председатель комитета «легкой тенью» скользит среди них, проверяя посты. Дожили до

времени, нечего сказать! Между учениками и учителями возрастает новая пропасть, отношения портятся, возникает взаимная подозрительность, растут ложь, обман. Началось переодевание учеников, вместо гулянья по улицам пойдет картежная игра дома...

13 мая

С ученицами VIII класса отношения были совсем хорошие. За последнее время на них, правда, находило совсем не деловое настроение. Весенняя погода и некоторое утомление оказывали свое влияние, и во время спрашивания их часто было трудно сдержаться. Но я относился к этому более снисходительно, чем в течение года, и уроки все шли мирно. Наконец подошли и последние дни занятий. Я проверил последнюю годовую работу восьмиклассниц — характеристику девочек, и еще раз убедился, что такая работа, близкая к жизни и отвечающая исконным интересам девушек как будущих матерей и воспитательниц, исполняется ими лучше всего. Почти все без исключения характеристики со стороны содержания были хороши, а некоторые прямо превосходны.

Наступил наконец и последний учебный день — 8 апреля. Я пришел на урок в VIII класс — последний свой урок с этими ученицами, а может быть, и в женской гимназии вообще...

Я стал говорить. Напомнил о том, что и я и они 8 лет назад вступили в стены гимназии, и вот теперь через какой-нибудь месяц они расстанутся не только со мной, но и друг с другом и разъедутся в разные стороны, с тем чтобы со многими никогда уже больше не встретиться. До сих пор, говорил я, у вас было много общего, гимназическая жизнь вас сближала, но теперь, по окончании гимназии, ваши жизненные пути разойдутся. Одни окажутся в аудиториях курсов, другие — в бедных сельских школах, гряды будут, может быть, выезжать на балы. И многим покажется тогда, что гимназия вам ничего не дала, что все, что вы учили здесь, не применимо в жизни. Но такое впечатление голько кажущееся. Правда, многое из того, что учили, вы потом позабудете, многое вам никогда не понадобится; но жизнь поможет вам сохранить наиболее существенное из того, что вы изучали, сохранится, наконец, если не знание, то способность к умственной работе, известный умственный уровень, который отличает всякого интеллигентного человека. Стоит только вам сопоставить себя с девушками ваших же лет, но не прошедших системы женской школы, и вы увидите, что между вами большая разница, что гимназия, следовательно, не бесследно прошла для вас. И этот-то уровень интеллигентности, эти умственные запросы и благие стремления, которые внушали вам здесь, вы должны сохранить в своей последующей жизни.

Если будете на курсах, помните, что они доступны для очень немногих, и что годы учения там должны быть не годами развлечения, а годами труда, подготовки к жизни. Но и те, кто не попадет на курсы, пусть не сетуют на свою судьбу, потому что в какой-нибудь сельской школе интеллигентный работник еще более нужен, чем в столицах, и какая-нибудь учительница, прошедшая только гимназию, часто бывает гораздо интеллигентнее и полезнее для окружающей среды, чем ее более образованная сестра.

В заключение я поблагодарил своих бывших учениц за доброе отношение ко мне.

«Не поминайте же лихом!» — закончил я.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ — 50

Пятьдесят лет назад, в августовские дни 1934 года, проходил Первый Всесоюзный съезд писателей.

В преддверии юбилейной даты журнал «Новый мир» обратился к ветеранам нашей литературы, участникам съезда с просьбой рассказать о тех памятных днях, о роли Первого съезда в развитии всей советской многонациональной литературы, в их собственной писательской судьбе.

В пятом — седьмом номерах журнала были напечатаны воспоминания Валентина Катаева, Саввы Головановского, Афанасия Коптелова, Мирсаида Миршакара, Вениамина Каверина. В этом номере мы завершаем публикацию воспоминаний о съезде.

В. КИРПОТИН



У ИСТОКОВ

Пятьдесят лет — срок немалый, вполне достаточный для работы историков. Историкам принадлежит суд и подведение итогов. Моя задача скромнее. Я был делегатом и одним из докладчиков на Первом Всесоюзном съезде писателей. Все ниже следующее — это воспоминания, не претендующие на полноту.

Да будет мне позволено начать не с писателей, а с читателей (и со зрителей, поскольку речь пойдет и о театре).

Читатели — вовсе не пассивная, только воспринимающая среда. Литература формирует читательскую массу — это несомненно. Но и читатели, их интересы, вкусы, их активность влияют на литературу. А бывают и такие моменты, когда их давление, их требования решительным образом отражаются на ходе литературы, на выработке новых направлений в искусстве слова.

Особенно ясно преобразующее воздействие читателей сказывается на переломах истории.

Всю свою долгую жизнь я был страстным читателем, наблюдал и своих сверстников, также увлекавшихся книгами. В мире книг читатель выбирает то, что ему по сердцу. Один читает преимущественно русских ав-

торов, другой — иностранных, один — классику, другой — современников, третий — детективы и т. д. В эпоху реакции и до первой мировой войны много читали и Максима Горького и Леонида Андреева, но одним больше нравился Леонид Андреев, другим — Максим Горький. Всеядных, неразборчивых читателей было не так уж много. В осознанных или даже малоосознанных симпатиях сказывалась позиция, непосредственное или опосредованное тяготение к тому или другому политическому, социальному или культурному лагерю.

Кончилась гражданская война. Поколение победителей оглянулось — перед ним лежал завоеванный мир, трудный; напряженный, с новыми задачами, с огромными перспективами и полный великих надежд. Мир уже свой, но который надо было переустроить общим, коллективным и вдохновенным трудом. Но мир этот не был отражен в искусстве, образно не приближен, эстетически не воссоздан в произведениях, зовущих в открывшееся будущее.

Прежние книги отделились. Романы Тургенева как были прекрасны, так и остались прекрасными, но они были о прошлом, не обо мне и не о тебе, не о нас, вместе взятых. Были и такие, которые успели прочи-

тать Тургенева до революции. Но поднялась новая масса, которой предстояло освоить культуру прошлого, были в ней, в этой массе, не успевшие прочитать Тургенева, были не очень грамотные. Демобилизованным красноармейцам надо было еще доработаться, духовно дорасти не только до Тургенева, но и до Пушкина. Но прежде всего хотелось прочитать рассказ о себе, чтобы с помощью литературы полнее осознать себя вчерашним участникам гражданской войны. Ведь это было героическое, великое и гордое поколение с возвышенным строем чувств, с неосознанными, но властными художественными потребностями, эстетически голодное.

Стихи и песни Демьяна Бедного встречались с энтузиазмом. Однако велико было желание прочитать прозу о том, в чем участвовал, увидеть себя в зеркале искусства, чтобы бодрее идти в гору.

С каким восторженным удивлением и удовлетворением не просто читались, а впитывались первые книги о гражданской войне, о юной советской действительности! Кто может себе представить теперь, как «Цемент» передавали из рук в руки, как рвались к нему не только слушатели Свердловки, но и медички и горняки. Так же встречались и книги других, активно работавших тогда писателей. Медички и горняки тоже были новые, иные, многие пришли в институты через рабфаки. А давайте скажем правду — «Цемент» читать было трудно, иногда мучительно трудно. Много лет спустя Федор Васильевич Гладков рассказывал, как все это произошло. Приехал он в двадцатых годах в Москву, показал свои рукописи друзьям, ему сказали: «Не пойдет!» «Почему?» «Да пишешь ты слишком просто, по старинке, теперь нужна проза экспрессивная, рубленая, с отступами лесенкой, с неправильным синтаксисом, с нарушенной этимологией, на худой конец орнаментальная».

Гладков послушался, книга его пошла, да еще как, но пошла вопреки его слоговым ухищрениям. Старому рафинированному интеллигенту «Цемент» был не нужен, а тем, которым воюман был нужен, приходилось продираться сквозь нарочно расставленную колючую проволоку (впоследствии Гладков переработал «Цемент» и освободил его от чрезмерной затрудненности). Чтобы понять успех «Цемент», нужно было самим пережить горестное чувство от зрелища заколоченных, стоящих заводов и самому услышать радостный возглас: загудел, задымил!

Самое трудное в искусстве — новаторство содержания. Совсем не просто уловить музыку новой действительности, понять но-

вое. Чем меньше содержания объемлет форма, тем легче ее вертеть туда и сюда, крутить, ломать, выдумывать. С формой, освобожденной от содержания, можно делать все, что угодно. А новое содержание требует новой содержательной формы. Старая форма глушит смысл новой действительности; найти форму, соответствующую видоизменившемуся дню, трудно. Задача эта требует напряжения всех сил даже и у большого дарования.

Советские писатели совершили почти чудо: за полтора десятилетия они создали много разветвленную литературу, которая шла в ногу со временем и отвечала запросам нового пореволюционного читателя. «Молодая наша литература, — восхищался Горький, — дала за пятнадцать лет десятки весьма талантливых книг».

Я не скажу, что талантливые книги, которые имел в виду Горький, полностью удовлетворяли читательский спрос и требовательный вкус советского человека. Но они воздвигали огромный памятник рабочим и крестьянам, коммунистам, солдатам, строителям, мужчинам и женщинам, без которых революция не могла бы победить и без образов которых советская общность не могла бы признать новую литературу своей.

В драматургии этот стремительный фронтальный рост можно было проследить по годам и в цифрах: в 1922 году в московских театрах в течение месяца давалось два спектакля по советским пьесам, в 1923—16, в 1924 — 96, а в 1928 — 140.

Произошел перелом — более половины спектаклей было посвящено советской действительности и советским людям.

Радикальные изменения совершились и в творчестве писателей. «Серapiоновы братья» в своих декларациях то и дело повторяли старые догмы о чистом искусстве, о независимости искусства от политики — в своих же произведениях «серapiоны» с явным сочувствием стали писать о революционной действительности, выводить коммунистов в качестве положительных героев. Достаточно напомнить, что в число «Серapiоновых братьев» входил и Константин Федин.

Новая литература завоевала симпатии нового советского общества. Писатели и читатели сблизились. Зазвучали новые имена, воспринимаемые как имена людей, стоящих с тобой в одном строю. Читатель захотел узнать, кто они, увидеть их портреты, услышать их с трибуны, встретиться с ними в клубе, библиотеке.

Все растущая близость писателя и читательской аудитории являлась важным условием, сделавшим возможным созыв съезда, притом съезда не цехового, не закрытого, а в

каком-то смысле общего с читательской массой.

Съезд открылся в обстановке большого читательского интереса, доброжелательства и любви, превзошедшей все ожидания. Спрос на гостевые билеты многократно превысил все возможности Колонного зала Дома союзов. Не получившие билетов толпились у входа. Пробираясь сквозь плотную массу, я раз не утерпел и стал спрашивать: зачем вы здесь стоите, все равно войти внутрь не удастся? Ответ был единодушен: увидеть писателей, увидеть Горького; один сказал: увидеть Демьяна Бедного и Зощенко. Но зот появился Горький, толпу охватило волнение. Почтительно оставляя проход, она теснее сжималась, демонстрируя не просто интерес, а преклонение, любовь к великому современнику.

Читатели в самом деле приняли непосредственное участие в работе съезда. Я имею в виду выступления множества делегаций, представляющих самые различные слои читателей, — заводских рабочих, колхозников, шахтеров, железнодорожников, метростроевцев, старых большевиков, ветеранов Красной гвардии, красноармейцев, моряков, студентов, слушателей Вечернего рабочего литературного университета, композиторов, художников, театральных работников, представителей Болшевской трудовой коммуны, пионеров и т. д. Делегации были весьма представительны. Делегацию донецких шахтеров возглавлял Изотов. В делегацию театральных работников входили Таиров, Берсенев, Бирман, Баталов, Подгорный, Радин, Топорков, Симонов, Каверин. Все делегации приветствовали съезд, и появление их, внимание к ним, овации выходили далеко за пределы обычных приветствий. Речи некоторых глав делегаций и по объему и по содержанию ничем не отличались от речей ораторов-писателей. Ткачиха Трехгорной мануфактуры Гурова, приглашая писателей к себе в цеха, сказала: «...все-таки и вы без нас не обойдетесь, как и мы без вас». Фраза была замечена и вызвала дружные аплодисменты. К тому же она, обращаясь к залу, обмолвилась: «Товарищи рабочие! — извинюсь, — товарищи писатели!», что тоже понравилось.

В речи председателя колхоза Смирновой простосердечно и остроумно перепелся рассказ о достижениях ею созданного колхоза с иронией по адресу мужчин (в том числе и собственного мужа), которым пришлось признать ее первенство и подчиниться ее указаниям потому, что «не в обиду сказать мужчинам, у них у всех тряслись поджилки от колхозного строительства».

Трудно забыть участнику заседаний Пер-

вого съезда речь Ильичева от московского гарнизона Красной Армии. И не потому, что она началась под звуки фанфар, не потому, что возглавляемая им делегация ушла с песней под бурные аплодисменты и крики «ура», осыпаемая цветами. Речь Ильичева была речью бойца и образованного человека, знающего, чего он ждет от писателя. «Мы любим наших советских писателей... мы любим Горького», и тут же счет, тут же требования: «Мы ждем того, чтобы вы написали о Красной Армии... отразили самое главное — рядового бойца... вы сами знаете, как мало еще книг, в которых бы фигурировал боец, рядовой боец во всей его повседневной жизни, в его учебе. Мы ждем и думаем, что вы наш заказ выполните».

Речи Таирова и Грабаря, отличавшиеся высоким профессионализмом, внесли важные ноты в съездовскую дискуссию. Игорь Грабарь говорил об общности целей и задач, стоящих и перед писателями и перед художниками. «Мне не надо вам напоминать, — говорил он, — что мы — не только иллюстраторы ваших книг, но мы ваши соратники... У нас одно общее прошлое, общее настоящее и общее будущее».

Речи читателей как бы раздвигали стены зала для всех, для народа. Они повышали моральный настрой, царивший в зале, создавали такой исторический пафос, который без них был бы невозможен. Не только воодушевление, но и чувство ответственности участников возросло. И как это ни странно, съезд стал более интимным, как бы возникла некая родственная связь между всеми присутствующими. Не могу не привести отрывок из запомнившейся речи Пастернака: «Поэтический язык... звучал здесь всего сильнее в выступлениях людей с наиболее решающим голосом — гостей без билетов, членов делегаций, нас посещавших. Поэтический язык во всех этих случаях достигал такой силы, что раздвигал границы действительности и уносил в ту область возможного, которая в социалистическом мире есть вместе с тем и область должного. Тогда пионеры из детей вообще превращались в ваших собственных, и вы открывали переливы вашего собственного голоса в словах курсанта Ильичева».

Отклики и ответы на выступления делегаций звучали в речах очень многих писателей-ораторов.

Юную советскую литературу по возрасту можно было считать подростком. Ей сравнялось семнадцать лет, если мерить сроки со дня Октябрьской революции, и еще меньше, если со дня окончания гражданской войны. Но она была, новый читатель полюбил ее. Но-

вая советская литература заставила считаться с собой весь культурный мир, что убедительно выразилось в выступлениях весьма авторитетной группы писателей — иностранных гостей.

Но любовь советских читателей к своей литературе была требовательной. Достигнутого им было мало. Они добивались, чтобы новая действительность была художественно освоена с максимальной полнотой, чтобы каждый строительный успех тут же находил отклик в книге, рассказе, очерке. Все требовали отображения в художественных образах их профессии, их завода, их воинской части, их колхоза. Смирнова требовала от Шолохова — под аплодисменты, — чтобы Лукерья, все время «ласкающаяся» к мужикам, во второй книге «Поднятой целины» стала бы ударницей колхозного производства. Таиров убедительно объяснял делегатам, что без новых пьес на советскую тему нельзя коренным образом перестроить театральную жизнь.

Многое тут было чуживо. Искусство — по гениальному определению Белинского — это сокращенная и преображенная вселенная; его формы не тождественны формам общественного бытия. Но, по существу, в настоящих пожеланиях и страстных требованиях гостей съезда содержалась и эстетическая истина: трудящиеся молодой республики требовали от искусства пристального интереса к новому небывалому содержанию.

На первом писательском съезде рабочий класс властно выразил свою волю, не считаясь ни с какими учебниками, которых он не изучил и еще не создал, заговорил своим языком, и съезд его понял, ответил на рукопожатие рукопожатием.

Делегации рабочих или колхозников требовали — и это было понятно. Но и отдельные писатели тоже обращались с требованиями ко всем остальным от своего уже имени. К перечням не освещенных в литературе тем они добавляли и свой список, да такой, что ни одна рабочая делегация не могла придумать, и призывали немедленно этими темами заняться. В темпераментной речи Вишневский говорил: «У нас нет в литературе командира корпуса, нет командарма, нет наших военных партийных вождей»... «Я должен сказать, что на съезде в прениях замечается недостаток конкретных предложений».

Вс. Вишневский выступал в прениях по докладу Горького Н. Погодин свой оригинальный и содержательный содоклад по драматургии начал с ответа ему: «...т. Вишневский говорил... «мы должны», «мы должны», «мы должны»... В чем дело? Ты напиши, почему ты, писатель, говоришь мне,

съезду писателей, что «мы должны». Ты работай, работай сам... Когда приходит сюда председательница колхоза... и говорит Шолохову: «Ты должен сделать то-то и то-то», — ей мы аплодируем, ибо она имеет право так нам сказать. Но когда писатель говорит только одно, как граммофон... «мы должны», и не говорит, «что должны», «как должны», — таких писателей я по меньшей мере не понимаю».

Погодин был прав, по существу, и, я бы сказал, дважды прав. Дело в том, что Вишневский долго и убедительно доказывал, что «мы должны» создать образ Ленина в искусстве, а сам за эту тему пока не принимался. Погодин же был автором пьес о Ленине.

Писатели собрались на съезд для того, чтобы определить направление работы, делиться опытом. Менторская позиция одного из делегатов, решившего поучать остальных, противоречила бы духу съезда. Для того, кроме всего прочего, и ликвидировали РАПП, чтобы искоренить менторский стиль. Лишь один писатель имел моральное право одновременно представлять и читателей и писателей. Я говорю о Горьком. В деле сближения писателей с читательской аудиторией Максим Горький сыграл особую воспитательно-руководящую роль уже своей биографией. Как лучший читатель в стране, как выразитель читательских интересов Горький требовал от писателей оплаты предъявленного им совокупного счета. Как первый писатель страны он брал на себя от имени всех писателей обязательство выполнить их исторический долг. Это было смело, но это было обоснованно. Горький, если хотите, требовал, но он тут же объяснял, что требовал, и говорил, что и как надо делать, чтобы требуемое выполнить. Он показывал, как надо учиться у читателей, как организовать союз и как работать в новых условиях.

«Читатель растет, — говорил Горький. — Вся страна поднята на дыбы. Страна работает черт знает как! Никогда в мире ничего подобного не было. Создаются изумительные вещи. Это надо знать. В этих процессах надо участвовать, их надо изучать. Если мы этого не будем делать, мы ничего не напишем, то есть не напишем ничего такого, что бы отражало действительность так достойно, как она того заслуживает».

Среди практических дел, которые занимали Горького в период подготовки к съезду и во время самого съезда, были строительство Беломорско-Балтийского канала, Большевикская коммуна малолетних правонарушителей и организация Всесоюзного института экспериментальной медицины (из которого

выросла затем Академия медицинских наук).

Горький организовал многолюдную поездку писателей по вновь построенному каналу. Болшевскую коммуну он посещал и часто напоминал о ней. И то и другое было излюбленной темой его разговоров и выступлений. Горький постоянно поддерживал контакты с учеными и врачами ВИЭМ, помогал им в первых шагах и начинаниях, знакомился с экспериментами и подсказывал темы.

Однако дело было не в самом канале и коммуне. Горького прежде всего интересовало строительство человека. Горький знал, как несовершенен человек, и мечтал о совершенном человеке. В труде он видел тигель, в котором человек переплавляется, освобождаясь от зла и из которого он выходит обновленным, свободным от недостатков и чистым для гармонической социалистической жизни. Вера в быстрое и полное перерабатывание человека трудом приводила его в умиление и трогала буквально до слез. Случайно, еще до Оргкомитета, то есть до знакомства с Горьким, я оказался одновременно с ним во МХАТе на представлении «Страха» Афиногенова. Горький сидел в ложе, я в рядах, но близко от него, и я видел, как он несколько раз смущенно вытирал слезы.

Быть может, самым счастливым днем в те времена, о которых идет речь, было для Горького посещение слета ударников Беломорстроя, слета, как ему казалось, совершенно очищенных, пересозданных людей. «...я счастлив тем, что вижу вас,— говорил Горький.— Счастлив и потрясен... Я чувствую себя счастливым человеком. Большое счастье — дожить до таких дней, когда фантастика становится реальной, физически ощутимой правдой. Большое счастье».

Горький был мечтателем-оптимистом, романтиком в лучшем смысле этого слова. Вот вот еще одно-другое усилие — и перевал будет пройден. Дорога в будущее представлялась ему более короткой, менее загроможденной препятствиями, чем это оказалось на деле. Разум, по его мнению, мог абсолютно все. Он как бы забывал, что преступники бывают и среди трудового народа, среди рабочих и крестьян, что для того, чтобы труд проявил свою важнейшую перевоспитательную силу, нужны определенные условия и время.

Горький хорошо видел даль, но порою ошибался в оценке близкого. Он не всегда учитывал то, что реальный социализм строится из того материала, который заготовила история, и под угрозой близкой, неминуемой войны с фашизмом.

И все же мечта Горького была прекрасна,

и все же она не уводила в сторону, а предвосхищала будущее.

23 апреля 1932 года РАПП был ликвидирован, вслед за этим и другие существовавшие до того организации — попутнический союз писателей, организация крестьянско-колхозных писателей, литературная организация Красной Армии и Флота, созданный еще Воронским «Перевал» — самораспустились.

Для формирования нового единого союза был образован Оргкомитет, почетным председателем которого стал Алексей Максимович Горький, а председателем И. М. Гронский, тогдашний редактор «Известий» и «Нового мира».

Первый пленум Оргкомитета состоялся 29 октября — 3 ноября того же 1932 года. Это было и слишком поздно и слишком рано. Слишком поздно, потому что единственной и срочной задачей Оргкомитета был созыв учредительного съезда Союза писателей. Задержка пленума свидетельствовала о том, что работа затягивается, а это приносило с собой много неожиданных осложнений. Слишком рано, потому что для объявления срока съезда Оргкомитет не был еще готов.

Тем не менее пленум сыграл большую роль в перестройке литературной жизни страны. Первый раз в одном зале, под одной крышей собрались и выступали советские писатели, принадлежавшие к различным литературным организациям и группам, подчас игнорировавшие друг друга. Пленум стал важным этапом в деле консолидации писательских сил: встретились Андрей Белый и Авербах, Иван Катаев и Фадеев, Тихонов и Пильняк, Серафимович и Олеша и многие другие. Достаточно представительна и многочисленна была группа писателей из союзных республик — Садриддин Айни, Мирза Ибрагимов, Кулик, Остап Вишня, Крапива и другие.

Пленум заседал шесть дней. Выступления носили страстный, заинтересованный характер и происходили во всегда переполненном зале. Работа его широко освещалась в печати, в том числе и в «Правде» и в «Известиях».

В первых же речах, а первыми выступили Пришвин и Андрей Белый, прозвучала радость и благодарность за создание новых условий для литературной деятельности, для творчества, за ликвидацию рапповского средостения между писателями и коммунистической партией. Андрей Белый говорил: «Мы должны откликнуться на призыв к работе и головой и руками...» Он назвал уче-

ние Маркса и Ленина солнцем, излучающим незамутненные лучи истины. Теперь уже надо обладать хорошим историческим чутьем, хорошим чувством времени, чтобы понять, как громогласно это звучало! Конечно, Белый не стал марксистом, он сам об этом говорил, но он признал своим идеалом социализм, стал, как тогда говорили, на платформу Советской власти, практически участвуя в строительстве социалистической культуры. Андрей Белый руководил студией рабочих поэтов; он защищал «Энергию» Гладкова как попытку художественного освоения социалистической индустриальной действительности.

Андрей Белый умер до съезда. Прощание с усопшим происходило в залах Оргкомитета. Речь Белого на пленуме явилась как бы его лебединой песней. Путь и наследие Андрея Белого недостаточно изучены. Его иногда вспоминают, но только как мастера и теоретика символизма, как друга-врага Блока. Однако понять Андрея Белого без его идеологического финала почти так же невозможно, как понять Александра Блока без «Двенадцати».

«Рапповская дубинка», руководство литературой методами принуждения, произвольное деление художников слова на союзников или врагов, групповщина — все это стало совершенно нетерпимым. Естественно, что советские писатели встретили постановление ЦК партии от 23 апреля с нескрываемым облегчением, с ликованием, и настроение это выразилось на пленуме.

Создавая писательский Союз, партия вместе с тем выдвинула лозунг социалистического реализма. Да, лозунг, ошибки в слове не было. Лозунг значит призыв. Партия призвала писателей писать правду. Неправда выгодна капитализму и империализму. Коммунизм предполагает верность жизненной правде, которая раскрывается в перспективе прогрессивного исторического развития. Конкретизировать же лозунг применительно к природе искусства должны были писатели в своем творчестве, эстетике, литературоведении, критике в своих исследованиях. В отличие от рапповской практики тут не было и не предполагалось никакого диктата.

Мне было поручено выступить на пленуме Оргкомитета с докладом «Советская литература к 15-летию Октября». Я говорил: «...правдивое, верное изображение богатства и сложности жизни в ее положительных и отрицательных моментах, в ее существенном историческом содержании, с побеждающими тенденциями ее развития мы вправе называть социалистическим реализмом. Мы считаем, что социалистиче-

ский реализм наиболее плодотворен для развития нашей советской литературы. Мы его не предписываем административно, и никакими административными мероприятиями мы не будем добиваться его утверждения в жизни. Но мы считаем, что именно на основе более или менее осознанного социалистического реализма советская литература достигла своих наибольших результатов. Мы считаем, что именно на этом пути советская литература будет совершенствоваться и развиваться дальше... я уже показал на примере «Разгрома» и «Скутаревского»: формально «несчастливый конец», изображение неудач в отдельных эпизодах революционной борьбы не может служить препятствием для того, чтобы показать побеждающую перспективу пролетарской революции».

Говорилось это в 1932 году, 52 года тому назад от имени Оргкомитета как объяснение его методологической линии в литературе и искусстве.

В зале, где проходил пленум, царила атмосфера политического единодушия. Однако особую окраску многим выступлениям придавали специфические литературные обстоятельства. Незадолго до пленума в состав Оргкомитета были введены бывшие вожаки РАППа Авербах и Ермилов. Сделано это было по желанию Горького в целях консолидации литературных сил. Еще свежа была память о рапповских окриках. Всем хотелось выговориться, пожаловаться на старые обиды, на перенесенные несправедливости и поделиться своей радостью, что этим обидам пришел конец.

«Товарищи, я считаю,— говорил об атмосфере, царившей на пленуме, в своей пламенной манере Всеволод Вишневский,— что стоило уцелеть за эти пятнадцать лет, для того чтобы с этой трибуны посмотреть каждому из вас в глаза, стоило встретиться с таким большим количеством представителей нашей литературы, которые сидят здесь, в этом зале. Я помню время, когда я гнался с наганом за Шкловским с желанием стукнуть его на месте. Это прошло... Товарищ Шкловский с нами... Я слышал здесь замечательную музыкальную ритмику речи Андрея Белого. Он — крупный представитель огромной художественной культуры прошлого...»

И все же когда пленум прошел, к чувству радости стала примешиваться доля неудовлетворенности. На пленуме не было Горького — он находился еще в Италии. Горький был почетный председатель Оргкомитета, но делегаты пленума все время помнили о Горьком, говорили о нем, докладчики апеллирова-

ли к его имени, к его заветам, но не могли обратиться к нему непосредственно.

Пленум не принял решения о сроке созыва съезда. Не был решен ряд вопросов, связанных с уставом Союза.

Срок созыва съезда был назначен позднее — на сентябрь 1933 года. Некоторая медлительность или даже нерешительность в действиях Оргкомитета вызвали неудовольствие Горького, да и писателей обескураживали, кое у кого возникали сомнения: нужен ли съезд, что он даст?

Привожу письмо Алексея Толстого, которого Оргкомитет просил выступить одним из докладчиков о советской драматургии. Оно носит скорее частный, чем официальный характер, и потому является во многих отношениях весьма показательным.

5. VII. 1933.

Оргкомитет

Тов. Кирпотину!

Дорогой Кирпотин, простите, что долго не отвечал на Ваши письма. Не отвечал, пот [ому что] нечего было ответить. Теперь у меня, более или менее, — урывками, среди работы над Петром, — сложилось то, о чем я мог бы написать и что можно прочесть на съезде.

Прежде всего это статья, а не доклад и не реферат, и статья дискуссионная. Мне приходилось несколько раз выступать в Ленинграде по вопросам драматургии, и я совершенно понял, что задачей съезда (если он желает быть плодотворным) должно быть пробуждение великого брожения искусства, творческое возбуждение умов и поиска форм социалистического реализма.

В частности о театре: творческий процесс всегда диалектичен. Противоречия между личностью творца и коллективом зрителей разрешаются единством спектакля. Поэтому соц[иалистический] реализм осуществляется только тогда, когда драматург включает в свой творческий процесс зрителя. Причем — зрителя не абстрактного, — вне времени и пространства, а конкретного, вырастающего на новой материальной базе социализма.

Такая постановка вопроса станет более понятной, если вспомнить, что в нашей литературе сильны тенденции учительства (идущего от народовольчества, от барина в смазных сапогах, несущего свет) и его формы натурализма...

Статью я напишу и пришлю Вам в начале августа. Но, по-видимому, сам ее читать на съезде не смогу, т. к. к 10 сентября не вернусь с Урала (где я должен быть для собирания материалов).

Мне кажется, что 10 сентября — слишком ранний срок. Многие окажутся в таком же положении, — бросать лечение или отдых в санаториях и на курортах...

Ваш А. Толстой.

Еще не вполне разоружились рапповцы. Быть может, А. Толстой опасался, что они опять примутся командовать и предписывать, вмешавшись в работу художника.

В августе 1933 года вопрос о съезде писателей и о создании единого Союза рассматривался в Центральном Комитете партии.

Председателем Оргкомитета был назначен Алексей Максимович Горький, не почетным, а реальным, отвечающим и за его идеологическую и за его организационную деятельность. Алексей Максимович и не скрывал, что его тяготило положение, при котором ему воздавался почет, а дело вели другие. Он готов был нести все тяготы и всю ответственность за подготовку к съезду и за создание единого Союза писателей СССР и хотел создать его соответственно своему пониманию и своим идеям. Принимал участие в выработке постановления ЦК ВКП(б) об организации издательства детской литературы. Он выступал на совещании редакторов газет политотделов, созданных в МТС и совхозах, выступал на Московской областной партийной конференции (18 января 1934 года).

Наконец уточнена была повестка съезда. Прежняя повестка предусматривала доклады по жанрам. Докладчиками были намечены писатели из Москвы и Ленинграда. Опыт первого пленума Оргкомитета показал, что при этих условиях выступления писателей из союзных республик «подвергались» к российским докладам и теряли свою самостоятельность. Теперь в повестку дня внесены были доклады о литературах Украины, Белоруссии, Татарии, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана. Доклады о литературах национальных республик поставлены были в повестку сразу после доклада Горького и доклада Маршала о детской литературе и только после этого должны были следовать доклады по жанрам.

В целях лучшей идеологической и организационной подготовки съезд был отложен на год и временем его проведения определен август 1934 года.

Приход Горького к руководству Оргкомитетом сразу же поднял на новую высоту литературно-общественную жизнь писательских коллективов в стране. Хотя непосредственно в Оргкомитете Горький появлялся не так часто, но он был душой всего дела, выдвигал

¹ Письмо публикуется впервые.

плодотворные идеи, умел воодушевить людей, расшевелить, казалось бы, самых пассивных. Горький предложил создать писательские бригады, которые помогли бы республиканским организациям подготовиться к съезду. Украинскую бригаду возглавил Стецкий. В грузинскую бригаду вошли Пастернак, Тихонов, критик Гольцев. Сам я с группой товарищей поехал в Армению. Бригады нашли действенный метод работы. Они прежде всего встречались с собратьями по перу, знакомились с их творчеством. Собирались партийные активы, посвященные литературной политике партии. Проходили читательские конференции, к работе привлекались и в нее втягивались мастера смежных искусств.

Приезд бригад ломал привычные рамки деятельности местных писательских организаций, во многих из которых, к сожалению, привился стиль работы, насаждавшийся активистами АППА (Ассоциации пролетарских писателей), свирепствовавшими больше, чем в Москве.

На собраниях читателей слушатели приходили в подлинный восторг, когда оказывалось, что докладчик, москвич или ленинградец, знал историю их литературы, подробности биографии их классиков.

Этот год подготовки к съезду стремительно двинул вперед переводческое дело. Историки легко могут установить, сколько переведенных книг из республик вышло до 1933 года и сколько после, к съезду, как укоренялось и совершенствовалось переводческое дело, как складывались писательские контакты и складывалась единая всесоюзная литература.

Вместе с тем расширялась и углублялась творческая жизнь Москвы, Ленинграда, Киева и других столиц. И писатели и читатели открывали новые неведомые им ранее культурно-художественные материки.

Начались первые гастроли национальных театров в Москве. Завязывались связи между писателями и художниками.

Аналогичные бригады Оргкомитета были направлены в автономные республики, в области.

Приезд бригад усиливал внимание местных партийных организаций к своим писателям и почти всюду приводил к улучшению условий писательского труда и писательского быта.

Заключительным этапом подготовки к всесоюзному съезду стали съезды писателей на местах. Надо ли объяснять, какое великое значение они приобретали? Все это были первые съезды в истории народов даже с очень древними культурами, древнее культуры иной европейской страны, или народов, только национально конституировавшихся

под влиянием социалистической революции при братской помощи освобожденного русского народа.

Доклады о национальных литературах, иногда представлявшие собой их сжатую историю, влились в общее течение работы съезда. Национальное многоцветье съезда приобрело глубоко принципиальное значение, свидетельствуя наглядно об интернационализме создаваемой советской культуры.

Пришло время для выработки уставных положений о приеме в члены Союза. Тут возникли немалые сложности. Единый Союз формировался не механически, не суммированием списков переставших существовать организаций. Союз был новый, с новой платформой, и каждый писатель вступал в него индивидуально.

Бывшие руководители РАППа хотели бы толковать термин «писатель» расширительно. В РАПП входило много журналистов, газетчиков, зачастую недостаточно квалифицированных людей, написавших один-два рассказа, два-три стихотворения, да еще опубликованных в районной печати. Со своей стороны некоторые из так называемых попутчиков муссировали идею о создании узкой гильдии мастеров, чего-то вроде советского ПЕН-клуба. К чести советских писателей та и другая крайности встретили отпор в их собственной среде.

Мариэтта Шагинян лечилась тогда в Кисловодске. Сведения о принципах формирования Союза докатились до нее через третьих лиц. Шагинян возмутилась: «Я вынуждена отказаться... от вступления в Союз! — написала она мне.— Дело в том, что все последние годы (в том числе и Вам лично) я постоянно, устно и письменно, выступала против создания такого (аристократического.— В.К.) союза, считая, что нам, писателям, нужна не организация верхушечного слоя в замкнутую касту генералов или избранных — à l'Académie française — а наоборот, нужно растворение в массовом производственном Союзе с дифференциацией внутри него по примеру социалистической дифференциации для рабочих союзов (ударник и неударник). Поскольку создание верхушечного союза считаю ошибочным, участвовать в нем принципиально не могу. Конечно, не очень приятно будет лишиться некоторых моральных и материальных привилегий, связанных с «заштмпелеванным званием писателя», но писателем меня сделало не постановление комиссии, поэтому я спокойно пойду и на отказ от привилегий. Другие живут — и мы проживем» (23/V. 1934 г.)².

² Письмо публикуется впервые.

Письмо М. Шагинян интересно как свидетельство о толках и слухах, сопровождавших важное и серьезное дело формирования Союза. Эти толки и слухи не имели ничего общего с истинным положением дела.

Прием в члены Союза происходил на основании устава, разработанного Оргкомитетом. В Союз принимались литераторы, создавшие художественные произведения, напечатанные отдельными книгами или в журналах, или пьесы, поставленные на профессиональной или клубной сцене, имеющие самостоятельное художественное значение или научно-критическое, если речь шла о критиках.

Устав в корне пресекал попытки кастового подхода к приему в члены Союза. Вместе с тем он отвергал домогательства на членство в Союзе без достаточных на то оснований. В Союз были приняты все советские писатели, начиная с самых известных и кончая начинающими свое поприще.

Конечно, дело приема в Союз во многом зависит от практики приемных комиссий. Позднее Горький все-таки пришел к выводу, что двери в Союз были открыты слишком широко (см. его письмо к А. С. Щербакову от 10 февраля 1936 года).

Но как бы то ни было, у Мариэтты Шагинян отпали все возражения против структуры нового Союза. Она стала членом Союза, была послана делегатом на съезд, произнесла на нем большую речь. Шагинян была избрана членом Правления СП СССР.

Прибыл на съезд и Алексей Толстой. Он подготовил не статью, а содоклад, с которым и выступил при обсуждении вопросов драматургии.

Съезд полностью представлял писательскую общественность всех союзных республик и областей. На съезд прибыл 591 делегат, из них коммунистов 52,8 процента, комсомольцев — 7,6 процента, беспартийных — 39,6 процента.

На Первом съезде советских писателей представлены были 52 национальности. Рабочие и крестьяне составляли почти 70 процентов всего состава съезда. Средний возраст делегатов составлял 35,5 года, средний литературный стаж — 13,5 года.

Средние цифры, интересные сами по себе, еще не характеризовали новую организацию. В литературе, в искусстве определяющим моментом является дарование, талант. В новом Союзе была создана идейная и моральная атмосфера, без которой устав, какой бы он ни был, остается мертвой буквой.

В первый раз за советскую историю соединились воедино дореволюционные и послереволюционные писатели, коммунисты и бес-

партийные, старые и молодые с общей целью творить во имя идеалов коммунизма.

Основной доклад о советской литературе в первый же день работы съезда сделал Алексей Максимович Горький.

П. Юдин предложил Горькому помощь референтов для подготовки к докладу. Алексей Максимович хмуро и решительно отклонил предложение. Доклад принадлежал ему и только ему от первой и до последней строчки. На докладе лежит отпечаток его личности, его идей, его программных установок и его надежд.

Тон съезду задал Горький.

Не умаляя значения ни творческих, ни профессиональных вопросов, он сразу поднял обсуждение на уровень всемирно-исторических задач.

Горький считал, что роль буржуазии в процессе культурного творчества сильно преувеличена, особенно в области литературы и живописи; он доказывал, что значение трудовых процессов, то есть физического труда как основы культуры, никогда не было исследовано так всесторонне и глубоко, как оно того заслуживает.

Громадное значение для понимания природы литературы и ее целей Горький придавал фольклору, особенно не искаженному последующими христианскими наслоениями.

Горький ставил задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, указывая дорогу, идя по которой можно достичь наилучших результатов.

Доклад Горького обязывал и других ораторов не снижать уровня разговора.

Леонид Леонов начал свою речь такими словами: «Товарищи, нам дано удивительное счастье жить в самый героический период мировой истории:... это самая существенная предпосылка ко всякому выступлению с этой трибуны в эти торжественные дни». Леонов призывал «разработать хотя бы вчерне принципы новой морали и запечатлеть рождение еще неслыханного мира». По мысли Леонова, писателю надлежит «сделаться наконец самому неотъемлемой частицей советской власти, взявшей на себя атлантову задачу построить общество на основах высшей, социалистической человечности». «Тогда, товарищи,— продолжал оратор,— нам не придется тратить время на технологические ухищрения, переполняющие наши книги, на схоластические дискуссии, зачастую лишь разлагающие живое вещество литературы; нам не потребуются думать о долговечности наших книг, потому что в самом материале этом заключается гормон бессмертия. Тогда мы будем иметь все основания сказать, что мы

достойны быть современниками партии, что подготовили все для появления нового Горького в нашей стране».

Следом за Горьким, Леоновым и другие ораторы говорили о преданности общему делу, о своей собственной перестройке и о перестройке человеческих душ в грандиозную эпоху борьбы за идеалы коммунизма.

Хочу несколько остановиться на обсуждении проблем драматургии. Тогда как повсем остальным пунктам повестки съезда выступило по одному докладчику, проблемам драматургии было посвящено четыре доклада. Обстоятельство это нуждается в пояснении.

Как уже сказано, одной из задач съезда было освобождение литературы от групповщины. Групповая борьба наносит вред искусству, она искажает идею бескорыстного товарищеского соревнования, столь необходимого для успехов художественного творчества.

Накануне ликвидации РАППа стилевых и формальных расхождений в драматургии накопилось больше, чем в прозе и поэзии. Драматурги, естественно, ориентировались на сильно дифференцированную московскую театральную жизнь, где на одном полюсе главенствовал Станиславский, а на другом — Мейерхольд. Эти нормальные творческие расхождения осложнились жестокой дракой между лэфовцами и напостовцами, в которой слишком выпирали личные моменты — свой или чужой?

Всеволод Вишневский написал «Оптимистическую трагедию» до ликвидации РАППа. Он отнес ее в Камерный театр. Таиров искал для Алисы Коонен современную, революционную роль, а Вишневский понимал, что лучше Коонен никто его комиссара не сыграет. Но что-то мешало им найти согласие, оба упорствовали. Работа над постановкой не начиналась. Пьеса стала известна многим. Вишневский видел в сопротивлении Таирова прямые и косвенные групповые ходы и был глух к любым аргументам.

Я ничего этого не знал. Звонок наркома просвещения А. С. Бубнова, просившего разобраться в конфликте, был для меня совершенно неожиданным.

Положение Бубнова было в самом деле неудобным. Ликвидация РАППа означала устранение административного произвола, а тут, что называется, в самые медовые дни литературной перестройки народный комиссар не решался сказать «да» постановке новой пьесы известного драматурга. Отказаться от просьбы Бубнова я не мог (и не хотел). Темперамент Вишневского, его наступательный стиль я уже знал, Камерный театр любил как

зритель и понимал, что ни Таиров, ни Коонен не станут отвергать нужную пьесу только по капризу.

Прочитав рукопись «Оптимистической трагедии», я облегченно вздохнул. Все было как на ладони. По странной прихоти Вишневского к трагическому ходу действия был «пришит» натуралистический эпизод предсмертной любовной ночи комиссара, притом согласно авторским ремаркам эпизод должен был играть на авансцене, при полном свете. К тому же согласно первоначальной редакции отряд погибал весь. Я предложил устранить неуместную эротическую сцену и изменить финал: ведь трагедия была задумана как оптимистическая. Таирова мое предложение вполне устроило, и против ожидания с ним согласился Вишневский. Все обсуждение длилось не более получаса. Видимо, только самолюбие и платформенная «принципиальность» мешали автору признать необходимость поправок, по сути дела незначительных.

Вскоре состоялась триумфальная премьера «Оптимистической трагедии» в исправленной редакции с Алисой Коонен в главной роли.

Настало время окончательного утверждения докладчиков на съезде, в частности по проблемам драматургии. Одна за другой взвешивались кандидатуры. Но среди драматургов бесспорной не было. Киришон исключал Вишневского, Афиногенов Погодина. И Алексей Толстой хотел сохранить за собой право на дискуссионные положения. Тогда решили иначе. Докладчиком назначили пишущего эти строки как человека, стоящего вне групп и групповых предубеждений, а Киришона, Погодина и А. Толстого — содокладчиками. Пусть каждый говорит свое. Большое одолеет малое. Идеино-политическое воодушевление съезда сметет групповые страсти.

Решение себя оправдало. Формальные различия и формальные искания, критика и самокритика не были стеснены, и обсуждение вопросов драматургии влилось в общее съездовское русло, происходило в атмосфере политического единства, сплочения вокруг партии.

Съезд длился долго — с 17 августа по 1 сентября 1934 года. Каждый, поднимаясь на трибуну, говорил о себе, о своем творческом пути, всем хотелось поделиться своим жизненным, литературным и общественно-политическим опытом. Но как-то само собой получалось, что все выступления, независимо от пункта повестки, объединились одной верховной темой и служили решению одной сверхзадачи. Съезд закрепил уже давно начавшийся процесс объединения интеллиген-

ции народов Советского Союза под знаменем ленинской партии.

В этих условиях, быть может, неожиданно, но убедительно и логически обоснованно прозвучало разъяснение А. И. Стецкого о том, что представляет собой социалистический реализм.

История учит: обычно художественные произведения, знаменующие поворот в искусстве, появляются раньше, чем заговорят о таком повороте теоретики. Сначала Байрон создал свои первые поэмы, а потом уже заговорили о байронизме. Сначала были написаны «Станционный смотритель» и «Шинель», а потом стали определять, что такое натуральная школа и каковы принципы критического реализма. Гениальная прозорливость Белинского выразилась в том, что он вовремя заметил новый путь, на который вступила русская литература, и, опираясь на новых писателей и новые произведения, стал разъяснять, каков этот путь и куда он ведет.

Белинский вел вперед, не отрываясь от практики искусства.

Так было и с социалистическим реализмом. Горький уже написал «Мать», уже создана была советская литература, а лозунг еще не был провозглашен.

Никогда не бывает, чтобы сначала разрабатывались правила искусства, а потом уже по ним писались произведения. Таланты постоянно нарушают правила, если даже эти правила являются обобщением того, что было сделано раньше. А между тем в критике возникала опасность некоторого схоластического априоризма: ты должен строить свою пьесу так-то и так-то. Ты должен в таких-то и таких-то дозах комбинировать социалистический реализм с социалистическим романтизмом и т. д. Стецкий, выступивший как заведующий отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП (б), обращался к съезду:

«Вы сами сказали в своей резолюции, что вы хотите создать произведения, проникнутые духом социализма. Вот — линия советской литературы. А во всем остальном — свободное творческое соревнование. У нас слишком много мудрят по поводу социалистического реализма. Социалистический реализм отнюдь не представляет собой какой-то набор инструментов, который выдается писателю для создания художественных произведений. Некоторые писатели требуют, чтобы им была дана во всех деталях теория социалистического реализма. Вы — представители лучшей части интеллигенции... здесь, на съезде писателей, ответ может быть только один: социалистический реализм может быть

лучше всего показан в таких художественных произведениях, которые создают советские писатели».

Учебники и для школ, и для вузов, и для самообразования нужны, но искусство творится на основании опыта, на основе передовых идей, усвоенных всем существом художника.

Главный успех съезда Горький видел в том, что писатели «признали большевизм», «с искренностью, в полноте которой я не смею сомневаться... — подчеркивал он, — единственной боевой руководящей идеей в творчестве, в живописи словом».

Горький не упрощал, не призывал почить на лаврах. И задолго до съезда, и перед съездом, и на самом съезде он предупреждал об опасности, подстерегающей молодых писателей, с которой приходится считаться всякому литератору, Горький указывал на мещанство. «Для молодого советского писателя мещанство, — говорил он, — материал трудный и опасный своей способностью заражать, отравлять». Не только бытовое мещанство имел в виду Горький, — эгоизм, «вещизм», самовозвеличение, узость кругозора, групповщину, корни которой не могли быть истреблены в одночасье. Я тебя хвалю, а ты в ответ похвали меня — это «принцип» способен превратить любую среду в болото. Потребительские инстинкты, если им потакать, способны погасить любую пламень... Прежде всего Горький имел в виду идейное мещанство, которое трудно разглядеть, но которое не менее, а может быть, и более опасно, чем мещанство бытовое. Проявлениями идейного мещанства он считал также толстовство и достоевщину, — не гениальных художников Толстого и Достоевского имел в виду Горький, нет, а именно толстовство и именно достоевщину.

Для Горького было чрезвычайно важно то, что нравственность не сводима к набору отвлеченных норм, не задана изначально на все времена и требует конкретного решения вопросов, каждодневно и неожиданно встающих перед человеком; что коммунистическая нравственность существует, она оптимистична, она открывает и перед оступившимся человеком возможность исправления.

Горький утверждал, что научный коммунизм подсказывает путь борьбы и за перевоспитание масс, освобожденных от эксплуатации, и за нравственное перевоспитание человека.

Через три с половиной десятилетия после первого съезда писателей я читал книгу маршала Г. К. Жукова «Воспоминания и раз-

мышления», и несколько страниц разбудили во мне неожиданные ассоциации. Г. К. Жуков рассказывал о первой половине тридцатых годов. Прислушайтесь и сравните:

«Благотворные изменения произошли в классовом составе армии. Из старых военных специалистов остались лишь люди, проверенные жизнью, преданные Советской власти, а новые кадры специалистов состояли из рабочих и крестьян... К 1937 году рабочие и крестьяне составляли более 70 процентов комсостава, более половины командиров были коммунисты и комсомольцы. Одним словом, дела шли хорошо»... «Вообще для того времени был характерен большой внутренний подъем. Если говорить о стране в целом, экономика, культура бурно развивались. Жизнь заметно улучшалась, тысячи энтузиастов устанавливали трудовые рекорды. В армии господствовало желание учиться, хорошо овладеть своим делом».

Армия есть армия, а литература есть литература. Но разве кадровые изменения в составе деятелей литературы и искусства не шли параллельно с кадровыми изменениями во всех других сферах советской жизни? Вспомните сказанное выше о составе съезда

писателей. Разве внутренний подъем, который проявился на съезде писателей, не был частью того подъема и в армии, и во всей стране, которым так восхищался Г. К. Жуков.

Дела шли хорошо и в литературе, как и в других сферах творческой деятельности советского народа, и все это было результатом огромной работы, проведенной партией, работы, о которой пишет Жуков. А это значит, что съезд писателей готовила вся страна, на съезде царила та же, что и во всей стране, атмосфера. И ораторы с трибуны съезда говорили о том, что волновало весь трудовой народ.

Съезд собрался для того, чтобы создать единый Союз писателей. Обсуждались творческие и профессиональные задачи литературы. Определялись пути и формы выявления и обучения новых дарований. Был утвержден Устав Союза писателей. Съезд стал голосом времени.

И еще раз напомним — председателем съезда был Максим Горький, судьба которого была неразрывно слита с судьбой советского народа.

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ



НЕЗАБЫВАЕМА МОСКВА ТЕХ ДНЕЙ

При появлении Максима Горького на сцене Колонного зала Дома союзов будто все двери и окна распахнуло могучим ураганом. Долго не стихали овации. Долго на трибуне разводил Алексей Максимович беспомощно руками, как бы прося спокойствия и внимания.

Он мне показался на этот раз слишком ссутулившимся. Шесть труднейших лет с тех пор, как я видел его в Тбилиси, сделали, понятно, свое дело. Горький заметно волновался, и это никого не удивило. Ведь волнуются даже опытные профессиональные актеры, родившиеся, как говорится, в театре. Но Алексей Максимович волновался безмерно, несмотря на то, что он, безусловно, заранее психологически подготовился к этой встрече. Нет, это не было обычным, профессиональным волнением: оно было порождено неизмеримо более сложными и разнородными причинами, а среди них, в первую очередь, были те «гордость и радость», с которыми ему предстояло открыть съезд:

«С гордостью и радостью открываю первый в истории мира съезд литераторов Союза Советских Социалистических Республик, обнимающих в границах своих 170 миллионов человек».

Наконец-то буря улеглась, и он смог произнести свою ныне широкоизвестную вступительную речь.

Напомню, что Первому съезду предшествовало постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Известны причины, вызвавшие это постановление. И надо отметить: за два с лишним года, предшествовавших съезду, как заявил один из докладчиков, была разбита групповщина и преодолены традиции левацкого вульгаризаторства и администрирования в практике литературных организаций.

Перед съездом была проделана огромная подготовительная работа. В республики отправились бригады русских поэтов и прозаиков. На русский переводились лучшие произведения национальных литератур. В Гру-

зию, в частности, приехали Николай Тихонов, Борис Пастернак, Юрий Тынянов, Ольга Форш, Виктор Гольцев и другие известные мастера литературы. И скоро в прекрасных переводах зазвучали поэтические произведения украинцев, белорусов, поэтов Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Средней России. На весь Союз грянула новая, никому до этого не ведомая симфония. Мы, литераторы республик, разумеется, знали литературную Россию, но литературная Россия мало знала нас, и мы сами друг друга почти не знали. Именно в те годы были заложены основы великого культурного процесса, который выразился во взаимных переводах лучших художественных произведений, и стал сегодня истинной литературной традицией нашей страны.

Перед съездом шли жаркие дискуссии. После ликвидации РАППа стало очевидным, что должна быть создана какая-то другая писательская организация, но вызывало споры, какая именно. Смогут ли объединиться в общий Союз поэты, прозаики, литераторы многообразных «творческих приемов и стремлений»? Представители часто едва ли совместимых школ и направлений. Каким должен быть этот Союз? Какой характер он будет носить — творческий, профессиональный или хозяйственно-организационный? Споры принимали острый характер и в республиках, где еще сохранились прежние литературные группировки. В Грузии, например, активно действовало несколько объединений типа символистских «Голубых рогов», «Левизны», так называемой «Группы академических писателей». Помню острые перепалки в различных организациях писателей и деятелей искусств, публичные диспуты и даже громкие семейные споры. Одно было несомненно: деятели культуры разных творческих направлений по своей идейной устремленности, всем творчеством, практической деятельностью уже окончательно стояли на советских социалистических позициях. В этом отношении можно сказать, что Первый съезд писателей СССР был подготовлен.

Мне, молодому грузинскому поэту, хотелось познакомиться на съезде с известными русскими и зарубежными литераторами. Некоторых русских писателей я знал еще по Тбилиси. Мое первое по-русски прозвучавшее стихотворение в 1933 году перевел и прочитал в среде поэтов Борис Пастернак. Я посвятил его брату Андрею Абашидзе, работавшему тогда врачом на ледоколе «Литке» в Северном Ледовитом океане. Помню, что я был безгранично счастлив. В Тбилиси я познакомился с Николаем Тихоновым, там же в 1928 году довелось мне впервые увидеть и самого Алексея Максимовича. Писа-

тели и деятели искусств пригласили его во Дворец писателей. Город буквально пылал от жары, но Алексею Максимовичу тбилисская жара была не внове. Он приехал сюда, чтобы, по его словам, «еще раз вспомнить Грузию, какой видел... ее сорок лет тому назад, вспомнить Тифлис—город, где ...начал литературную работу». Выступление Максима Горького на торжественном заседании Советов депутатов трудящихся Тбилиси было согрето истинно горьковским лиризмом. «...Разрешая себе немножко лирики, я хотел этим сказать несколько слов о моей неиссякаемой симпатии к вам и стране вашей...»

В Тбилиси же я встречал в свое время Владимира Маяковского, Константина Паустовского, Корнея Чуковского, Петра Павленко...

Впервые я побывал в Москве зимой 1931 года. Заснеженная морозная столица ошеломила меня. В те годы вообще лето у нас в Тбилиси было куда жарче, а зима в Москве — холоднее. Но такой холодной зимы, как в 1931 году в Москве, я не припомню. По мостовым еще носились сани, на лошадах висели ледяные сосульки, а из ноздрей поднимался такой густой пар, что они казались сказочными видениями. Помню, я боялся лишний раз выйти из гостиницы.

А в дни съезда в Москве стояла жара, почти как в Грузии. В городе строилось много новых зданий; до третьего или четвертого этажа была возведена гостиница «Москва». В остальном же Охотный ряд был по-прежнему многолюдным и шумным, и главным зданием в этой округе оставался Дом союзов.

К пятнадцатому августа делегаты были уже в сборе. Сейчас я не припомню где, на какой улице стояла маленькая гостиница, в которой расположились грузинские делегаты. В Оргкомитете всеми делами ведал товарищ Щербаков, впоследствии крупный партийный, государственный, а в годы Отечественной войны военный деятель. Многих работающих в Оргкомитете я теперь не помню, но душевно рад, что, как прежде, полон сил и энергии активный работник Оргкомитета Дмитрий Ефимович Ляшкевич. Пользуюсь случаем, чтобы сказать слова благодарности старому другу за его деятельность, посвященную на протяжении этого сложного полувека нашей общей писательской организации, пропаганде национальных литератур — содружеству наших писательских отрядов.

Полвека... Пятьдесят лет...

Сколько советских писателей, сколько дорогих и любимых друзей унесли с собой эти годы. Скольких навсегда сблизили поисти-

не братской дружбой и сколько вечных разлук принесли нам.

И вот в Колонном зале Дома союзов стоят и беседуют в кулуарах во время перерывов Серафимович и Алексей Толстой, Корней Чуковский и Демьян Бедный, Эренбург и Тынянов, Фадеев и Сурков, Леонов и Олеша, Асеев и Паоло Яшвили, Катаев и Чаренц, Кольцов и Эйзенштейн, Тихонов и Пастернак, Тициан Табидзе и Михаил Джавахишвили, Сулейман Стальский и Гамзат Цадаса, Шкловский и Гайдар, Сельвинский и Паустовский, Петров и Микола Бажан, Новиков-Прибой и Безыменский, Соболев и Якуб Колас, Павло Тычина и Федин, Максим Рыльский и Бабель, Зоценко и Шагинян, Шалва Дадиани и Гафур Гулям, Самед Вургун и Петрусь Бровка...

Стольких прославленных художников слова, собравшихся вместе, Москва еще не видела. К гостиницам, словно паломники, стекались москвичи и жители окраин, более того — ближайших городов; любимых писателей они встречали у выхода из гостиницы ликующими возгласами и овациями. Бесчисленное множество книг протягивалось за автографами. Особенно критическая ситуация создалась у парадного входа в Дом союзов. С утра семнадцатого августа он оказался мало доступен для самих делегатов съезда. Лишь постепенно милиции удалось «прорубить коридор» для делегатов. Запомнился и такой курьез: один из зарубежных писателей никак не мог пробиться к дверям; дело было в том, что этому осанистому, полноватому атлету стало нелегко от московской жары, и он облачился в шорты. Милиция же приняла его за спортсмена и не давала ему пройти. В конце концов все, конечно, выяснилось, и нашего немецкого гостя, очень развеселившегося всей ситуацией (это был Оскар Мария Граф), вежливо и с почетом пропустили на съезд. В дневные перерывы многие из нас вообще не покидали помещения Дома союзов. Зато незабываемы были вечера в бывшем филипповском ресторане на улице Горького, к которому делегаты были прикреплены. До полуночи все гудело и шумело вокруг столиков, писатели знакомились, узнавали друг друга, разговаривали, общались.

Помню, как-то вечером я рано зашел в ресторан, присел к отдаленному столику. Я уже успел кое-что пропустить, когда к моему столику подсели еще двое. Один из них сразу протянул мне руку: «Семенко, футурист, с Украины», — отчеканил он, словно хотел этим сказать, что не изменит своей группировке, в какой бы союз нас всех ни объединили. Потом представился и второй — Исаак Бабель! У меня сразу улучшилось на-

строение. Вскоре всеобщее оживление перемешало весь зал. Никто из нас уже не помнил о школах и направлениях. Голоса смешались, слившись в общий мажорный гул. Лишь изредка слышался то здесь, то там пронзительный смех Александра Фадеева.

Съезд открылся.

Вступительное слово Максима Горького светом молнии озарило суть и значение съезда: «Значение это — в том, что разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое...»

В его речи отразились те заветные чаяния, с которыми многие писатели из братских республик пришли на съезд. В зале же, стояло его окинуть взглядом, нетрудно было заметить как раз немалое число представителей этой «разноплеменной, разноязычной литературы». Далеко не все из присутствующих были в европейских костюмах, и не всех их знал широкий советский читатель. На каких только языках не говорили в кулуарах!

Именно Максим Горький положил начало выступлениям с трибуны съезда представителей многонационального отряда художников слова. И сам этот съезд превратился, можно сказать, во всеобщий праздник и торжество многонациональной литературы великой Советской страны, в демонстрацию ее могучей силы и творческих возможностей. «Пятьдесят две национальности прибыли на съезд; пятьдесят две литературы слились воедино для всемирного планетарского дела, — сказал в своем выступлении, посвященном вопросам перевода, Корней Чуковский и подчеркнул, что переводческое дело — дело величайшей государственной важности, в котором кровно заинтересованы миллионы».

Константин Федин очень верно подметил в своем выступлении главное: «Я обращаю внимание на одну характерную черту съезда: он является не только съездом советских писателей — он является съездом советских народностей...»

Особенно же запомнились мне и не раз потом вспоминались слова армянского поэта Егише Чаренца, произнесенные им со съедовской трибуны и тут же записанные мною: «Самое знаменательное явление, раскрывшееся перед нами на настоящем съезде, это, на мой взгляд, доклады о национальных литературах, открывших перед нами многообразный, доселе неведомый для нас мир. Это один из самых крупных положительных результатов нашего съезда, все значение которого сейчас еще не может быть оценено в должной мере». За этим последо-

вал из сердца вырвавшийся возглас грузинского поэта Тициана Табидзе: «Товарищи, разве не позор, что мы, поэты разных народов Союза — Украины, Белоруссии, Армении, Средней Азии, — так мало знаем друг друга?»

И действительно, ближайшие соседи — грузинские, армянские и азербайджанские писатели — в девятнадцатом веке, когда многие из них печатались и встречались в Тбилиси, лучше знали друг друга, чем ныне писатели современные; еще меньше знакомы друг с другом дальние соседи, представители других братских республик. Тициан Табидзе сказал справедливые слова. Настал час, когда сама наша советская действительность сблизила нас и сердца наши потянулись друг к другу.

Известно, что на Первом съезде несколько докладов было посвящено литературам национальных республик. Благодаря этим докладом мир впервые узнал не только о существовании этих литератур, но, возможно, и о существовании некоторых из этих народов. Да и на самом съезде на некоторых делегатов выступления эти произвели впечатление чуть ли не археологических открытий. Огромный интерес вызвало то, что в Колонном зале Дома союзов на стенах, рядом с портретами классиков мировой и русской литературы, были вывешены портреты писателей братских народов. Среди них, понятно, был портрет нашего великого предка Шота Руставели.

Приятно вспомнить, что вопрос об отношении к классикам был смело и по-деловому поставлен на съезде именно грузинской делегацией. Докладчик по грузинской литературе, тогда руководитель нашей писательской организации Малакия Торшелидзе говорил о тех извращениях, которые допускала критика по отношению к классикам — от Руставели до Ильи Чавчавадзе. Руставели был зачислен в разряд певцов феодализма, а Илья Чавчавадзе объявлен апологетом капитализма и т. д. Произведения Чавчавадзе как бы расчленили на две части, противопоставив его публицистические сочинения творениям поэтическим. Такое отношение к классическому наследию было тогда широко распространено, и выступление Торшелидзе встретило на съезде единодушное одобрение. Отныне великие писатели прошлого вновь были поставлены на службу нашей стране, нашим народам, новому миру. В дальнейшем оживленный разговор о классике еще долго продолжался в кулуарах съезда. Тема классического наследия естественно перерастала в разговор о художественном мастерстве литераторов.

По существу, разговор о мастерстве начался уже на первом заседании и, как ни удивительно, поднял его Отто Юльевич Шмидт.

Здесь мне хочется сделать небольшое отступление. О. Ю. Шмидт был главным героем челюскинской эпопеи, а в те времена это событие было у всех на устах; я же знал о челюскинцах не только по газетным сообщениям и фотоснимкам, но и по рассказам моего брата Андрея. Закончив Тбилисский медицинский институт, Андрей дал телеграмму в Северное пароходство с просьбой зачислить его врачом на ледокол «Литке», который, по сообщениям газет, готовился в первое сквозное плавание Северным морским путем с востока на запад за одну навигацию. Ледокол целый год стоял на зимовке и продолжил свой путь, когда разыгралась челюскинская трагедия. Зимой 1933/34 года «Литке» вышел на помощь «Челюскину». Андрей Абашидзе вернулся в Тбилиси как раз перед открытием Первого съезда писателей СССР.

Появление на трибуне Отто Юльевича Шмидта было встречено участниками съезда восторженной овацией. На трибуне стоял человек истинно героического облика и богатырского сложения.

Да, так вот именно О. Ю. Шмидт, математик и физик, начал с писательской трибуны насущный разговор о мастерстве. «История науки показывает, — сказал он, — что наиболее творческие эпохи в развитии науки не знали и не ставили перед собой проблему «чистого» и прикладного знания». Далее он сказал, что ему «хотелось бы как работнику «чистой» науки подчеркнуть, что и самое лучшее проявление чистой науки, которую мы отнюдь не отрицаем, вырастает на той почве, когда теория и практика едины». Он тут же добавил, что все это вместе в полной мере относится и к литературе.

Ораторы, выступавшие на съезде, немало говорили потом об этой проблеме. Мне, естественно, лучше запомнились речи грузинских делегатов. Тициан Табидзе верно заметил, что борьба за качество не может «не перекинуться» на литературу, поскольку она неотрывна от жизни. Он заявил, что спекуляция на актуальности тем так же противопоказана советской литературе, как и формалистическая эквилибристика.

Помню, как взволнованно говорили о мастерстве такие выдающиеся мастера, как Леонид Леонов, Юрий Олеша, Борис Пастернак, Николай Асеев, Николай Тихонов, все те, кто действительно имел высокое право говорить об этом.

Глубоко запечатлелось в памяти (я не раз впоследствии вспоминал об этом среди друзей) выступление грузинского делегата — Михаила Джавахишвили, который обратил внимание слушателей на наказ Первому съезду писателей от читателей библиотеки Ростова-на-Дону. Там, в частности, говорилось: «Пишите больше о любви, о браке, рисуйте картины быта, не преувеличивая, но и не умаляя его роли... Дайте яркие, незабываемые типы героев нашего времени, и положительных и отрицательных... Мы против схемы. Пишите простым, правильным языком».

Можно сказать, что весь съезд прошел под лозунгом: «За высокое мастерство», и этот лозунг лучше всех образно обосновал в своем выступлении Леонид Соболев: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно — право плохо писать».

Упрек в том, что у нас нередко зарифмованный лозунг принимают за поэзию, раздавался и с трибуны съезда и в его кулуарах. Единодушный бой был дан на съезде плакатности и схематичности: «...сама агитация теперь должна быть другой...».

Случилось так, что поэты, против которых было, по существу, направлено острие такой критики, вознамерились прикрыться именем Маяковского; этому способствовала и явно ошибочная позиция некоторых докладчиков в оценке творчества великого поэта революции. Но я помню, с каким гневом вышел на трибуну Николай Асеев. Он произнес большую речь о Маяковском, как о поэте нового типа. «Недаром при имени Маяковского,— сказал Асеев,— зал восемь раз за полстранички сказанного о Маяковском сотрясался аплодисментами. Эта любовь к Маяковскому есть выражение симпатии к культуре биографии поэта, а не только к его волосам, к его глазам, к воспоминанию о его голосе и т. д... весь зал вставал в честь ощущения той жизни, которая продолжает биться» со страниц стихов Маяковского.

Съезд не принял версию об «устарелости» Маяковского, о том, что он «отжил свой век», так же как и версию об его якобы «плакатности». «О какой устарелости Маяковского можно говорить, когда он продолжает ускорять биение сердец там, где произносится его имя?» — сказал Н. Асеев.

И в самом деле, гигантская фигура Владимира Маяковского как бы витала над съездом. Он и впрямь жил и действовал. Помню, что об этом же говорил с трибуны съезда

Тициан Табидзе: «Сколько было поэтов, признанных ведущими, о которых сегодня никто не помнит! Но все же имя признанного поэта революции остается за Маяковским».

Через полвека, прошедших после Первого съезда писателей, доказывать это уже не приходится.

Перед моим мысленным взором, подобно кинокадрам, сменяя друг друга, проходят ораторы на трибуне съезда. Вокруг двух десятков докладов и содокладов в прениях выступили более двухсот ораторов со всех концов нашей необъятной страны и из-за рубежа. Один из самых пожилых тогдашних ораторов, 88-летний гость Гюстав Инар, участник Парижской коммуны, поднялся на трибуну с помощью Ильи Эренбурга и сказал: «Несмотря на преклонный возраст... несмотря на физическую слабость, я молод и крепок сердцем. Я всегда и везде с вами делю радость борьбы и ваших достижений в великом строительстве социализма...»

Мне показалось, что зарубежные гости съезда, те, с которыми мне впервые довелось вступить в контакт, особое внимание и интерес проявляли именно к представителям литератур братских республик. С некоторыми из них после съезда я встречался неоднократно, а кое-кто побывал в Грузии через многие годы на 800-летнем юбилее Руставели. Почти сорок лет спустя встретился я вновь с турецким писателем Якубом Кадри в Турции, он пригласил меня к себе домой в Анкаре и с благоговением показал фотопортрет Максима Горького, подаренный ему великим русским писателем как раз в те далекие съездовские дни. Он с гордостью считал себя другом Максима Горького и тепло вспоминал Первый съезд советских писателей и тогдашнюю Москву.

Незабываема Москва тех дней. Полвека прошло, а я все слышу тот гул в Колонном зале Дома союзов...

Константин Федин сказал: «Съезд писателей, если бы он не был наполнен высокообщественным содержанием, не мог бы длиться так долго в огромном зале столицы, не мог бы привлечь к себе такие толпы читателей...»

Действительно большой, действительно доселе неслыханный разговор состоялся, начиная с горьковского доклада на этом съезде, разговор о литературе и искусстве, об их будущих судьбах не только в нашей стране, но и, можно с уверенностью утверждать, во всемирном масштабе.

Тбилиси.

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ



СВЯЗЬ СОБЫТИЙ

В моей памяти 1934 год — один из самых ярких. Необыкновенно праздничным для всего советского народа было лето, украшенное событием, названным челюскинская эпопея. О подвиге экипажа погибшего во льдах ледокола «Челюскин» восторженно писала мировая печать. Поэты дружно выступали со стихами в честь победного завершения исторического события. Московское радио днем и вечером передавало хронику движения поезда, шедшего с океанского берега в жаркую столицу Москву. Центральное радио вело специальные передачи. Участвовал в них и я, сообщая, что

Сквозь полуночные туманы,
Сквозь полуденный солнца блеск
От Великого океана
Легендарный идет экспресс.

Серый пар обдаёт равнину.
А в вагонах небошь любой
Хочет вспомнить громаду-льдину
И приют ее голубой.

Доброта ее не забыта...
Удалось ли ей уцелеть?
Впрочем, может, в палатке Шмидта
Одиноко грустит медведь?..

И спасателей и спасенных,
Чьим геройством озарена,
И спасателей и спасенных
На руках подняла страна.

А в день прибытия поезда я комментировал триумфальное шествие по радио, выступая с балконов домов, где была установлена радиоаппаратура. (Кинохроника в века запечатлела эту встречу челюскинцев в Москве, многокрасочную патристическую демонстрацию всех слоев народа, объединенного радостью победы труда и науки). Я включал свой микрофон, когда расцвеченные лозунгами, портретами и цветами машины приближались к моей комментаторской трибуне:

Челюскинцы! Друзья и братья!
Страна возносит вас в века..
Как широки ее объятья
И как награда высока!

За этим событием последовало еще одно важное событие того года — Первый съезд писателей СССР. В моем сознании он как-то перекликается с челюскинской эпопеей. Алексей Максимович Горький, главный герой нашего писательского съезда, дружил с героями-челюскинцами. Был он более всех нас осведомлен о работах по спасению челюс-

кинцев. И, мне кажется, что его слова о том, что основным героем наших книг мы должны избрать труд, не случайно прозвучали в те дни в известной речи на съезде.

В начале 1928 года мне довелось побывать у Горького в Италии. Я стал свидетелем деликатнейшего отношения его к известным писателям, советским и иностранным гостям. Дом в Сорренто, где он жил в то время, был как бы постоянно действующим клубом, охотно посещаемым соотечественниками и такими иностранцами, как Анри Барбюс, Ромен Роллан, Герберт Уэллс. Отсюда злостные слухи о Горьком — «агенте Коминтерна». Неаполитанские власти в конце 1927 года с ведома Муссолини учинили погромный обыск на его даче в поисках «склада советского оружия». Провокация провалилась. Муссолини так оскандалился, что пришлось ему менять губернатора в Неаполе.

Многие писатели в своих воспоминаниях приводят примеры благородной наставнической работы Алексея Максимовича, направленной на сплочение борцов за мир на земле. Значительна его помощь народу в мобилизации общественного мнения, в усилиях отдалить начало второй мировой войны. В дни съезда писателей мы дышали воздухом этой мирной передышки. Неудивительно, что в стихах некоторых поэтов тогда появились нотки успокоенности, рассуждения о том, что «в случае чего» и Англия и Америка с нами.

На одной из встреч Горького с читателями в заводском клубе его спросили:

— Случалось ли вам побывать в Америке? И как она понравилась?

— Я побывал в Соединенных Штатах Америки, — ответил Горький, — не все мне там понравилось. Но хороших американцев, думаю, не меньше, чем хороших русских.

— А надежны ли американцы как союзники?

— Понимаю, куда товарищ вопрос клонит. Но я не дипломат, скажу лишь добрые слова о хороших американцах, а про остальных вот что сказал большой человек, мой друг, изумительно талантливый писатель Марк Твен...

Алексей Максимович достал из кармана записную книжку и сквозь очки разглядел запись Марка Твена.

Я был в числе делегатов съезда, сопровождавших Горького на это его выступление.

Я, как и другие, записывал все самое интересное. То были слова Марка Твена («Плутократы и империалисты»): «Мы — англосаксы! Прошлой зимой на банкете, в клубе, который называется «Во все концы земли», председатель, отставной кадровый офицер высокого ранга, провозгласил гром-

ким голосом и с большим воодушевлением: «Мы принадлежим к англосаксонской расе, а когда англосаксу что-нибудь нужно, он просто идет и берет...»

Вспоминая А. М. Горького на Первом съезде писателей, не своевременно ли вспомнить и знаменитого американского писателя?

ТЕМБОТ КЕРАШЕВ



МОГУЧИЙ СТИМУЛ

Хотя после первого съезда писателей прошло полвека, я помню о нем, как о ярчайшем событии моей жизни. Огромное значение этого события осознавала и вся Москва и вся наша Родина. Что это было за время? Герберт Уэллс, сумевший представить в «Борьбе миров» появление небывало мощного оружия, напоминающего лазерное, оказался не в состоянии представить себе расцвет России, тогда разграбленной, голодающей. И вот к началу съезда уже была осуществлена коллективизация, развертывалась индустриализация, сделаны первые весомые шаги в области культурного созидания. Это было время «Железного потока», «Тихого Дона», «Цемент», «Чапаева».

Однако более полному расцвету советской культуры мешало множество соперничающих друг с другом творческих групп, в том числе и писательских.

Значительность и гуманистическую направленность партийного документа «О перестройке литературно-художественных организаций» все сразу ощутили и оценили. И у нас, в Адыгее, не имевшей до Великого Октября даже и письменности, был создан Союз писателей. Правда, состоявший всего из двух человек — поэта Ахмеда Хаткова и меня — прозаика.

И вот Первый съезд писателей. Приветливая столица. В перерывах, когда мы выходили из здания Дома союзов, у дверей нас неизменно встречала большая толпа москвичей. Это внимание народа трогало и воодушевляло. На лицах москвичей читалось ожидание встречи с мастерами слова, вера в их талант. Помню, как я, смутившись, пробовал укрыться за спинами других, в то же время присматриваясь украдкой к Алексею Толстому, Всеволоду Иванову, Федору Гладкову: как они чувствуют себя? И мне показалось, что они тоже смущены таким вниманием.

Наверное, не один я задавал себе вопрос: за что мне выпала такая честь? И окончательно осознал верность избранной в жизни дороги. Невольно вспомнил ее начало, когда еще студентом института увидел на краснодарском вокзале плакат с текстом «Интернационала». Конечно, я и до этого не раз слышал партийный гимн, но вот только сейчас словно в сердце ударила первая строка: «Вставай, проклятьем заклейменный...». Перед глазами возникли картины жизни моего народа, полной несчастий и унижений. Он не мог обрести счастья, пока не победил Великий Октябрь...

Стоя в проходе, не обращая внимания на толчки и ругань мешочников, переписал слова гимна. Возникла мысль перевести его на родной язык. Когда же, спустя некоторое время, вышел в свет первый номер адыгейской газеты с «Интернационалом» в моем переводе вместо передовой статьи, для меня уже не существовало вопроса, какой дорогой идти.

Однако ни в мечтах, ни наяву я не думал, что судьба мне преподнесет такой подарок — быть делегатом Первого съезда писателей. Меня (да и только ли меня) поразила не просто торжественность события, но и доброжелательность, товарищеское отношение друг к другу всех делегатов. С полным основанием можно сказать: основа дружбы братских советских литератур была заложена на этом съезде. Тогда же я отметил большую скромность наших выдающихся писателей. Это подтвердил такой случай. В один из дней нас повезли на встречу с коллективом какого-то завода. После ее завершения в наш автобус вошел Илья Эренбург. Автобус был уже полон, и увидев, как Эренбург тщетно ищет глазами свободное место, я поднялся и предложил ему свое. Писатель с шутливым возмущением сказал мне:

— Это почему вы должны подняться, а я должен сесть на ваше место? Это по какому праву?

На секунду я растерялся, но потом ответил:

— Да будет мне разрешено проявить уважение к старшему известному писателю. Таков закон в нашей стране.

Эренбург улыбнулся:

— Ну, если перед старшим, это можно и, пожалуй, полагается. Но что касается известного писателя, можно сомневаться в вашей правоте.

Еще одно воспоминание светлым пятном живет в моей памяти. На отдельном заседании коммунистов, делегатов съезда, перед нами выступил А. А. Жданов. Это он сказал крылатые слова о том, что мы за большевистскую тенденциозность в литературе. Линия, которую позже съезд писателей единогласно принял. После окончания заседания мы, молодые писатели, окружили секретаря ЦК ВКП(б). Я, прорвавшись к Жданову, не помня, что делаю, дернул его за полу пиджака. Андрей Александрович повернулся ко мне. Я, не найдя, что сказать, только протянул ему свою записную книжку. Жданов написал мне на память: «Желаю большого творчества...»

В этом случае выразились простота, сердечное внимание к товарищу, бытующие в нашей партии. Не забывается, с каким отеческим вниманием А. А. Жданов относился к писательской молодежи.

Когда съезд закончился, для делегатов был устроен прием. Я пришел в Дом союзов пораньше с расчетом занять хорошее место в Колонном зале. Лишь добрался до середины парадной лестницы, как вдруг откуда-то сверху грянул туш. Я остановился, ища глазами, кого так торжественно встречают. И тут раздался хохот: это, оказывается, группа молодых писателей устроила такой розыгрыш. Среди них я узнал своих друзей — грузинского писателя Шалву Сослани и ростовского поэта Григория Каца. Я тоже присоединился к ним, и мы еще долго встречали тушем спешащих на прием писателей.

А. М. Горький тогда стал живым символом съезда. Нет, он не был блестящим оратором, но зал слушал горьковский доклад, а точнее нашу литературную программу, затаив дыхание. Особенно взволновала огромная забота нашего великого писателя о развитии литератур малых, ранее угнетенных царизмом народов. Какой большой и светлой душой, гениальной прозорливостью надо было обладать, чтобы с уверенностью сказать: каждый народ талантлив! Более того, показать един-

ственно верный путь для становления молодых литератур.

Алексей Максимович много внимания уделял фольклору. Это было нам очень дорого. А ведь до съезда мало кто всерьез говорил о народном творчестве. С возникновением письменности в Адыгее было выпущено несколько номеров литературного альманаха, где среди других материалов публиковались и народные песни. Но, увы, ни одна сказка напечатана там не была.

Со мной даже произошел такой случай. Это уже было в 1944 году в Кабарде. Вместе с писателем Залимханом Аксировым мы подготовили к печати небольшую книжку кабардинских сказок. Решили предложить местному радиокомитету несколько из них использовать в детской передаче. Работник комитета нас ошарашил:

— Что вы говорите?! Если я в эфир пущу сказку, меня выгонят из Кабарды!

Так относились к фольклору своего народа некоторые «деятели культуры».

Неудивительно, что высказывания Максима Горького о фольклоре поразили меня и запали в душу. Он говорил о том, что подлинную историю трудового народа нельзя знать, не зная устного народного творчества, что «начало искусства слова — в фольклоре. Собирайте наш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его». Под впечатлением речи Горького я решил приступить к работе по собиранию нашего фольклора. Была организована научная фольклорная экспедиция. Обнаружилась удивительная, интенсивная жизнь фольклора в народе. Адыгейцы, которые не имели письменности до Октября, восполняли этот пробел созданием довольно близких к литературе исторических сказок и сказаний о конкретных событиях и конкретных героях. В аулах нам показали специальные помещения для гостей (кунацкие), где любители слушали мастеров-сказителей. В одной из таких кунацких мы встретили замечательного сказителя Китыж Кимкери, который рассказывал только сказки и сказания, но совершенно не интересовался поэтическим песенным материалом. Иронизируя над песенниками, он говорил насмешливо:

— Они вечно поют о каких-то там князьях и оплакивают их гибель. А я, когда захочу, убиваю этих князей в своих сказаниях и не роняю по ним ни одной слезинки. А мужественных простых парней я посылаю на большие дела и превращаю их в народных героев.

Во время экспедиции я не терял надежды встретить сказителя, подобного дагестанскому ашугу Сулейману Стальскому. Его выступление перед делегатами съезда было

настоящим триумфом. Он так уверенно, с суровой значительностью мудрости веков продекларировал свои стихи! И как Горький обладал древнего старца на сцене! Я тогда позабавился дагестанцам, имеющим такого дивного певца. Вот и мы у себя, в Адыгее, обнаружили замечательных сказителей. Имя одного из них вскоре узнала не только наша область, но и вся страна. Это был адыгейский ашуг Цуг Теучеж. Грамоты он не знал. И наш Союз писателей решил записать его поэмы и стихотворения. Однажды, работая с ним на берегу реки Пишиш в его родном ауле, я шутливо спросил ашуга:

— Сможешь ли ты описать красоту этой реки?

— Если я это не сумею, то напрасно прожил восемьдесят лет на ее берегу, — ответил ашуг.

Он немного пошевелил губами в задумчивости, устремив свой взгляд на Пишиш, и родилось чудесное стихотворение:

Пишиш — голубоглазая река,
Не мелка она, не глубока
И не удивляет шириной,
Не вскипает пенною волной...

Многими талантами оказался богат наш небольшой народ! Мы, молодые писатели, хорошо понимали, что здание подлинной литературы должно прочно опираться на фольклор.

Большое внимание было уделено на съезде вопросам художественного мастерства, постановке и решению которых сильно вредили догмы Пролеткульта. Дело доходило до нелепости. Например, гонениям со стороны пролеткультовцев подвергалось слово «душа». Считалось, что оно не выражает материального содержания, несет в себе мистику, то есть насквозь идеалистично.

Слово «душа» было на съезде реабилитировано, восстановлено во всех правах и возвращено нам в составе исторически важной формулировки: «Писатели — это инженеры человеческих душ».

Слово «сердце» до съезда тоже находилось в опале. Например, в нашей национальной литературе, в адыгейском языке данное слово обозначает и разум, и память, и чувства. Естественно, снятие опалы со слова «сердце» явилось для нас большим облегчением.

И еще о другом. Несмотря на то, что советская литература могла гордиться многими достижениями, некоторые отдавали дань надуманному, вычурному слогу, вообще ухищрениям формы. Все это тоже были плоды Пролеткульта. Директор одного из издательств, выступая на съезде, подчеркнул, что лишь 25 процентов художественной литературы достойны переиздания. А. М. Горький в заключительном слове особо обратил внимание делегатов на это заявление и сказал: «Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством...»

Еще раз подчеркну важную роль съезда для младописьменных литератур. Прав оказался Алексей Максимович Горький, когда высказал мысль о том, что «количество народа не влияет на качество талантов». Уверен, эта мысль нашла отклик тогда в сердцах писателей всех национальностей, раскрыла широкую дорогу для развития младописьменных литератур. В шестидесятые годы среди литературоведов даже возникла дискуссия о чуде небывало быстрого роста младолитератур. Я же считаю, что никакого чуда тут нет: всякий народ талантлив.

Художественная литература должна войти в духовный обиход каждого, открывать ясный путь в завтра, быть неотразимой действительной. Такой и стала наша многонациональная советская литература.

Все живое на земле растет и накапливает силы, чтобы расцвели цветы. Если эту аналогию перенести на жизнь народа, то его цветами можно считать искусство и литературу. И великая заслуга Первого съезда писателей в том, что сегодня так ярко расцвел прекрасный букет литератур советских народов-братьев.

Майкоп.

Н. МОРДИНОВ,
народный писатель Якутии



ТАК НАЧИНАЛОСЬ

Делегатами из Якутии на Первый съезд писателей были избраны основоположник якутской литературы Платон Ойунский, в то время учившийся в аспиран-

туре в Москве, и я — автор недавно вышедшей первой книжки рассказов.

Прибыв в столицу после трехнедельного путешествия из Якутска в Москву (ныне во-

семь часов полета), я с огорчением узнал, что съезд перенесен с мая (как это намечалось прежде) на август. Возвращаться в Якутск не имело смысла, и я невольно оказался человеком, на все лето свободным от общественных и семейных дел. В итоге, можно считать, мне крупно повезло. Я повидал первомайскую Красную площадь, руководителей партии и правительства, я увидел Максима Горького и Георгия Димитрова. Не раз в жизни именно неурядицы приносили мне впоследствии крупные удачи.

И вот 17 августа я уже с утра оказался в огромной толпе у Дома союзов, где во второй половине дня предстояло открытие съезда.

Помню, что вокруг с горячей любовью говорили о советской литературе, ее создателях, и это воспринималось мною с таким душевным ликованием, будто относилось ко мне лично.

Когда наконец распахнулись парадные двери, я влетел в зал одним из первых и уселся в третьем ряду, заняв место и своему более спокойному старшему товарищу Платону Ойунскому.

На сцене за столом, тихо переговариваясь, сидели несколько человек из Оргкомитета. Колонный зал быстро заполнялся делегатами и гостями. Платон Алексеевич, садясь рядом, со своей милой, чуть иронической улыбкой заметил, что «мы, пожалуй, могли бы найти себе места и поскромнее, а не под самой трибуной...».

С трепетным волнением жду появления Горького. «Он стар, перегружен трудами, приведут, вероятно, его под руки», — раздумываю я про себя. Привык представлять его по известной картине П. Корина, где чем-то глубоко удрученный писатель изображен стоящим на фоне беспокойного моря.

Зал взорвался бурей аплодисментов, люди вскочили с мест. Широко расправив прямые плечи, слегка склонив голову, молодой и легкой походкой шел по сцене Алексей Максимович. Ойунский толкнул меня, оторопелого, в бок, чтобы встал.

Горький прижал руку к груди, покивал головой в сторону зала и уселся. Аплодисменты усилились, слышались громкие приветственные возгласы. С растерянной улыбкой Горький широко разводил руками, как бы прося всех садиться. Потом улыбка исчезла с его усатого и скуластого лица, он подержал за рукав стоящего рядом человека, что-то ему сердито говорил. Сел, насупил густые брови и опустил глаза, поглаживая ладонью пышные усы со свисающими концами.

Наконец зал медленно затих. Горький, явно опасаясь повторения оваций, встал и не

остывшим от волнения голосом произнес свое вступительное слово.

А. А. Жданов, приветствуя съезд от имени ЦК партии и Советского правительства, сказал наполнившие меня горячей радостью и гордостью слова: «Такой съезд, как этот, не собрать никому, кроме нас — большевиков».

Затем с докладом о советской литературе выступил А. М. Горький

Помню, что в самом начале его доклада вдруг нарушилась радиотрансляция. И. К. Микитенко с председательского места пытался останавливать докладчика. Но Горький, не внимая ему, некоторое время еще продолжал говорить, а потом, поняв, в чем дело, энергично вскинул голову и с явным оттенком озорства раскатисто отозвался: «А-а?!» Зал откликнулся дружным смехом.

Временами Горький гулко покашливал, вопросительно оглядывал зал (мол, согласны ли вы со мной?). Он говорил о решающей роли труда в развитии человечества, о загнивании буржуазной культуры и всемерной опасности фашизма. Но главное его внимание было сосредоточено на разноязычной всесоюзной литературе и основных задачах ее дальнейшего развития. Особо подчеркивал он необходимость повседневного внимания к развитию национальных литератур. «...я считаю необходимым указать, — говорил он, — что советская литература не является только литературой русского языка, это — всесоюзная литература. Так как литераторы братских нам республик, отличаясь от нас только языком, живут и работают при свете и под благотворным влиянием той же идеи, объединяющей весь раздробленный капитализмом мир трудящихся, — ясно, что мы не имеем права игнорировать литературное творчество нацменьшинств только потому, что нас больше. Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в прошлом — гигант Пушкин, отсюда еще не значит, что армяне, грузины, татары, украинцы и прочие племена не способны дать величайших мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества».

Как блестяще подтвердилось впоследствии это великое предвидение Горького! Скольких мастеров слова выдвинули народности нашей Родины на всесоюзную и мировую арену: башкир Мустай Карим, татарин Гариф Ахунов, аварец Расул Гамзатов, балкарец Кайсын Кулиев, чуваш Яков Ухсай, чукча Юрий Рытхэу, нанец Григорий Ходжер, дагестанка Фазу Алиева, чеченка Раиса Ахматова, манси Юван Шесталов, нивх Владимир Санги, бурят Николай Дамдинов, якут Семен Данилов и т. д. Из югагирской народ-

ности Якутии, состоящей всего из четырехсот человек, вышел Семен Курилов, автор известного романа «Ханидо и Халерха». Впрочем, как известно, Горький не разделял нас, писателей, на союзных, автономных, областных, окружных. Все мы для него, великого гуманиста и интернационалиста, по своим творческим возможностям и ответственности были в равной мере все союзными.

Незадолго до съезда вышла интересная повесть «Моя жизнь». Ее написала бывшая красная партизанка Аграфена Кореванова, незадолго до того овладевшая грамотой. Я хорошо помню случайно услышанный в перерыве между заседаниями ее разговор с Новиковым-Прибоем. «Ну и талантливый же ты человек, Аграфена! — говорил ей Алексей Силыч. — Такую хорошую книгу отгрохала!» А Кореванова отвечала: «Да нет же, какой у меня талант! Все это Советская власть...»

Дружески они разговаривали, весело. Потом Новиков-Прибой заключил: «Советская власть создала нам хорошие условия для творческой работы. Но надо нам самим, самим потеть и трудиться, чтоб оправдать ее, Советской власти, заботу и доверие к нам! А глупцу, бездарности, бездельнику и Советская власть ничем не поможет!..»

В какой-то из дней работы съезда мчался я вверх по лестнице Дома союзов на второй этаж, а сверху, навстречу мне, стремглав летел Михаил Шолохов. И мы с ним столкнулись, да так сильно, что из трубки, которую он держал в зубах, посыпались горящие крошки табака. «Ох, потише будь!» — воскликнул он. А я ему в ответ механически и довольно глупо: «И сам будь!» И мы весело разлетелись каждый в своем направлении. Ощущение равноправия было у всех нас неслучайно. Горький, например, в своей речи на съезде утверждал, что все мы здесь, невзирая на резкие различия возрастов, — дети одной и той же очень молодой матери — всесоюзной советской литературы. Судите как хотите о степени моей тогдашней наивности, но я воспринимал Михаила Шолохова действительно как родного брата. Позже я, конечно, научился понимать, кто чего стоит в литературе. Но и теперь мне очень дорого то святое чувство братства, которое внушал нам, писателям, великий Горький.

С тех давних пор я много раз с безмолвной любовью видел и слушал Шолохова, но в моей памяти он навсегда остался таким, каким был полвека назад, на Первом нашем съезде: в каракулевой шапке-кубанке,

хромовых сапогах и гимнастерке. Оживленный, полный молодой и веселой энергии, красивый и простой человек.

Помню, как я стоял на верхней площадке лестницы, а по лестнице с легким переступком каблучков поднималась седая и властная на вид женщина — Ольга Форш. Приостановившись около меня, она строго спросила: «Что, уже началось заседание?» Я очумело молчал, удивленный тем, как легко и свободно она поднималась по крутой и длинной лестнице. Не дождавшись ответа, Форш трянула головой, как птица перед взлетом, махнула коротко рукой и прошла дальше.

А спустя двадцатилетие, она, имея за плечами уже 80 с лишним лет, умно, изящно и молодо произнесла вступительное слово на Втором съезде писателей в 1954 году.

Как мы старим людей в пору своей молодости! Зато к старости наши знакомые кажутся нам еще очень молодыми.

В перерыве мы с Ойунским пили чай. К нам за столик подсел Леонид Леонов, молодой красавец с мягким взглядом темно-карих глаз. Днем раньше он произнес, как нам показалось, одну из самых ярких и глубоких речей на съезде. Теперь мне это странно, но мы ни единым словом не перемолвились с ним, сделали вид, что совершенно его не знаем. И он не проявил к нам ни малейшего интереса. Не глядя в его сторону, явно волнуясь, Ойунский пробормотал мне по-якутски: «Какой он милый человек, нежный, словно девушка. А какой умница!»

Попив чаю, Леонов встал и ушел, даже не взглянув на нас. Мы по-прежнему старательно говорили по-якутски. А про себя очень радовались, что вот так невзначай с нами посидел сам Леонид Леонов.

Бывают и такие памятные встречи...

Никогда не забуду, как был растроган Алексей Максимович, когда с барабанным боем хлынули в зал звонкоголосые потоки московских пионеров. Вначале он крепился, даже как-то по-детски нахохлился, но так и не смог сдержаться, дрогнул плечами, покрутил головой и, смахнув ладонью слезу, поспешил выйти за сцену. А вернулся он уже под конец веселого пионерского приветствия, смущенно оглянувшись по сторонам, как бы извиняясь за проявленную им слабость.

А выступления на съезде?..

Живо помню речь народного писателя Армении Ширванзаде. Он говорил с глубоким волнением о прибытии на Кавказ Красной Армии в те ужасные времена, когда Грузия под предводительством «своих» меньшевиков, а Армения «своих» дашнаков сцепилась друг

с другом не на жизнь, а на смерть. Красная Армия принесла на своих знаменах ленинскую идею мира и дружбы и спасла народы Грузии и Армении от взаимной губительной вражды.

Поразила нас горячая и энергичная речь старого Феликса Кона. От имени бывших политкаторжан он с молодой страстью заявил, что пришел не жаловаться на перенесенные его поколением страдания в ссылках и тюрьмах царизма, а как представитель активно действующих борцов за социализм.

Хорошо помню знаменитого ашуга — народного певца Дагестана Сулеймана Стальского, названного Горьким Гомером XX века. Его речь и стихи в русском переводе Суркова читал А. Безыменский. Ашуг Стальский образно рассказывал о былой национальной розни в многоплеменном старом Дагестане, теперь ставшем краем дружбы и братства народностей. В заключение он «изумительно прочел» (Горький) стихотворение о съезде, сочиненное им тут же

На съезде выступили многие зарубежные гости — писатели из Германии, Италии, Испании, Франции (в столице которой в том году была совершена попытка фашистского переворота), империалистической Японии, из охваченного пожаром гражданской войны Китая.

Отрадно было, что эти писатели наравне с советскими активно участвовали в обсуждении проблем советской литературы, в дальнейшем развитии которой как действенного орудия международного революционного движения они были кровно заинтересованы.

В памяти осталась яркая речь тоненькой и маленькой китайской писательницы Ху Ланьчи. В ее словах были волнующая любовь и надежда на СССР и его литературу. Она рассказала о жестоких расправах в Китае с революционными литераторами, о том, как молодой писатель Ли Вэйсэн, когда его живым закапывали в землю, кричал: «Да здравствует коммунизм!» Ху Ланьчи говорила о том, что Октябрьская революция и порожденная ею советская литература оказывают сильное влияние на национальное революционное движение угнетенных масс Китая, на китайскую революционную литературу.

Памятна мне речь японского режиссера Хидзикато, страстно разоблачавшего японский милитаризм, который вел грабительскую войну в Китае и не раз предпринимал военные провокации против СССР. Едва ли не на другой день после его выступления съезду стало известно, что правящие круги Японии готовятся предпринять против него ряд жестоких мер, в том числе арест по его возвращении. Это вызвало гневное возмущение съезда. Видный французский писатель Андре Мальро заявил, что иностранные гости съезда

единогласно выражают свою симпатию и полную солидарность с товарищем Хидзикато. «Ничто лучше этих репрессий не может показать всем значение его речи здесь и значение нашего съезда», — сказал он.

Мне хочется в связи с одним эпизодом съезда рассказать о первом якутском делегате, моем незабвенном старшем Друге Платоне Алексеевиче Ойунском, 90-летие со дня рождения которого недавно было торжественно отмечено в Москве и Якутске.

В один из воскресных дней съезда была организована поездка делегатов в гости к Горькому на дачу. Выстроились автобусы, готовые к выезду. Я быстро заскочил в один из них, а сзади слышу, как меня окликают Ойунский. Я спустился к нему.

— Мы с тобой не едем! — говорит он решительно.

— Но почему же?! — опешил я.

— Разве можно позволять себе так перетомлять старого человека? Нет, Николай, мы с тобой не едем.

Переполненные автобусы отъезжали один за другим. А мы с ним — один в большом негодовании, что «не щадят Горького», другой вконец расстроенный — остались стоять в опустевшем дворе.

Потом «бесповоротно» решив покинуть его одного, я, чуть не плача, заворчал:

— Вот как глупо лишились мы удовольствия побывать у Горького!

— «Удо-воль-ствия!» — с убийственным сарказмом передразнил меня Ойунский. — Вот за этим-то «удовольствием» и привалит к нему шестьсот таких, как ты. веселых и шумных людей. — И, отводя глаза в сторону, глухим голосом добавил: — А ведь совсем недавно умер у него... единственный сын.

И хотя, конечно, я знал об этом горестном факте жизни Горького, мой старший друг и воспитатель словно опрокинул на мою голову ведро холодной воды.

А через день или два на фотовитрине появился очень удачный снимок четырех молодых и красивых бурят или калмыков, и под ним подпись: «Якутские писатели в гостях у Горького».

Эти отрывочные свои заметки мне хочется закончить воспоминанием о банкете, устроенном в честь завершения съезда. Мы, два якута, сидели за столом с делегатами из Казахстана и Киргизии.

Я предложил Ойунскому подойти к Горькому, пожать ему руку и поздравить с радостным завершением съезда. Ойунский отшутился: «Горький, я думаю, по нас с тобой не скучает. Ему и так хватает собеседников».

Я принялся его уговаривать. А когда он, наконец, согласился, я вдруг оробел и стал лопотать что-то вроде «Ну зачем? У него и без нас...». Тогда он всерьез рассердился: «Целый вечер все точил меня «пойдем да пойдем», а как идти, он струсил!» И решительно направился через зал к Горькому. Мне оставалось только последовать за ним.

Алексей Максимович поднялся к нам на встречу. Приветливо, с какой-то детской хитрецей улыбался он в усы. Казалось, вот-вот скажет: «Ага, пришли-таки!»

Ойунский заговорил с Горьким. Оглушенный своим волнением и гулом многолюдного зала, я мало что слышал в их коротком разговоре. Потом подошел и я, схватил обеими руками протянутую мне Горьким руку, неуклюже и слишком громко отрекомендовался:

— Мórдинов, из Якутии. Алексей Максимович, мы, якуты, читаем вас на своем родном языке. Вы теперь самый любимый якутский писатель.

— Это счастье! Это великое счастье, товарищ Мórдинов! — Горький постоял немного, глядя сверху мне в лицо и крепко пожимая руку. Потом положил руки на мои плечи и взволнованным шепотком добавил: — Товарищ Мórдинов, товарищ якут!

Задыхаясь от радости и волнения, я зашептал ему, не слыша собственного голоса:

— Да, это наше счастье, дорогой, родной товарищ Горький!

На всю жизнь запомнил я Горького, великого труженика, отважнейшего воина социалистической культуры.

Когда я устаю от обидных мелочей быта, когда мне бывает тяжело и грустно, я вспоминаю бессмертного Горького. Вспоминаю и ощущаю нестынувшее тепло широкой и сильной трудовой его ладони, крепко пожимавшей мне руку. И мне опять хочется жить и трудиться, не сдаваясь никаким невзгодам,

не дряхлея душою, жить, исповедуя веру Горького в то, что люди завтра обязательно будут не только сильнее и умнее, но и дружелюбнее и добрее, чем сегодня.

Горький, имея в виду писателей нерусской национальности, говорил на съезде: «У меня нет никаких причин и желаний выделять их на особое место, ибо они работают не только каждый на свой народ, но каждый — на все народы Союза Социалистических Республик и автономных областей. История возлагает на них такую же ответственность за их работу, как и на русских».

Многие из нас, писателей разных национальностей, я думаю, именно на съезде впервые глубоко осознали собственную национальную литературу как неразрывную часть всесоюзной советской литературы.

Сам Алексей Максимович, несомненно, был глубоко удовлетворен и обрадован итогом исторического Первого съезда. «Вы посмотрите: из съезда писателей мы сделали мировое событие, это прозвонит во всем мире», — говорил он на первом пленуме правления Союза советских писателей 2 сентября 1934 года. А спустя несколько дней, 6 сентября того же года, он писал А. Е. Богдановичу: «Да, съезд прошел намного выше моих ожиданий. Очень хорошо вели себя европейцы и наши нацмены».

Яркое, исключительное это было явление — Первый Всесоюзный съезд советских писателей в жизни нашей советской литературы и каждого из нас, писателей Советской страны, которым партия и народ доверили высокую и ответственную честь быть «инженерами человеческих душ».

Даже сейчас, через пять десятилетий, радость участия на нем неугасимо живет и греет грудь мою.

Якутск.

НАЗИР САФАРОВ,
народный писатель Узбекистана



РУЧЬИ И РЕКИ

Я стараюсь избегать образных обобщений, особенно символических. Но когда я вспоминаю о событиях полувековой давности, отчего-то представляется мне картина именно символическая.

Не разбегающимися ли ручьями были писательские группы, объединения, ассоциации

в 20-х годах? Не блуждали ли мы, отыскивая свою стезю? Что скрывать, порой оригинальничали ради оригинальничания, «стряпали» свои программы, а вернее, программки.

Не знаю, можно ли было назвать узбекскую литературу тех лет литературой в высоком понимании слова. Можно ли отдельные наши

удачи определять как процесс полноводный, отмеченный гражданственностью, духовной зрелостью, художественной яркостью? Но слово, которое я вынес в заголовок—река,— не могло служить символом творческой жизни республики. Мы все понимали и мучились своим неумением, а вернее, незнанием того, как именно стать нам полноводным потоком и в какую реку влиться.

Пусть всесоюзного читателя не смущает мое обращение к традиционным образам Востока. Вода для нас — всегда жизнь. В народе говорят: где кончается вода, там кончается жизнь. О воде, о широкой реке думалось нам, тогда молодым литераторам Узбекистана. Мы были мечтателями, дерзкими мечтателями. Нам нужна не какая-нибудь речушка, а могучая Аму-, Сырдарья хотя бы. Ведь эти две сестры, бегущие в Арал, и заставляли цвести землю нашу.

Мы мечтали о большой реке, а перед нами были только ручьи, порой сверкающие, живительные, но устремляющие свою влагу в самых разных и неожиданных направлениях. Собрать бы их...

И пришел час, собрание сил началось. Чувствами нашими, мыслью он был подготовлен, этот час, писателями всей большой земли Советов. Вот я так говорю и даже связываю великое с малым — биение одного сердца, каким бы настойчивым и громким оно ни было, оно все же малое, но это сопоставление меня не смущает. Хочу подчеркнуть, что мы ждали слова партии и были готовы принять его. Постановление Центрального Комитета ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» положило начало слиянию малого и большого.

Что можно вспомнить о литературных делах в республике до постановления? Не было хаоса. Существовал УзАПП — Узбекская ассоциация пролетарских писателей, которая формально объединяла литературные силы. Не все было плохо в этой ассоциации. На каком-то этапе она выполнила свою роль организатора. В стенах ассоциации устраивались собрания, говорилось о роли писателя как преобразователя мира. Говорилось много, так много, что физически вынести это было невозможно. Говорилось с запальчивостью, споры превращались в столкновения. Постепенно ассоциация распалась на группы, часто враждующие.

Самое нелепое в деятельности ассоциации заключалось в том, что она игнорировала творчество многих талантливых и уже сформировавшихся писателей. Вне УзАППа оказались, например, такие прозаики, определившие в дальнейшем расцвет узбекской литературы, как Абдулла Кадыри и Айбек.

К моменту выхода постановления ЦК ВКП(б) УзАПП переживала творческий кризис, групповщина разъедала ее. Писатели постепенно перестали посещать собрания и диспуты. Республиканский оргкомитет по подготовке к съезду и руководству практической деятельностью, созданный по примеру московского, приступил к работе фактически на пустом месте. Все было новым, начиная от задач и кончая стилем деятельности. Во главе стал ныне покойный Р. Маджиди. Мне выпала роль ответственного секретаря оргкомитета.

Началось собрание сил. Ручьи должны были слиться в реку. Первые шаги в направлении единения оказались нелегкими. Но нас направляли, нам помогали партийные организации. Мы чувствовали это постоянно и были вдохновлены доверием партии. Работали с энтузиазмом. Работали все — и маститые и молодые. Душевный огонь горел в нас. То, что организационными делами писателей занимался Максим Горький, придавало всему особое значение. Мы считали себя сподвижниками великого мастера и старались быть полезными во всем, что осуществлялось по его инициативе.

В республике появились новые печатные органы, их страницы были предоставлены писателям. Предсъездовские дни ознаменовались рождением литературно-художественного журнала «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока»), чье пятидесятилетие отметила советская общественность в минувшем году. Издания среднеазиатских газет и журналов строились на наиболее полное отражение литературного процесса. Серьезная роль отводилась в них литературной критике.

Центральный Комитет партии считал необходимым помочь писателям республики, создать им условия для плодотворной работы. По тем временам мысль о Доме творчества была весьма дерзкой. Мы не знали, каким он должен быть, и рисовали в своем воображении некое романтическое сооружение. Ведь каждый из нас жил в тесной квартире или в доме без всяких удобств. И вот это романтическое сооружение предстало перед нами в виде большого богатого байского дома. Он стоял в пригороде Инжикабад, на тихой с глухими дувалами улочке. Дом у бая был конфискован, хозяин давно там не жил, и когда мы подъехали на своем фазтоне—оргкомитет получил и транспорт,— то нашли вокруг полное запустение. Великолепный прежде сад потонул в диких зарослях, сорняки поднимались почти до колен. Паутина висела на ветвях, в доме выросла пыль в палец толщиной.

Нам предстояло возродить сад и жизнь в доме, чтобы цвели по весне деревья, благоухали розы, читались стихи.

И что вы думаете? Так все и произошло. Абдулла Кадыри, наш замечательный романист, в собственном тесном дворе выращивал такие деревья, каких многие из нас и не видывали. Мы пригласили его в Дом творчества. Он сам, а потом его друг старик-садовник Иногам-ата превратили запущенный байский двор в цветущее царство.

Здесь мы собирались, здесь отдыхали, здесь работали. Первый Дом творчества стал центром своеобразным, духовным. Сколько звонких стихов прозвучало в его стенах! Сколько интересных бесед проведено. И все было пронизано радостным волнением, ожиданием светлых перемен. Душой всего оказался наш председатель оргкомитета Р. Маджиди — талантливый публицист, коммунист с высокими представлениями о долге перед партией и народом, энергичный и неутомимый человек. Мы его любили, каждому с ним было хорошо и светло.

Мы работали, работали, работали. Литературная общественность испытывала подлинный подъем. Тогда были созданы «Кукан батрак», «Узбекистан», «Свадьба» Гафура Гуляма, «Письмо матери» Гайрати, «В садах цветущих коммунизма» Уйгуна, «Долина счастливых» и «Искусство» Хамида Алимджана, «Богатырь» Хасана Пулата, «Дильбар — дочь века» Айбека, «Слушайте!» Айдын, «Вдоль по Чирчику» Эльбека. Вышли первые книги Гияса Сагати, Тимура Фаттаха. Республиканский конкурс на лучший рассказ, повесть, роман открыл читателям ряд ярких произведений узбекской прозы. В их числе «Рабы» Садриддина Айни, «Мираж» Абдуллы Каххара, «Враг» Хусейна Шамса, «Абид-кетмень» Абдуллы Кадыри.

Для большой группы прозаиков предсъездовское и послесъездовское время стало этапным в творчестве. Они определили свое место в литературе. Читатель признал их. Именно тогда заявил о себе известный в будущем прозаик Абдулла Каххар. Уверенно входили в литературу Борис Чепрунов со своим романом «Джунаид-хан» и Джурабаев с романом «Хурамбек». Получили гражданство в республике молодые драматурги. На сценах узбекских театров шли пьесы Зия Саидова, Яшена, Зинната Фатхулина, Умарджана Исмаилова и мои. Пьесы широкого социального звучания и среди них «История заговорила», «Независимость», «Маска сорвана», «Зажжем!», «Пробуждение».

Урожай, как видите, обильный для молодой узбекской литературы. Общий подъем был благотворным для всего литературного процесса и для каждого пишущего в отдельности. Повторяю, мы и стремились быть нужными обществу, строящему социализм. Ручьи

стекались в реку, она становилась полноводнее.

Алексей Максимович Горький с трибуны Первого съезда обратился к литераторам всего многонационального государства нашего и, следовательно, ко всем нам. Он так прямо и сказал о писателях нерусской национальности: «История возлагает на них такую же ответственность за их работу, как и на русских».

Я выделил это положение из доклада Алексея Максимовича, потому что оно определило пути развития национальных литератур в общем многоводном потоке, вернее сказать, многонациональном потоке. Социалистическое, коммунистическое начало проглядывало тут ясно, и это делало поток целенаправленным, идейно вооруженным. Строить будущее, строить социалистическую культуру сообща — вот какую задачу ставил перед нами Первый съезд.

Каждый вынес со съезда свою сокровищницу мыслей и впечатлений, сокровищницу, с которой мы не расстанемся и по сей день. Да и никогда не расстанемся — в ней советы на будущее, руководство к действию. Метод социалистического реализма — одна из великих ее ценностей, теоретическое обоснование нового подхода художника к явлениям жизни, установление партийных принципов для решения творческих задач.

Особенно благотворным было воздействие метода социалистического реализма на прозу, которая, по существу, делала первые шаги в нашей литературе и, прямо скажем, робкие шаги. Ей не хватало окрыленности, зоркости, точности прицела. Не хватало масштабности, умения видеть главное, типизировать его. Социалистический реализм вооружал прозаиков этим умением, да и не только прозаиков, но и поэтов, драматургов, критиков.

Значение Первого съезда не ограничивается каким-то историческим отрезком времени. Ведь мы и сейчас движемся по руслу, проложенному им. Мы и сейчас испытываем на себе его влияние, потому что оно благотворно и в большом и в малом. Разговор о совместном строительстве социалистической культуры, открывавшей новые перспективы для писателей национальных республик, вылился в конкретные дела. Не прошло и года, как московское издательство «Художественная литература» подготовило и выпустило первый сборник произведений узбекских писателей. В него вошли произведения поэзии, прозы, драматургии, дореволюционный и послереволюционный фольклор. Руководствуясь указаниями А. М. Горького, составители стремились дать союзному читателю представление

об узбекской поэзии, прозе и драматургии последнего десятилетия. Около тридцати авторов республики встретились с русским читателем. Встреча эта была знаменательна не только потому, что она была первой, но и потому, что символизировала собой слияние

отдельных национальных литератур с общесоюзной литературой.

Великая река советской литературы становилась полноводнее год от года. Ей суждено было стать спустя полвека могучей.

Ташкент.

ЛЕВ СЛАВИН



ГОРЬКИЙ И МЫ

Сказать «Первый съезд советских писателей» равносильно тому, что сказать «Максим Горький».

Август тридцать четвертого года был жарким, пожалуй, побольше обычного. Особенно вторая половина.

Все было необыкновенно в те особенные дни. И поразительнее всего — наш председатель Максим Горький, на которого мы, делегаты, взирали как на живую легенду.

Случилось так, что накануне съезда я был у него на даче в Горках.

Приглашение пришло неожиданно по телефону и довольно поздно, часов в десять вечера.

Я недоумевал. Мне казалось, что Горький меня не знает. Я, правда, допускал, что имя мое ему, быть может, неизвестно. Когда уже в наши дни, в 1969 году, были опубликованы дневниковые записи и письма Всеволода Иванова, я прочел там к удивлению своему письмо, посланное незадолго до съезда Вс. Ивановым Горькому: «Читали ли Вы в «Красной Нови» роман Л. Славина «Наследник». Многим очень нравится, и моему хорошо написан, отличный роман».

Прибыв к Горькому, я увидел там еще несколько человек, все именитые писатели, к тому же личные друзья Горького. Я понял так, что был зван в эту компанию как представитель писательской молодежи, от «начинающих», что ли.

Признаться, тема разговора не очень занимала меня. Обсуждали вопрос о составе будущего руководства Союза писателей.

Внимание мое — неуголимо страстное! — было поглощено другим: личностью Горького. Впервые я находился так близко к нему. Я весь предался наблюдению, стараясь запомнить все: его наружность, манеры, повадки, глуховатый басок, живую игру необыкновенно выразительного лица с «тигровыми» усами.

До этого только однажды мне посчастливилось наблюдать Горького с близкого рас-

стояния. Это было в Театре имени Вахтангова во время читки его пьесы «Достигаев и другие». Я был среди слушателей, и меня поразила взволнованность Горького. Читал пьесу один из актеров. Горький сидел рядом с ним и кидал на присутствующих застенчиво вопрошающие взгляды. Меня восхищало юношеское беспокойство этого знаменитого, всемирно известного писателя.

Вот и сейчас здесь, на даче в Горках, старик Горький казался мне молодым, несмотря на морщины и седину. И чем больше я вливаюсь в него изучающим взглядом (как я сейчас понимаю, до неприличия пристальным), тем больше мне казалось, что я постигаю его душевную суть: Горький не только казался молодым, он им был. Это выражалось в подкупающем сочетании порывистости и стеснительности, в счастливом даре беспредельно увлекаться очаровавшим его человеком или пленившей идеей. И, наконец, в самой его манере выражаться. В энтузиазме Горького было и вправду что-то неудержимо юношеское. Он говорил о том, что, проводя съезд, мы выступаем как судьи мира, как люди, призванные историей освободить мир трудящихся от зависти, от всех уродств, искажающих жизнь.

Вот какие этические начала поставил фундаментом под наш съезд Максим Горький, и это, конечно, обогатило деловую атмосферу съезда высоконравственным звучанием. Вольное и широкое обсуждение проблем литературы, разумеется, не могло не дать благодетельного толчка нашему искусству. Разве можно было остаться бесчувственным, внимая исповедальному слову Юрия Олеши или волнующей речи Бабеля, который, когда утих гром аплодисментов, вызванный его появлением на трибуне, сказал памятное до сих пор, что «в истории человечества не было такого времени, когда за ведущим классом (а в нашей стране за рабочим классом и его партией) шли бы миллионы и десятки миллионов трудящихся людей...» и назвал этот съезд «потрясающим».

Разве можно было остаться равнодушным к пронзительным словам Всеволода Иванова, стеганувшим по болезненно чувствительному самолюбию иных писателей (признаться, и я не был свободен от этого грешка), по их претензиям считать себя «властителями дум».

Вот эти слова: «То, что мы приняли на вершине горы за тишину и спокойствие вечности, было только необычайной концентрацией нашей молодости, здоровья и...» Тут оратор сделал небольшую паузу, словно заколебался, но, преодолев это, закончил решительно: «...и самоуверенности».

Слова эти вкоренились в сознание, как путеводная нить. Мне сейчас пошел восьмидесят седьмой год. Ко мне нередко обращаются, главным образом литературоведы,истики литературы, иногда просто историки, за сведениями о выдающихся людях, которых я знал лично, либо о событиях, очевидцем, свидетелем, а иногда и участником которых я был. Я превратился как бы в «машину времени», со мной можно совершить поездку, правда, только в одном направлении — в прошлое.

И в этом прошлом для меня незабываем момент, когда из-за председательского стола съезда провозгласили:

— Слово имеет товарищ Лев Славин.

Я поднялся со стула. Сосед, старинный друг Илья Ильф, подтянул длинные ноги, чтобы пропустить меня, и посмотрел с сочувствием.

Я взошел на трибуну, испытывая необычайное волнение. Горький, сидевший в центре президиума, внимательно (как мне показалось) посмотрел на меня и одобительно кивнул головой. Возможно, он вспомнил о моем давешнем посещении его в Горках, где я дерзнул высказать свое мнение о составе будущего Союза писателей. И мне почудилось, что между моими «вчера» и «сегодня» протянулась какая-то связь, пусть и не подающаяся причинной последовательности, но существующая как внутреннее духовное единство.

В своем выступлении я, между прочим, привел слова Виктора Гюго, сказанные им в день его рождения в ответ на вопрос журналиста: «Какое из своих произведений вы считаете лучшим?» «Мое лучшее произведение, — ответил Виктор Гюго, — еще не написано». В этот день писателю исполнилось 85 лет.

Я и сейчас готов повторить сказанное тогда с трибуны съезда свое утверждение: «...мне кажется, что великое произведение советской литературы появится в театре позже, чем в художественной прозе и поэзии».

Прошло полвека с того дня, когда я дерзнул на это предсказание. Но разве я был не прав? Наша литература блеснула такими великими ценностями, как проза Шолохова и Платонова, Булгакова и Олеси, как поэзия Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Но появления советских Шекспира и Островского еще приходится ждать...

Хочу подчеркнуть одну из немаловажных особенностей Первого съезда советских писателей: характернейшей чертой его была самокритика — острая, беспощадная, с перехлестом, моментами доходившая до самобичевания. Исконная русская черта: покаянное самоосуждение и тут же рядом светлые надежды, более того — непоколебимая уверенность в ярком радужном расцвете советской литературы, притом в ближайшем будущем.

Этот комплекс чувств, настойчиво звучащий в речах наших ораторов, с пониманием, а иногда и в восхищением принимался иностранными гостями — Луи Арагоном, Андре Мальро, Рафаэлем Альберти и другими. Нередко, правда, с некоторым оттенком не то чтобы — нет-нет! — с недоверием, отнюдь, а с некоторым оттенком, повторяю, удивления.

Это мягко и осторожно прозвучало в речи Мальро. К нему мы, молодые писатели, я и мои друзья, приглядывались и прислушивались с повышенным интересом. Нам нравился его роман «Условия человеческого существования». Да и сам он не только по литературному, а просто по человеческому счету был обаятелен. В лице его диковинно сочетались энергия и мечтательность.

Что же касается его выступления, то это особый разговор. Перевод речи Мальро читал Олеша. Нельзя было выбрать лучшего чтеца. Слова словно бы скатывались с языка Юрия Карловича — веские и отточенные, они как нельзя лучше подходили к афористической и сдержанной речи Мальро. Помню бурю аплодисментов, вызванную его словами, когда он с восхищением назвал душевное потрясение раненого Андрея Болконского при виде звездного неба высочайшим «поэтическим открытием» Толстого.

Но не кто иной, как тот же Олеша, подметил в речи Мальро — скажем мягко — некое упущение, или, точнее сказать, «преуменьшение». Это относилось к одному из утверждений, которое он преподносил в своей речи как заповедь: «Культура — это всегда учиться. Но, товарищи, те, у кого мы теперь учимся, у кого учились они? Мы читаем Льва Толстого, но у Толстого не было книг Толстого. То, что он нам дает, он сам должен был это открыть...»

В перерыве Олеша поделился со мной своим недоумением:

«Конечно,— сказал он,— Мальро умница. Блестящ! Но с Толстым он дал маху. Сам Толстой признавался, что он учился у Стендаля. И знаменитое толстовское изображение Бородинского сражения в «Войне и мире» сделано по художественному рецепту описания битвы при Ватерлоо в «Пармской обители» Стендаля».

— Вы в этом уверены, Юра?— усомнился я.

— Еще бы! Толстой сам признавался в этом Чехову. А Чехов рассказал Горькому! Давайте спросим у Горького!

— Удобно ли?

— А почему нет? Это так просто.

И мы спросили.

Горький с явным недовольством сдвинул лохматые брови и сказал:

— Это не тема для нашего съезда.

Но надо было знать Олешу получше. Его распахнутая душа не мирилась с дипломатической тактикой.

Он повторил звучно и четко:

— Но все-таки было это?

Горький вздохнул. В конце концов необузданная искренность была и в его натуре.

— Молодые глупыри,— сказал он и доверительно положил руки нам на плечи (признаюсь, я радостно вздрогнул от этого дружеского прикосновения),— хоть об этом вспоминать сейчас несвоевременно, но Антон Павлович в одну из наших встреч в Крыму привел мне признание Толстого, что, если бы он, Толстой, не читал описания сражения в «Пармской обители» Стендаля, ему, наверное, не так бы удались батальные сцены в «Войне и мире». Возможно, это остается справедливым и для сцен скитания Пьера Безухова по полю сражения, если вспомнить «блуждания» такого же «шпака», то есть не военного, а штатского человека, Фабрицио дель Донго в дыму, пламени, среди смертей

Ватерлоо. И что Толстой,— прибавил Горький, понизив голос,— тут же сказал Чехову в раздумье: «Да, у Стендаля я многому научился, прекрасный сочинитель».

Мы с Юрой переглянулись. Вот как, значит, произошла эта «переключка» двух великих романов!

Но тут в голосе Горького зазвучали строгие нотки. И он предостерегающе погрозил нам указательным пальцем (о котором впоследствии влюбленный в Горького Бабель писал в своих воспоминаниях: «...он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец»), повторил назидательно:

— Но на съезде говорить о данной детали в «Войне и мире» неуместно и несвоевременно.

— Но Мальро-то мы можем об этом рассказать?— спросил я Олешу, когда мы отошли от Горького.

Он беспечно махнул рукой:

— Зачем? Пусть пребывает в идиллическом неведении. Оно всегда спокойнее.

Впоследствии о литературном сродстве толстовского и стэндалевского изображения войны написал в своей монографии «Стендаль» Анатолий Виноградов: «Толстой для своих батальных картин пользовался именно изображением битвы при Ватерлоо, как это дано Бейлем (Стэндалем.— Л. С.) в «Пармской обители».

Сейчас, когда я оглядываюсь на полвека, прошедшие со времени съезда, мне трудно судить, какая из моих работ более, а какая менее весома.

Но я знаю, что мой нынешний труд, та тетралогия — серия из четырех романов, связанных идейным, сюжетным и стилистическим единством, хочется назвать это с а г о й о революционных демократах — является прямым эхом съезда, последствием того, что мы там пережили, что отложилось, оказывается, навсегда и что незримо для нас самих жило и развивалось все эти полстолетия, столь насыщенного событиями.

АЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ



МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Когда я выступаю в читательских аудиториях с чтением стихов, воспоминаниями о Первом Всесоюзном съезде советских писателей, мне часто задают вопрос: «Каким образом вы стали участником этого исторического съезда?»

Вопрос естественный: ведь в то время я не был профессиональным поэтом, не издал ни одного сборника, даже в газетах печатался от случая к случаю.

Работая токарем на металлургическом заводе «Серп и молот», я учился в вечернем

институте журналистики и посещал занятия рабочего литературного объединения «Вальцовка», которым руководили А. Серафимович, Н. Ляшко и В. Бахметьев.

На большинство стихов, посылаемых мной в журналы и газеты, получал неутешительный ответ: «Слабо!»

И вот однажды, весной 1934 года, перед началом утренней смены подходит к моему станку старый кадровый мастер Сергей Кузьмич Кузьмин и протягивает газету «Рабочая Москва» (ныне «Московская правда»): «Вот, читай!»

С трепетом разворачиваю газету и вижу на второй странице свое стихотворение «Шаль». Через некоторое время в той же газете была напечатана моя «Песня сталеваров», а затем лирическое стихотворение «Сирень».

Я не посылаю свои стихи А. М. Горькому. Смелости не хватало.

Но вот писатель Владимир Петрович Ставский, работавший тогда в Оргкомитете Союза писателей и готовивший доклад «О литературной молодежи страны» показал мои стихи Горькому. Алексей Максимович пожелал побеседовать со мной.

Я за столом у Горького: воробушек перед орлом!

— Какие вы книги читали? — спрашивает у меня Горький.

— Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шевченко...

— А произведения Толстого, Чехова все прочли?

— Читал, но не всё, — отвечаю.

— Ну, а иностранных писателей? — и он назвал ряд крупнейших имен.

— Многие не знаю и даже о некоторых впервые слышу, — честно признался я.

Алексей Максимович нахмурился и громко хлопнул в ладоши: «Да вы совсем малограмотный человек!.. Вы должны прочитать океан книг! Океан!.. разве можно с таким скудным запасом знаний стать поэтом?! Мы пошлем вас учиться в Вечерний литературный институт, но продолжайте работать в цехе. Работа на заводе — высокая честь и прекрасная школа. Я хорошо знаю: где завод — там рабочий класс, где рабочий класс — там жизнь, а где жизнь — там всегда поэзия!..»

Во всех цехах завода уже знали, что готовится Первый съезд советских писателей. В газетах и по радио называли имена литераторов, избранных делегатами.

Реакция рабочих: вот бы повидать. Хотя бы гостевой билет получить!

После беседы с А. М. Горьким меня извещают о том, что я, девятнадцатилетний токарь, — делегат съезда. Тут же узнали об

этом мои побратимы-заводчане. Не успел я утром перешагнуть порог цеха, меня стали поздравлять: «Ты, Саша, получишь не гостевой, а мандат делегата. Получи его и покажи нам этот славный документ».

...С особым радушием встречал Горький людей труда. Я видел, как обнимал он знатных шахтеров Донбасса — Никиту Изотова и Александра Степаненко.

Говорил Н. Изотов, поднявшись на трибуну: «Нашего Донбасса не узнать! Там, где капиталисты выжимали из рабочих все соки, пресекали в корне всякие культурные запросы, расцветает сейчас новая светлая социалистическая жизнь. Мы строим свои парки, свои стадионы, свои дворцы. Мы перестраиваем весь наш уклад, весь наш быт, мы жадно стремимся к знаниям, к культуре, к социалистической книге. Эту книгу, увлекательную, насыщенную духом великой стройки, понятную для каждого рабочего, советские писатели должны дать. Но всю свою энергию, все свои таланты и знания квалифицированные мастера должны вложить не только в свои книги, но и в воспитание, обучение молодых кадров».

О человеке, произнесшем эти слова, вскоре Горький написал: «Богатырь Никита Изотов... он возвысил свой труд до высоты искусства...»

Много душевных сил отдали советские писатели воспитанию литературной молодежи всех национальностей. Символично, что в шахтерском городе Горловке, где жил и работал Н. Изотов, рядом с памятником этому прославленному горняку, находится редакция старейшей в Донбассе рабочей газеты «Кочегарка». Ее знал и читал В. И. Ленин.

Полвека прошло с тех пор, как комсомолец Борис Горбатов вместе с ленинградским писателем Михаилом Слонимским создали при газете «Кочегарка» из шахтеров литературную группу, ставшую впоследствии основой объединения рабочих писателей Донбасса.

В серии книг «История фабрик и заводов», основанной А. М. Горьким, горловчане издали книги «Наша «Кочегарка», «Донец идет через кряж», «Шахта № 5 имени Ленина», «Донецкий арсенал», «Горловка» и другие. Свыше 30 человек горловчан окончили Литературный институт или продолжают учебу в нем. И неслучайно в один из памятных дней газета «Правда» посвятила литобъединению Горловки целую страницу «И уголь и песни идут на-гора!» и передовую статью «Союз труда и искусства».

А вот другой пример.

Почти на каждое занятие нашего литературного объединения «Вальцовка» приходили столичные литераторы: А. Серафимович

вел беседы о фабуле и сюжете, показывал примеры правки и редактирования, Н. Асеев рассказывал о писательском мастерстве. И так приятно вспомнить, что мы, тогдашние кружковцы, еще по рукописи слушали главы романа «Я люблю» А. Авдеенко и начальные главы книги «Большевикам пустыни и весны» В. Луговского. «В самом деле, мыслимо ли было что-либо подобное в мрачных гузоновских цехах? — писал крупный поэт Ярослав Смеляков в своей статье «Писатели одного завода». — Могут ли похвастать подобным делом нынешние английские или американские заводы? Нет, потому что возникновение и деятельность литературного объединения в рабочем коллективе — это факт социализма, это черта нового мира, одно из свидетельств стирания граней между трудом физическим и трудом умственным».

Литературная группа горловчан носит имя поэта П. Г. Беспощадного, наше имя — «Вальцовка». Мы бываем друг у друга. Читаем на совместных занятиях свои произведения в шахтах и горячих цехах завода. Обмениваемся литературными страницами, знакомимся с новыми книгами.

В 1975 году совместно с горловчанами мы выпустили коллективный сборник рассказов и стихов «Рабочие зори». Высокую оценку нашей коллективной работе дал в предисловии к книге первый секретарь Правления Союза писателей СССР Г. Марков. Он написал: «Если сказать по крупному счету, то, может быть, в объединениях такого типа заключены черты будущего литературы, которая не уходит из той среды, в которой формируются ее люди и которая считает для себя честью и долгом идти плечом к плечу с теми людьми, которые выдвинуты из этой среды, людьми, вооруженными литературным дарованием».

...Шестнадцать дней продолжался Всесоюзный писательский съезд. На нем выступали герои и ученые, рабочие, деятели культуры зарубежных стран. В конце съезда мои товарищи по труду, металлурги «Серпа и молота», настоятельно просили меня сказать слово и передать привет Горькому. Я был не в силах и вообразить себя на высокой трибуне. Ведь рядом в президиуме А. Толстой, Демьян Бедный, О. Шмидт, М. Кольцов, А. Фадеев... Но комсомольцы настаивали: «Передъ съезду привет, горячий, как наша сталь!»

Слово я подготовил. Написал стихи. Послал в президиум записку, утешая себя, что слова мне все равно не дадут. И вдруг 31 августа, днем, председателем называет мою фамилию. А я в это время был в конце зала. Я устремился к трибуне, бежал, слов-

но под ногами пол был раскаленным, как наши только что прокатанные стальные листы.

Начал я темпераментно: «Я, кажется, самый юный делегат съезда писателей, и недаром при выходе и входе дважды заглядывают в мой мандат».

В зале заулыбались. Стало еще тише.

Я оглядел президиум съезда и увидел, что среди именитых людей сидит А. Серафимович, который не раз бывал на занятиях литературного объединения родного мне завода «Серп и молот». В канун открытия Всесоюзного съезда он несколько часов рассказывал нам о героях «Доменной печи» Н. Ляшко, «Цементы» Ф. Гладкова, «Чапаева» Д. Фурманова, «Разгрома» А. Фадеева. И высоко оценил их.

На заводе в это время продолжалась борьба за досрочное выполнение первого пятилетнего плана, шло восстановление кузнечных горнов, строгальных и токарных станков, обновление и усовершенствование вагранок, ремонт прокатных станков и мартеновских печей. Необходимо было сделать все это в кратчайшие сроки. Зачинателем соревнований на заводе стал листопркатный цех, а его героем — красногвардеец Арсений Гладышев. Мы хотели обо всем этом рассказать Александру Серафимовичу, но услышали от него одно только слово: «Знаю!..»

Мы поняли, что Александр Серафимович, перед тем как побывать на наших занятиях, внимательно ознакомился с жизнью завода. Беседуя с нами, он заметил: «Ваше литературное содружество — прекрасные курсы. Верю, что при наличии способностей и постоянной любви к книге ваш кружок станет литературным цехом завода. У вас хорошая заводская газета «Мартеновка». Множество цеховых стенных газет. Считайте за большую честь быть их творцами, постоянными работниками. У нас нет печати «большой» и «малой». Она вся у нас — ленинская».

Мы слушали старого писателя-большевика и диву давались: кто же к кому в гости пришел? Ведь он знал о нас больше, чем мы сами о себе.

— Если желает способный рабочий стать писателем, — говорил нам Серафимович, — имеет дарование. Дорога одна — на завод!

И заметив удивление, в том числе и мое, еще тверже и уверенней подтвердил:

— На завод!.. Настоящих моряков в море воспитывают!.. Рабочая тема неисчерпаемая... Океанская! Завод — это корабль, которому плыть в будущее. На заводе молодых писателей должны интересоваться не «грохот станков и дым высоких труб», а широкие горизонты, цели общества!..

В своем выступлении на съезде А. Сера-

фимович сказал и о нас: «Миллионы корреспондентов в нашей советской печати... несут нам на смену художественную литературу». И далее, углубляя свою мысль, А. Серафимович задал съезду вопрос и сам прекрасно ответил на него: «Откуда же такая громадная сила в нашей художественной советской литературе? Только от одного — от того страшного напряжения, направленности к одной цели, от того громадного внутреннего единства художественного творчества, которое несет в себе советская литература. Эта направленность одна — на постройку социалистического общества».

В этих словах все существо классики proletарской литературы!

После окончания писательского съезда многие его участники выступали на крупнейших предприятиях Москвы и Подмоскovie. Меня, как делегата съезда, включили в бригаду писателей, которая должна была провести ряд творческих встреч с ткачами города Орехово-Зуево. Какова же была моя радость, когда я узнал, что поеду вместе с А. Серафимовичем и Мате Залкой!

— А где же наш бригадир? — пожимая мне руку, задал вопрос будущий легендарный генерал Лукач.

Я не успел ответить, как из машины вышел А. Серафимович. И вот мы вместе. Я во все глаза гляжу на «бригадира». Хорошо понимаю, что это неудобно, но глаза не подчиняются. И в дороге и позднее, в гостинице, мне хотелось ему сказать: «Дорогой мой старший друг и наставник, ведь я ваш ученик. Ведь это вы наставили меня на путь истинный. Ведь это вам я обязан и А. М. Горькому своими скромными успехами и своим делегатским мандатом. Помните ли меня?»

И он вспомнил:

— Вы с «Серпа и молота»?

— Да, Александр Серафимович.

— Народ у вас золотой! Я доволен, что вы стали понимать, что героический завод, вписавший ряд ярких и чудесных страниц в историю хозяйственных и военных побед нашей Родины, хранит в своей летописи и рождает в каждом сегодняшнем дне живой материал и для лирики, и для песни, и для сюжетного стиха, и для повествовательной поэмы.

А после того как я прочел ему свои новые стихи, он заметил: «Настоящее произведение — большое могучее дерево, а это пока первые робкие ростки. Зеленые, сочные, но первые».

«Боже мой, какое совпадение! — подумал я. — Ведь почти то же самое говорил мне весной Алексей Максимович Горький. Ка-

кая великая любовь к рабочему классу, какая удивительная вера в красоту и силу его духа!»

Во время поездки к орехово-зуевским ткачам мне приходилось быть свидетелем бесед А. Серафимовича с Мате Залкой. Александр Серафимович в своей «форменной» блузе, серой с белым отложным воротником, Мате Залка в светлом кителе, с орденом боевого Красного Знамени. Был он очень моложав, с веселыми карими глазами. В развороте плеч, во всей осанке угадывалась подтянутость военного человека.

— Да, — говорил Мате Залка своему собеседнику, — железный поток революции смел с российской земли всю самодержавную нечисть, а вот до моей многострадальной Венгрии еще не докатился. Фашистский режим Хорти заочно приговорил меня к смертной казни, разлучил с дочерью и, как огня, боится моих книг.

Александр Серафимович, хорошо понимая венгерского писателя-коммуниста, отвечал:

— Но ведь железный поток не иссяк, он еще только набирает силы. Потому-то Хорти и боится ваших книг.

Взгляд А. Серафимовича был ласков и добр. Когда на встрече с ткачами он представил Мате Залку, то характеризовал его как писателя-бойца, интернационалиста и убежденного коммуниста. Говорил, что пламень его настоящих и будущих книг дойдет до трудящихся многих стран и в первую очередь до народа его родины — Венгрии, которая обязательно будет свободной. И еще раз повторил: «Обязательно!»

Текстильщики горячо аплодировали его словам.

Съезд провел двадцать шесть заседаний, и на каждое из них я являлся аккуратно, как в цех на работу. Я слушал выступления всех ораторов, вел записи и систематически публиковал «Записки делегата» в заводской газете «Мартеновка».

Скажу в заключение, что из рядов «Вальцовки» вышло шестнадцать профессиональных литераторов — членов Союза писателей, создавших много интересных произведений. И своими успехами мы обязаны поддержке, вниманию старших товарищей, писателей горьковской школы. Скольких они приобщили к книге, убедили пойти учиться в вечерние техникумы, институты, стать мастерами и инженерами, повышать знания, совершенствовать производственную квалификацию. Это ли не единение творчества и труда, это ли не результаты работы писательского съезда. столь воодушевившего работников культуры нашей огромной многонациональной страны.

ВИКТОР ШКАОВСКИЙ



СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ

Не хочу писать юбилейно. Что такое пятьдесят лет? Это пора напряженного труда, большого опыта, когда, пройдя перевал, видишь перед собой еще не покоренные вершины.

Вершины этих гор гениально описаны Толстым.

Еще рано праздновать юбилей.

К 125-летию со дня рождения Пушкина Маяковский написал:

У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчатся болтая.
будто бы весна —
свободно
и раскованно!

нельзя дважды войти в одни и те же воды. Не хочу занимать у читателя час-другой, хочу просто вспомнить — из сегодняшнего далека, — как это было.

1934 год. Август. Большой зал Дома союзов украшен цветами и портретами: Пушкин, Гоголь, Толстой. Народу вокруг дворца собралось так много, что пришлось перекрыть движение на близлежащих улицах. Ждали открытия Первого съезда советских писателей.

Я не помню, где был Горький в это время. Сегодня мне кажется, — он стоял у распахнутых дверей как гостеприимный хозяин.

Первый съезд справедливо называют горьковским. Трудно переоценить то, что сделал Горький для его организации.

Горький верил, что в эти двери войдет будущее.

Пятьдесят лет прошли, как вода. Что построено за это время? Что ждет нас впереди?

Мне трудно говорить, так как я сам причащен к этому строительству. Не буду подводить итогов и прогнозировать.

Вглядываюсь через толщу лет. Был праздник. Было шумно, звучали языки разных стран. Была молодость.

Пушкин, Гоголь, Толстой с интересом, казалось, посматривали со стен зала на незнакомое племя.

Просматривая стенографический отчет Первого съезда, я обнаружил цифру: средний возраст делегата — 35,5 лет.

Сейчас, наверное, уже за 60.

Мы постарели. Нас стало больше, но мы постарели. И даже погрустнели.

Первый съезд я вспоминаю как молодость. Среди делегатов я был не самым старым. Но в этой «буче, боевой, кипучей», чувствовал себя старше своих сорока лет.

Почти об этом самом говорил на съезде Юрий Олеша. Он откровенно делился своими творческими планами, рассказывал о ненаписанной им повести «Нищий». «Опустившись на самое дно, босой, в ватном пиджаке, иду я по стране и прохожу ночью над стройками. Башни строек, огонь, а я иду босой. Однажды в чистоте и свежести утра я прохожу мимо стены. Бывает иногда, что в поле, недалеко от заселенной местности, стоит полуразрушенная стена... Я начинаю идти от угла и вижу, что в стене арка — узкий вход с закругленной в виде арки вершиной, как это бывает на картине эпохи Возрождения. Я приближаюсь к этому входу, вижу порог. Перед ним ступеньки. Заглядываю туда и вижу необычайную зелень... Я переступаю порог, вхожу и потом смотрю на себя и вижу, что это молодость, вернулась молодость. Ко мне вдруг, неизвестно почему, вернулась молодость... Я стал молод. Вся жизнь впереди».

Олеша говорил о том, что в страну вернулась молодость.

Вот и я заглядываю в эту арку сегодня.

Шумная, многоязычная, возбужденная толпа, как разлившаяся река, заполнила зал старого дома, видевшего Толстого и Достоевского. Люди приехали со всех концов страны. Они были призваны революцией в литературу. Писательство охватило тогда страну. Искусство спустилось к народу. Народ утверждал свои права на искусство.

В свое время я долго ломал голову, что означают некрасовские строки:

Эх! эх! придет ли времечко.
Когда (приди желанное!..),
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Потом догадался: «глупый милорд» — это лубочная книга о Георге, «милорде английском». Книга эта издавалась в России огромными тиражами с конца XVIII века до 1918 года. Редкий крестьянский дом обходился без нее. Те, у которых не было книги, переписывали ее от руки.

А про автора ее Лев Николаевич Толстой говорил, что не он, не Толстой знаменит, есть писатель куда известнее, которого знает вся Россия,— Матвей Комаров. И, наверное, чуть завидуя, в то же время с иронией, Толстой грустно добавлял, что Матвей Комаров лучше его,— потому что народнее.

Собравшиеся на Первый съезд молодые писатели знали, конечно, уже и Белинского, и Гоголя, и Некрасова. Но в литературу они принесли свое видение мира. Сыновья своих отцов, зачитывавшихся «милордом», они создавали новую «народность» в литературе.

Будем помнить свое прошлое. Не будем расписывать, кто занял первое место, а кто второе,— потомки Матвея Комарова создавали новую литературу.

Народ утверждал свои права на искусство. Я помню многочисленные приветствия съезду. Между докладами в зал входили делегации от пионеров, военнослужащих, студентов, колхозников, рабочих. Все они говорили — нет, требовали!—«опишите нас! напишите про наш завод! расскажите о нашей работе, о наших чувствах, о наших радостях!». Рабочие московского завода предлагали даже взять шефство над каким-нибудь писателем. А одна молодая колхозница просила Шолохова переписать некоторые сцены «Поднятой целины», относящиеся к женщинам.

Наша наивность, даже какая-то провинциальность, о которой говорил на съезде Эренбург,— это наивность молодости, молодости нашего народа.

Две недели не расходилась толпа у выхода из Дома союзов. Москвичи хотели посмотреть на своих писателей. В городе только и говорили о необычном съезде.

Выступали Горький, Федин, Фадеев, Иванов, Бабель... В перерывах делегаты расходились по фойе, коридорам, лестницам дворца. Люди знакомились. Никогда не видевшие друг друга раньше, внезапно оказавшиеся вместе — следуя какой-то исторической закономерности,— они знакомились и заговаривали друг с другом. Помню большие делегации писателей Грузии, Средней Азии. Разноречивая, многоязычная толпа осознавала себя. Встречались культуры, прежде не знавшие друг друга.

На съезде выступали писатели больших и малых народов, тех, которые до революции не имели права даже на свой язык.

Было оживленно, как бывает оживленно на судовой палубе перед спуском на воду большого корабля.

«Куда ж нам плыть?..» Мы напрягали глаза, всматриваясь в будущее.

Нас было, в общем-то, не много — около шестисот делегатов. А Горький приводил

цифру: в Союзе советских литераторов в 1934 году — 1,5 тысячи человек.

Нас было немного. Но это был съезд писателей.

Все тогда, в 1934-м, было впервые. И здание будущей советской литературы мы строили без архитектурного плана, не имея опыта в таком строительстве.

На съезде было много людей, еще новых в литературе, много крестьянских писателей. Они растерянно и восхищенно смотрели вокруг. Для них съезд стал колыбелью.

Помню одного очень молодого писателя. Он стоял, обхватив руками целый куст свежесорванных цветов. Видны были только голова и ноги.

О чем говорили на съезде? О русской литературе и национальных литературах. О социалистическом строительстве и о своих творческих планах. Много говорили — необычайно много — о детской литературе, начинавшейся тогда в нашей стране. Много спорили о современной драматургии. О современной западной литературе (особенно — о Джойсе). Не боялись спорить друг с другом (особо повезло Эренбургу), не боялись говорить о трудностях, о неудачах нашей молодой литературы.

Слово «высокохудожественный», изобретенное Горьким, попало в протоколы, осталось, много раз повторенное, на бумаге. И стало уже требованием.

Прошло время. Смола стала камнем, трава — деревьями. А слово сохранилось, как бабочка в янтаре.

Помню, говорили много об опасности надвигающегося фашизма.

Я видел фашизм еще в 1922 году, в Берлине. Я видел, как расходились со своих собраний рабочие — социал-демократы. Они надевали на головы толстые шерстяные шапки, чтобы защититься от ударов, и отламывали от стульев ножки, чтобы было чем отбиваться от поджидавших их у выхода национал-социалистов.

Меньше чем через год, в 1923-м, в Мюнхене вспыхнул «пивной путч» Гитлера.

Время показало, что сказанное о фашизме на съезде не было преждевременным.

О чем говорил я на съезде? Говорил недолго, но сразу обо всем. О Достоевском и его пушкинской речи. О Блоке и его споре с Вольтером о гуманизме.

Этот спор состоялся в Петрограде, в Доме искусств. Вольтер говорил, что гуманизм не умрет, будет существовать, не изменяясь. Блок говорил о крушении старого европейского гуманизма.

В Доме искусств тогда жило много писателей. По вечерам мы собирались на докла-

ды. Многие слышали этот спор. Спор был продолжен Первым съездом. Но как все было непохоже! Наши случайные сходки в холодном блокадном Петрограде — и залитый светом, праздничный московский зал 1934 года.

Говорил я о чрезмерной «чувствительности» тех дней, сентиментальности пришедшего к власти молодого пролетариата. Сентиментализм, еще не ставший романтизмом. Потом мне возражали Кассиль и Соболев. Говорил еще о Маяковском и о том, что революции все-таки нужны песни.

Что я могу сказать теперь об этой путанице и теперь такой далекой речи?

Мы часто бываем невнимательны к нашему прошлому и к настоящему, окружающему нас. Я упрекал Достоевского в измене революции. Время показало, что я был неправ. Упреки свои я снял книгой «За и против». А новые разыскания в архиве III отделения свидетельствуют о сложности отношения Достоевского к революции.

Свое завещание — знаменитую пушкинскую речь — Достоевский произнес незадолго до смерти, в 1880 году, в Колонном зале Благородного собрания, — в том зале, в котором спустя 54 года состоялся Первый съезд писателей.

Пушкинские празднества 1880 года были, мне кажется, первым и единственным съездом писателей дореволюционной России. В зале тогда сидели Тургенев, Островский, Григорович, Иван Аксаков, Аполлон Майков...

Ньютон говорил, что если он и смог что-то создать, то это только потому, что он стоял на плечах гигантов, работавших в науке до него.

Достоевскому после его речи вручили лавровый венок. Ночью Достоевский поехал

к памятнику Пушкина и положил венок на его постамент.

Достоевский, конечно, не мог знать, что спустя много лет рядом с Пушкиным встанет Маяковский. Он не мог знать, что Пушкина будут читать на льдине челюскинцы (об этом рассказывал на съезде Шмидт).

Трудно знать свое будущее. Но у нас есть прекрасное прошлое — наше начало.

Вспоминаю Первый съезд. Мы чувствовали тогда, что принадлежим одной стране, нас соединяло что-то, находящееся вне нас.

Мы строили здание будущего.

«Союз писателей создается не для того, — говорил в день открытия съезда Горький, — чтоб только физически объединить художников слова, но чтобы профессиональное объединение позволило им понять свою коллективную силу, определить с возможной ясностью разнообразие направлений ее творчества, ее целевые установки и гармонически соединить все цели в том единстве, которое руководит всею трудотворческой энергией страны».

Мы открыли наши двери будущему. Мы открыли свои души навстречу ему.

Но зачем нам все это вспоминать? Я приведу еще одно высказывание. Оно принадлежит 6-летнему мальчику. Он сказал Агнии Барто: «Вот съедутся писатели со всех сторон, со всех городов, а Максим Горький прилетит на самолете «Максим Горький». Все писатели сядут на стулья и будут думать — какие им писать книги. Пускай пишут так: или уж совсем как правда, или уж совсем чудно».

Давайте, оглянувшись назад, на съезд писателей, подумаем, какие книги нам писать. Давайте писать и «правду» и «чудно», не забывая о том, что сделано.

В. ПОПОВ, Б. ФРЕЗИНСКИЙ



«ЕСТЬ У НАС ОБЩАЯ ЦЕЛЬ»

По следам одной неопубликованной переписки

Все было впервые. Сам съезд, собравший представителей разноязычных литератур. Состав его участников — пролетарские поэты и недавние «попутчики», авторы единственной книжки и авторы, переведенные на многие языки мира. Заинтересованно и всесторонне обсуждаемая программа — задачи, проблемы и метод советской литературы. Провозглашение гуманизма одним из главных лозунгов творчества. обстоятельный и конкретный анализ развития национальных литератур. Приветствия метростроителей и пионеров, рабочих Трехгорки и активистов Осоавиахима. Участие в дискуссиях зарубежных гостей. Свободная и равноправная полемика. Единое чувство ответственности перед читателями и страной. Толпы москвичей, ежедневно приветствующих писателей у Дома союзов. Молодость съезда. Выстраданный оптимизм, порождавший взволнованную исповедальность выступлений.

Доклады, выступления и сама праздничная атмосфера съезда были итогом огромной (длиною более чем в два года) работы по реализации постановления ЦК ВКП(б) о роспуске РАППа и создании Союза советских писателей, работы, протекавшей не только в Оргкомитете, но в определенном смысле и в сознании писателей. Как все это изменило литературную жизнь 30-х годов, можно почувствовать на примере многих писательских судеб и книг. Достаточно типична в этом плане творческая судьба И. Г. Эренбурга и история создания и издания его романа «День второй». Приводя здесь некоторые не опубликованные ранее письма Эренбурга О. Савичу, Е. Полонской, В. Мильман, письмо Р. Роллана (полностью), мы решили дать их на более широком фоне литературного процесса тех лет, пиком которого стал Первый съезд советских писателей. Эренбург принял в его работе самое деятельное участие. Заметную роль в творческой съездовской дискуссии сыграл и роман «День второй» — одна из тех книг, о которых не раз говорилось в выступлениях делегатов.

Произведения Ильи Эренбурга 20-х годов — романы, сборники стихов и новелл, путевые очерки и статьи — вызывали неизменный интерес читателей. Сатирические особенности дарования Эренбурга были замечены сразу.

«Его глаза вскрывают, как нож хирурга, — отмечал еще в 1923 году писатель О. Савич. — Что делать, если ножу дано вскрывать только гной и раны». Но эту специфику писательского дарования Эренбурга учитывали в то время далеко не все. Рапповская критика подошла к его творчеству совершенно иначе. Пока сатира Эренбурга обращалась на Запад, она удостоивалась похвал, но как только автор касался тех или иных сторон жизни Советской России, то подвергался сокрушительному разносу. Собственно, не он один. Произведения многих писателей-«попутчиков», согласно рапповским теориям, классифицировались примерно так: мелкобуржуазная литература (А. Толстой, М. Булгаков, И. Эренбург), мелкобуржуазная литература (Б. Пильняк, Л. Леонов, К. Федин), левое крыло мелкобуржуазной литературы (И. Бабель, Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, Б. Лавренев, Н. Тихонов) и т. д. В нескольких редакционных статьях «Правды» в 1931 году делались попытки унять тенденциозную рапповскую критику, но становилось все яснее, что для этого нужны более решительные меры.

Живя многие годы на Западе, Эренбург воспринимал сложности советской литературной жизни на фоне мрачных европейских событий. Его письма той поры передают нарастающее смятение. 25 января 1931 года Эренбург пишет своему близкому другу поэтессе Е. Полонской: «Был в Берлине, в Чехии, в Швейцарии. Европа мрачна и непонятна. Все ее жесты напоминают жесты тривиального самоубийцы... Однако я все еще работаю — иначе нельзя, а если нет под рукой «любовной лодки», то и не тянет на простейший конец. Мне обидно, что ты не могла прочесть моих последних книг, они бы тебе сказали наверно больше обо мне, чем эти несладкие ламентации. Объективно говоря, это попросту ликвидация переходного и заранее обреченного поколения. Но совместить историю с собой, с котлетами, тоской и прочим — дело нелегое...»

«Совместить историю с собой» помогил Эренбургу две поездки 1931 года — в Испанию и Германию. В Испании Эренбург увидел молодую республику и народ, пробуждающийся к демократической жизни. Благородство и доброта испанцев, их способность к са-

мопожертвованию поразили Эренбурга. «Я встретил людей,— писал он в «Книге для взрослых»,— которым невыносимо трудно жить, они улыбаются, они жали мне руку, говоря «товарищ», они храбро шли на смерть ради права жить. Это было приговорительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке». После Испании Эренбург во второй раз в 1931 году оказался в Германии. Здесь к власти стремительно шел фашизм. «Я вернулся в Париж мрачный,— вспоминает Эренбург,— буря надвигалась... я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять свое место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы...»

В двух книгах, написанных в начале 1932 года,— в сборнике очерков «Испания» и в повести «Москва слезам не верит» — отчетливо выразилось новое понимание Эренбургом ответственности писателя. Но эти сдвиги в его мироощущении, поиски положительного идеала были замечены критикой не сразу.

23 апреля 1932 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». 24 апреля его опубликовала «Правда». Постановление лаконично и четко. В нем подтверждалась целесообразность создания в свое время особых пролетарских организаций в области литературы и искусства, но далее отмечалось, что в новых условиях эти организации лишь тормозят размах художественного творчества. За преамбулой следовали выводы: «ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей» и «объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый Союз советских писателей». Аналогичные изменения проводились «по линии других видов искусств».

Илья Эренбург был в это время в Париже и знакомил с городом приехавших во Францию В. Киршона и А. Афиногенова. О роспуске РАППа он узнал из «Юманите», и значение этого события оценил только по реакции Киршона (одного из лидеров РАППа), который немедленно вернулся в Москву. «Я понял,— замечает по этому поводу Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь»,— что ликвидация РАППа — дело серьезное, и приободрился».

27 апреля в Москву из Италии приехал Горький, а 15 мая «Правда» сообщила о решении литературных организаций РСФСР образовать Оргкомитет по подготовке съезда

советских писателей. Почетным председателем Оргкомитета был избран А. М. Горький, председателем — крупный партийный работник, критик и редактор И. М. Гронский. Все имущественные и финансовые дела РАППа передавались Оргкомитету. Началась практическая работа по созданию Союза советских писателей.

В мае 1932 года серьезные изменения произошли и в жизни Эренбурга — он стал постоянным корреспондентом газеты «Известия» в Париже.

Решение «занять свое место в боевом порядке», к которому Эренбург пришел в конце 1931 года, диктовало необходимость качественно новой для него литературной работы. Так возникла мысль о поездке в Сибирь и на Урал, чтобы написать роман о советской молодежи на стройках пятилетки. Идея такой поездки не впервые приходила к Эренбургу. Еще в январе 1926 года он писал из Парижа Полонской: «Что ты думаешь о мыслимости как моральной, так и материальной (оплачивая «вечерами») поездки Урал — Сибирь? Я отсюда ничего определить не могу». Но то, что тогда было неопределимым, теперь приобретало черты реальности.

Эренбург приехал в Москву в конце августа 1932 года. «Сейчас,— заявил он корреспонденту «Литературной газеты»,— меня особенно интересуют сдвиги в сознании людей нашей страны. Меня интересует жизнь нового поколения, которое практически строит страну». Эренбург не был в Москве шесть лет. Многое изменилось за это время. Заметны стали и перемены в литературной жизни. В середине августа Оргкомитет по подготовке писательского съезда стал всесоюзным, объединив все республиканские оргкомитеты. Работа по созданию Союза писателей шла энергично.

В московском Доме писателей Эренбург провел встречу с литераторами столицы, а затем вместе с членами Оргкомитета участвовал в чествовании Анри Барбюса. Главной же заботой Эренбурга в Москве была организация сибирской поездки.

Еще в 1931 году «Известия» направили бригаду писателей на крупные стройки Урала и Сибири. Почину «Известий» последовали издательства и толстые журналы. Помимо Урала и Сибири писатели увидели Днепрострой, Сталинградский тракторный, строительство магистралей и каналов. Впечатления были сильными и быстро трансформировались в литературные произведения. 11 марта 1932 года А. Малышкин рассказывал на страницах «Литературной газеты» о работе над романом «Люди из захолустья», а В. Катаев — о завершении книги «Время, вле-

ред!». Летом 1932 года на Урале по приглашению Уральского обкома ВКП(б) работал над историко-революционной прозой Борис Пастернак. В июле 1932 года фронт писательских бригад стал международным — на уральские стройки отправился Луи Арагон с группой революционных писателей Запада.

Илья Эренбург еще в Париже решил уделить главное внимание Кузнецкой стройке. В двадцатые годы он много ездил по европейской части страны, выступал с чтением прозы и лекциями. Теперь Эренбург ехал не как частное лицо, а по командировке «Известий». Маршрут был установлен такой: Москва—Кузнецкстрой — Томск—Новосибирск — Свердловск — Москва. Поездка в Сибирь и на Урал была очень насыщенной.

Строительство Кузнецкого комбината шло уже три года, на нем было занято 220 тысяч человек. В 1932 году в Кузнецке, вспоминал Эренбург, «уже пылали первые домны, и в литературном объединении юноши спорили, кто писал лучше — Маяковский или Есенин... Огромное полотно было написано двумя красками — розовой и черной; надежда жила рядом с отчаянием; энтузиазм и злоба, герои и летуны, просвещение и тьма — эпоха одним давала крылья, других убивала... энтузиазм вдохновлял молодежь на ежедневные и малоприметные подвиги».

Все время, что Эренбург провел в Кузнецке, было отдано знакомству со стройкой и ее людьми. Впервые, встречаясь с читателями, Эренбург не рассказывал, а расспрашивал; он провел в Кузнецке всего один литературный вечер.

В химкорпусе Томского университета Эренбург беседовал с научными работниками, встречался с местными писателями, побывал у студентов. Затем Новосибирск. Снова встречи с писателями, журналистами, рабочими. Из Новосибирска Эренбург выехал в Свердловск. С дороги он сообщает Савичу: «...пишу в поезде; еду из Новосибирска в Свердловск. Видел Кузнецкую стройку, шорцев, дома, грусть и студентов Томска, «Сибчихаго», т. е. Корбюзье и пыль, тайгу и степи. Еще недавно было бабье лето, ходил по Томску без пальто, зима пришла сразу — ледяным ветром, выпал снег. Сейчас здесь голая степь, кой-где она побелена... Голова моя забита до отказа. Свердловск смотрю из жадности. Устал так, что в вагоне все время сплю тупым и тяжелым сном. В Москве буду 19-го, если попаду на поезд... Я провел уже 12 ночей в вагоне (не считая пути из Парижа в Москву). Ем когда как, но привык и ко щам. Курю что попадется. Мысль о литературной работе привлекает и страшит...»

В Свердловске Эренбург осмотрел Уралмашстрой, Верх-Исетский завод, Гранильную фабрику, Втузстрой. Состоялась и встреча с местными литераторами, издателями, работниками театров. «У нас много больших талантливых писателей, но еще мало больших талантливых произведений», — сказал Эренбург на этой встрече. — Наша литература до сих пор увлекалась событиями и вещами, забывая о самом главном — о живых людях, либо показывая их такими, какими они должны или не должны быть. Такая педагогическая устремленность, полезная, может быть, сама по себе, далеко не исчерпывает всей воспитательной роли художественной литературы».

Живые люди Кузнецкстроя запомнились Эренбургу навсегда.

Вернувшись в Париж, Эренбург решил опубликовать некоторые из записей и документов, собранных в поездке. В первом номере журнала «La Nouvelle Revue Française» за 1933 год он печатает стенограммы бесед со студентами-физиками, закончившими рабфак Томского университета, и их письма. В предисловии к этой публикации Эренбург говорил: «Обычно писатель не знакомит читателей с различными материалами, которые помогли ему написать книгу; но мне кажется, что эти документы представляют собой ценность независимо от моей работы. Многим они покажутся более убедительными, чем самый удачный роман».

Непосредственная работа над книгой закончилась только в начале марта 1933 года. «...почти каждый день, — вспоминал впоследствии Эренбург, — ко мне приходил И. Э. Бабель, читал страницы рукописи, иногда одобрял, иногда говорил: нужно переписать еще раз, есть пустые места, невыписанные углы... Порой, снимая после чтения очки, Исаак Эммануилович лукаво улыбался: «Ну, если напечатают, это будет чудо...» Дочитав последнюю страницу, Бабель сказал «вышло»; в его устах для меня это было большой похвалой...»

Эренбург умел давать названия своим книгам. «Я назвал мою повесть «День второй». По библейской легенде, мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи; во второй — твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби».

Сохранившиеся письма Эренбурга к В. А. Мильман, сотруднице «Вечерней Москвы», выполнявшей с 1932 года обязанности его

московского секретаря, содержат интересные сведения о работе над книгой «День второй» и о пути ее к изданию.

14 января 1933 года Эренбург сообщает: «Написал свыше трети романа, в котором будет листов 15, если не больше. Роман — советский». 25 января: «...посылаю по Вашей просьбе первую главу романа — она цельней всего в виде отрывка. Очень сомневаюсь, что подойдет. Только не резать! Я сижу все время над романом. Написал половину. Хочу кончить к концу марта». Эренбург не случайно послал для публикации первую главу. Написанная с эпической силой, она дает человеческую панораму строительства, на фоне которой разворачиваются основные конфликты романа. В первой главе «Дня второго» с непривычной для прозы тех лет прямой говорится о жестких условиях стройки. Противники романа охотно цитировали первую главу, обвиняя автора в сгущении красок и преклонении перед стихийностью. Стоит в этой связи напомнить, что в тяжкие дни 1942 года журнал «Спутник агитатора» напечатал отрывок именно из первой главы «Дня второго» как одно из глубоко выстраданных высказываний о Родине и патриотизме.

8 февраля Эренбург сообщает Мильман: «Уже перевалил хребет»; 20-го: «Я по-прежнему исступленно работаю. Через две недели закончу роман»; 3 марта: «Я посылаю Вам статейку «Парагвиана» об эмигрантах. Кажется, весело. Прошу оценить: три дня тому назад я кончил роман и тот час же написал для Вечерки статейку... Сейчас делаю последние поправки и через несколько дней пошлю рукопись в Москву. Роман уже переводят. Можете о нем дать заметку в «Литературной хронике».

16 марта в «Вечерней Москве» появилась информация: «Илья Эренбург на днях закончил в Париже большой роман "День второй,"». Это совпало с окончанием второго пленума Оргкомитета советских писателей и принятием постановления о созыве Первого съезда в Москве 20 июня 1933 года.

Приближалась годовщина постановления ЦК — подводились первые итоги. А. Толстой говорил на пленуме ленинградского Оргкомитета: «Этот год является преимущественно годом освоения материала и освоения писателями самих себя. Но и итоги этого года показывают, что 23 апреля приблизило нас к высшей форме искусства». М. Козаков сказал корреспонденту «Литературной газеты», что писатели за прошедший год «стали уверенней, честней и необходимей: ибо служение, но не служба, не та бездушная, ремесленная, бесстрастная служба, которой добивались некоторые печальной памяти то-

варищи из РАПП». На пленуме Оргкомитета его председатель И. М. Гронский заявил: «Что мы требуем от писателя? Пиши правду о нашем развитии... Пишите о том, как строится здание социализма, с какими трудностями мы сталкиваемся, как мы эти трудности преодолеваем... Мы будем судить о работе писателя только по его произведениям и не по чему-либо другому... Мы не требуем от вас, чтобы вы писали агитки... Мы требуем от вас большого искусства».

Книга Эренбурга «День второй» безусловно отвечала объективной потребности страны в правдивых художественных произведениях. Однако издательство «Советская литература», куда была направлена рукопись эренбургского романа, предпочло не брать на себя ответственность за ее издание. Эренбург вспоминал: «Вскрсе Ирина (дочь писателя.— Л., Ф.) мне сообщила, что рукопись вернули: «Передайте вашему отцу, что он написал плохую и вредную вещь»...» Рукопись была предложена издательству «Молодая гвардия», но и там не могли решиться на ее издание. Находясь в Париже, автор был бессилен как-либо повлиять на ход событий. И тогда, вспоминает Эренбург, «я решился на отчаянный поступок: напечатал в Париже несколько сот нумерованных экземпляров и послал книги в Москву — членам Политбюро, редакторам газет и журналов, писателям... несколько месяцев спустя я получил длинную телеграмму от издательства: высылают договор, поздравляют, благодарят». Правда, окончательно вопрос об издании книги был решен несколько позже.

19 мая 1933 года Горький возвратился в Москву из Италии, а уже 5 июля Фадеев докладывал на заседании президиума Оргкомитета о беседе группы писателей с Горьким, который активно включился в работу по подготовке съезда, став председателем Оргкомитета.

Эта работа благотворно сказывается и на тоне литературной критики, которая пытается отойти от схематизма и предвзятости. Так, анализируя последние книги Ильи Эренбурга, Инн. Оксенов отмечал: «Пусть с ошибками, с оглядкой на старое, Эренбург тем не менее приближается к нашему пониманию действительности, и надо думать, что ближайшие его произведения уже полностью войдут в актив большого искусства социалистической эпохи». Однако рукопись «ближайшего произведения» все еще лежала без движения.

4 сентября Эренбург получил письмо от Романа Роллана: «Только что прочитал Ваш «День второй». Это самая прекрасная, самая содержательная, самая свободная из книг, прочитанных мною о новом советском чело-

веке-созидателе. В ней чувствуется редкий ум — живой, — который проникает в сущность каждого человека, схватывает разнообразие явлений в жизни людей и затем любит высказать тем, что дал «День творения мира». Я давно ждал эту книгу, надеялся, что она будет. И вот она появилась. Поздравляю Вас. Я очень рад. Будет полезно, если она выйдет и по эту сторону Горнила. Она рассеет немало недоразумений как у нас, так и у вас. Эта книга содействует делу Революции, помогая многим открыть глаза на Революцию, а также и ей самой открыть глаза на себя. Я не буду сейчас говорить о больших литературных достоинствах Вашей книги. Меня восторгает Ваша непринужденность в обращении с таким насыщенным материалом и Ваше умение внести в него ясность».

21 сентября Эренбург пишет Мильман: «Жду все также мучительно новостей... Говорил ли Бабель с Горьким?.. Письмо Романа Роллана я Вам послал. Теперь посылаю несколько цитат из статей французской печати о романе. Напишите, что я могу еще сделать».

Наконец, 26 сентября Эренбург получает письмо редактора «Литературной газеты» С. Динамова, в котором сообщалось, что директору издательства «Советская литература» даны указания принять «День второй» к печати. 16 января 1934 года книга была подписана в печать, и в конце месяца первые экземпляры из семи тысяч ее тиража вышли в свет.

В январе—феврале 1934 года в Москве заседал XVII съезд ВКП(б), названный «съездом победителей». Впервые на партийном съезде не было оппозиции. «Успехи действительно у нас громадны. Черт его знает, если по-человечески сказать, так хочется жить и жить (смех), на самом деле, посмотрите, что делается. Это же факт! (Шумные аплодисменты)» — эти эмоциональные слова С. М. Кирова выразили общее настроение делегатов.

Решения XVII съезда ВКП(б) и сама его атмосфера в значительной степени определили характер работы не только Оргкомитета, но и Первого съезда советских писателей. В марте 1934 года начались республиканские писательские съезды и была установлена новая дата созыва Всесоюзного съезда (20 июня); в мае — опубликован проект Устава Союза писателей и создана комиссия во главе с П. Юдиным по приему в члены Союза.

Узнав о выходе в Москве своего романа, Эренбург писал Мильман: «Я очень радуюсь выходу «Дня второго»... Очень прошу Вас подписаться в бюро вырезок и следить за

отзывами... Все, что услышите и увидите о книге, пожалуйста, сообщите». Отзывы о романе появились, однако, не сразу.

18 мая одновременно «Известия» и «Литературная газета» опубликовали две большие статьи о романе, содержащие диаметрально противоположные его оценки. С этих статей, по существу, и начинается многообразная критика романа «День второй», вылившаяся в широкую дискуссию.

Статья А. Гарри «Жертвы хаоса» была напечатана в «Литературной газете» с примечанием от редакции: «Не разделяя мнения т. А. Гарри о романах В. Катаева и И. Эренбурга, мы печатаем его фельетон в порядке обсуждения...» Обсуждение, однако, началось с грозной ноты — «День второй» объявлялся в статье Гарри «апологией брехни о пятилетке». Наличие в статье комплиментов типа «ценнейший вклад в нашу художественную литературу» еще более запутывало читателей.

Появившаяся в тот же день в «Известиях» статья «День второй Ильи Эренбурга» давала иную оценку: «Это не «сладкий» роман. Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни, но одновременно показывающий в образах живых людей, растущих из недр народной массы, куда идет наша жизнь, показывающий, что все эти тяжести народная масса несет незря, что они ведут к построению социализма и что это строительство одновременно творит новое человечество. Книга Эренбурга — наиболее убедительная книга... о наших промышленных стройках, как книга Шолохова до сих пор является наиболее убедительной из книг о коллективизации». Были, впрочем, в известинской статье и такие любопытные строки: «Илья Эренбург начал свой день в т о р о й... Мы будем ждать новых его творений, которые покажут, в какой мере ему удалась перестройка. А сегодня скажем: с добрым началом, товарищ Эренбург!»

Через неделю в статье «Жертва хаоса... в собственной голове» «Известия» дали резкую отповедь «безответственному» выступлению А. Гарри: «Никто не признает правильной критику Гарри, ибо для этого он должен был бы попасть в конфликт с нашей партийной оценкой пятилетки и с нашими установками в отношении литературы».

С начавшейся дискуссией Эренбург познакомился уже по дороге домой. Он приехал вместе со своим другом французским писателем Андре Мальро, пригласенным в Москву на Первый съезд. 14 июня в номере ленинградской гостиницы «Астория» Эрен-

бург отвечал на вопросы корреспондентов: — Переведен ли «День второй» на иностранные языки? Каковы отклики?

— Роман «День второй» вышел уже на немецком, голландском, английском, французском и других языках... После выхода книги во Франции разные студенческие и школьные организации просили меня устроить собеседование о духовном облике и жизни советской молодежи. Меня очень огорчила статья о «Дне втором» А. Гарри... Разумеется, право критики как угодно расценивать наше творчество... Но меня глубоко удивляет, когда советская критика... начинает говорить о книге советского писателя тоном, который был бы уместен только в том случае, если бы речь шла о произведении, написанном нашим врагом.

В целом же июньская почта была полна положительных откликов на роман. В. Антонов-Овсеенко утверждал, что «Эренбург социально помолодел; «День второй» — значительная книга». В. Ломинадзе озаглавил большую статью о романе — «Самая трудная победа». А. Селивановский признавал роман художественной удачей, успехом советской литературы...

В Москве Эренбург в преддверии Первого съезда, открытие которого окончательно было назначено на середину августа, встречался с писателями и работниками кино, с редакциями журналов и читателями, отвечал на многочисленные вопросы. Выступая в редакции «Знамени», Эренбург сказал: «Моя попытка написать о новом человеке мне в какой-то мере не кажется удачной. Но эти первые шаги, которые я делаю вместе со всеми советскими писателями, имеют для меня громадное значение. В этом плане для меня чрезвычайно интересна дискуссия, которая развернулась вокруг моего романа».

Илья Эренбург был деятельным участником съезда — председательствовал на двух заседаниях, был избран в президиум, выступил с большой речью, переводил выступления зарубежных гостей. В дни съезда Эренбург познакомился с Горьким и дважды с ним беседовал. До этого Горький несколько раз не-

одобрительно отзывался об эренбургских книгах. Принять их ему, скорее всего, мешал сложившийся у него богемный образ Эренбурга, небрежно работающего в кафе. Видимо, роман «День второй», отзыв о нем Романа Роллана и личные встречи сделали свое — Горький к Эренбургу подобрел. Вспоминая встречи с Алексеем Максимовичем на Первом съезде писателей, Эренбург написал: «Обидно мне... что с Горьким я познакомился слишком поздно... Меня поражала в нем прирожденная талантливость, она чувствовалась в любом его жесте...»

Большой доклад Горького на Первом съезде писателей был посвящен проблемам советской литературы в контексте истории человечества, а выставка, устроенная в фойе Дома союзов, зримо представляла то, что оформилось в советскую литературу 30-х годов — «Петр Первый» А. Толстого, «Поднятая целина» М. Шолохова, «День второй» И. Эренбурга, «Скутаревский» Л. Леонова, «Возвращенная молодость» М. Зощенко, «Похищение Европы» К. Федина, проза И. Бабеля, Ю. Олеши, А. Платонова, Ю. Тынянова, «Время. вперед!» В. Катаева, «Кара-Бугаз» и «Колхида» К. Паустовского, «Капитальный ремонт» Л. Соболева... Не было больше левых «попутчиков» и правых уклонистов, новобуржуазных реставраторов и пролетарских поэтов. Была единая семья советских писателей, живущих интересами, надеждами, горем и радостями своего народа.

Размышляя на склоне лет о значении Первого съезда советских писателей в жизни нашей литературы, Илья Эренбург писал: «Читатели увидели, что мы с ними, что есть у нас общая цель. Мы, в свою очередь, поняли, как заинтересованы в нашей работе миллионы людей; это заставило нас еще серьезней призадуматься над ответственностью писателя. Съезд собрался накануне чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели звериный оскал фашизма. Как бы ни были велики наши художественные раздоры, порой связанная с ними неприязнь, мы показали тем, кто хотел это понять, что боевая выручка для нас — не абстрактное понятие. Это дал съезд...»



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Анатолий Петрик. Глубины крестьянской культуры. — Татьяна Бек. Лирика не одинока. — Александр Лаврин. Полной мерой.

ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Станкевич. Актуальные уроки истории. — Л. Макаревич. Секреты «братев-каменщиков».

Литература и искусство

ГЛУБИНЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Василий Белов. Лад. Очерки о народной эстетике. М. «Молодая гвардия». 1982. 293 стр.

Василий Белов. Избранные произведения. В 3-х тт. М. «Современник». Т. 3 («Лад», пьесы). 1984. 480 стр.

Еще журнальная публикация этого произведения вызвала живой интерес и критиков, и читателей, чьи многочисленные письма писатель использовал, продолжая работу над рукописью. В статьях А. Овчаренко («Вопросы литературы», 1983, № 8), И. Золотусского (в книге «Очная ставка с памятью»), в монографии Ю. Селезнева о Белове говорится о том, что «Лад» — это такая книга о прошлом деревни, которая заставляет задуматься над актуальными проблемами современности, о судьбах русской деревни и — шире — русской культуры в целом.

А как сам Белов оценивает свою работу? На первой ее странице он пишет, что книга «была задумана как сборник зарисовок о северном быте и народной эстетике», на последней — что это «порой сумбурные, еще чаще отрывочные раздумья о северной народной эстетике». О чем они, эти очерки, зарисовки, отрывочные раздумья, казалось бы, говорит уже оглавление: «Плотники», «Лодочники», «Гончары», «Лен», «Битье масла», «Пряжа», «Баня», «Будни и праздники», «Застольщина» и т. д. Но читая книгу, мы не просто узнаем о плотниках, доме, одежде, играх, сказках, частушках и прочем, мы постигаем гораздо большее: образ жизни, мировидение, мироощущение крестьянина с его представлением о красоте, труде, семье, времени, пространстве... Словом, материаль-

но-бытовое и духовное начала в их неразрывной взаимосвязи. Единственное, что может охватить, объединить все эти понятия, представить в целокупности, — слово «культура». Именно культуре, объекту сложному, живому, неоднородному, неисчерпаемому и все же со своими устойчивыми характеристиками и посвящен «Лад». И по жанру это отнюдь не «очерки, этнографические записки», как, вслед за Беловым, определил их И. Золотусский. Это пронизанное единой идеей писательское исследование, «плод настолько же научного исследования, насколько и художественного осмысления народной жизни» (Ю. Селезнев). «Лад» — художественное исследование русской традиционной крестьянской культуры.

Нужно заметить, что книга эта коренным образом отличается от собственно прозы Белова, где его обычно интересует жизнь конкретной деревни, конкретные судьбы. В «Ладе» писатель меняет стратегию — здесь начинают действовать центрирующие силы: в многовековой культуре русской деревни выбираются типичные, «нормативные» явления. Так, создавая образ крестьянина, автор опускает индивидуальные особенности, делает выборку типических черт, старается выделить ядро характера. Рассказ о естественном самодвижении жизни, воспроизводстве культуры, механизмах, законах ее передачи от

поколения к поколению автор стремится построить на основе наиболее общих для этой жизни явлений.

Уже в зачине книги Белов предупреждает читателя, что она «не случайно называется «Лад» и рассказывает о ладе, а не о разладе крестьянской жизни» (разладу, кстати говоря, писатель уделил немалое место в собственно художественном творчестве). Если задаться целью проследить те периоды в прежней жизни крестьянина, когда ее лихорадило, когда деформирующие силы влияли на ее естественное движение, тогда «Лад» может служить как бы точкой отсчета, подсказать, насколько, в какой степени нарушалось динамическое равновесие культуры. А в истории старой русской деревни редко когда ладу не сопутствовал бы разлад. Но ведь только благодаря ладу сохранились многовековые традиции, не глохла культура, продолжалось национальное бытие да и сама жизнь, в конце концов!

И тут возникает вопрос: историчен ли «Лад»? Ведь сознательно оставляя в стороне социальные, экономические, исторические противоречия в судьбах русской деревни, Белов лишь изредка упоминает о трагических перебоях в жизни народа, государства: «война, мор, неурожай» — или семьи: «болезнь или преждевременная смерть, пожар, супружеская измена, развод, кража, арест члена семьи, гибель коня, рекрутство». Все внимание писатель концентрирует на том, что составляет корневую основу народной жизни, в глубинах которой скапливался и удерживался «духовный опыт, тот нравственный потенциал, те нравственные силы, которые не дали пропасть России в годы самых тяжелых испытаний» (Ф. Абрамов). И тут-то начинаешь понимать роль лада в историческом движении, поскольку лад — это то, что русский народ веками отстаивал в жестокой борьбе. Благодаря ладу возрождалась жизнь после национальных катастроф, вновь прорастала молодыми побегами. Лад — это народная основа той демократической культуры, которая в соответствии с учением Ленина о двух культурах всегда боролась с официальной.

Нужно заметить, что и сам факт появления книги «Лад», книги об устойчивых формах народного бытия, безусловно связан с определенным этапом в истории русской деревни. Такая книга могла появиться именно как реакция на закономерное изменение облика деревни на глазах одного поколения, когда желание понять, «как крестьянская «вселенная» была испокон устроена» (Белов), понять, как творилась жизнь, сформировавшая нравственный идеал русского

крестьянина, стало особенно актуальным.

Как же Белов объясняет самому себе и доносит до читателя идею этой «вселенной»?

Автор исходит из представления о том, что «стихия народной жизни необъятна и ни с чем не соизмерима», и неисчерпаемость ее разрушает рамки сколь угодно сложной схемы. Писатель изначально отказывается от использования каких-либо культурологических методик, членищих объект, понимая, что «народная жизнь в ее идеальном, всеобъемлющем смысле и знать не знала... какого-либо... разделения... Мир для человека был единое целое». Как показал «Лад», многие элементы культуры вообще невозможно рассматривать вне жизни целого, вне контекста. В первую очередь это относится к словесному творчеству, поскольку «отделить стихию словесную от бытовой невозможно, они неразрывны». Фольклорное слово, «помещенное в книгу, почти сразу хирело и блекло». Так, по Белову, сказка «живет только там, где есть триединство: рассказчика, слушателя и художественной традиции», пословица — лишь «в контексте неопосредованного языка», а смысл песни, частушки «раскрывается лишь в определенных условиях, в зависимости от того, кто, где, как и зачем поет».

Однако как рассмотреть целое и части, его составляющие, не вырывая их из контекста? В данном случае это возможно лишь тогда, когда способом исследования становится образное мышление. Только образ, сам целостный по своей природе, способен передать целостность мира. В «Ладе» Белов стремится создать целостный художественный образ культуры.

Вряд ли есть смысл противопоставлять научный и художественный методы того или иного исследования. Но, читая «Лад», невольно задумываешься над мыслью Белова о том, что «академическое познание, изучение... никогда не станет вровень с художественным восприятием». Это несколько категоричное высказывание писатель иллюстрирует главой «Игры», составив схему игр: для мальчиков, для девочек, общие, зимние, летние и т. д. Но, не удовлетворившись «холодно-безжизненной схемой», затем пытается вдохнуть в нее жизнь — создает образ игр, образ, не отделимый от всей книги.

Образ, пишет Белов, порой «не дается в руки. Он, как радуга, отодвигается от нас ровно на столько, на сколько мы к нему приближимся», так как целостность, единство основаны «не на статичности, а на постоянном неотвратимом обновлении». Невозможно ухватить, зафиксировать движение, но можно исследовать законы, по которым это движение происходит. Так, в стихии народ-

ной жизни писатель выявляет организованность, которая задается ритмом и цикличностью жизни крестьянина. Идея цикличности пронизывает всю книгу. Особенно это видно в главах «Круглый год» и «Жизненный круг» (даже в их названиях). Белов говорит о календарных циклах дня, недели, года и цикле жизни «от зачатия до могильной травы». Здесь мы встречаемся с приемом, который позволил автору представить культуру как живой организм, в движении, рассмотреть культуру как деятельность.

«Круглый год» — своеобразный образ-эскиз всей книги. В этой главе — основные параметры культуры, задающие тон «Ладу», и его основная идея — воспроизводство культуры. Необходимость такого воспроизводства отразилась, к примеру, в народном восприятии бездетности как порока, несчастья: нарушается лад, естественная «бесконечность» семьи, в которой главенство «как бы понемногу соскальзывает, переливается от поколения к поколению».

В контур, очерченный главой «Круглый год», вписываются и последовательно сменяющие друг друга трудовые будни и праздники — стройный круглогодовой цикл обычаев и обрядов, из которых состоял «весь годовой и жизненный цикл отдельного человека, следовательно, и всего селения, всей этнической группы».

Далее в «Ладе» идут большие главы: «Подмастерья и мастера» — о ремеслах, неразлучных в жизни крестьянина с его основным занятием — земледелием; «Спутник женской судьбы» — о льянном цикле, сопутствующем русской крестьянке весь год и — более того — всю жизнь; «Рукодельницы» и «Остановленные мгновения» — о таких своеобразных ремеслах, в которых труд обычный переходит в творчество, сливаются понятия «мастер» и «художник» и рождаются известные всему миру русские художественные промыслы: вологодские кружева, великоустюгское чернение по серебру, шемогдская резьба по бересте и т. д. Эти главы логически продолжают «Круглый год», завершённый главкой «Зима». Ведь именно зимой свободный от полевых работ сельский житель совершенствовался в ремеслах, мастерил необходимые в хозяйстве вещи или просто удовлетворял тягу к творчеству. Материал книги словно диктует логику изложения, композицию.

«Миряне» и «Родное гнездо», обрамляющие главу «Жизненный круг», говорят о том, где именно находилась его ось. Писатель сужает концентрические круги пространства от волости вплоть до русской печи — материального средоточия крестьянской «вселенной». Но что очень важно: рассказывая

об окружающем крестьянина пространстве «малой» родины, Белов пишет и о представлениях крестьянина об этом пространстве. «По своей значимости «родной дом» находился в ряду таких понятий русского крестьянства, как смерть, жизнь, добро, зло, бог, совесть, родина, земля, мать, отец». Особо писатель выделяет отношение к смерти («спокойное и мудрое») — как нравственный и философский принцип, по которому можно судить о народе.

В «Ладе» Белов вообще, как правило, описывая элементы культуры, деятельность, реалии быта крестьянства и т. д., обращается к представлениям о них крестьянина, то есть дает его образ, внутренний мир, мировидение.

Глава «Жизненный круг» говорит о крестьянской жизни, в которой «младенчество, детство, отрочество, юность, молодость, пора возмужания, зрелость, старость и дряхлость сменяли друг друга так же естественно, как в природе меняются, например, времена года», о жизни, в которой «прожитые годы складывались для человека в отдельные возрастные периоды, совсем непохожие друг на друга, но вытекающие один из другого». От главы «Младенчество» к «Старости» — речь идет о последовательной смене форм и сфер деятельности на протяжении всей человеческой жизни.

«Жизненный круг» и «Круглый год» — словно система из двух зеркал, где в каждом отражается бесконечность и многообразие народной жизни.

Не раз встретится в книге фраза «Круг замкнулся», будь то круг жизни или крестьянского хозяйства, соединяющего в себе циклы земледельческого и животноводческого труда, где, как в живом организме, «взаимосвязь всех элементов... была настолько прочна и необходима, что одно не могло существовать без другого». Как пишет Белов, «вся хозяйственная жизнь состояла из подобных взаимодействующих и взаимосвязанных кругов».

Собственно, весь социальный организм, культуру деревни писатель представил именно как совокупность процессов взаимосвязанных, пересекающихся. Поэтому случайно и не раз Белов возвращается к уже, казалось бы, «пройденному» (например, не раз говорит о печи — никогда не остывающем очаге, об играх и т. д.), мысленно делая срезы бесконечно сложной жизни в разных плоскостях, обнаруживая и обнажая циклы-круги. Но только ли «повторения» связывают воедино реальные жизненные процессы? Что же позволило Белову объединить, спаять все эти «круги», циклы в один целостный образ?

Видимо, то, что в центре каждого его «круга» — человек, главное звено культуры. Ведь культура не существует без человека, вне человека.

При чтении «Лада» не возникает ощущения, что Белов сознательно, как инструментом познания, пользуется какими бы то ни было культурологическими методиками. Тем не менее в поэтически воссозданной «вселенной» крестьянина, в его образе — с избытком материала и для строго научной интерпретации. Нарушив целостность образа, взяв на вооружение известную в науке концепцию культуры как мировидения, можно представить «вселенную» в виде ряда категорий культуры: отношение к труду, жизни, смерти, восприятие времени, пространства, природы и т. д. Но только, повторяю, нарушив целостность! В работе над книгой, по признанию Белова, «волей-неволей... пришлось систематизировать материал... приходилось то и дело сокращать или вовсе убирать живой фактический материал, довольствуясь общими размышлениями (выделено мной.— А. П.)». В этих-то размышлениях — основные характеристики культуры. И логика исследования такова: в «общие размышления», характеризующие всю культуру или ее элементы, ее части, погружается «фактический материал». Чувство соразмерности подсказало писателю соотношение размышлений и фактов, которое подчеркивает основную мысль книги — лад. Поэтому-то Белов неоднократно и предлагает читателю самому дополнять книгу известными ему примерами, вариантами.

Итак, можно, мне кажется, утверждать, что «Лад», вопреки определениям самого Белова, отнюдь не сборник зарисовок или отрывочные раздумья, а произведение с четко продуманной организацией. Внимательного читателя вряд ли введут в заблуждение эти определения, а, так сказать, преднаучная форма книги заставит задуматься как раз

над тем, какой научный потенциал скрывает в себе жанр художественного исследования. «А что если «преднаучная форма» не недостаток, а достоинство? Что если «недостатком преднаучности» обладает вообще вся жизнь и даже вся природа?» (П. Палиевский).

Белову удалось решить весьма сложную задачу — создать образ народной жизни с ее эстетикой, этикой, философией. Они, как и красота, которая, по словам писателя, «находилась в растворенном, а не в кристаллическом... состоянии», растворены в потоке жизни и не существовали в виде осознанных установок. Найти решение в этих условиях автору удалось, конечно, не только потому, что он имеет право сказать: в книге написано «лишь о том, что знаю, пережил или видел сам». Ведь не по рассказам же странников писал, положим, путешественник-этнограф С. В. Максимов одну из первых книг о русском землепашце «Куль хлеба и его похождения» (1873), во многом, естественно, пересекающуюся с «Ладом», однако интересный, познавательный материал книги Максимова, несмотря на живость изложения, точно за стеклянкой витриной. В работе Белова иная по своей природе сопричастность материалу: при чтении «Лада» возникает ощущение, словно само крестьянство через Белова и в его лице нашло возможность понять и выразить самое себя.

Сейчас уже, думаю, очевидно, что и предшествующее творчество писателя пронизано духом той культуры, образ которой дан в «Ладе»: сотни деталей, отражающих быт, мироощущение героев, населяющих прозу Белова, именно в новой его книге как бы выстроились по силовым линиям, задавая контуры единой культурной традиции. «Лад» — книга неизбежная и в творчестве писателя, и в истории русской литературы, и в истории русского крестьянства.

Анатолий ПЕТРИК.



ЛИРИКА НЕ ОДИНОКА

Лев Озеров. Думаю о тебе. Стихотворения. М. «Советский писатель». 1981. 367 стр.

Лев Озеров. Необходимость прекрасного. Книга статей. М. «Советский писатель», 1983. 327 стр.

Лев Озеров — серьезный исследователь и текстолог. Он же — талантливый переводчик современных украинских и грузинских, литовских и осетинских поэтов... Но нет, Л. Озеров не заслоняет сам себя: прежде всего перед нами — лирический поэт, который, являясь страстным пропагандистом и толкователем чужих творческих судеб

(Баратынский и Пушкин, Тютчев и Фет, Бальмонт и Блок, Пастернак и Ахматова... перечень далеко не полон!), с несуетным достоинством ведет свой собственный исповедальный лирический дневник, и потому слова, которые Лев Озеров поставил эпиграфом к книге статей, посвященных русской стихотворной культуре: «Влечение к пре-

красному и любовь дают жизнь друг другу» (Стендаль),— слова эти соотносимы и с его собственной многосторонней работой.

Сборник «Думаю о тебе», вобравший лучшие стихотворения поэта из шести книг (на протяжении двадцати пяти лет они выходили в издательстве «Советский писатель»), дает достаточно полное представление о поэтическом пути Льва Озерова. А путь этот, несмотря на причудливое развитие отдельных мотивов, непрерывен и един. Это путь российского интеллигента XX столетия, от имени которого и говорит автор в пронзительных стихах «Вместо послесловия»:

Ты думаешь, что, мирный, тихий с виду,
Я только то и делал, что писал
Элегии, послания, пейзажи
И дятлом бил по книжному столу?

Ты думаешь, что я не испытал
Бездомности, когда и небо — крыша?
(А «холод» — «Голод» крепко рифмовались,
Хотя, признаться, было не до рифм.)
Ты думаешь, я спал себе беспечно?
Нет, было все не так.

И впрямь «было все не так»: были продыmlенные стены «Арсенала», большого, с революционными традициями киевского завода, где подростком работал поэт. Была фронтовая журналистика — суровая память о военном лихолетье, связанная прежде всего с мотивом товарищества, не слабея, живет в душе поэта. Были огромные, от Балтики до Армении, изъезженные вдоль и поперек просторы...

«Мирная, тихая с виду» муза Л. Озерова дышит в такт с грозной и грозовой эпохой. «Если не жить современностью — нельзя писать», — говорил Александр Блок. Поэзия Л. Озерова современна — и духовно, и ритмически, и тематически, — но не будем это понятие сужать. Недаром же Л. Озеров заметил как раз в связи с Александром Блоком, одним из любимых своих учителей: «Важно знать, что Блок улавливал не только буревую музыку века, но и шорохи и шелесты его. Он слышал не только громовую поступь масс, но и застенчивый шаг одинокого человека. В общем он не терял частное. В этом смысл его гуманизма, соединяющего народ, массу с отдельным человеком, с индивидуумом». Чрезвычайно важное замечание не для блоковедения только, но и гораздо шире!

Современны строки Озерова, озвученные «буревой музыкой» века и стоящие в благородном ряду стихов-монологов от лиц погибших («Я погиб подо Ржевом...» Твардовского, «Кельнская яма» Слуцкого):

Говорят погибшие. Без точек.
И без запятых. Почти без слов.
Из концлагерей. Из одиночек.
Из горящих на ветру домов.

Но современен и нежный шорох стихов, которые напечатаны, стоит перелистнуть страницу, рядом:

Немо горит во тьме огонек;
Звезды немы.
Где мы, когда человек одиночек?
Где мы?

Как видно, в поэтическом кинематографе Л. Озерова разные «планы», — общее и частное вольно чередуются.

По его собственному признанию, «говоря со всеми», он говорит с любимым человеком, а говоря с любимой, обращается ко всем. Начало эпическое и чистая лирика в его поэзии накрепко переплетены и органически вписаны в единый круг нашего времени (укажу на стихи «Вот какое настало время...»).

Разнообразие интонаций, ракурсов и жанров внутри книги «Думаю о тебе» велико — потому, читая ее и переходя из настроения в настроение, не устаешь следить за сквозной поэтической мыслью. Тут и пейзажная лирика, и философские раздумья, и горькие любовные письма, и портреты, как бытовые («Студент»), так и романтические (цикл «Пушкин»). Тут и путевые заметки, и мемуары (да-да, мемуары в стихах — о поэтической среде 20-х годов, о встречах с Анной Ахматовой), и острые эпиграммы, и даже стихи-исследования («Природа русской рифмы такова...»).

На протяжении десятилетий Озеров-поэт не устает параллельно с Озеровым-исследователем размышлять о подспудных законах и «беззакониях» поэзии. Вслед за Борисом Пастернаком (в книге «Думаю о тебе» множество то сознательных, то полуосознанных переключек с этим большим поэтом, над наследием которого Озеров столько работал) он мог бы свести подобные, пока свободно разбросанные, «определения поэзии», «определения творчества» в единый цикл. Вот одно из таких — непосредственных и незаемных — определений Льва Озерова:

Лирика — это когда живи, дыши,
Когда душа открыта для другой души.

Стремится Озеров «дойти до самой сути» лирики, в каком бы облике она ни представлялась, и в своих литературно-критических эссе. В этих исследованиях нет эгоцентрично-субъективистских трактовок (что у поэтов-критиков — не редкость), однако о чем бы ни рассуждал автор, он невольно отби-

рает проблемы, близкие его собственным творческим поискам. Недаром в статье, скажем, о Дельвиге он подчеркивает именно «начало певческое, непреднамеренное, произвольное, импровизационное», а в другой статье пишет: «Фетовское слово поется, поется легко, охотно, самозабвенно. Оно окружено мелодией, как сиянием».

Эта певческая музыкальная стихия одинаково властно влечет к себе как Озерова-исследователя, так и Озерова-поэта, который и в собственной лирике к самой жизни прислушивается как к песне:

Эту песенку я не выдумывал.
Я подслушал ее — на беду мою —
В шуме сада зеленого,
В гуле моря соленого...

За неприятзательным словом «песенка» тут стоит его великий синоним — жизнь, которая показана поэтом сквозь (если воспользоваться весьма точным термином Озерова-исследователя) косвенную образность, когда можно, «не называя объекта описания, наговорить вокруг него столько и такое, чтобы он проступил сам сквозь кипень этих слов и косвенных обозначений» (статья «От метафоры к эпитету»).

Поэзия Льва Озерова очень музыкальна (потому-то он и в статьях своих углубленно размышляет о мелодизации речи и о музыкально-смысловой потенции слов) сама по себе. К тому же музыка является одной из героинь, одной из Прекрасных Дам его поэзии (стихи «Любите музыку, поэты...», «Дирижер», «Музыка»); с музыкой сверяет поэт не только мелодию стиха, но и свою нравственность, свою гражданскую отзывчивость на происходящее вокруг:

Раздвигаю звучанье Души до звучанья
органа.
Если рана болит, то на все мироздание
рана...

Весьма примечательны устремленность поэта в смежные с лирикой искусства и готовность отдавать свою лирику на выучку не только к прозе, у которой Озеров взял интерес к детали и к разговорному обороту,

но и к музыке, живописи. (Отсылаю читателя к стихотворениям «В мастерской скульптора», «Рембрандт любил немолодые лица...», «Еще не видно лица на портрете...»). Важно отметить, что Озеров, которому близок призыв Заболоцкого к поэтам — «любить живопись», не просто повествует о художниках в стихах — он сам начинает творить по законам их ремесла. Так рождаются почти не стихи уже, почти акварели:

Акварелью на мокрой бумаге
Проступают в тумане овраги,
И холмы, и дома, и сады, —
Все во власти апрельской воды.
Все во влаге; размытые пятна
Наплывают невнятно из мглы.

И богаче догадки окрестность
Вспыхнет в гамме своей цветовой
И немедля докажет уместность
Темно-синего под синевой...

Лев Озеров запечатлевает мгновенья человеческого бытия в кругу природы, не забывая при этом, что (как написал он сам в статье о Бальмонте) «миг — знак, намек на то, что есть вечность, есть невидимый космос души, проявляемый то так, то этак».

В лирическом мире Льва Озерова по-детски лепечет листва и глухо шумит море, звонят телефоны и кипит лиловая сирень, падают яблоки и, как живые, разговаривают ушедшие из жизни люди. Здесь нет мелочей — «аукаются во вселенной бутылочный осколок и звезда». Здесь «в рабочих буднях, в недрах быта» живет страж памяти о героических днях отечественной истории...

Когда перекинутся безмолвно
Или, напротив, сонмом голосов
Кусты сирени и охапки молний,
Морская глубь с глубинами лесов, —

Тогда, земные чувствуя крепленья,
Я над собою обретаю власть.
И не боюсь тоски и отчужденья,
Как часть всего, что есть, живая часть.

Этому Лев Озеров неизменно верен — и как лирик, и как исследователь литературы.

Татьяна БЕК.



ПОЛНОЙ МЕРОЙ

Мария Петровых. Предназначение. Стихи разных лет.
М. «Советский писатель». 1983. 207 стр.

Любителям отечественной поэзии имя Марии Петровых известно давно. Современница Ахматовой и Пастернака, Мандельштама и Антокольского, она как равная бы-

ла принята этими поэтами. Ее стихотворение «Назначь мне свиданье на этом свете...» Ахматова назвала шедевром лирики последних лет. Между тем, отдав полвека служе-

нию русской поэзии, Мария Петровых при жизни лишь однажды вышла к читателю с книгой. Это был сборник ее стихов и переводов из армянской поэзии «Дальнее дерево», изданный в 1968 году в Ереване тиражом всего 5 тысяч экземпляров. Очень мало публиковалась Петровых и в периодике. Что это — скромность, неверие в свои силы, гордыня? Думается, ни то, ни другое, ни третье. Дело в том, что Петровых, так сказать, генетически принадлежит к малочисленной, но очень интересной группе «поздних» поэтов — не тех, кто поздно начал писать, но тех, кто начал печататься, давно уже «земную жизнь пройдя до середины» (как, скажем, Иннокентий Анненский, а в наше время Арсений Тарковский). Для Марии Петровых поздний выход к читателю не стечение обстоятельств, не поза, но позиция. Принципы, которые исповедовала поэтесса, исключали стремление к внешнему успеху. Ее кредо аскетично, но прекрасно: «Одно мне хочется сказать поэтам: умеете домолчаться до стихов». И все же жаль, что только теперь, спустя пять лет после смерти поэтессы, мы увидели то, чему она отдала жизнь, — книгу ее лучших стихотворений.

«Судьба за мной присматривала в оба, чтоб вдруг не обошла меня утрата», — говорит поэтесса в одном из стихотворений 60-х годов. Этот пристальный, жестокий «присмотр» судьбы лежит на всей поэзии Петровых. Он придает трагический накал даже некоторым ее ранним стихам, где «страшен так, что нету сил, напряженный промехоток от рождений до могил».

Но есть высшее мужество, утверждает своей поэзией Петровых: это мужество честного, открытого взгляда на жизнь, мужество поступка, чем и завоевывается право на трудное человеческое счастье.

Как правило, Петровых развивает тот или иной свой поэтический образ, идею либо по законам традиционной драматургии (завязка — развитие — кульминация), либо по принципу противопоставления:

Люби меня. Я тьма крошечная.
Слепая, путаная, грешная.
Но ведь кому, как не тебе,
Любить меня? Судьба к судьбе.
Гляди, как в темном небе звезды
Вдруг проступают. Так же просто
Люби меня, люби меня.
Как любит ночь сиянье дня...

Психологическая контрастность, резкость деталей, максимализм оценок закрепились в поэзии Петровых навсегда, хотя с годами

ее поэтика претерпела изменения. От романтизма и внешней экспрессии Петровых пришла к экспрессии внутренней, к психологическому реализму. Стихи стали строже, лаконичнее, цельнее. Уравновесилось коромысло «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Сюжетно-тематические линии обрели четкость конкретных реалий.

И вот с единственной, с нею.
С землей, и только с ней вдвоем
Срастаться будем все теснее,
Пока травой не изойдем.

Особой силы достигает тема любви к родине в стихах Петровых периода Отечественной войны. Для народа ее испытания стали осознанием своей мощи, для личности — обретением надличностной судьбы. «Мы тридцать лет росли как дети, но стали взрослыми теперь». Зато именно теперь поэзия Петровых зазвучала как голос ее поколения: «Живи же, сердце, полной мерой. Не прячь на бедность ничего и непоколебимо веруй в звезду народа твоего». Такая жизнь, такая вера миллионов и обеспечили победу.

В предисловии к книге «Предназначенье» А. Тарковский сказал: «Слова в стихах Марии Петровых светятся, загораясь одно от другого, соседнего. Тайна поэзии Марии Петровых — тайна сильной мысли и обогащенного слова... Слова из обычного литературного лексикона приобретают новую напряженность, новое значение. Они наэлектризованы... каждое слово само по себе метафорично».

Лирика Петровых полна энергии и смятения, резкости и застенчивой нежности, робости и самоотверженности. Своей бескомпромиссностью, неуспокоенностью, силой характера, нравственной чистотой лирическая героиня Петровых напоминает героиню Достоевского. Даже в самых трагедийных ситуациях Петровых видит высший смысл, который в конечном счете приводит душу к катарсису. Этот смысл зиждется на вере поэтессы в бессмертие человеческого рода, а значит — в необходимость судьбы каждого человека. Вот, например, строки из стихотворения, посвященного дочери: «Быть может, мне заранее, от самых первых дней, дано одно призвание — стать матерью твоей...»

Многого еще можно сказать о книге Марии Петровых, но все это будет лишь подтверждением той мысли, что к широкому читателю наконец-то пришел яркий, сильный, самобытный поэт.

Александр ЛАВРИН.

Политика и наука

АКТУАЛЬНЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ

История США. В 4-х тт. М. «Наука». Т. 1 (1607—1877). 1983. 687 стр.

Хотя слава открытия земель Нового Света принадлежит Колумбу, основание Соединенных Штатов Америки прямо не связано с путешествиями знаменитого генуэзца. У истоков будущей мировой державы стояли англичане. Когда в мае 1607 года в устье реки Джеймс группа колонистов, высадившихся с английского корабля, основала поселение Джеймстаун, никто из пионеров, конечно, не представлял, сколь значительное место в истории займет страна, начало которой они положили.

Исторический путь Соединенных Штатов Америки от основания Джеймстауна до наших дней составляет содержание фундаментального четырехтомного исследования, подготовленного к печати Институтом всеобщей истории АН СССР. Издание столь масштабного труда по истории отдельного зарубежного государства предпринимается в нашей стране впервые. Само по себе оно свидетельствует об уровне зрелости советской исторической науки, мощи ее творческого потенциала. То, что в центре внимания оказались Соединенные Штаты, вполне естественно: велика роль, которую они играют в судьбах современного мира. Ведь обращение к истории имеет конечной целью более глубокое осмысление современности.

Вышел в свет первый том «Истории США», охватывающий период с 1607 по 1877 год. Отличительная особенность книги и, пожалуй, самое ценное ее научное качество — комплексность, многоплановость и вместе с тем композиционная стройность представленного материала.

На суперобложке — лица Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Немногим менее столетия разделяет «звездные часы» двух лидеров, прочно связанных боевой демократической традицией, столь мощно и ярко заявившей о себе в ранний период истории США. Две революции, потрясшие Соединенные Штаты в XVIII и XIX столетиях, — война за независимость и гражданская война — стали центральными сюжетами книги. Сколько поколений историков, публицистов, политиков обращалось к этим грандиозным социальным переворотам! Исторические уроки тех далеких лет и сегодня не потеряли своей актуальности.

«История новейшей, цивилизованной Америки открывается одной из тех великих,

действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было так немного среди громадной массы грабительских войн», — уважительно писал В. И. Ленин в «Письме к американским рабочим». Война 1775—1783 годов впервые в истории человечества решительно положила конец колониальному грабежу, который, казалось, уже стал незыблемой нормой международных отношений. Жители тринадцати английских колоний не только обрели независимость, но и провозгласили на весь мир право всех народов на «жизнь, свободу и стремление к счастью». Легко представить себе, какой вопиющей крамолы сочли лозунги американской революции сановники тогдашних европейских столиц! Идеи и дела Дж. Вашингтона, Т. Пейна, Б. Франклина, Т. Джефферсона, тысяч их менее именитых соратников дали мощный толчок освободительному движению по обе стороны Атлантики. «Первая декларация прав человека» — так охарактеризовал К. Маркс «Декларацию независимости», принятую 4 июля 1776 года.

Казалось бы, политическое завещание отцов — основателей нации должно остаться священным кредо для ее лидеров. Увы, два столетия, минувших со дня принятия этого документа, многое изменили в подходе руководителей США к проблемам прав человека. В столице, носящей имя Вашингтона, национально-освободительные движения сегодня объявляются «международным терроризмом», а кровавые диктаторы — чуть ли не образцовыми ревнителями демократии. Потомки революционных солдат, некогда проливавших свою кровь за свободу Америки, ныне льют кровь патриотов Гренады и Ливана, Сальвадора и Никарагуа, как делали это во Вьетнаме и в других странах, везде, где народы решались воспользоваться священным правом, впервые провозглашенным на американской земле. Сколь мрачной бывает порой ирония истории!

Советские ученые по справедливости высоко оценивают итоги и значение американской революции — войны за независимость 1775—1783 годов. Провозглашение и реализация на практике демократических свобод даже в их ограниченном буржуазном толковании стали делом чрезвычайной исторической важности, вывели Соединенные Штаты на передовые для того времени рубежи со-

циального прогресса. Как отмечается в книге, война за независимость по ряду направлений принесла не менее ощутимые практические результаты, чем другое глобальное событие XVIII столетия — Великая французская революция.

Однако, отдавая должное героическим событиям тех лет, авторы книги далеки от того, чтобы идеализировать достижения американской революции. Хотя основной ее движущей силой были народные массы, гегемоном движения оставалась буржуазия. В войне за независимость наряду с демократической отчетливо проявилась и консервативная тенденция, своеобразным апофеозом которой стало сохранение в новой республике... рабства. Да-да, понятия «свобода» и «рабство», как оказалось, вполне можно примирить. В этом — горький парадокс буржуазной политической культуры. Провозглашая, что «все люди сотворены равными», лютцы-основатели имели в виду лишь белых людей и под давлением плантаторов оставили в кандалах афроамериканцев, составлявших тогда пятую часть населения страны.

«Все дело, однако, в том, — разъясняют авторы книги, — что руководители восставших боролись не только за свободу, но и за собственность, которые в то время рассматривались как понятия почти тождественные...» Возможность беспрепятственно эксплуатировать рабский труд была одной из граней тогдашней «свободы по-американски». Что ж, буржуазная свобода, будучи, как мы видим, от рождения многоликой, и в дальнейшем оказывалась щедрой на подобные парадоксы, исправно служа господствующему классу.

История США первой половины XIX века — это история нарастания неотвратимого конфликта между сторонниками и противниками рабовладения, процесс назревания новой революционной ситуации. Советские историки справедливо усматривают в этом процессе две стороны: хотя коренное противоречие между рабовладельческим Югом и промышленным Севером неуклонно углублялось, это не исключало известной общности и даже взаимодополняемости классовых интересов двух группировок американской буржуазии.

Долгое время лидеры Севера пытались ограничиться лишь борьбой за нераспространение рабства на новые территории, умиротворить плантаторов, полюбовно разрешить конфликт во внутриклассовых «кулуарах», без участия широких народных масс. В конце концов, как всегда бывает, история предъявила счет за прошлые компромиссы, но платить по нему пришлось уже вдвойне

и втройне. Мирной сделки не вышло. Во-первых, потому, что американские рабовладельцы, как и представители господствующих классов всех других времен и народов, не собирались отдавать власть без боя. Во-вторых, и это главное, американский народ явно не был согласен с ролью молчаливого статиста. Его самостоятельное включение в борьбу грозило крайне нежелательными для власти имущих последствиями.

16 октября 1859 года отряд из 17 белых и 5 негров под командованием Джона Брауна захватил арсенал в местечке Харперс-Ферри и оказал героическое сопротивление правительственным войскам. Потеряв в схватке троих сыновей, предводитель мужественно пошел на казнь. Америке понадобилось самопожертвование Брауна и его соратников, чтобы окончательно очнуться от соглашательской летаргии и прийти в движение.

В ходе ожесточенной гражданской войны 1861 — 1865 годов, которая унесла более 600 тысяч человеческих жизней, и последовавшей затем Реконструкции господство плантаторской олигархии было сломлено. Победу на полях сражений добились рабочие, ремесленники, фермеры, черные американцы. Их лидером не случайно оказался А. Линкольн — бывший поденщик, плотогон и лесоруб, пришедший в Белый дом в канун острейшего национального кризиса. В конечном триумфе Севера немалая личная заслуга А. Линкольна, твердость и честность которого по праву снискали ему широкую народную признательность. Эти же качества делали его опасным для буржуазии. Убийство А. Линкольна 14 апреля 1865 года осталось одной из загадок американской истории, однако за стандартной версией об убийце-одиночке отчетливо проглядывают интересы могущественных кругов, которые к тому времени уже получили главные выгоды от революции и торопились нажать на тормоза.

Известно, что В. И. Ленин специально подчеркивал «величайшее, всемирно-историческое, прогрессивное и революционное значение» гражданской войны 1861 — 1865 годов в Америке. Восстановление единства федерации, устранение рабства создали в США исключительно благоприятные условия для стремительного развития капитализма вширь и вглубь. Однако и эта, вторая, американская революция осталась незавершенной: Соединенные Штаты покончили с рабством, но не с расизмом. Принять поправку к конституции о запрете рабовладения оказалось проще, чем стереть в сознании белых американцев миф об их превосходстве над черными.

Много лет спустя после гражданской вой-

ны Марк Твен с горечью назвал свою страну Соединенными Линчующими Штатами. Балахоны ку-клукс-клана и сегодня отнюдь не выглядят в США анахронизмом. Расизм остался застарелой социальной болезнью Америки, метастазы которой постоянно проявляются в экономике и политике, в избирательной, судебной и образовательной системах США.

Дело здесь, думается, не только и не столько в психологии. Предрассудки приобретают феноменальную живучесть, переплетаясь с экономическими интересами: дискриминация для белой буржуазии — это прежде всего возможность усиленной эксплуатации черных. Негры и другие национальные меньшинства по-прежнему рассматриваются как резерв полубесправной и потому дешевой рабочей силы, пригодной для любого труда. Расизм приносит прибыль. А какой же буржуа по доброй воле откажется от прибыли! Пули, сразившие А. Линкольна в прошлом столетии и М. Л. Кинга в нынешнем, направлял один и тот же убийца независимо от того, чьи пальцы спускали курок.

В первом томе «Истории США» много внимания уделено вопросам зарождения американской культуры. Отдельная глава посвящена становлению русско-американских культурных связей. Пожалуй, впервые в общающем труде по истории зарубежного государства столь детально представлены наука и техника, система образования, литература, образительное искусство, музыка. Историю народа нельзя полноценно изучать в отрыве от созданной им духовной культуры. Однако на практике в трудах по истории зарубежных стран пока что традиционно доминировала социально-экономическая и политическая проблематика. Культурная жизнь народов, их достижения в науке, искусстве и общественной мысли были как бы «довесочными» сюжетами, изложенными схематично, скороговоркой. Отраднo, что с «Историей США» этого не случилось.

Образование Соединенных Штатов неслучайно связано с именами людей, которые были передовыми учеными своего времени, носителями идей Просвещения. Интенсивная научная деятельность помогла Б. Франклину, Т. Джефферсону, А. Гамильтону находить пути к более разумному общественному устройству.

Поразителен разносторонний научный талант Бенджамина Франклина. «Трудно найти область науки, в которую не проникнул бы пытливый ум естествоиспытателя-самоучки. Электричество, теплопроводность металлов,

распространение звука в воде, морские течения, ботаника, политическая экономия, этнография, философия, история — таков в общих чертах круг научных интересов великого американца». Выдающийся ученый ставил перед собой и чисто практические задачи: от изобретения камина до новых способов по борьбе с пожарами.

Весьма обширными познаниями обладал и Томас Джефферсон. Его интересовали математика, инженерно-строительное дело, архитектура, ботаника и зоология. Уже будучи президентом США, Т. Джефферсон руководил философским и сельскохозяйственным обществами, организовывал научные экспедиции. Он передал в дар конгрессу США богатую личную библиотеку.

Большие дела требовали больших людей. Эпоха стремительного развития страны выдвинула динамичных, прогрессивно мыслящих и, добавим, дальновидных руководителей, понимающих, в частности, важность укрепления связей и сотрудничества с Россией.

Книга убедительно опровергает культивируемый в США миф о некоей «извечной враждебности» между русским и американским народами. Напротив, история русско-американских отношений полна примеров взаимной симпатии и сотрудничества, особенно укрепившихся в годы суровых испытаний. «О воин непоколебимый, ты есть и был непобедимый, твой вождь — свобода, Вашингтон», — пылко приветствовал лидера восставших американцев А. Н. Радищев. Плодотворными были научные контакты Б. Франклина с М. В. Ломоносовым, Ф. У. Т. Эпинусом и другими русскими учеными, избравшими в 1789 году великого американца почетным членом Петербургской Академии наук.

В трудные годы гражданской войны в США симпатии русской интеллигенции были на стороне А. Линкольна и его сподвижников. Свообразным символом этих чувств стало имя Ивана Васильевича Турчанинова — русского артиллерийского офицера, сражавшегося на стороне северян и получившего за доблесть в боях звание бригадного генерала. Визит в США осенью 1863 года, в разгар боевых действий, двух русских эскадр под командованием контр-адмиралов С. С. Лесовского и А. А. Попова не только способствовал защите портов северян от нападений вражеских кораблей, но и помог эффективно противостоять шантажу и враждебному вмешательству Англии и Франции. Из опыта А. Линкольна вынес убеждение, что сотрудничество с Россией «не только возможно, но и крайне необходимо для благо-
-состояния» Соединенных Штатов.

Факты, приводимые в «Истории США», свидетельствуют о том, что многие русские писатели и общественные деятели XIX столетия проявляли немалый интерес к молодой американской литературе. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский высоко ценили творчество Фенимора Купера, ставя его впереди В. Скотта. В домашней библиотеке Пушкина имелись собрание сочинений Ф. Купера в 13 томах и пять книг Вашингтона Ирвинга. Последний, кстати, оказался косвенным образом причастен к одному из шедевров русской литературы. Как доказала на основе тонкого литературоведческого анализа Анна Ахматова, литературным источником пушкинской «Сказки о золотом петушке» была «Легенда об арабском звездочете» В. Ирвинга.

Известная общность исторических судеб — одновременно назревшая ликвидация рабства в США и крепостничества в России — способствовала дальнейшему укреплению взаимного интереса Некрасовский «Современник» в 1858 году опубликовал «Хижину дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, явно нацеленная перевод на проблему «наших домашних негров». Переводы антикрепостнических «Записок охотника», а позднее — многих романов И. С. Тургенева положили начало триумфу русской литературы в Америке.

Давние традиции добрых отношений и плодотворных контактов между американским народом и народами нашей страны живы и продолжают развиваться и в наши дни, увы, встречая все большее сопротивление со стороны правительства США.

Различие наших общественных систем не только не отменяет, наоборот, неизмеримо увеличивает роль двусторонних контактов, делает их жизненно необходимыми. Знание друг друга при наличии доброй воли порождает

дает взаимопонимание, доверие, сотрудничество, в конечном счете обеспечивает мир. Незнание, особенно его крайняя степень — невежество, сеет недоверие и вражду. От них прямая дорога к войне.

Прописные истины? Смотря для кого. В Белом доме, например, думают иначе. Как изменилась эта обитель власти со времен Дж. Вашингтона и Т. Джефферсона! Благородный дух Просвещения, увы, покинул столицу США. Интеллект, обширные познания, свободомыслие и подлинный патриотизм давно уже не ценятся на шумной ярмарке американской демократии. Зато невежество почитается властью имущими чуть ли не за эталон добродетели — недаром им столь щедро наделен нынешний хозяин Белого дома. Невежество, облеченное властью, владеющее самым современным оружием, — величайшая угроза мировой культуре и цивилизации. И эта угроза нарастает. Одна за другой по вине администрации США рвутся освященные двухвековой традицией связи великих народов.

Однако никому не дано порвать связь времен. Питаясь родниками народной памяти, она сама, в свою очередь, оживляет и укрепляет память народов. Книга, созданная советскими учеными, как бы говорит: «Мы знаем историю Соединенных Штатов и верим в американский народ, в славные традиции его двух революций!»

Думается, не будет преувеличением сказать, что выход первого из четырех томов «Истории США» — это событие, имеющее особое значение в условиях обострения международной обстановки. Хочется пожелать книге вдумчивого читателя, а авторскому коллективу — сохранения в дальнейшем высокого уровня, заявленного в первом томе

С. СТАНКЕВИЧ.



СЕКРЕТЫ «БРАТЬЕВ-КАМЕНЩИКОВ»

Джанни Росси, Франческо Ломбрасса. Во имя лжи.
Перевод с итальянского. М. «Международные отношения». 1983 127 стр.

Э то не стало последним днем Помпеи, но потрясение итальянский обыватель пережил сильнейшее. Рухнули многие его божки под лавиной разоблачений оказалось погребено немало иллюзий.

Президент Джованни Леоне, «отец нации», чьим именем чуть ли не освящали приюты для вдов и сирот, был, как выяснилось, другом политического преступника «номер один»

Личо Джелли, главаря масонской ложи «Пропаганда-2» («П-2»), готовившей в Италии правый переворот.

Парламент, эта цитадель свободы, оплот совести, колыбель демократии, высокая трибуна республики, с которой лидеры правящих партий произносили прекрасные речи, нередко обсуждал и одобрял то, что уже было осуждено и одобрено масонами.

Члены правительства христианского демократа Арнальдо Форлани, на словах пекущиеся о благополучии итальянцев, служили, оказывается, не народу, а «П-2».

Уважаемые финансисты и «капитаны индустрии» — благодетели, чим мудрым заботам обществу советовали верить свое благосостояние, обдeldывали через «братьев-каменщиков» грязные делишки, считая ложу «П-2» чем-то вроде ассоциации по улучшению материального положения богатей.

Командование вооруженных сил, призванное охранять покой республики, на деле вместе с масонами составляло заговоры против нее.

Испытанные секретные службы, день и ночь стоящие на страже демократии, отбивая атаки террористов всех мастей, в действительности покровительствовали террористическому подполью, снабжая его оружием, деньгами и документами, чтобы быстрее покончить с этой самой демократией.

Гордость итальянской печати — газета «Коррьере делла сера», совесть либерально-демократического истеблишмента, по передовицам которой читатели ежедневно сверяли, как надо жить и думать, во что верить, была содержанкой масонских банкиров.

Наконец, верный американский союзник, которого так приятно было слушать на официальных приемах, когда он восхвалял итальянскую приверженность атлантизму и самостоятельность Рима, как показала история с «П-2», не ставил партнера ни в грош и вероломно злоупотреблял его доверием. За высокими, прочувствованными словами скрывалось глубочайшее презрение к Италии, на которую Вашингтон всегда смотрел как на «большое казино» (Слова бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера) и предпочитал в ответственных случаях обращаться не к итальянскому правительству, а к масонам, находя в них более надежного партнера в борьбе с коммунизмом.

Книга журналистов Джанни Росси и Франческо Ломбрассы не только рассказывает о глубоком проникновении масонов во все сферы итальянской жизни, но и раскрывает, как это происходило.

Утверждая свою незримую власть, «вольные каменщики» не прибегали к какой-то особой тактике. Они пользовались тем, что органически присуще так называемой представительной демократии. Разве бывший президент Леоне не был еще до скандала с масонами ославлен итальянской печатью как вульгарный взяточник, получавший немалые суммы от американского самолетостроительного концерна «Локхид»? А правительство, парламент, буржуазные партии? Как видно из книги Росси и Ломбрассы, масоны чувст-

вовали себя здесь как в собственных ложах. В этом нет ничего удивительного: и тут и там руководствуются одними правилами политической игры.

Правящие партии давно превратились в орудие власти, машину для сбора голосов. Сама их структура приспособлена к этой роли. Они больше не являются «великими организаторами народа», каковыми провозглашали себя когда-то. Их идеалы, идеи и программы ничтожны. Гражданской ответственности — никакой. В Италии, писал журналист Аньелло Коппола, давно стало правилом: министров меняют не тогда, когда становятся очевидными их неспособность и некомпетентность, а тогда, когда падает их влияние в партии или партийной фракции.

Непомерно раздувшийся за годы правления христианско-демократической партии чиновничий аппарат, разросшаяся система «тепленьких местечек», органов социального попечительства, призрения, страхования с их хитроумными методами подключения тех или иных социальных прослоек к каналам государственного финансирования, существующий в Италии хаос в формах и размерах оплаты труда — все это не просто опора ХДП, а ее питательная среда. Сращивание ХДП с государственным сектором, именуемое в Италии партийной экономикой, дает христианским демократам возможность распространять свою власть на места и выкачивать оттуда голоса избирателей, которые получили по упомянутым каналам какие-то блага, либо надеются их получить, либо боятся, что не получат. В результате такого «натурального» обмена демохристиане, собирающие на выборах чуть больше 30 процентов голосов, обладают 80 процентами всех командных постов в государстве.

Сделав нормой социально-политической жизни целенаправленный подкуп целых слоев и классов, правящие буржуазные партии закрепили и усилили пороки парламентской системы. Демократию в Италии давно подменила клиентелла. Решения принимаются не те, которые необходимы стране, а те, что навязаны ей во имя клановых интересов.

Такие же методы и приемы взяли на вооружение масоны. Всеобщая продажность политиков позволила руководителям «П-2» хорошо проявить свои «деловые» способности. Их кормушка оказалась достаточно большой. «Каменщики» покупали за столь баснословную цену, что продавшиеся им уже не искали других покупателей.

Много внимания Джанни Росси и Франческо Ломбрасса уделяют тому, как Вашингтон использовал итальянские масонские ложи для утверждения и расширения своего влияния на Апеннингах. Американские эмисса-

ры всегда чувствовали себя в Италии словно в родных Штатах. Начиная с Джеймса Данна, призывавшего использовать все средства, чтобы помешать компартии прийти к власти, и кончая Джоном Вольпе, привыкшим снисходительно похлопывать по плечу итальянских государственных деятелей и вызывать к себе через секретаршу министров и членов парламента.

В свое время еженедельник «Эуропео» попытался разобрататься, как могла страна докатиться до такого положения. И пришел к выводу, что все дело в экономике. Подсчитав умопомрачительную задолженность Рима Соединенным Штатам, журнал сравнил итальянцев с теми героями Диккенса, которых сажали в долговую яму. Отныне, писал «Эуропео», командный мостик итальянской экономики переместился в Вашингтон. Политику Рима определяют федеральная резервная система и транснациональные корпорации США. Итальянское же правительство может лишь призывать итальянцев есть меньше мяса, сократить потребление топлива и горючего, уменьшить скорость автомобилей... Впрочем, саркастически резюмировал еженедельник, может ли страна, которая каждое утро просыпается с мыслью, что ее долг составляет многие миллиарды долларов, высказывать собственное мнение?

Существует и обратная связь. В высших сферах власти в Италии есть круги (и достаточно влиятельные), которые убеждены, что лучший способ сохранить свои привилегии — вообще не допускать каких-либо перемен. Они уже не рассчитывают, как прежде, на собственные силы. Ставка делается на вмешательство извне, со стороны Вашингтона. Массонские ложи типа «П-2» — идеальный канал для такого вмешательства, включая финансовую поддержку.

К сожалению, Джанни Росси и Франческо Ломбрасса не углубляются в то, каким образом эти круги домогаются заокеанской поддержки. Авторы ставят перед собой более скромную цель: дать историческую географию современного итальянского масонства, вывести на свет его тайных руководителей, их связи. Попытка смелая, если вспомнить о судьбе журналиста Мино Пекорелли, связанного с масонами и убитого ими же за «длинный язык».

Книга «Во имя ложи» рассчитана, конечно, прежде всего на итальянского читателя, которому имена разоблаченных «братьев-каменщиков» и их сообщников говорят куда больше, чем нам. Итальянцы сталкиваются с ними в повседневной жизни, видят воочию, против кого и чего конкретно направлена подрывная деятельность масонов. Беря в руки эту книгу, советский читатель не

должен забывать, что описанные в ней события происходят в стране, где действует одна из самых демократических на Западе конституций, которую народ завоевал с оружием в руках в ходе Соппротивления. Немного найдется капиталистических государств, где закон закрепляет децентрализацию власти и самую широкую автономию, право на труд и его справедливое вознаграждение, равные права мужчин и женщин, право на социальное обеспечение, свободу профсоюзной деятельности и многое другое. Опираясь на конституцию, левые силы Италии добились в послевоенные годы таких демократических преобразований, которые были бы немыслимы в любой другой западной стране. Победы давались нелегкой ценой. Правящие круги при поддержке масонов стремились ослабить и разрушить демократические институты, рожденные в огне антифашистской борьбы, придать им формальный характер.

Когда в мае 1981 года был опубликован список 962 «сиятельных» членов «П-2», казалось, что демократические принципы восторжествовали. Итальянцы ждали дальнейших разоблачений, отставки многих депутатов, сенаторов, высших военных и государственных чиновников. Но занавес упал в самый интересный момент. Через несколько месяцев специальная парламентская комиссия, расследовавшая деятельность масонов, была вынуждена капитулировать перед невидимым противником — располагающими огромной властью неприкосновенными патронами Личо Джелли, которые по сей день остаются в тени.

Со временем за «торжеством справедливости» стало приоткрываться нечто другое. Как указывает в предисловии Л. А. Самохвалов (один из переводчиков книги и автор соддержательных примечаний к ней), христианские демократы, давая «добро» на публикацию списков «П-2», рассчитывали дискредитировать в глазах общественности социалистов — своих главных конкурентов в правительственной коалиции. Членами ложи «П-2», напомним, были многие видные деятели компартии. Обнажился и другой замысел: вовлечь в скандал как можно больше деятелей, чтобы вынудить правительство покрыть всех и вся. Виновных и невиновных. Расчет простой: масоны и власти представляют одну и ту же систему. И он оправдался. Мало-помалу поток разоблачений превратился в жалкий ручеек. Да и тот был отведен в сторону от политики, в русло банальных разоблачений шулерства и грабежа. Самые крупные рыбы сорвались с крючка.

Подмена демократии системой власти ХДП долгое время устраивала правящий класс. Но за последние годы созданный демохристиан-

нами механизм износился, стал давать перебои. Замешанные в бесчисленных скандалах, теряющие от выборов к выборам поддержку избирателей, они уже не могут надежно защищать интересы правящего класса. Курс на развал демократических институтов обернулся против тех, кто его проводил. Распад затронул и буржуазные партии. Истощение финансовых ресурсов ограничило возможности удовлетворять корпоративные запросы тех или иных социальных групп, подкармливать паразитические слои.

В этих условиях масонские ложи явились попыткой создать такую межпартийную политическую силу, которая гарантировала бы «верхним десяти тысячам» незыблемость существующих порядков при любом правлении и сумела эффективно маневрировать легальными и нелегальными рычагами власти,

вплоть до государственного переворота. Как цинично выразился однажды американский политик Марк Ханна, «всегда можно нанять одну половину народа, чтобы расстрелять другую». Последние годы в Италии были особенно урожайными на попытки правых путей. Немало подробностей о них приведено в книге Джанни Росси и Франческо Ломбрассы.

Но самое главное, о чем свидетельствует книга,— итальянцы не намерены безропотно сносить продажность, бездарность и противозаконные деяния правителей. Эти явления не ввергли широкие массы в растерянность и скептицизм, не ослабили волю итальянского народа к противодействию преступным политикам и их заокеанским покровителям.

Л. МАКАРЕВИЧ.



КОРОТКО О КНИГАХ



САВВА ДАНГУЛОВ. Государева почта. Роман. «Дружба народов», 1983, №№ 4—6.

Взяться за перо романиста побудила в свое время Савву Артемьевича Дангулова его служба в отделе печати Народного комиссариата иностранных дел. Тема, которую дала писателю дипломатическая работа, естественно, вовлекла его в странствия, в поездки по местам, где жили его герои, где остался некий след их пребывания — в архивах, музеях, в воспоминаниях живых свидетелей. Так очертился путь интересного исследовательского, творческого поиска.

С. Дангулов пишет исторические романы, повествующие о людях и событиях, стоявших в центре мировой истории в переломные ее годы, в годы, когда возникло и отстояло свое право на жизнь совершенно новое человеческое общество.

Природа избранного писателем жанра такова, что приоритет отдается документу, комментарии не посягают на его суверенность, а имеют целью как можно полнее выявить смысл, прояснив главное — процесс формирования личности исторического героя. В книгах Дангулова читатель встречается с Владимиром Ильичем Лениным, выдающимися советскими дипломатами ленинской школы Чичериным, Литвиновым, Красиным, Караханом, Коллонтай. Среди героев книг Дангулова Джон Рид, Альберт Рис Вильямс, Фритьоф Нансен, Георгий Димитров, Бела Кун, Линкольн Стеффенс, Герберт Уэллс...

В центре внимания автора диалог двух миров — нового, рожденного в Октябре, и старого. В одном из высказываний Дангулов именно так и сформулировал замысел своих произведений: показать столкновение мысли двух миров в такой своеобразной и действительной сфере нашей жизни, как дипломатия.

В строй этих произведений естественно входит и новый роман Дангулова «Государева почта». Сюжет его связан с так называемой

«миссией Буллита» — делегацией, посланной державами Антанты в молодую республику Советов, сражающуюся на фронтах гражданской войны.

Каков был смысл этой акции? Вот как оценивает ее в романе один из его героев — Чичерин: «Да, союзников, собравшихся в сиятельный Версаль, осенило, и они решили пойти на мировую с Россией. Для начала они отрядили специальную миссию. Ее возглавит некто Вильям Буллит, чиновник госдепартамента... Миссия имеет целью установить: как себе мыслят такой мир русские? А это значит обрести ответ на весь круг вопросов. Старые российские долги? Колчак и Деникин — их права? Россия и Запад — судьба посольств, торговля? Весь круг». Этот «весь круг» и становится ареной острой дипломатической борьбы, о которой рассказывает «Государева почта».

Со свойственной автору достоверностью написаны портреты Буллита и его спутника Стеффенса, «вице-директора департамента иностранного ведомства» наркоминдельца Станислава Крайнова, специалиста по Востоку ученого Александра Даниелова. Вместе с героями романа читатель побывает в наркоминдельских кабинетах, дома у Чичерина, на приеме у Ллойд Джорджа. А воссозданная в романе беседа Ленина со Стеффенсом, несомненно, добавляет новый штрих в создаваемый нашей литературой портрет Владимира Ильича.

С образами Сергея Цветова, его любимой — Дины, московских родственников Сергея, парижского дядюшки Дины Ивана Изусова и другими входит в роман тема русской интеллигенции, той ее части, которой предстояло решать вопрос о своей роли в строительстве новой России, о месте и долге русского человека в грозные годы революции.

Юрий Лукин.



показной комплиментарности. Последнее немаловажно. Ибо творчество С. Михалкова многогранно и популярно, и было, конечно, легко поддаваться стихии восхваления, произнесения велеречивых тостов вместо трезвого и вдумчивого анализа. К сожалению, в некоторых критических книгах-портретах о жизни и творчестве видных писателей часто встречаются восторженно-мадригальные интонации. В густом словесном тумане становится неразличимым подлинное лицо писателя В. Александров избежал этой опасности. Он стремится понять и объяснить глубинные истоки творчества С. Михалкова, объяснить, в чем обаяние его таланта, социальная, нравственная сила его произведений. Правда, порой В. Александров слишком часто напоминает нам о том, что С. Михалков — живой классик детской литературы. Одна глава книги так и названа «Живой классик». Да и слово «уникальное» применительно к творчеству С. Михалкова встречается нередко. Сказывается сила непреодоленной инерции...

В целом же критик точно проанализировал детские стихи, поэмы, басни, сатирические комедии, фронтовые сочинения писателя. Творчество С. Михалкова рассматривается В. Александровым не замкнуто, не изолированно, а в контексте советской многонациональной литературы, в соотношении с ее опытом. Разомкнутость во времени и в литературном пространстве, безусловно, положительная сторона книги В. Александрова. Представляется справедливым и обобщающий его вывод: «Творчество Михалкова — одна из существенных попыток художника творчески успеть за историей своего поколения, используя многие литературные виды, и прежде всего поэму, стихотворение, басню, сказку; гимн, песню, эпиграмму; комедию». Критик создал целостный, объемный портрет писателя, сумел разобраться в художественном своеобразии, социально-духовной и функциональной наполненности тех многообразных жанров литературы, в которых успешно и плодотворно работает С. Михалков. Естественно, критик не мог обойти и разностороннюю, интенсивную общественную деятельность С. Михалкова, подчеркивая его неизменную готовность всегда быть там, где этого требуют интересы дела.

Книга В. Александрова написана живым, непринужденным языком, хотя надо оговориться: иногда критик почему-то прибегает к помощи туманной, не очень четкой литературоведческой терминологии. К примеру, читаем: «Методология теории литературы для детей неотрывна от сущности этого вида литературы». Признаться, не совсем ясно, о чем, собственно, идет речь. Такого рода определения, на мой взгляд, явно не вписываются в

общий контекст разговора о творчестве С. Михалкова, о его умной и одновременно веселой, естественной, игровой музе. Правда, подобные «занаученные» обороты встречаются в монографии В. Александрова нечасто. Это содержательная, профессионально зрелая книга о современном художнике слова.

Георгий Ломидзе.



ЛИНИИ НАШИХ РУК. Из поэзии стран Юга Африки. Переводы Феликса Бурташова. М. «Наука». 1983. 135 стр.

Интерес к этому региону сегодня велик и вполне оправдан, ибо не может не волновать борьба народов за свободу, за право жить мирной и счастливой жизнью. И поэзия Юга Африки, сосредоточенная на столь важных социальных процессах, вызывает к себе острый интерес.

В сборнике наряду с независимыми Замбией и Маврикием представлены и оккупированная Намибия, и едва вступившая на путь самостоятельного развития Зимбабве, и оплот расизма — ЮАР. Неудивительно, что так по-разному звучит тема родины у поэтов этих стран.

Всмотрись в эту землю с заоблачных гор,
Какой пред тобой развернется простор!
Взгляни на леса, на течение рек,
Увидишь, как трудится здесь человек.

(Джекфорд Мване, Замбия)

Иной предстает родина в стихах поэтов Намибии и ЮАР, народам которых еще предстоит завоевать свободу:

Жить в Южной Африке,
быть может, не геройство,
но вызов политического свойства.
В автобусах вы видите плакат,
чьи буквы недвусмысленно кричат:
«Черный, знай свое место...»

(Джеймс Мэттьюз, ЮАР)

Для африканца понятие родина включает в себя нечто большее, чем та страна, где он родился и гражданином которой является. Родина всех африканцев — Африка, прошедшая через страшные века работорговли и колонизации.

Мать моя,
мать человечества,
безжалостно оскверненная,
на протяжении веков —
заброшенная,
униженная,
порабощенная
Африка, моя Африка,
ты пробуждаешься к жизни.

(Ананд С. Муллу, Маврикий)

У народов африканских стран общие враги — империализм и неоколониализм. Представленные в сборнике поэты прекрасно понимают это. Как понимают и то, что у них есть настоящие друзья, такие, как Советский Союз.

Советский народ,
мы знаем о жертвах твоих,
о дорогах тяжелых и боевых,
о солидарности — до конца,
о помощи, греющей наши сердца.

(Анк Кумало, ЮАР)

Естественно, что в короткой рецензии мы прежде всего говорим о стихах, написанных на остроактуальные темы. Но читатель найдет в сборнике немало проникновенных лирических миниатюр. Прочтет, например, строки Айпеленг Коситсиле (ЮАР):

У воды
цвет веселой луны,
что Гуляет меж звезд до утра,
цвет прохлады, и тишины,
и мерцающего серебра.

Лирической проникновенностью запомнятся стихи Хуберта Тембы из Намибии, резкостью сатирических красок — строки маврикийского поэта Хоссейнджи Эду.

Было бы преувеличением утверждать, что в рецензируемом сборнике достаточно полно представлена поэзия каждой из стран. Заслуживала, на мой взгляд, более пристального интереса, например, поэзия Маврикия и Зимбабве.

Африканскую поэзию отличает острая отзывчивость на происходящее в мире. Читателя сборника не оставят равнодушным строки, пронизанные болью за народ Чили, скорбью об участии жертв шахского режима в Иране. И особенно близки каждому строки из стихотворения замбийского поэта Науа Симаты:

И только от нас зависит.
Люди земного шара,
Как мир от войны очистить,
Спасти его от пожара.

Л. Захаров.



ДМИТРИЙ УРНОВ. Приз Бородинского боя. Рассказы и повести. М. «Советский писатель». 1983. 271 стр.

Еще недавно мне казалось, что кое-что знаю о пошадях. Правда, к знатокам иппической (то есть лошадиной) истории причи-

слить себя не вправе, однако на иной вопрос викторины или кроссворда ответить смог бы. Скажем, коня Александра Македонского звали Букефал, и на месте его погребения возник город Букефала. А в звание римского консула тиран Калигула возвел жеребца по кличке Резвый... Словом, от коней Лисиппа, скульптора из Сикиона, жившего в IV веке до н. э., и по сегодня через всю историю человечества, можно сказать, проходит поистине необъятная «тема лошади», отраженная в специальных книгах, литературе и искусстве.

Тему эту в своей книге «Приз Бородинского боя» продолжает и Дмитрий Урнов, открывая малоизвестный нам особый мир наездников и жокеев, мастеров древнего и нестареего искусства управления лошадей. Честно говоря, я, как, очевидно, большинство читателей-неспециалистов, и не подозревал, какие бурные события могут происходить вокруг ипподрома и конного завода, сколько здесь драматических ситуаций, столкновений характеров. Характеров ярких и самобытных. Это и старый наездник Кольцов, и знаток конской породы Драгоманов, и табунщик Артемыч, и женщина-конюх Клава, и «теоретик» Вильдебранд, «чувствующий ритм иппической истории». Д. Урнов повествует о ней, кстати, не только в «Призе Бородинского боя», почти одновременно вышли еще две его книги — «Кони в океане» и «Похищение белого коня, или Следы ведут дальше». Впрочем, слово «повествует» здесь не очень подходит. Точнее — рассказывает, ибо, несомненно, обладает незаурядным даром рассказчика. В этом особенность стилистики его прозы, окрашенной к тому же мягким юмором и иронической интонацией.

Описание конных ристалищ захватывает и не уступает по накалу страстей картина боя быков у Хемингуэя. Например, триумфальная и в известном смысле символическая победа русского жокея над соперником-французом в скачке на приз в честь столетия Бородинского боя (рассказ «Приз Бородинского боя»), или эпизод на празднике зимы и двухсотлетия русской рысистой породы (повесть «Кони в океане»), где старый мастер на тройке с пассажирами, вопреки всем прогнозам, выходит победителем. Или история болезни скакуна Анилина, который стоит столько, что и поверить трудно — миллионы рублей (повесть «Железный посыл»). В этой повести о мастере-жокее Николае Насибове, неоднократно чемпионе и рекордсмене, если что и придумано, то лишь некоторые имена и конские клички, а остальное «все правда», ручается автор.

Эта достоверность характеров, событий, фактов, знание профессиональных секретов и подробностей быта конников привлекает ничуть не меньше, чем иная выдумка.

Примечательно и то, что знания Д. Урнова, как говорится, из первых рук. Автор сам выступал на ипподромах, в том числе зарубежных, ему знакомы две профессии: критика-литературоведа и наездника, и не просто наездника, а «троечника», то есть водителя знаменитой русской тройки. Понятно, что ему досконально известна жизнь конников, что он знаком со многими из них и лично видел, как побеждали наши мастера в Англии и в Америке, как грузчики обнимали лошадей, перенесших мучительную морскую качку...

Повествование автора вбирает в себя и массу исторических ассоциаций и литературных реминисценций (толстовские Холстомер и Фру-Фру, купринский Изумруд, дреоноовский Годольфин и т. п.), знакомит с биографиями конных асов, с остросюжетными историями вроде послевоенного розыска советскими коневодами племенного жеребца с уникальной родословной, угнанного фашистами на конный завод Геринга в Истенбурге. Искали похищенного коня, необходимого для продолжения селекционной работы, точно Янтарную комнату.

Все это, конечно, объясняет, почему нам интересно читать о лошадях, раскрывает секрет притягательности повестей и рассказов Дмитрия Урнова. Но лишь отчасти. Может быть, однако, их обаяние еще и в том, что стук копыт отзывается в нашей исторической памяти? От заставы богатырской — к краснозвездным всадникам, отстоявшим молодую республику Советов? И в этом, видимо, тоже. Но главное: проза Дмитрия Урнова — это не та ставшая сегодня столь распространенной проза критика, выдаваемая за беллетристику, а именно проза прозаика.

Роман Белоусов.



ЛЕОНИД ПАНАСЕНКО. Сентябрь — это навсегда. Полуфантастические истории. Днепрпетровск. «Промінь». 1983. 336 стр.

Даже чисто фантастические произведения Л. Панасенко при всей своей насыщенности чудесами техники, кибернетики, электроники обладают одним важным качеством: их морально-этическая проблематика обращена не в бесконечно далекое будущее, а, скорее, в день сегодняшней, в нашу реальную действительность. Потому они часто и вос-

принимаются как притчи и аллегории о смысле человеческой жизни.

Тревожными раздумьями проникнута повесть «Небесная лыжица». Персонажи этой повести, американские ученые, изобретают новое оружие массового уничтожения. Гигантский накопитель электроэнергии, детище талантливого физика Роберта, способен обесточивать любые энергокоммуникации и энергоемкости противника — от электростанций до автомобильных аккумуляторов. С помощью этого монстра можно в конечном счете поработить весь мир. Так же бесчеловечно и другое, как его называют, «гуманное оружие», над которым работает биохимик Оливер, — генная бомба, подавляющая жизнеспособность генов в растениях и живых организмах.

Драматические события, происходящие с героями повести, ставят их перед решающим нравственным выбором. И если Оливер, потрясенный результатом испытания бомбы, решает просто выйти из игры, кончает жизнь самоубийством, то Роберт находит в себе решимость и силы ценой собственной гибели уничтожить Центр, а вместе с ним и чудовищное оружие.

Эту фантастическую повесть с полным правом можно назвать и политической, ибо она несет в себе страстный публицистический заряд, гневно клеймит пентагоновских заправил, разглагольствующих о правах человека, а на деле делающих все для того, чтобы лишить его этих прав, стремящихся навязать свою волю народам и государствам.

В «Повести о трех искушениях» и в повести «Место для Журавля» Л. Панасенко занимает не столько сюжетная коллизия, хотя сама по себе она достаточно интересна и необычна — встреча землян с представителями иных, более развитых миров, сколько философская сторона проблемы: готов ли современный человек к такой встрече? Вопрос этот решается не в глобальном плане, как, например, у Чингиза Айтматова в его романе «И дольше века длится день», а чисто психологически: исследуется характер той или иной отдельно взятой личности. Если в «Месте для Журавля» профессор Алешин не способен принять Дара, явившегося на Землю в облике прекрасной молодой женщины, не способен почувствовать, оценить всю глубину и силу ее духа и старается поработить, подчинить Дар своим мелким интересам, то герои «Повести о трех искушениях» в нравственном отношении оказываются достойными высокоразвитых собратьев по разуму. И безымянный Еретик, сжигаемый на костре инквизиции, и супруги Бартошины, и писатель-фантаст Рэй Дуглас выше дарованных

им соблазнов (спасения от смерти, обретения второй молодости, долгой, по человеческим меркам почти вечной жизни), потому что каждый из них осознает, что выполняет на Земле свою миссию, отречься от которой не имеет права.

Новой гранью раскрылось дарование Л. Панасенко в повести «Танцы по-нестинарски»: романтическая приподнятость, публицистическая страстность уступили место углубленному психологическому анализу. Двойник Йегрес (обратное прочтение имени Сергей) — не просто плод фантазии воспаленного, утомленного работой мозга Сергея Лахтина, молодого преуспевающего ученого, это — его больная совесть. Привычка к компромиссам — с начальством, с женой, с дочерью, с самим собой — приводит в конце концов к разрушению личности Лахтина. И сочувствуя своему герою, автор в то же время убежденно оспаривает его точку зрения, подчеркивая, что человек только тогда может называться человеком в полном смысле этого слова, когда живет по совести, а не вопреки ей.

Органично вписываются в общий фон книги и рассказы. Их отличают изящная организация сюжета, поэтичность и, конечно же, яркая фантазия. Герои рассказов способны провидеть будущее («Как горько плакала Елена...»), ощущать, как пытается пробиться сквозь асфальт росток каштана, и испытывать при этом физическую боль («К вопросу о чужой боли»), ради встречи с любимой ускорять бег времени («Едем в Анучино»), и движет ими не какая-то мистическая сила, а бескорыстная любовь к людям, творщая порой чудеса.

Книга Л. Панасенко говорит о необходимости деятельного добра, привлекает активностью авторской позиции.

В. Филатов.



Б. КАЦ. Времена — люди — музыка. Документальные повести о музыке и музыкантах. Л. «Музыка». 1983. 104 стр.

Баха и Моцарта знают все. Но все ли знают о династиях Бахов и Моцартов? Несколько сезонов назад любители музыки еще могли видеть афиши с программами «Бах и его сыновья». Теперь же редкая клавишная соната Карла Филиппа Эмануэля Баха, трио Вильгельма Фридемана или концерт Иоганна Кристиана звучат разве что в какой-нибудь «исторической» программе, цель которой продемонстрировать развитие того или иного музыкального жанра или показать, как

менялась музыка после «великого Баха». Между тем «звание «великого Баха», — пишет автор рецензируемой книги, — во второй половине XVIII века оспаривали именно сыновья Иоганна Себастьяна. Отец был вне игры». С Моцартом дело обстояло, конечно, иначе: его славу не удалось затмить никому. Но далеко не каждому, вероятно, известна роль, которую сыграл в становлении таланта Вольфганга его отец Леопольд Моцарт. Вот им-то — сыновьям Баха и отцу Моцарта — и посвящена интересная работа Б. Каца.

Свои повести (их в книге две) автор адресует в первую очередь «людям, избравшим иные (не связанные с музыкой. — А. М.) профессии, но включившим музыку в круг своих постоянных интересов». Не избегая некоторых профессиональных сторон музыкального искусства, Б. Кац говорит о них ровно столько и так, чтобы это было понятно всем. Однако главное для него — психология отношений отцов и детей.

Свои произведения автор называет документальными повестями. Если сравнить его трактовку этого литературного жанра, скажем, с трактовкой Ю. Нагибина (его рассказ «Перед твоим престолом...» кажется мне лучшим портретом Баха, стереоскопичность которого превосходит лишь музыка самого композитора, причем не отдельно взятое произведение, которое, как обычно в барочной музыке, дает представление о какой-то одной грани, «аффекте», по выражению эстетиков, а все многогранное баховское наследие), — так вот, повторяю, если их сравнить, то можно заметить, что у Каца основной акцент падает на документальность, а у Нагибина — на повествовательность, хотя первому нельзя отказать в литературном мастерстве и отшлифованности письма, а второму — в фактологической основательности.

Б. Кац не ограничивается описанием биографических подробностей, нанизыванием их на хронологическую нить — он интерпретирует их. Его размышления и анализ, быть может, наиболее интересное в книге. Почему, например, музыка сыновей Баха, которую, как мы теперь убеждены, ни по глубине идей, ни по разнообразию форм нельзя поставить рядом с музыкой отца, все-таки оттеснила баховскую? Почему ей пришлось ждать многие десятилетия, чтобы «возродиться», вновь завоевать аудиторию, причем лишь в той своей части, которая оказалась созвучной идеям романтизма (первыми, кто после долгого забвения обратился к музыке Баха, были именно романтики — Мендельсон, Шуман, Лист)? Потому, что «в былые времена, — пишет автор, — за смерть нередко при-

нимали летаргию. Нечто подобное произошло и с баховской музыкой. Ее летаргический сон был, видимо, неизбежен. Но закономерным было и ее пробуждение... Изменились времена, изменились взгляды... Выяснилось, что Бах, казавшийся младшим современникам консерватором и ретроградом, заглянул в будущее гораздо дальше своих самых прогрессивно настроенных коллег». Много тонких психологических наблюдений найдет читатель и во второй повести — почти каждое событие жизни Моцарта интерпретируется и с точки зрения Вольфганга, и с позиций (порой прямо противоположных) Леопольда, его отца.

Сейчас, когда на русском языке опубликовано собрание документов, касающихся жизни Баха, и вот-вот завершится издание перевода четырехтомного «Моцарта» Г. Аберта, кому-то может показаться, что в небольшой книжке Б. Каца вряд ли есть что-то новое. Новых фактов в ней действительно нет, но в ней — интересная и во многом новая трактовка известного, а посему, думаю, книга с пользой будет прочитана не только теми, кому адресована в первую очередь, но и музыкантами.

А. Майкапар.



НАУМ МАР. ...А за окном зеленый лес! Диалоги с Константином Фединым. М. «Знание». 1983. 191 стр.

Есть некая загадочная закономерность: крупный писатель, переживший славу, успех, мощно доминирующий в культуре, уходя из жизни, словно уносит с собой свой успех, шум своей славы, и культура, потеряв художника, как бы чувствуя возникшую пустоту, наполняет ее иными голосами, звучаниями. Но проходят годы, и отдаленный временем голос снова крепнет, приближается. Так проступает фреска мастера сквозь поздне, наспех положенные мазки.

Об этом думал, прочитав в последнее время несколько монографий-исследований Фединского творчества. Об этом же подумалось за чтением книги Н. Мара, посвященной Федину, книги документальной и мемуарной, собранной из заметок в блокнотах, страничек дневника, записок, стенограмм фединских речей, из статей Федина. Вы почувствуете атмосферу подмосковного дома Федина, увидите его рабочий стол, переделкинский лес за окном, традиционные чаепития. Услышите разговоры о литературе, о Хемингуэе и Чехове, о молодой поэзии и профес-

сиональной этике, о политике, о делах личных...

В книге Мара Федин — семидесятилетний и восьмидесятилетний. Его жизненное пространство, его перемещение сузились до тесного треугольника — Переделкино, Союз писателей, «Литературная газета», дальше не пускают болезни, занятость, неоконченные романы. Но из этого треугольника, разрывая его, постоянно выносятся мысль Федина, и, следуя за ней, мы снова, как в «Первых радостях» или в «Необыкновенном лете», видим революционную Россию, стреляющую и строящую, проклинающую и верящую, видим мир, живем его страстями и драмами, теми, давнишними, и новыми, не заслоненными от художника переделкинскими елями. Так возникает образ Федина-мыслителя, художника, гражданина, депутата.

А чем крупнее художник, чем социальнее его романы, государственней его ум, тем сильнее он необходим обществу. Ему, обществу, мало романов, оно верит, что писатель, создающий такие романы, может мудро управлять, судить, заступаться, спасти от обидчика, научить делать дело. И вот маститый художник, откладывая страничку драгоценной рукописи, отвечает на просьбу избирателя, помогает ему, выступает на рабочих митингах, принимает делегации... Хорошо ли это, худо ли? Быть может, за хлопотами и перепиской потеряны творческие силы? А может, напротив, обретены? Такова уж доля большого писателя и прежде и ныне: людям часто недостаточно одних его книг, людям нужно еще и личное участие. И художнику это важно. Ему мало пусть даже хвалебных статей о его творчестве. Он надеется быть полезным своим авторитетом, влиянием конкретному студенту, конкретному металлургу, конкретному фронтовику...

В этой книге, где речь о Федине, множество персонажей. Тех, с кем водил дружбу писатель, кого почитал, у кого учился, память о ком хранил всю жизнь. Ленин, Горький, маршал Жуков, Твардовский, прозаик Соколов-Микитов... И приведенные в книге полностью фединские очерки «Три мгновения» (о встречах с Лениным) и «Маршал Жуков» — образцы фединской газетной манеры, писательский «блиц», когда на минимальной территории средствами сверхэкономными воссоздается личность, портрет.

Очень интересна та часть книги, где рассказывается о «кухне» фединской прозы, интересна и писателям, для которых этот вопрос всегда важен, всегда ревниво-любопытен. У каждого свои странности, своя тайнопись, своя «заумь», свое колдовство. Фединская «заумь» — это романы, создаваемые не

последовательным рядом эпизодов, не прямой логикой четко продуманного сюжета, а по фрагментам из разных зон романа: сначала из конца, потом, быть может, из середины. Эти фрагменты, эпизоды, как блуждающие астероиды, меняют места; записанные на листочки, на обрывки листочков, создают плотные накопления материала, складываются в планеты глав, в системы, и из них, как из хаоса, медленно возникает галактика романа — туго сжатая, напряженная спираль, часть мироздания.

Читаю книгу и думаю, как хорошо, что рядом с Фединым оказался в те годы Наум Мар. Звонил писателю, приезжал по первому зову, встречался с ним часто при обстоятельствах самых разных. И постоянно вел записи, зная, что все окажется в конечном счете драгоценным. Это не просто школа опытного, многомудрого газетчика. Это школа человека, всю жизнь живущего в культуре и интересами культуры.

Вначале я сказал, что многие писатели после некоторого забвения как бы возвращаются. Это так, но Федин, пожалуй, и не уходил. Авторитет его прозы и имени закреплен не только изданиями, он закреплен названием писательской премии — «Премии имени К. А. Федина», вручаемой молодым писателям.

«В нашей веселости нет легкомыслия, а в суровости — отчаяния. У нас есть здоровый разум», — читаю я в книге «...А за окном зеленый лес!» слова Константина Федина. Этот здоровый разум писателя, безусловно, нужен и нашему современнику. Нужна и книга о Федине, написанная Н. Маром.

Александр Проханов.



ВАДИМ ТРУБНИКОВ. Крах «операции Полония». 1980—1981 гг. Документальный очерк. М. Издательство АПН. 1983. 253 стр.

Кризисные месяцы 1980—1981 годов, когда внутренние и внешние враги с остревением пытались, не брезгуя никакими средствами, демонтировать социализм в Польше, вырвать ее из рядов стран социалистического содружества, толкая на край пропасти, у всех еще свежи в памяти. После завершения этого, несомненно, самого трудного в истории социалистической Польши периода прошло совсем немного времени. Еще не вполне улеглись страсти и эмоции, будоражившие поляков. И все-таки есть настоятельная необходимость уже сейчас на основе имеющихся фактов и документов, свидетельств

очевидцев тщательно изучить и проанализировать события, дать им правильную оценку. Это буквально по горячим следам и сделал в своем обширном документальном очерке В. Трубников.

Как могло случиться, что после 37 лет социалистического строительства в Польше правые силы вовлекли в свою авантюру многомиллионные массы польского населения? Почему часть рабочего класса поддалась влиянию демагогической пропаганды экстремистских руководителей «Солидарности», готовивших контрреволюционный переворот с целью захвата власти? Какие факторы сыграли определяющую роль в объединении усилий внутренней контрреволюции с действиями зарубежных диверсионных и антикоммунистических центров? Наконец, почему еще до сих пор часть общества стремится «держаться в тени» в роли пассивных наблюдателей, не только не содействуя, но фактически втихомолку препятствуя проводимым народной властью ПНР созидательным преобразованиям?

Перед автором исследования стояла нелегкая задача: сформулировать ответы на эти и многие другие вопросы конфликта в Польше, волнующие сегодня не только поляков, но и общественность других стран. На наш взгляд, делает он это весьма убедительно.

В. Трубникову многократно доводилось бывать в Польше до и после кризиса. Поэтому его рассуждения строятся не только на имеющемся документальном материале. В книге много личных наблюдений, размышлений, раздумий. Делясь ими, автор шаг за шагом вовлекает в ход своих мыслей читателя. И выводы не навязываются, а напрашиваются сами собой.

Теперь уже хорошо известно, что польские события 1980—1981 годов в значительной степени разворачивались по сценарию, разработанному в Вашингтоне. Причастность США и других стран НАТО к ним полностью обнажилась после сенсационной публикации в феврале прошлого года на страницах испанского журнала «Тьемпо» секретного доклада бывшего помощника американского президента по национальной безопасности З. Бжезинского, под руководством которого шла разработка «польского направления» удара по социализму.

«Мы пришли к выводу, что Польша является наиболее уязвимым звеном в Восточной Европе... на котором следует сконцентрировать все внимание США и их союзников, — заявлял Бжезинский. — Все, что есть в нашем распоряжении, нужно использовать для утверждения в Польше прозападной полити-

ки и экономической ориентации. Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы способствовать дестабилизации в Польше». Сказанное не нуждается в комментариях. Можно только добавить, что этот план, разработанный в 1978 году при президенте Дж. Картере, был полностью взят на вооружение администрацией президента Рейгана.

Не все, конечно, В. Трубников охватил в полной мере. Так, наряду с подробным рассмотрением позиции рабочего класса во время кризиса желательным было бы рассказать и о платформе, которую занимали различные слои интеллигенции и молодежи. Ведь на них контрреволюция также делала немалую ставку. Можно было бы остановиться на сыплющихся, как из рога изобилия, писаниях по «польскому вопросу» тех западных авторов, которые теперь облачаются в траур и льют горькие слезы, представляя деятелей внутренней контрреволюции в виде неких мучеников за идею. Фальсификаторы лезут из кожи вон, чтобы хоть как-то закамуфлировать антипольские акции империалистических спецслужб.

Эти незначительные замечания не умаляют, впрочем, существенных достоинств своевременной, полезной книги. Она кладет начало серьезным исследованиям труднейшего периода общественно-политической и экономической жизни ПНР, которая теперь входит в нормальное русло. Как сказал в одной из своих речей первый секретарь ЦК ПОРП В. Ярузельский, «в Польшу возвращается надежда».

Л. Миронов.



В. Н. САШОНКО. Коломяжский ипподром. Документальная повесть о русском авиаторе Николае Евграфовиче Попове. Л. Лениздат. 1983. 256 стр.

Жизнь и приключения этого сегодня уже почти забытого человека настолько характерны, так ярко отображают свою эпоху, что могли бы служить визитной карточкой целого поколения отечественных авиаторов. Он мечтал о том же, о чем мечтали его сверстники, но, в отличие от многих из них, имел мужество или легкомыслие поступать в соответствии со своими представлениями о счастье.

Об этой давней мечте русских интеллигентных мальчиков, навеянной книгами Жюль Верна и Майн Рида, мы знаем по одному из самых трогательных рассказов Чехова. Мальчишкам хотелось сбежать из своего дома, бревенчатого особняка в каком-нибудь уездном городе, добраться до Америки или Африки и там, в загадочной стране, сражаться, побеж-

дать, жениться на красавицах. Как правило, уездные Монтигомо со временем обзаводились семейством и поступали служить присяжными поверенными. Но иногда — иногда! — грезы становились явью, и возникали судьбы невероятные, полуфантастические и вместе с тем очень типичные...

Едва окончив Московский сельскохозяйственный институт, заведение по тем временам полуаристократическое, будущий русский авиатор Н. Е. Попов отправляется в Южную Африку, чтобы выступить на стороне бурских республик против английских колонизаторов. Война проиграна, и юный волонтер, не давая себе передышки, едет на Дальний Восток, где началась русско-японская война. Казалось бы, двух тяжелых поражений вполне достаточно, чтобы упасть духом, разувериться в торжестве справедливости. Но у молодого человека сильный характер: вернувшись после перенесенной контузии в Россию, он в гневе, вызванном лихоимством и предательством правящей верхушки, дает пощечину известному кадету Милюкову и уезжает от такой не соответствующей его идеалам российской действительности в Западную Европу. Там, прослышав, что некий американец строит в Париже дирижабль для полета на Северный полюс, Н. Е. Попов приезжает посмотреть на его работу, да так и остается возле летательного аппарата.

Начинается новый, наиболее замечательный и драматический период жизни Н. Е. Попова. Он становится полноправным членом международного коллектива авиаторов начала века. Книга В. Сашонко помогает составить представление об этом своеобразном братстве. Авиация была в те времена делом опасным, требующим отваги и преданности. Но был в ней и момент увлекательной игры. В этой «игре» взрослых мужчин, осуществлявшей наяву самые горячечные грезы юных мечтателей, было все: азарт и риск, горечь поражений и жажда побед, аплодисменты и восхищенные взгляды красавиц. Первые авиаторы часами колдовали у своих упорно не желавших взлетать бипланов, до хрипоты спорили об еще не устоявшихся правилах соревнований, по-детски ссорились и тут же мирились; они были целиком поглощены новым делом, и не было людей счастливей их.

Все знают, сколь плодотворной оказалась эта «игра», как много дала она техническому прогрессу. Благодарно храня память о подвигах героев первых воздушных полетов, мы не можем забывать и о трагических исходах блестящих судеб многих из них. Для Н. Е. Попова конец наступил 21 мая 1910 года, когда его «Райт» рухнул на землю. С того дня энергичного, иногда даже фатовато-

го молодого человека на фотографиях из семейного альбома сменяет калекка с потухшим взглядом.

Это печальное событие приобрело смысл пророчества, когда летом 1914 года так же внезапно и трагически рухнули мечты всего поколения первых авиаторов. Игра закончилась, ослепительное счастье полета было отравлено хлором и фосгеном, взорвано фугасными бомбами и зенитными снарядами, небо перестало быть вольным, и термин «противовоздушная оборона» прочно занял свое место в словарях европейских народов...

Через полтора десятилетия после начала первой мировой войны скромный служащий гольф-клуба в Каннах Н. Е. Попов, оставив подробное завещание на ничтожное имущество, пустил себе пулю в лоб, поставив тем самым точку в своей жизни.

Сегодня, когда вслед за войной в воздухе уже и война в космосе из абстрактной возможности становится грозящей реальностью, особенно важно не забывать иллюзии и разочарования людей, первыми осваивавших воздушный океан планеты. Об одном из них, замечательном представителе отечественной авиации начала века Н. Е. Попове, и рассказывает книга ленинградского журналиста В. Сашонко.

Л. Попов.

Новосибирск.



В. А. ПАРНЕС. Исаак Григорьевич Бейлин (1883—1965). М. «Наука». 1983. 160 стр.

Катастрофические эпидемии заболеваний растений вспыхивали неоднократно. В прошлом веке, например, из-за картофельной болезни, прокатившейся по странам Европы, в одной только маленькой Ирландии, где картофель был основной пищей, от голода погибло около миллиона человек, а два миллиона покинули родную землю и отправились за океан. В русской истории известен факт, когда Петр I после успешной войны со Швецией решил отвоевать незамерзающие черноморские порты у Турции, но его планам помешало зараженное спорыньей зерно, попавшее в провиант петровского войска и в сутки сразившее сотни солдат и лошадей.

Головня, ржавчина, заразиха губили урожай на полях и тогда, когда герой рецензируемой книги — И. Бейлин — начинал работать на станции защиты растений. До этого он занимался экологией, был увлечен мыслью о взаимосвязи всех природных явлений, что и помогло ему заложить основы новой научной области — эпидемиологии растений. Сам Бей-

лин сначала называл новую науку экологической фитопатологией.

Устоявшиеся представления, теорию, практику — все это, как показано в книге В. Парнес, Бейлин пересматривает, подчас радикально. Страна находится в состоянии гражданской войны. Разруха, голод диктуют необходимость принятия самых решительных мер в борьбе за урожай. И в гуще событий ученый проявляет огромное упорство, настойчивость, доказывает правоту своих идей, добиваясь их использования в хозяйстве. Вот он создает новый научный фитопатологический отдел в селе Губарево, привлекает к работе в нем молодых энтузиастов, устанавливает строгую дисциплину, идеальный порядок во всем хозяйстве: ни одного засохшего куста или ветви, ни одной открытой раны на дереве, ни одного сорняка, быстрые ответы на запросы с мест и атмосфера полного взаимного доверия между сотрудниками. Бейлин развертывает и огромную практическую деятельность, которая также дает богатый материал для изучения законов развития эпидемий у растений.

«...стремление к полезному приложению добытого нового знания... более всего определяет отношение человека науки к своему долгу перед обществом», — считал ученый.

Высокая теория никогда не была для Бейлина самоцелью. Могу это подтвердить и собственными наблюдениями. Мне посчастливилось познакомиться с Исааком Григорьевичем в 60-х годах, пользоваться его советами по борьбе с болезнями возделываемых в нашем колхозе культур. Надолго запомнились его отзывчивость, желание оказать всемерную помощь. Сохранилась с тех пор у меня и его книга «Заразихи и борьба с ними» с дарственной надписью автора...

В книге В. Парнес приводится эпизод, когда Бейлину пришлось защищать свою точку зрения перед коллегами, единодушно решившими сократить площадь под многими культурами, чтобы расширить посевы подсолнечника. Недостаток семян грозил подорвать маслостроительную промышленность области. На заседании, где решался этот вопрос, Бейлин выдвинул иное предложение: в кратчайшие сроки изучить массовые болезни подсолнечника и, найдя средство борьбы с ними, повысить урожай на имеющихся площадях. Бейлин составляет строго продуманную программу работ и сам берется за ее выполнение. В результате найден устойчивый сорт, который в следующем же году дает 5 миллионов добавочных пудов семян, что позволяет увеличить производство масла в области в полтора раза.

Когда читаешь в книге В. Парнес о подобных эпизодах из жизни ученого, поражаешь-

ся смелости, с которой он брал на себя решение сложных задач. Нередко В. Парнес приводит высказывания самого Бейлина, и они врезаются в память. Вот лишь одно из них: «...важно выполнять свой долг перед людьми и временем, с которыми и в котором живешь... делать максимум возможного при любых обстоятельствах — задача каждого. Иногда слышишь: «Ни на что не хватает времени». Значит, не решил человек, что хочет... разменивается на что попало. Нет у него царя в голове, нет воли, чтобы изменить жизнь так, чтобы на душе не оставалось чувства ускользающего времени. А жить с таким сознанием убийственно».

Наука и нравственность, их сопряженность — эта тема проходит через всю книгу, и это придает ей большое воспитательное значение.

Сейчас эпидемиология растений, в становлении которой в нашей стране сыграл столь большую роль профессор Бейлин, бурно развивается. Использование современного математического аппарата, компьютеров позволяет теперь даже прогнозировать наступление массовых болезней сельскохозяйственных культур и разрабатывать стратегию и тактику их «лечения». Но без знания истоков, как считал Бейлин, невозможно понять ход развития научной области и тем более предвидеть будущее ее направление. Книга В. Парнес в простой и доступной форме знакомит читателя с историей новой научной дисциплины и плеядой связанных с ней ученых.

Терентий Эм,

*председатель колхоза «Ленинский путь»,
заслуженный хлопкороб Узбекской ССР.*



П. П. ЧЕРКАСОВ. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии Франции в XVI — XX вв. М. «Наука». 1983. 184 стр.

Посетителям французского павильона на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе бросались в глаза громадные золотые буквы надписи, гласившей: «Франция — страна с 80 миллионами жителей». Между тем население Франции в это время составляло лишь 44,5 миллиона. Откуда же взялись 80 миллионов? От включения населения колониальных владений, считавшихся неотъемлемой составной частью Франции. Вспоминая этот эпизод, известный французский политический деятель А. Пейрефит отмечал: «Размеры империи представлялись компенсацией за слабость государства: французский престиж опирался разве что на квадратные километры ее территории или на

число «граждан». Даже после завоевания независимости странами Индокитая французский сиреневый цвет на географических картах все еще заливал значительную часть Африки, вкраплениями встречался в других районах земного шара.

История французского колониализма насчитывает почти пять столетий. П. Черкасов сжато рассказал в своей новой книге обо всех его этапах: от образования империи в эпоху первоначального накопления до ее крушения в середине XX века.

Французская колониальная империя создавалась железом и кровью, обманом аборигенов. Она складывалась дважды. Первые колонии были захвачены Францией в XVI — XVII веках, но затем утрачены в острой конкурентной борьбе с другими европейскими державами, прежде всего Великобританией. Вторая волна французской колониальной экспансии пришлась на эпоху бурного развития капитализма после завершения наполеоновских войн. В XIX веке Франция, подчинив Северную, Западную и Экваториальную Африку и Индокитай, укрепившись в бассейнах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, превратилась во вторую после Великобритании колониальную державу мира.

Особенности социально-экономического развития Франции, ростовщический характер французского империализма обусловили относительную слабость и неразвитость хозяйственно-экономических связей метрополии с ее заморскими владениями. Для французских колоний характерными фигурами стали сборщик податей и колониист-земледелец, а не предприниматель и белый торговец. Доля колоний во внешнеторговом обороте Франции в 1905 году составляла лишь 10 процентов, в то время как у Великобритании тот же показатель достигал 40 процентов.

Французская империя использовала методы прямого управления заморскими владениями через штат назначаемых Парижем военных и гражданских должностных лиц. Весьма ограниченное привлечение туземцев в административный аппарат лишало колонизаторов возможности маневра, затрудняло перестройку политики в неоколониалистском духе.

Все это сыграло свою роль в судьбе французских владений. Первые признаки кризиса колониальной системы появились сразу после Великой Октябрьской социалистической революции и первой мировой войны. Со второй мировой войны начался болезненный процесс крушения империи. Общее ослабление позиций империализма, на-

растание национально-освободительного движения, поддержка его требований демократическими силами метрополии делали невозможным сохранение колониального господства. Однако влиятельные финансисты и крупные землевладельцы, верхушка армии и полицейского аппарата, французские поселенцы и реакционные чиновники создавали могущественную коалицию, препятствовавшую проведению глубоких реформ и деколонизации. Большинству простых французов в той или иной мере были присущи националистические предрассудки, что обеспечивало массовую поддержку политике грабежа и вооруженного насилия.

Только печальный опыт изнурительных войн во Вьетнаме и Алжире заставил реалистически мыслящую часть правящих кру-

гов Франции осознать тщетность попыток сохранить колониальную империю под той или иной вывеской. Жесткие военно-полицейские меры не давали результатов, запоздалые уступки освободительному движению не срабатывали.

Времена империи безвозвратно прошли. Однако Франции удалось сохранить во многих бывших колониях довольно прочное политическое, экономическое и культурное влияние, а в ряде случаев удержать и военно-стратегические позиции. Нет-нет да сказываются во французской политике имперские представления и амбиции, вступающие в острое противоречие с реальностями сегодняшнего дня.

М. Наринский,
кандидат исторических наук.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О коммунистическом воспитании. 288 стр. Цена 75 к.
А. Арбатов. Военно-стратегический паритет и политика США. 318 стр. Цена 1 р. 40 к.
Б. Асоян. «Дикие гуси» убивают на рассвете. Тайная война против Африки. 175 стр. Цена 50 к.
Б. Тумасов. Обретя крылья. Повесть о Павле Точисском. («Пламенные революционеры») 335 стр. Цена 1 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

П. Андреев. Повесть о моем друге. 303 стр. Цена 1 р. 50 к.
В. Быков. Знак беды. Повесть. 299 стр. Цена 1 р. 10 к.
Поэзия. Альманах. Выпуск 38. 191 стр. Цена 1 р. 20 к.
А. Проханов. В островах охотник. Романы. 399 стр. Цена 1 р. 50 к.

«РАДУГА»

А. Гала. «Зеленые луга Эдема» и другие пьесы. Перевод с испанского. 291 стр. Цена 1 р. 20 к.
Ж.-М.-Г. Ленглезо. Пустыня. Роман. Перевод с французского. 415 стр. Цена 2 р. 60 к.
А. Услар Пьетри. Заупокойная месса. Роман. Перевод с испанского. 300 стр. Цена 2 р.
Б. Эппел. Большой человек, ловкий человек.
Р. Крайтон. Камероны. Романы. Перевод с английского. 570 стр. Цена 4 р.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Андерсен-Нексе. Дитте — дитя человеческое. Роман. Перевод с датского. 647 стр. Цена 3 р. 30 к.
М. Горький. Дело Артамоновых. Роман. 110 стр. Цена 1 р. 10 к.
Б. Кербабаев. Решающий шаг. Роман в 3-х книгах. 751 стр. Цена 3 р.
П. Лукницкий. Земля молодости. Роман. Безумец Марод-Али. Повесть. Рассказы. Очерки. 528 стр. Цена 2 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Т. Зульфикаров. Таттатубу. Поэмы. 342 стр. Цена 1 р. 60 к.
М. Колосов. Три круга войны. Повести. 464 стр. Цена 1 р. 90 к.
П. Куусберг. Одна ночь: Капли дождя; Чудной. Романы, повесть. Перевод с эстонского. 383 стр. Цена 2 р. 60 к.
З. Скуинь. Мемуары молодого человека. Роман. Перевод с латышского. 271 стр. Цена 1 р.

«НАУКА»

Д. Буланин. Переводы и послания Максима Грека. Незданные тексты. 277 стр. Цена 1 р. 80 к.
Г. Джеймс. Женский портрет. Перевод с английского. («Литературные памятники») 591 стр. Цена 6 р. 50 к.
И. Резанов. Великие катастрофы в истории Земли. 175 стр. Цена 60 к.
Фольклор и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. 255 стр. Цена 1 р. 90 к.

«ИСКУССТВО»

Е. Громов. Лев Владимирович Кулешов. («Жизнь в искусстве») 320 стр. Цена 2 р. 50 к.
О. и А. Лавровы. Следствие ведут знатоки. Сборник сценариев. 304 стр. Цена 1 р. 40 к.
Ж. Эффель. Избранное. 607 стр. Цена 11 р. 90 к.
Д. Луговьер. Репродуцирование слайдов 65 стр. Цена 35 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Дюма. Сорок пять. Роман. Перевод с французского. 560 стр. Цена 1 р. 10 к.
Р. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви. 142 стр. Цена 1 р. 50 к.
В. Мезенцев. И вечный поиск... 287 стр. Цена 75 к.
В. Попов. Нас ждут. Повести. 207 стр. Цена 1 р.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции. 103806. ГСП. Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 25.05.84. Подписано к печати 11.07.84. А 11308.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,05 уч.-изд. л. Тираж 379.000 экз. (1-й завод 1—199.000 экз.) Зак. 2077.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6. Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

К читателям «Известий»

С 1 августа открыт прием подписки на газету «Известия» на 1985 год.

Подписка принимается без ограничений предприятиями «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями печати по месту работы, учебы и жительства.

Подписку можно оформить с перерывом на часть срока (отпуск, каникулы в высших и средних учебных заведениях).

Подписная цена:

на год — 9 рублей, на 6 месяцев — 4 рубля 50 копеек,
на 3 месяца — 2 рубля 25 копеек, на один месяц — 75 копеек.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»